Лев Лосев

Меандр

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Издание объединяет мемуарную прозу поэта и литературоведа Льва Лосева — сохранившуюся в его архиве книгу воспоминаний о Бродском «Про Иосифа», незаконченную автобиографию «Меандр», очерки неофициальной литературной жизни Ленинграда 50-70-х годов прошлого века и портреты ее ключевых участников. Знакомые читателю по лосевским стихам непринужденный ум, мрачноватый юмор и самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки и интонации этого невымышленного повествования, в свою очередь, звучат в унисон лирике Лосева, ставя его прозу в один ряд с лучшими образцами отечественного мемуарного жанра — воспоминаниями Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича.

- О мемуарной прозе Льва Лосева
- 1. Про Иосифа
  - 1
  - Генетика, гениальность
  - Лица
  - Идиолект и стиль
  - Кошки и мышь
  - Резкость
  - Потомки и современники
  - Цветаева
  - Америка
  - Мои стихи
  - Я старше Иосифа?
  - Случай на площади Контрдэскарп
  - "Украдены Ключи Вселенной"
  - В глубине Адриатики дикой…
  - Германское
  - Марина
  - Любовь
  - Анекдоты
  - Найман
  - Психиатрия
  - Проктология
  - "Полторы комнаты"
  - Иосиф — еврей
  - Тема: "Образ Иосифа Бродского в литературе"
  - Поэзия и правда
  - Разоблачитель Бродского

    - Иосиф и деньги
    - Гуманизм, демография
    - Подвиг Торопыгина
    - Величие замысла
    - Кублановский
    - Обрывки разговоров
- 2. Меандр: рассказ самому себе
    - 2
    - Пьяный Ленин, голый Сталин, испуганный Хрущев. Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, Зощенко, Ахматова, Пастернак. В семье А.П. Чехова. Поль Робсон, Роберт Фрост, Элизабет Тейлор и др
    - Главы второй не будет
    - Перемены места жительства
    - Семенов
    - У художников
    - Арктика
    - Вода
    - <Возвращение в Ленинград>
    - Простые уроки. Осень 1944-го
    - В Москву, 1945
    - Страх
    - Книги
    - Онанизм и антисемитизм
    - Дедушки, бабушки
    - Ад
    - Иоббаный врот
    - Мама у меня тоже писательница
    - Сын дилетантки
    - Рош, сал, бер, йон
    - Целительная Абхазия
    - Walter de la Mare
    - "Второе рождение"
    - Я завожу знакомства
    - Красильников
    - 29 января 1956 года
    - Сельвинский
    - Каспийское море
    - <Инфаркт>
    - Отъезд
    - <Заграница>
    - Невозвращенец
    - Упорядоченный мир
    - За столом Томаса Манна

- Еще один украинский писатель
- 3
  - Тулупы мы
  - Крестный отец самиздата
  - Homo ludens умер
  - Русский писатель Сергей Довлатов
  - Юз!
  - Упорная жизнь Джемса Клиффорда: возвращение одной мистификации
  - Гениальные обмолвки
  - Отсутствие писателя
  - Герасимов в первую очередь
  - Яблоко Рейна
  - Народный поэт
  - Живое тепло
- 4
  - Москвы от Лосеффа
- От составителей
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25

- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69

○ 70
○ 71

О мемуарной прозе Льва Лосева

В 2007 году у себя дома в Гановере, в Новой Англии, Лосев обмолвился, что пишет воспоминания, и по моей просьбе сделал для меня копию готовой части книги под названием «Меандр». Я спросил, что это такое. Лев Владимирович объяснил игру смыслов в заглавии: причудливые петли реки и в то же время — геометрический узор. Оба значения переносные — от греческого Maiandros, имени извилистой речки в Малой Азии.

Название для книги мемуаров очень точное: с одной стороны, «воспоминанье прихотливо» и петляет, как речное русло, с другой — по ходу рассказа в неразберихе индивидуальной памяти может обнаружиться, будто ритм в орнаменте, логика прожитого.

Литературная автобиография «Меандр» осталась незавершенной: 6 мая 2009 года Лев Лосев умер. Но и в неоконченном виде она представляется замечательным произведением отечественной мемуарной прозы, соизмеримым, на мой взгляд, с мемуарами Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича и др.

«Меандр» как всякая честная автобиография — одновременно и картины прошлого, и «роман воспитания». На закатном свету преклонного возраста автор разглядывает себя же в детстве, отрочестве и далее, словно «кристалл, из которого начинает разрастаться человеческая личность»; разглядывает автора и читатель. И в этом смысле книга «Меандр» еще и впечатляющая история ответственной жизни, прожитой на свой страх и риск — в выстраданном согласии с избранным поприщем и нравственной взыскательностью. Перед читателем своего рода «патент на интеллигентность».

Знакомые читателю по стихам Льва Лосева непринужденный ум, мрачноватый юмор, самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки, естественные интонации этого невымышленного повествования звучат, в свою очередь, в унисон лирике. Судя по всему, автору дано было исполнить старинную заповедь «живи, как пишешь, и пиши, как живешь». Память Лосева на редкость бескорыстна и добросовестна и внушает очень большое доверие. Так что «Меандр», помимо прочего, и ценный комментарий к жизни и творчеству и самого поэта, и целого круга его современников.

В том же ключе написана и остальная мемуарная проза Лосева, что позволило издателям распространить название «Меандр» на весь настоящий том. Такая же психологически

убедительная «меандрическая» манера свойственна и воспоминаниям об Иосифе Бродском. Другой раздел книги составили мемуарные эссе, публиковавшиеся Лосевым на протяжении двух последних десятилетий. Как правило, написанные по случаю, эти очерки мыслились Лосевым частью «Меандра»[1], однако в силу своей композиционной самостоятельности они уже не поддаются механическому включению в его состав, а потому и напечатаны отдельно. Равно как и воспоминания Лосева о его единственном и, увы, несчастливом приезде на родину в 1998 году.

Эту книгу я читал неоднократно: сначала на правах частного лица в рукописи, потом — немного помогая «Новому издательству», но и чтение, и перечитывание доставляли неизменное удовольствие. И я поздравляю любителей литературы с серьезным и отрадным событием — изданием наиболее полного на сегодняшний день собрания мемуарной прозы Льва Лосева. Уверен, что книге суждены интерес и любовь читателей не одного поколения.

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

1. Про Иосифа

1

Высшее, чего может достигнуть человеку — заметил Гете по этому поводу> — изумление.

ЭККЕРМАН

… простое ясное изложение фактов привлекательно с чисто литературной точки зрения.

[SIR] ЛЕСЛИ СТИВЕН[2]

Сиди себе и кропай про Иосифа, как про Москву написал.

НИНА

Генетика, гениальность

«Лежим мы с Иосифом на кладбище…» — я сказал Иосифу, что начну когда-нибудь такой фразой свои мемуары, и рассмешил его. Вообще это не слишком часто мне удавалось, потому что его смешили каламбуры, а каламбурить меня смолоду отучали Виноградов и Еремин. Они считали каламбуры низшим сортом юмора, пригодным разве что для нашей халтурной детской драматургии, и, если я или кто другой не удерживался и каламбурил, с аффектированной укоризной говорили: «Фу-у!» Так собак отучивают от дурного поведения. (Еще Иосиф любил сальные, «солдатские», анекдоты, но это интересная и сложная тема, ее мы отложим.) С годами, в удалении от моих цензоров, в Америке, запрет стал ослабевать, и я уже реже удерживался от каламбуров, особенно в разговорах с Иосифом. Иногда он реагировал на них не смехом, а профессионально. Например, когда я, зацепившись за что-то в разговоре, ляпнул: «Мертвые Lebensraum'у не имут», — Иосиф сказал: «Пригодится для художественного произведения». И действительно пригодилось. В последний раз я услышал, как он от души рассмеялся, в середине нашего последнего долгого разговора, примерно за месяц до смерти. Это было, когда в ответ на его рассказ о неблаговидном поведении, житейском и литературном, Г.Г. я процитировал первую строчку своего стихотворения «Записки фокстерьера о хозяйке…» Он попросил прочесть до конца, но я сомневался, что остальное в стишке ему понравится, и сказал, что лучше пришлю, но послать уже не успел.

На кладбище мы действительно валялись долго в очень теплый день 22 октября 79-го года. Это был мой первый год в Нью-Гемпшире и первый из нечастых приездов Иосифа к нам в Дартмут. Мы пошли побродить по городку и забрели на самое старое кладбище Ганновера. В наше время оно оказалось в центре кампуса, между зданием большой студенческой столовой и комплексом общежитий, — небольшой участок под высокими соснами, тонкие, сверху закругленные мраморные доски надгробий торчат по здешнему обычаю вертикально, как серые пятнистые, замшелые спинки кроватей. Мы бросили пиджаки на покрытую теплыми желтыми иглами землю легли навзничь, глядели на синеву и тонкие нити бабьего (индейского) лета. Думаю, что наша болтовня мало отличалась от посвистывания синиц чижиков и дятлов. Птицы праздновали над кладбищем хорошую погоду. Я совершенно не помню, о чем мы говорили,

разговор был глубже и важней своего содержания. Подслушать нас могли только немногочисленные Брэдли и Мак-Натты, усопшие, когда республика была еще молода, а то и подданные короля Георга III.

Мой пиджак, с которого потом я стряхивал желтые иголки, был с плеча Иосифа, а прежде с какого-то анонимного плеча. Иосиф недолюбливал новые вещи. Если покупал что-то новое, то старался поскорее обмять, обносить. Он приехал в Нью-Йорк в середине 70-х, когда в Нижнем Манхэттене было полно заброшенных зданий и трава пробивалась из трещин асфальта на пустых боковых улицах. Тогдашние молодые писатели и богема воспринимали экономический упадок элегически — поэтика руин. Снимали за гроши полуразрушенные мансарды. Одевались в поношенное из магазина Армии спасения или со склада армейских излишков. Пацифисты щеголяли в шинелях со споротыми погонами. Эта мода совпадала со вкусами Иосифа. В Гринвич-Виллидж, за углом от него, на Хадсон, был большой магазин поношенной одежды, где Иосиф обожал рыться. Зажиточные, но расчетливые ньюйоркцы, надев несколько раз за сезон новый твидовый пиджак или блейзер от Билла Бласса, освобождали место в своих гардеробах для одежды нового сезона. На Хадсон это добро, пройдя химчистку, продавалось по десять-пятнадцать долларов, то есть в пятнадцать-двадцать раз дешевле, чем новое. Иосиф покупал там пиджаки ворохами. Рассказывал мне, что иногда ходит туда с другим любителем старья, Алленом Гинсбергом (я думаю, это было единственное, что их объединяло). «Аллен купил себе смокинг за пять долларов!» (Я думал: зачем битнику смокинг?) В результате с Хадсон на Мортон-стрит перекочевало такое количество одёжи, что, открывая свой гардероб, Иосиф рисковал быть погребенным под твидовой лавиной. Он щедро раздаривал это добро знакомым. В том числе приодевал и меня, что было очень кстати в те тощие годы. В марте 1980 года, когда задумывалось издание его трехтомника, я привез ему для отбора текстов свои четыре тома машинописного марамзинского собрания (у него у самого не было). Мы не успели справиться с работой, Иосифу надо было ехать куда-то из Нью- Йорка, а мне возвращаться в Дартмут, он попросил оставить на несколько дней марамзинские тома. Я уезжал после него и оставил на томах записку: «Уезжаю в 8-ми пиджаках, в 2-ух штанах и в глубокой тревоге, что оставил в неверных руках драгоценные жизни итоги…» и т. д. Он потом сказал свой обычный комплимент: «Это лучшее, что вышло из-под твоего пера…» Не все, кому приходилось такое от него слышать, обращали внимание на релятивность похвалы. Я сносил

несколько Иосифовых пиджаков, прежде чем в одно прекрасное утро вдруг задумался: а почему, собственно говоря, они мне впору?

Ибо я всегда полагал, что Иосиф больше меня — выше и крупнее. Выходит, он мне только казался таким? Но дело было все-таки не во мне. Я вспомнил одно странное впечатление из тех дней, когда и Иосиф, и я, и Уфлянд, а еще раньше Марамзин, халтурили на «Ленфильме» на дубляже иноязычных фильмов. Однажды я шел по центральному коридору студии на смену. Была середина рабочего дня, по коридору спешило много делового народу, но, как всегда бывает на киностудии, все не забывали и посматривать по сторонам — не пропустить бы какое звездное явление. И вот я увидел, что навстречу мне с дальнего конца коридора что-то такое приближается, какой-то человек-флагман, перед которым расступаются ленфильмовские волны, — Смоктуновский? Анджей Вайда? Марчелло Мастроянни? Через несколько секунд я увидел, что это идет Иосиф в своем старом единственном костюме, помахивая рыжим от затертости портфелем. Мало кто знал его в лицо в те времена, да и слава его тогдашняя была не того рода, чтобы производить впечатление на актрис, помрежей и осветителей. Но что-то было в его походке, осанке, что заставляло даже эту публику сторониться, расступаться. Это впечатление вернулось года три спустя, уже после отъезда Иосифа, совсем уж странным образом. Я пробирался в очень густой толпе к станции метро «Технологический институт». И опять увидел, как образовывается просвет, как чье-то движение раздвигает толпу. Но на этот раз, глядя прямо перед собой, я никого не увидел. Потом я опустил взгляд и вздрогнул: запрокинув, не высокомерно, а царственно, рыжую голову, шел Иосиф, только очень маленького размера. Прошли какие-то мгновения, прежде чем картина утратила свою пугающую мистичность. Это был просто-напросто семилетний сын Иосифа, Андрей. Волочимый матерью за руку к метро, он ухитрялся сохранять царственную повадку и внушать окружающим инстинктивное почтение. Я, естественно, подумал: «Гены», — и пришедшее на ум слово вдруг решительно указало на однокоренное — «гений».

В детстве я, как, наверное, и многие, полагал три обычных похвальных эпитета иерархическими знаками, наподобие погон, высшему чину — «гениальный», следующему — «талантливый», пониже — «одаренный». Последние два еще повышают или понижают модификаторами вроде «очень», «исключительно» или «довольно». «Очень одаренный», «одаренный» и «довольно одаренный» — это вроде как старший лейтенант, лейтенант и

младший лейтенант. Но вот «довольно гениальный» мы не говорим. Если мы хоть сколько-нибудь уважаем то, что выходит из наших уст или из-под пера, то мы должны запретить себе пользоваться этими бессмысленными клише. Начать с того, что «талантливый» и «одаренный» — синонимы по лежащей в их основе метафоре: Божий дар — то же, что и талант евангельской притчи («не зарыл, не пропил»). А «гениальный» в смысле «очень-очень талантливый» пусть употребляют те, кто способен выговорить: «Старик, ты гений!» — и не сблевать. Самое умное из всего написанного на тему иерархии в искусстве следующее: «Большой поэт. Великий поэт. Высокий поэт. Большим поэтом может быть всякий большой поэт. Для большого поэта достаточно большого поэтического дара. Для великого самого большого дара мало, нужен равноценный дар личности: ума, души, воли и устремления этого целого к определенной цели, то есть устроение этого целого. Высоким же поэтом может быть и совсем небольшой поэт, носитель самого скромного дара <… > — силой только внутренней ценности добивающийся у нас признания поэта. Здесь дара хватило как раз в край. Немножко поменьше — получился бы просто герой (то есть безмерно больше). Великий поэт высокого включает — и уравновешивает. Высокий великого — нет, иначе бы мы говорили: великий» (Цветаева, «Искусство при свете совести»). Прочитав это впервые, я испытал облегчение. Все встало на свои места: вот почему при всем восторге, который я испытывал, читая Баратынского и Тютчева, язык не поворачивался назвать их великими, если легко произносилось «великий Пушкин». Баратынский — большой русский поэт, Тютчев — высокий. При свете совести Цветаева рассуждает и о том, что такое гений. (Заметим, что в оценочную иерархию она это понятие не включает.) «Гений: высшая степень подверженности наитию — раз, управа с этим наитием — два. Высшая степень душевной разъятости и высшая — собранности. Высшая — страдательности и высшая — действенности. Дать себя уничтожить вплоть до последнего какого- то атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет — мир». Ее определение гения звучит почти кощунственно — «дать себя уничтожить вплоть до последнего какого-то атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет — мир» — это ведь Спаситель. Речь идет о такой способности к подвигу в искусстве и жизни, которая не дается одним целеустремлением, одной волей, необходим еще дар, несравненно больший, чем у большого поэта. Нечто изначально данное, врожденное, генетический взрыв. Итогом размышлений над текстом Цветаевой стал трюизм: гении — не такие люди, как мы, и т. д. вплоть до затрепанной цитаты из

Пушкина: «он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Вывод был банален, но вывод, который я сделал для себя из этого вывода, сильно помог мне прояснить смутно беспокоившую меня этическую проблему, связанную с моей профессией преподавателя литературы и критика. Нередко, читая даже не школярские, но академически значительные, остроумные, подкрепленные глубокими знаниями анализы гениальных сочинений, я под конец ощущал какую-то неверность тона. Фальшь ощущалась тогда, когда ученый критик до конца объяснял, что и как сказал гений. В тех же случаях, когда интерпретации и анализу подвергался лишь один какой-то аспект произведения или творчества, этого не происходило. Я имею в виду больших людей — Эйхенбаума, Тынянова, Бахтина, Лотмана. А уж в кандидатских диссертациях авторитетный тон аналитика, «полностью овладевшего» своим предметом, резал слух, как визг мела по доске, после того как ее вытерли мокрой грязной тряпкой. Постмодернистская самовлюбленная болтовня по поводу «отсутствия автора» и «бесконечности прочтений» ровно противоположна тому, что пытаюсь сказать я: если, как говорит Цветаева, гений «подвержен наитию», способности целостного миро- постижения, в несравненно большей степени, чем мы, то мы, по определению, не можем претендовать на полноту понимания его творчества. Нашими собственными наитиями, усилиями воли, методами мы можем только вчитываться в им написанное, «И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем», — как сказал один русский гений о другом русском гении. Гениальность означает только самое себя, она не означает, например, безупречность. Мы вправе, например, морщиться проявлениям дурного вкуса у Достоевского, Блока, Пастернака или Солженицына, но эти люди родились гениальными.

Кстати, Пастернак и Солженицын своим обликом производили впечатление людей не обычных — не таких, как все. То же и Мандельштам, и Цветаева, не говоря уж о Хлебникове, не говоря уж о единогласном стоне «Царственная!» по поводу Ахматовой. Напротив, во внешнем виде моих любимых (больших, высоких) поэтов Фета, Анненского, Заболоцкого самое интересное — их заурядность: они и выглядели как отставной офицер-помещик, директор гимназии, счетовод. Если гениальность в генах, то она не может не отражаться на осанке, походке, взгляде, выговоре. Она не может не заставлять людей оборачиваться и расступаться. Гений может показаться и физически больше себя самого. Подобной иллюзии было подвержено не только мое зрение. Случайный знакомец, рижский художник Артур Никитин

рассказывает: «Бродский тогда был здоровый рыжий парень, конопатый, вот с такими плечами, все как надо»[3]. Много лет близко знавший Бродского о. Михаил Ардов вспоминает о первом впечатлении: «Иосиф — рыжеволос, высок..»[4] Правда, впервые он увидел Бродского рядом с малорослым Найманом, но вот и А.Я. Сергеев в начале своих прекрасных записок «О Бродском» пишет: «Открываю дверь, вижу стоит ражий рыжий парень. Широкоплечий, здоровенный.."[5] Но тогда и я, судя по тому, как впору мне приходилась одежда Иосифа, ражий и здоровенный, однако обо мне этого никак не скажешь.

В этой связи, мне кажется, пробой гениальности служит еще и полнейшее отсутствие усилий что-то нарочно сделать со своей внешностью. Пастернак щеголял в затрапезе, а принаряжался (см. фотографии празднования Нобелевской премии), как колхозник на районный съезд. Мандельштам чувствовал себя неловко в не по чину барственной шубе. Солженицын в качестве основного костюма сконструировал себе френч, довольно милый — зато карманы удобно расположены. Иосиф искренне полагал что его внешний вид — образец анонимности, "совершенный никто, человек в плаще". Брил усы и бороду, чтобы ими не выделяться из бритого большинства. В один из его предотъездных из СССР дней Александр Иванову при мне давал сыну совет: "Когда у тебя будет там — на Западе — возможность, купи себе приличный черный костюм и белую рубашку, это годится на все случаи жизни". Черного костюма, если не считать нобелевского фра ка, Иосиф не носил, но в смысле одежды на все случаи жизни совету отца последовал. В июне 97-го года я очень жарким днем плелся по римской виа Фунари к пьяцце Маттеи. Вдруг впереди из подъезда появилась фигура в голубой рубахе button-down с засученными рукавами, в хлопчатобумажных штанах цвета хаки. Рыжеватая седина вокруг лысины на большой голове. У меня сжалось сердце, я рванулся к нему и остановился. То был римлянин в обычной униформе что итальянцев, что ньюйоркцев нашего поколения. Поигрывая ключами, он шел к своему красному "фиату".

К природным особенностям Иосифа следует отнести и то, что, даже ляпнув на рубаху соусом и затерев пятно кое-как, он выглядел элегантно. На пасквильных страницах романа "Скажи: изюм" В. Аксенов описывает грязный затрапез, в котором щеголяет в Нью-Йорке "Алик Конский". (На себя бы поглядел, ну точь-в-точь "новый русский": весь в фирме, вечно с ридикюлем-пидараской на плече.) Женщины, знающие толк в таких вещах, всегда отмечали инстинктивную элегантность Иосифа. И уж совсем странное: я никогда не замечал, чтобы от него попахивало — потом или изо рта, хотя он и писал: "смрадно дыша и треща

суставами". Хотя в холостяцком быту он был неряхой — неубранная постель, разбросанное вперемешку с книгами, рукописями и письмами белье, всюду чашки с кофейными опивками, в раковине немытая посуда ожидают прихода еженедельной уборщицы (или домоводческого порыва заночевавшей подруги). Была у него присказка: "Рукопись без кофейных пятен — не рукопись".

Иосиф когда-то говорил о кошках, что у них не бывает некрасивых поз, а об англоязычных людях, что они все умны, потому что на английском языке невозможно сказать глупость. Потом ко второму замечанию он начал прибавлять: "Раньше я думал…" Я тоже считаю, что кошки скорее могут быть названы венцом творения, чем люди, и все же, когда кот вытягивает вверх почти вертикально, как палку, заднюю левую ногу с растопыренными грязными розовыми подушечками и начинает вылизывать задницу, трудно счесть его позу изящной. Была непроизвольная, генетически заданная красота и крупность в том, как Иосиф выглядел, в его движениях, в интонациях голоса. На фотографии он, при всей своей фотогеничности, мог выглядеть иной раз некрасивым или смешным, в живом движении — никогда. Каким разным он мог быть на фотоснимке — особенно наглядно показывают две фотопробы, сделанные году в 70-м. На одесской киностудии начинали снимать фильм о подвигах катакомбных партизан во время немецкой оккупации, и режиссер пригласил Иосифа попробоваться на роль комиссара подпольщиков. Причем фамилия этого исторического лица была тоже Бродский. Ничего не вышло из всей затеи, кроме двух снимков, фотопроб, которые Иосиф привез из Одессы. На одном его сняли в черном кожаном пальто — комиссар, а другой он попросил сделать сам, надев для смеха вермахтовскую форму. Не зная, трудно разглядеть, что на обоих снимках изображен один человек. На первом — отталкивающего вида плешивый еврей, на втором — добряк и весельчак, немецкий обозный фельдфебель из тех, кто грустя о своих, оставленных в Саксонии, угощает русских детишек шоколадом. Эту, вторую, фотографию я у него выпросил, но, отправляясь в эмиграцию, решил с собой не брать: разрешалось вывозить только фото близких родственников, и мне не хотелось объясняться с таможенниками, ни с советскими, ни с американскими, по поводу близкого родственника в гитлеровской армии.

Иные его высказывания могут показаться опрометчивыми или грубыми, но часто бывало, что потом, увязав резанувшее слух замечание с другим текстом Иосифа, я открывал в нем смысл и остроумие, незаметные мне вначале. Ничего неумного и

вульгарного сказать или подумать он не мог.

Но ведь вот какое дело — сказать гениальному другу о его гениальности нельзя, поскольку само слово не приспособлено для произнесения вслух. Однажды, увы, я все же попытался. (Совестно вспоминать.) Осенью 95-го года, когда он минут сорок читал по телефону стихи, я, после "Пиранези", выговорил: "Ты — гений", — и у него на минуту потускнел голос. Он понял то, чего я сам не успел понять, выговаривая кривым ртом ненужную фразу, — что я хочу сказать это, пока он жив.

Лица

Но была у Иосифа способность более редкая, чем даже исключительный стилистический слух. Вот как он сам писал об этом: "Я слышу не то, что ты мне. говоришь, а голос". И еще раньше: "В движенье губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят". И в быту он беззастенчиво судил людей по физиономии: "Рожа не нравится". Но это он говорил, когда роженосителъ не заслуживал специального обсуждения, упоминался мимоходом. Если заслуживал, то физиогномический диагноз, оставаясь лапидарным, мог быть гораздо более конкретным, чем выражение симпатии или антипатии. У нас был общий знакомый, то есть мне даже более чем знакомый, приятель, чье писательское дарование я высоко ценю. В своем жанре он прямой наследник Шкловского и Розанова, и, хотя только после нас станет ясно, достигает ли он уровня этих замечательных мастеров русского стиля, читать его доставляет мне такое же удовольствие, как читать "Опавшие листья" или "Zoo". Мне даже кажется, что его стиль чуть деликатнее, чем у Шкловского, не перенасыщен парадоксами, и чуть опрятнее, чем розановский. Бог дал этому человеку способность на удивление внятно выражать свои мысли, как правило оригинальные, иногда завиральные, но читать его всегда радостно. Примерно эти соображения я излагал Иосифу. Ведь и он в прозе ценил прежде всего стиль, природную способность просто и эффектно строить фразу, а главное, весь период. Речь идет о даровании, прежде всего, ритмическом. Дикция тоже важна, но без ритмико-синтактического чутья и богатейший словарь — только неподъемный разваливающийся груз. Поэтому Иосиф любил эссеистику Орвелла. Мастерски перевел "Убивая слона". Подарил нам четыре томика журналистики Орвелла, я думаю, в расчете побудить Нину переводить оттуда. Рекомендуя мне роман Кутей "Жизнь и времена Майкла К.", хвалил исключительно ритм. Однако по поводу моего приятеля он сказал неожиданно: "Человек с лицом командировочного".

Такие высказывания очаровывают вас своей точностью прежде, чем вы понимаете, а что это, собственно говоря, значит. Можно, конечно, отмахнуться: "Броская фраза и ничего больше", — но ведь ощущаешь тут что-то очень конкретное. И вот прошло несколько лет и ларчик открылся просто. Поближе пообщавшись со своим талантливым приятелем, я узнал, что при случае он склонен к загулу. Причем загуливал он как-то

торопливо и жадно. Быстро беспорядочно напивался. Бессмысленно приставал к женщинам. Говорил чепуху. Вел себя точь-в-точь, как советских времен командировочный, который на три дня вырвался из-под пригляда жены и начальства и торопится насладиться краткосрочной свободой.

Вот что, однако, оставалось загадочным: во время нашего разговора Иосиф никак не мог знать об этом комплексе нашего тогда нового знакомца. Встречал он его до того раз или два мельком и в самом приличном виде. "С тех пор, как Вечный Судия мне дал всеведенье пророка, в сердцах людей читаю я страницы злобы и порока", — так, что ли? Есть и менее возвышенное объяснение. Я читал недавно о покойном гарвардском психологе Силване Томкинсе (русского, кстати сказать, происхождения, несмотря на чисто английскую фамилию). Томкинс поражал всех способностью читать лица. Например, разглядывая полицейские фотографии, он мог подробно рассказать о характере преступника и преступления. В одном эксперименте ему показали серию фотографий мужчин племени Южного Форе, а потом племени Кукукуку (ей-богу, это настоящее название) с Соломоновых островов. Он в них долго всматривался, потом сказал о Форе: "Мягкие, миролюбивые". И о Кукукуку: "Агрессивные. Отчасти склонны к гомосексуализму". И то и другое подтверждалось антропологическими исследованиями. Томкинс был основателем отрасли психологии, исследующей выражения лица. "Лицо, как пенис…" — начал он однажды свою лекцию, имея в виду, что только очень ограниченным количеством гримас мы способны управлять, тогда как есть тысячи свойственных всем людям на земле комбинаций одновременных сокращений лицевых мускулов, которые либо возникают, либо не возникают, независимо от нашей воли, но не всегда безотчетно. Иногда ловишь себя на том, что на твоем лице промелькнуло определенное выражение. Часто оно подстроено хромосомами, ДНК. Без всякого зеркала знаешь, что по твоему лицу пробежало выражение, характерное для покойного отца или матери. По Томкинсу, мимолетные, длящиеся иногда лишь доли секунды выражения лица всегда связаны с определенными эмоциями. Их можно наблюдать и каталогизировать, чем и занимаются последователи Томкинса. Умение читать лица можно тренировать, что и делается в наши дни в некоторых полицейских управлениях и разведывательных агентствах. В какой-то степени все люди наделены способностью читать чужие лица, но всеми природными способностями мы наделены не в равной мере. Есть в этой области редкие гении, подобные Томкинсу. Есть такие, кто сознательно подавляет в себе эту способность. (Может быть, одно

из условий цивилизации — верить на слово, выстраивать отношения с людьми только на сознательном уровне?) Для меня несомненно, что Иосиф был особенно одарен и этой способностью. Он не сразу научился ей доверять, но в зрелом возрасте он уже ничего не мог поделать, когда различал в наших интеллигентных лицах промельки Кукукуку.

Наверное, и в своем собственном. В его стихах нет ничего беспощаднее того, что он видит в зеркале: "Босой, с набрякшим пенисом, в ночной / рубахе с желтой пуговицей, с ватой, / в ушах торчащей…" Но дело не в этом. Как совместилось в нем почти идолопоклонническое отношение к языку и "я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос"?

Идиолект и стиль

Английский писатель Джон Ле Карре был озадачен парадоксом: в своей написанной по-английски прозе Бродский демонстрировал замечательное, утонченное владение словом, а вот в личном общении был — и Ле Карре, сам-то большой мастер высказываться отчетливо, говорит о симпатичном ему русском поэте "inarticulate", то есть "неспособен ясно выражать в словах (артикулировать) свои мысли", грубовато говоря, "косноязычен". Имея за плечами значительно более долгий, чем у Ле Карре, опыт общения с Бродским, я сказал бы, что это и так и не так. Письменная и устная речь для Бродского были принципиально разными видами деятельности и определялись разными, как сказал бы формалист, установками: в литературе он стремился к предельно эффективному высказыванию, в разговоре — к предельно непосредственному самовыражению.

Стихотворение или иной литературный текст Бродский задумывал, создавал и доводил до совершенства, руководствуясь исключительно эстетическими соображениями, так как считал поэзию художеством, мастерством. Произведение должно быть безупречно красивым, то есть максимально эффективным во всех своих элементах, гармонично организованным и оригинальным. На это надо положить все силы. Забота о чем бы то ни было другом, например, о воспитательном воздействии или общественном звучании, не только умаляет совершенство произведения, но и вообще излишня: прекрасное всегда учит добру и противостоит злу. "Эстетика мать этики" Бродского, как "красота спасет мир" Достоевского, не так уж парадоксальны и загадочны. И то и другое поэтические отклики на изначальный постулат идеалистической философии, Платоново триединство Истины, Добра и Красоты. Мучительная для поэтов-романтиков драма "невыразимого", неадекватности языка природному миру чувств ("Что наш язык земной пред чудною природой!", Жуковский), была чужда Бродскому. На тютчевское "Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?" у него был простой ответ: не рифмовать "тебя" и "себя" а найти лучшие слова, рифмы, метрико-синтаксические конструкции выражения своих впечатлений и наблюдений, найти идеальный порядок своему высказыванию и вообще работать, не думая ни о каком "другом" кроме "гипотетического alter ego". Если сам взыскательный художник будет доволен результатом своего труда, тогда и другие "другие", рано или поздно, смогут его понять. Спонтанный,

импровизационный момент имелся в стихах юного Бродского, но он изживал его жесткой самодисциплиной. Правила, которые он устанавливал для самого себя, например, пользоваться только оригинальными рифмами или изобретать новую строфику для каждого большого стихотворения, могли бы показаться слишком техническими, школярскими, если бы не приводили к таким впечатляющим результатам.

В разговоре, даже на бытовые темы, для него, как мне кажется, главным был сам по себе момент общения, обмен информацией отходил на второй, иногда на третий, десятый план, наконец, вообще не играл никакой роли: "В движенье губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят…", "Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос…" Поэтому он стеснялся пользоваться готовыми текстами. Мне кажется, в идеале он хотел бы отказаться от всех степеней условности и полностью открыть для другого процесс формирования мысли, мысли в поисках адекватного словесного выражения. Отсюда — множество оговорок, уточнений, начатых и брошенных на полпути предложений, интонационных кавычек, неуверенных вопросительных интонаций и, время от времени, запинок, заторов, которые выражались иногда комически затяжными "э-э-э-э…". Тут уж все зависело от настроения. Если тема его увлекала, оговорки, уточнения, интонационные экивоки образовывали мощный, барочно разнообразный поток. Если ему было скучно, если разговор поддерживался по необходимости, то количество "э-э-э-э…" возрастало, вызывая в первую очередь у слушателя чувство неловкости.

Об этом мышлении вслух надо сказать, что оно понималось Иосифом как исключительно креативный процесс (как понятие "поэзия" в исходном греческом смысле делание, творение). Есть ведь и другое понимание: неделание-творение чего-то нового, а умелое использование организованных в памяти запасов. Надо ли говорить, что в повседневной человеческой практике имеет смысл и то и другое — и интеллектуальный поиск, и применение знаний. И, конечно, в действительности Иосиф в разговоре сплошь и рядом прибегал к уже известному, ранее продуманному, узнанному и сказанному. Но ему это было явно не по душе. Отсюда его идиосинкратическое отношение к готовым речевым конструкциям, < клишированным фразам и просто расхожим словечкам, без которых нормальное человеческое общение было бы исключительно трудным. В молодости его экстремизм в этом отношении доходил до того, что с ним иногда было трудно разговаривать — он не спускал собеседнику ни одного фразеологизма. Начнешь, например: "Как у нас водится…" — "Как

у вас водится…" — перебивает Иосиф с нехорошей улыбкой. Некоторые слова и словосочетания ему в те годы было настолько мучительно произносить, что он заменял их иностранным речением, поскольку таковое автоматически воспринималось в кавычках: польское "звянзек радзецки" вместо "советский союз", французское "гран мезон" вместо "большой дом" (как в Ленинграде называли управление КГБ). Но, конечно, не только политически окрашенные речения. Немецкое "вельтшмерц" вместо "грусть", итальянское "тутти а каза" вместо "пора по домам", латинское "экс нострис" вместо "еврей". Такую же спасительную роль играли в его идиолекте некоторые устойчивые нарочито выспренние словосочетания: "торжество справедливости" относилось к изданию его сочинений на родине, которая, в свою очередь, именовалась "любезным отечеством". Да что там говорить, если простое "я" он норовил заменить выражением "наша милость". В наибольшей степени ту же роль играли тюремное арго и лабушский жаргон 50-х годов: феня, кнокать, лажа, башли… С годами, вдали от любезного отечества, он стал относиться к стереотипам родного языка ностальгически. Если в 1977 году, на шестом году эмиграции, он еще писал: "Там говорят "свои" в дверях с улыбкой скверной…" — то десять лет спустя в "Представлении" создал грандиозную симфонию из звучащих в памяти голосов сограждан, "из бедных, у них же подслушанных слов": ""Говорят, что скоро водка снова будет по рублю". "Мам, я папу не люблю"".

Все слова языка — общее достояние, и я не хочу сказать, что каждое слово он произносил в кавычках. Какой-то был у него свой разбор. Так, например, он вполне естественно и без всяких интонационных подмигиваний, хотя и умеренно, матерился. И вообще он любил слова. Я уже писал в очерке про Юза, как они оба меня удивили, когда принялись всерьез обсуждать проект экспедиции за словами: снабдить знакомого аспиранта магнитофоном, чтобы в Москве в пивных записывал разговоры. "Потому что искусство поэзии требует слов…" Другой раз он меня удивил, когда я ему рассказывал, не без иронии, про "Словарь языкового расширения" Солженицына, а он задумчиво сказал, что надо бы купить. Он в 94-м году вставил в стихотворение "Из Альберта Эйнштейна" переданное ему Вайлем выражение из нового молодежного сленга "ломиться на позоре". Словарь у него очень богатый: около двадцати тысяч слов (для сравнения — у Ахматовой чуть больше семи тысяч)[6]. Деловито звонил спрашивать названия растений у Нины, когда сочинял "Эклогу летнюю". Вообще любил знать названия вещей. Мы с Ниной уезжали, навестив его в Саут-Хедли весной 93-го года, и я

пожаловался, что машина стала барахлить — мотор глохнет, когда останавливаюсь на красный свет.

Он сказал с видимым удовольствием: "Это карбюратор". Потом посоветовал проверить "коробку скоростей". Потом — сказать механику, чтобы проверил "трансмиссию". Мы уже отъезжали, а он кричал вдогонку: "Карданный вал… Так и скажи!"

Ан нет, сейчас, когда я это вспоминаю, я слышу, что "так и скажи!" было в легких веселых кавычках.

Кошки и мышь

Совсем уж своеобразное, из детских семейных привычек сохранившееся в речевых манерах, было говорить: "Такие наши кошачьи дела…" Царапать тебя ногтями по рукаву пиджака в знак симпатии. Говорить "мяу" вместо "до свиданья" или как выражение сильного чувства, когда был растерян, смущен или взволнован. В тот же приезд мы стали случайно свидетелями телефонного разговора, который очень сильно смутил и взволновал его. Вначале "мяу" звучали не слишком часто, потом, по мере получения все более обескураживающих сведений с другого конца провода, его вопросы и реплики стали все чаще звучать как "Мяу? Ну, мяу…", а под конец драматической беседы слились в отчаянное: "Мяу! Мяу! Мяу!" Так коты вопят редко, только от сильного отчаяния — на приеме у ветеринара или на крыше горящего дома.

Летом 2000 года я делал предварительную разборку архива Бродского. Осиротелый старик, кот Миссисипи прыгал на стол, укладывался на рукопись, пахнущую хозяином, и тут же крепко засыпал. Заснув, он пускал слюнку, но я не решался его согнать, поскольку догадывался, что он имеет больше прав на эти бумаги, чем я. Если будущим исследователям творчества Бродского попадется в черновике расплывшееся пятно, знайте — это кот наплакал.

Бродский разделял распространенное заблуждение, что в кошачьем имени должен быть звук "с" (см. о фонеморазличительных способностях кошек ниже). Отсюда — "Миссисипи". Его ленинградскую кошку звали Оська. После переезда Бродского в Бруклин Миссисипи по семейным обстоятельствам был оставлен в Гринвич-Виллидж у соседки и многолетнего друга Маши Воробьевой. Маша рассказывала, что в ночь смерти Иосифа Миссисипи метался по квартире и плакал. Я в телепатию не верю, но теперь Маша тоже умерла и я рассказываю вместо нее.

Будучи большим кошколюбом, Иосиф серьезных стихов о кошках не писал (так же, как в его зрелом творчестве нет стихов, посвященных любимому городу). Благодаря конкордансу Татьяны Патеры мы знаем, что коты, кошки и котофеи упоминаются в его стихах почте вдвое реже, чем псы и собаки (26:47), хотя к собакам он был довольно равнодушен. Зато он сильно отождествлялся с кошками. Умело, почти автоматически, рисовал толстых котов вместе с подписью, надписывая книжки. Писал:

Я пробудился весь в поту:
мне голос был — "Не всё коту, —
сказал он, — масленица. Будет, —
он заявил, — Великий Пост.
Ужо тебе прищемят хвост".
Такое каждого разбудит.

Это шестистишие — почти полностью коллаж: две поговорки и цитата; из Ахматовой ("мне голос был"), но в нем очень личное ощущение себя котом. Так же в блаженный момент, запечатленный в "Набережной неисцелимых", он ощутил себя котом, съевшим рыбку и мурлыкающим на солнышке. Но в стихотворении, выстроенном как формула собственной судьбы, "Письмо в оазис", он делает сытым котом своего оппонента, а себя мышью в пустыне, "подспудным грызуном словарного запаса".

Мышь — один из самых заметных постоянных образов в стихах Бродского. Помню, как мой отец, прочитав "Большую элегию Джону Донну", с удовольствием сказал вслух: "Мышь идет с повинной". Мне сдается, что мышь-преступница пришла из лубочной картинки, но это из области домыслов, а папе явно нравилось просто неожиданно точное описание ночной пробежки мыши, торопливой, как будто чувствующей, что в чем-то виновата. О мышах у Бродского многие писали. Полухина, Стрижевская — о мышах Аполлона (по давней статье Волошина). Ранчин припомнили "жизни мышью беготню", и "зубами мыши точат / Жизни тоненькое дно" Мандельштама, и "мы вместе / Грызли, как мыши, / Непрозрачное время" Хлебникова, и "из памяти изгрызли годы" Ходасевича. Иосиф обычно умело уклонялся от комментирования собственных стихов, да я и не приставал особенно, но о мышах у нас однажды был разговор в Энн-Арборе. Он сказал, что дело в фонетическом сходстве слов "мышь" и "мысль", а также "грядущее" и "грызущее". Я тогда как раз много читал про "Слово о полку Игореве" и поспешил сообщить, что "мысь", которая "растекается по древу", на самом деле не мышь и не мысль, а белка, но это Иосиф пропустил мимо ушей. Дело было все-таки в фонетике. Эти слова, "грызть" и "мышь", ему доставляло удовольствие произносить. Один из последних, анекдотов, которым он поспешил поделиться со мной по телефону, был про грузин, несущих убитого медведя. "Гризли?" — "Нэт, застрэлили". Анекдот ему нравился, потому что поворачивался на приятном слове. Но с особым наслаждением, усиленно артикулируя каждый из трех звуков, он говорил: "Мышь". И употреблял его неожиданно — в качестве эпитета для

характеристики милого ему типа интеллектуальной женщины, чаще всего некрасивой с обывательской точки зрения. "Такая… такая… — и заканчивал восторженно, — МЫШЬ!" Это было особенно странно ввиду его двуязычия. Ведь в разговорном английском "mousy" ("мышеподобная") — презрительное словечко, обозначающее невзрачность. Иногда "мышь" с одобрением говорилось и о мужчинах. И имя своего дружка Барышникова он переделывал в "Мыша", "Мыш". Все-таки здесь в первую очередь дело не в парономазии, не в интертекстах и не в мифологическом субстрате, а в каких-то чувственных резонансах — "праздник носоглотки".

Сон на воскресенье 20.1.02

Сижу в большой аудитории на лекции. Прийти на лекцию было надо, потому что молодой лектор — знакомый знакомых. Он говорит об экзистенциализме, и довольно интересно. Думаю: надо слушать повнимательнее, записывать, может пригодиться, но не слушаю, потому что начинаю сочинять стихотворение. Не на чем писать. В руках блокнот, но все страницы исписаны. Подходит Иосиф и озабоченно спрашивает: что, писать не на чем? Я говорю: ничего, сейчас пойду в писчебумажный магазин, куплю новую тетрадь, тебе тоже купить? Опять сосредоточиваюсь на стихотворении. Оно — про облако, которое ползет издалека — напоминая старика — потом рассеивается клочками — куда ни кинь — нет, это для рифмы, нужно по-другому, чтобы сохранился такой удачный конец — остается только солнце и синь. Лучше: сияющая синь. Нет, все не так, слишком простенько. Если присмотреться, облако ползет, как танк. Бесшумный танк. Помню — нет, слышу — взлязгивает железяка — взвизгивает собака. Ага, теперь голова старика, потом уж клочки и сияющая синь. Радостное ощущение удачи.

В этом сне я на самом деле пытался сочинять стихи Иосифа — "Облака".

Резкость

Вслед за этим вспомнил — из разговора с Иосифом: позвонил Найман, сказал: написал стихотворение, отклик на ваши "Облака", хотите, прочту? Я сказал: не надо. Иногда он бывал очень резок, не столько от грубости, сколько от отчаяния. Как-то мне принялась звонить одна несчастная психопатка, безнадежно влюбленная в Иосифа. Она будила меня в три часа ночи и начинала нудно советоваться — покончить ей с собой прямо сейчас: или обождать. Ненавидя ее, но боясь, что дура в самом деле наложит на себя руки, я до четырех, до полпятого дремал с трубкой у уха, время от времени бормоча что-то утешительное. На третью или четвертую ночь я в конце концов спросил: "А почему, собственно, вы звоните мне, а не Иосифу?" Она говорит: "Я ему позвонила, спросила: "Как вы считаете, стоит ли мне жить или лучше умереть?", а он так грубо крикнул: "Живите!" — и повесил трубку".

Смешной сон на 17.XII. 1997

Иосиф лежит на кровати, я сижу рядом на стуле (как было, когда я навещал его в больнице). Он говорит со смешанной грустью и досадой (это та интонация, с которой в нашем последнем разговоре он жаловался на рецензию Кутей): "А все-таки жаль, я еще многое хотел сказать". Я, стараясь переменить разговор и в то же время утешительно намекнуть на некоторые преимущества загробного существования, спрашиваю: "А правда, что есть музыка сфер?" Он отвечает решительно: "Нет".

Потомки и современники

Когда готовился к переизданию второй том "Сочинений Иосифа Бродского", Иосиф внес кое-какие поправки, где-то вдруг припомнил пропущенные строки, добавил посвящения, но главное, много стихов повыкидывал, к большому огорчению редакторов. В печать второй том отправлялся уже после его смерти, и убрали из него только семь стихотворений, остальное редакторы отстояли как "очень важное и многократно печатавшееся". Я, в общем-то, на стороне редакторов, хотя и не разделяю нежного отношения старых друзей к раннему, вулканически обильному творчеству Бродского. Там сравнительно мало хороших стихотворений, много замечательных пассажей, строк, слов в потоке подражательного, не всегда внятного, не всегда грамотного текста. В основном оно филологически ценно — как литературная биография: мы видим, как поэт, ведомый не столько выбранными им для себя учителями, сколько гениальным инстинктом, создавал самого себя. После 1964 года все написанное Иосифом безупречно.

Здесь мы сталкиваемся с проблемой, так драматически сформулированной Баратынским: друг — в поколенье, читатель — в потомстве. Судьба не только Баратынского, но и самого Пушкина и всех получивших раннее признание, но не успевших умереть совсем молодыми русских поэтов нашла отражение в этой формуле. Новый поэт приходит со своим новым мироощущением, новым голосом, который звучит дико и невнятно для большинства в старшем поколении, но находит горячий отклик среди сверстников поэта. Они наизусть заучивают "Руслана и Людмилу", "Эдду", "Ни страны, ни погоста…". Они следуют за своим поэтом, но никогда до конца. Поэт становится старше и пишет все лучше, оставаясь самим собой. Читатель становится старше вместе с поэтом, но его энтузиазм остывает с возрастом. Он по-прежнему узнает знакомое необщее выражение в стихах своего поэта, но ему, читателю, оно уже слишком знакомо, ему достаточно стихов, что он смолоду полюбил и запомнил. Он их любит, потому что любит свою ушедшую молодость, с которой они сплавлены. Что ж до новых вещей, он с грустью говорит о поэте: "Повторяется". А то и со злорадством "Исписался". Другое дело — потомки. Поэтов прошлого мы читаем не в хронологической последовательности, как их современники, а начиная с самых зрелых вещей: сначала "Медный всадник", а потом уж, может быть, когда-нибудь лицейские

стихотворения. Мы несравненно выше ценим стихи "Сумерек" Баратынского и "Вечерних огней" Фета, чем их утренние вещи. Это, с разной степенью драматизма, относится ко всем нашим поэтам, за исключением разве что Тютчева, которому удалось, невольно, обмануть обычную поэтическую судьбу[7].

Цветаева

В первой половине мая 1982 года мы несколько раз говорили по телефону, и каждый раз Иосиф возвращался к Цветаевой. Он получил из "Руссики" (нью-йоркский книжный магазин-издательство) второй том цветаевского пятитомного собрания "Стихотворения и поэмы". Для первого тома его просили написать предисловие, но вместо предисловия он написал разбор "Новогоднего", стихотворения Цветаевой на смерть Рильке, первую из его безудержно разрастающихся explications des textes[8]. Второй том его огорчил. Он говорил об этой книге так, словно бы речь шла не о том, как изданы старые и давно знакомые тексты, а как будто получил новую книгу от Цветаевой, открыл, начал читать и досадовать: "Много шлака". И в следующем разговоре: "Второй том — полная катастрофа. Цветаева знала сама, что делала. Печатала только лучшие стихи. А это действительно второй сорт, третий сорт. [Писала много], но, когда надо было уже печатать в книге, она всегда перерабатывала к лучшему. В отличие от Бориса Леонидовича". (Во втором томе — "Версты" (обе книги), стихи из книги "Психея", "Стихи к Блоку", "Лебединый стан", "Ремесло" и большой раздел "Стихи, не вошедшие в сборники".) "Шестнадцатый-семнадцатый год — один из самых плодотворных. Пишет замечательно, и вдруг, рядом, полная катастрофа. Ее подводило то, что писала циклами… "Лебединый стан" — наиболее яркий пример. Разбавляет. Совершенно потрясающее "Я — страница твоему перу…", а рядом бог знает что. Она сама печатала только эти восемь строк".

При этом надо помнить, что Цветаеву Иосиф безоговорочно считает лучшим поэтом XX века. Не лучшим русским поэтом, лучше даже Ахматовой и Мандельштама, а лучшим в мире. Почему он так думает, он сполна объяснил в соответствующем разговоре с Волковым. Мне кажется, что просматривая для переиздания собственный второй том, он вспоминал о том втором томе, Цветаевой.

Америка

Осенью 80-го года мне позвонил критик Джеймс Атлас и что-то такое поспрашивал об Иосифе для статьи в "Нью-Йорк Тайме Мэгэзин". Обычные дела — как познакомились? каким он был в молодости? его родители? можно ли считать его евреем? Мои незамысловатые ответы он потом добросовестно процитировал. Не знаю, чем уж я произвел такое не-американское впечатление на Джеймса Атласа, но потом, разговаривая с Иосифом, он спросил, а не лучше бы было Лосеву остаться в Советском Союзе. "Так даже шутить не следует", — сказал Иосиф. (Это я прочитал в статье Атласа.)

Отношение Иосифа к перемещению в Америку и вообще за границу, как и все у него, своеобразно. У интервьюеров это был, естественно, стандартный вопрос: как вам в Америке? И его ответ стал стандартным: Америка — это только продолжение пространства. Я бы никогда не мог так сказать. Для меня действительно существует граница. По одну сторону ее родное пространство, а по другую совсем другое. Одной из самых привлекательных сторон эмиграции для меня была именно новизна, незнакомость, странность, "иностранность" окружающего пространства. Мне всегда хотелось не упустить ни капли этой новизны, и даже теперь, прожив в Америке тридцать лет, я изредка испытываю радостное удивление — неужели это действительно я, своими глазами вижу эту чужую землю, вдыхаю незнакомые запахи, разговариваю с местными людьми на их языке? Уже в самом начале американской жизни я боялся, как бы не привыкнуть слишком скоро, не утратить этого приятно возбуждающего интереса к незнакомому миру. Однажды поздней осенью 76-го или зимой 77-го, то есть прожив в Штатах уже с полгода, я с необыкновенной остротой и восторгом испытал это чувство приключения. Кажется, это был первый раз, когда я должен был лететь куда-то по делам. Проффера пригласили выступить на конференции Американского союза гражданских свобод в Айова-Сити а он сосватал на это дело меня. Перед рассветом я сидел на остановке, ждал автобуса в аэропорт. Было холодно и еще темно. Длинные американские машины еще не слишком густым потоком неслись по шоссе. А в небе были еще видны звезды и много быстро движущихся огоньков — самолеты. Ярко и неподвижно светились большие неоновые вывески магазинов. Этот мир яркого ночного света и почти бесшумного быстрого движения показался мне захватывающе чужим.

Я захватил с собой несколько писем, на которые надо было ответить. И вот при свете уличного фонаря я стал писать Довлатову. Он тогда прицеливался к отъезду и просил рассказывать ему о жизни в Америке. И я постарался описать, подробнее, чем здесь, что я вижу и чувствую в этот предутренний час на окраине Энн-Арбора. Недели через четыре он прислал 2 смешное письмо, сварливо выговаривал мне за ненужные сентименты. Писал, что его интересует не это, а "сколько стоят в Америке спортивные сумки из кожзаменителя".

Если бы я умел описать странность нового для меня американского мира так наглядно и пристально, как это сделал Иосиф в стихотворениях "В озерном краю", "Осенний вечер в скромном городке…", в "Колыбельной Трескового мыса", небось не получил бы выговора от Довлатова. Но мое литературное дарование скромнее, а психика устойчивее. Иосиф в стрессовых ситуациях говорил, что у него "психика садится". Краснел, жадно выслушивал даже самые банальные утешения и советы, хватал рукой лоб и, более странным жестом, сжимал рукой нижнюю челюсть и норовил подвигать из стороны в сторону. Но психом он не стал. Для этого у него был слишком мощный ум. Он сам себя научил справляться со стрессами. Это была интеллектуальная, рациональная, аналитическая операция. Он смотрел на себя со стороны, как Горбунов на Горчакова или Туллий на Публия. Оценивал ситуацию. И принимал решение — что надо делать, чтобы не сорваться в истерику или депрессию. На суде в Ленинграде применил "дзен-буддистский" прием — снять проблему, дав ей имя и обессмыслив частым повторением этого имени ("Бродскийбродскийбродскийбродский…"). При переезде в Америку он приказал себе думать: это v только продолжение пространства.

Вот еще какая тут между нами разница. Меня в определенный момент, жизни непреодолимо потянуло туда, а Иосифу если когда и хотелось бежать, то оттуда. Нет, конечно, и мне невыносимо обрыдло жить там, где я жил, той жизнью, которой я жил. Все и началось с того, что я стал физически ощущать омертвелость нашего красивого города. Но вслед за этим навалилось то, что один старый литературовед называл "пушкинской тоской по заграницe". Wohin, wohin, wo die Zitronen bltihen! Не то чтобы обязательно Zitronen, но wohin. А Иосифа ведь в 72-м году выставили. В ту пору он был бы рад съездить за границу, но только съездить, не уезжать насовсем. Были у него, конечно, и моменты, когда ему хотелось свалить. Я имею в виду не инфантильный план угона самолета из Самарканда. Волков у него спросил, бывало ли у него острое желание убежать из

России. Он сказал: "Да, когда в 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию. Мне тогда, помню, хотелось бежать куда глаза глядят. Прежде всего от стыда. От того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо-бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы"[9]. Я удивляюсь, может быть, в глубине души и завидую таким чувствам, но я их никогда не испытывал. Слово "держава" мне само по себе неприятно: кого держать? за что? Это слово ассоциируется у меня с Держимордой, с "держать и не пущать", с "держи его!" и полицейской трелью. Я подозреваю в заемных чувствах тех, кто подражает алкогольному басу актера Луспекаева: "За державу обидно". Актер был хороший, да вот держава сомнительна. Мне по душе не пудовый патриотизм, а легкая речь Карамзина: "Россия, торжествуй, сказал я, без меня!"

Мои стихи

Когда я жаловался ему на депрессию, он всегда говорил: "Это, наверное, потому, что стишки не пишутся…" Из этого можно было заключить, что он считает меня поэтом. Помимо заметки в "Эхе", явившейся для меня полным сюрпризом, я по пальцам могу перечесть высказывания Иосифа о моих стихах, да что по пальцам — едва ли не по ушам.

Один раз, вернувшись из Парижа, он сказал не от себя, но с удовольствием: "Они там кипятком писают от твоих стихов!" Имелись в виду Максимов и Горбаневская ("Континент"). Ну, это я и так знал. Если бы не Марамзин да они, я, может быть, и не начал никогда печататься.

В начале 80-х я как-то приехал к Иосифу на Мортон-стрит, и он попросил: "Почитай". Иосиф валялся на диване, я сидел в кресле и читал. Я не люблю читать вслух свои стихи, хотя, читая Иосифу, испытывал меньше неловкости, чем обычно. Я начал с "Земную жизнь пройдя до середины…". При звуке терцин Иосифу сразу стало очень нравиться. Он даже как-то выразил свой восторг, который, однако, потускнел, когда я перешел от первой части ко второй, и совсем испарился к третьей. Потом я прочитал стихотворение, которое мне самому тогда нравилось, казалось картинкой, восстанавливающей мимолетный момент петербургской жизни в начале XIX века: какой-то поэт, может быть, член "Беседы", может быть, и морской офицер при этом, сидит днем у себя в кабинете, пытается читать то ли Джефферсонадо ли Франклина, думает о приложимости или неприложимости идей демократии к России, мысленно перекладывает английский текст русскими словами, но сбивается на стихи, а за окном не слишком теплый летний петербургский денек. Название — вычитанный где-то старинный перевод определения демократии. Он меня удивил, потому что показался на редкость точным, что необычно для нашего плохо приспособленного к дефинициям, уклончивого языка: "Народовластие есть согласование противоборствующих корыстей"[10]… Теперь я к этому своему стихотворению остыл — я там позволил себе слишком субъективные, только автору понятные пассажи, что всегда плохо. Вот и Иосиф сухо сказал: "Этого я не понимаю". А про "ПБГ", который кончается: "А за столиком, рядом с эсером, Мандельштам волхвовал над эклером. А эсер смотрел деловито, как босая танцорка скакала, и витал запашок динамита над прелестной чашкой какао", — сказал:

"Слишком много иностранных слов". Но это он зря, это недурное стихотворение.

Книжки свои я ему посылал, а просто новые стихи только изредка, если он просил. В последний раз в 95-м году довольно большую подборку, по поводу которой он позвонил и сказал: "Замечательно, особенно маленькие стихотворения", — чем тут же вызвал у меня мнительное подозрение, что он поленился прочитать те, что подлиннее. Сказал, что особенно ему понравилось стихотворение про умирающего в Чечне русского солдата ("Только названия не понимаю…" — с названием я и вправду поначалу перемудрил, я его тут же похерил). Занятно, что как раз это стихотворение было ошельмовано в московской газете "Культура". Даже карикатура нарисована — автор (условный — как я выгляжу, карикатурист не знал) в смирительной рубашке; смысл в том, что стишок — полный бред. В тексте этого стихотворения продернута пунктиром крылатая фраза Горация "Сладко и почетно умереть за отчизну…". Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что цитата из Горация настроила Иосифа в пользу этого стихотворения, как некогда терцины навострили его благожелательное внимание к другому.

Не раз, конечно, я посылал ему открытки по разным поводам с соответствующими комическими стишками, дарил книги с такого же рода надписями, но в памяти только один такой стишок, который его развеселил. Нью- йоркское издательство при букинистическом магазине "Руссика" задумало издать трехтомник Бродского. Иосиф попросил меня быть редактором- составителем. (Делалось это с неэмигрантским размахом — Иосифу предлагался гонорар двадцать тысяч долларов и проценты от продажи, мне за составление и предисловие — пять; в конце концов все сорвалось, хотя мои пять тысяч мне заплатили.) На каком-то этапе я приехал к Иосифу, чтобы вместе пройтись по составу сборника. Полтора дня мы препирались — он норовил побольше выбросить, а я оставить, — перебивая наш труд легкой выпивкой и приятными походами в итальянское кафе и китайский ресторан. В какой-то момент Иосиф стал уговаривать меня взять половину его гардероба. Я уже говорил об этом: "Уезжаю в пяти пиджаках…" Вот эти вирши он почему-то запомнил и цитировал. А ведь были и получше. Например, однажды по-дороге в Нью-Йорк я за рулем сочинял частушки:

Чтой-то сердце ёк да ёк,
еду к Ёсифу в Нью-Ёрк.
И наслушаюсь поэм,
и китайского поем.

По дороге я заезжал к Алешковскому:

Побывал в гостях у Юза —
между ног висит обуза.
Вот обуза так обуза —
эко вывесилось пузо!

Иосиф написал предисловие к сборнику стихов Кублановского. Вообще-то стихи Кублановского, когда они попали в "Ардис" в 77-м году, ему понравились, а мне и еще больше. Но предисловие, как мне показалось, он вымучил, не знал, чего бы еще написать, и придумал вот такой выверт: "… судьба не без умысла поместила этого поэта между Клюевым и Кюхельбекером. Стихотворениям, собранным в эту книгу, суждена жизнь не менее долгая, чем соседям их автора по алфавиту". Кюхельбекера? Я отправил ему стишок:

Я прочитал твои наброски
и думаю, что ты неправ.
Ведь был еще граф Комаровский,
Кузьминский (тоже явный граф).

Я знаю, ты не из зоилов,
но ведь гуляли по земле
пусть не Коржавин — так Корнилов,
пускай не Кушнер — так Кулле.

А если то тебе не мило,
что рождено в СССР,
почто ты исключил Ермила
Кострова, Княжнина, К. Р.?

Допустим, это для ученых
и разных прочих хитрецов,
но где, еёна мать, Кручёных?
слепой Козлов? простой Кольцов?

Где гений, что чугунным задом
наш Летний украшает сад?
И, коли уж помянут зад,
что ж Кузмина не вижу рядом?

Ужель от Клюева до Кюхли

все прочие как бы протухли
и ты от них воротишь нос?
Ответь, Иосиф, на вопрос?

Он ответил открыткой — несправедливо, но кратко:

Из названных тобой на К
все, кроме Кузмина, кака.

А вот самое раннее и, кажется, последнее, что я могу припомнить из отношения Иосифа к моему художественному творчеству. В 63-м, кажется, году я перевел несколько стихотворений Фроста и отнес в "Неву". Отделом поэзии заведовал обожженный танкист Сергей Орлов, поэт совсем неталантливый, которого в отрочестве восхваляли за то, что он сравнил тыкву со свиньей, а в зрелом возрасте за ходульную строчку "Его зарыли в шар земной…". Но человек Орлов был неплохой и, как ни странно, увлекавшийся русскими переводами Фроста, и мои он взял и напечатал. Кстати сказать, когда я принес ему свои изделия, Орлов сымпровизировал, наверное, лучшее в своей жизни двустишие. Сообщив, что уезжает в командировку по союз-писательским делам, задумчиво добавил: "Еду в Улан-Удэ чесать мудэ". Я немало перепер в свое время. Детские стишки с польского получались ничего себе. Взрослые с разных советских и народно-демократических языков по подстрочникам были чистопсовой халтурой. Для души я пытался переводить Йейтса, Одена и вот Фроста, но переводы — "not my cup of tea". И все же Иосифу они нравились. Он восхищался тем, как я сделал первые две строки "Коровы в пору яблок": "Корова ценит изгородь совсем наоборот — количеством распахнутых калиток и ворот". А главное, само по себе то, что я пытался переводить Одена и Фроста, что- то катализировало в наших отношениях — начало превращать приятельство в дружбу.

Я старше Иосифа?

Меня не раз спрашивали: "Как вы познакомились с Бродским?" На этот простой вопрос я затрудняюсь ответить. Я не помню момента. Иосиф в моей памяти навелся на резкость из расплывчатой толпы полузнакомых. Помню, что впервые стал слышать о нем от неразлучных тогда Виноградова, Уфлянда, Еремина. Они насмешливо и беззлобно упоминали "В.Р." — "великий русский (поэт)". К ним немало юношей заходило в виноградовское логово на 9-й линии Васильевского острова между Средним и Малым проспектами. Настоящий талант Виноградов признавал только за совсем мальчиком, лет пятнадцати, Олегом Григорьевым. А к Осе отношение было дружелюбно снисходительное. Не то чтобы он действительно кричал своим картавым ртом: "Я великий русский поэт", — но, видимо, его патетическая манера чтения и поведения, космические претензии еще довольно корявых юношеских стихов старшим казались немножко комичными. Но, повторяю, это представление, возникшее у меня в ту пору на краю сознания. Меня особенно юная богема, шаставшая на 9-ю линию, в ту пору не интересовала. Это был 61-й год, когда я по возвращении с Сахалина был сильно занят поисками пропитания.

Почти наверняка я его встречал, даже еще в университетские годы на каких-то поэтических чтениях, в каких-то компаниях, но не запомнил. Герасимов, с его феноменальной памятью, помнит, что познакомил меня и Нину с Иосифом на Невском возле кинотеатра "Титан" вскоре после нашего возвращения с Сахалина, то есть зимой 1961 года. Не помню, и даже Нина не помнит. Вместо первого знакомства помню три эпизода. Весна или холодный летний день. Почему-то на Дворцовой набережной мы встречаемся с Наташей Шарымовой. Она убеждает меня почитать стихи Бродского. Достает из торбы машинописные листки. Мне становится скучно от одного вида чрезмерно длинных, во всю ширину страницы, бледных (вторая или третья копия) машинописных строчек. Я как-то отговариваюсь от чтения. Потом осенью у нас на Можайской собирается компания читать стихи. Это у нас нечасто, но бывало. Может быть, вообще только однажды. Кто был? Видимо, Виноградов, Уфлянд, Еремин. Лида Гладкая, с которой мы продолжали дружить по инерции после Сахалина. Москвичи Стае Красовицкий и Валентин Хромов, которые меня очень интересовали. Собственно говоря, по поводу их приезда и собрались. Были и другие, но не помню кто. Рейн?

Его миньоны? Сапгир? Или Сапгир приезжал в другой раз? Почему-то расселись не в нашей "большой" комнате, а вытащили стулья в коммунальную прихожую. Худосочный Красовицкий, покраснев, пронзительным командирским голосом читает уже знакомые нам страшноватые талантливые стихи: "О рыцарь! Брунгильда жива!" Соседи Рабиновичи время от времени пробираются с застенчивыми улыбками на цыпочках в уборную. Иосиф, с которым мы, стало быть, уже знакомы, читает тоже довольно готическую балладу "Холмы". Я совершенно обалдел от неожиданного счастья. Я слушал и понимал, что слушаю стихи, о которых всегда, сам того не зная, мечтал, чтобы они были написаны. Потом, несколько лет спустя, я прочитал, изумляясь верности сравнения, у Кушнера: "И стало вдруг пусто и звонко, как будто нам отперли зал". Как будто дверь в прежде неведомое, просторное, огромное пространство вдруг открылась. О существовании этих просторов в русской поэзии, в русском языке, в русском сознании мы и не догадывались, обживая уже до нас обжитые углы. И сразу все то, чего я так не любил в стихах, стало неважно. Многословие, случайные, неточные слова, бедные рифмы — неважно, второстепенно. Открылась небывалая перспектива, и дух захватывало от того, что там еще может произойти.

Когда Иосиф закончил, Гладкая честно сказала: "Ничего не поняла". Я ведь тоже мало чего *понял*. Кто кого убил? Почему? Что за городок описан? По географии вроде советский, но какой-то несоветский. Дольник, которым написана баллада, напоминал переводы с испанского, и какие-то смутные ассоциации с "Кровавой свадьбой" Лорки возникали сразу.

Вайль пишет, что спросил у Иосифа: "Относились ли вы к кому-нибудь как к старшему?" — и Иосиф сказал, что ко мне. Я этого не понимаю. Помню, удивился, когда в 76-м году Иосиф объяснял мне нечто про американскую жизнь и, как бы извиняясь, вставил: "Ну, на этот-то опыт я старше тебя". Он младше меня на три года, но жил так интенсивно, что я с самого начала не воспринимал его как младшего, и мне казалось, что он на любой опыт старше меня.

Я изредка узнаю у него свои высказывания, но это ничего не говорит о старшинстве и авторитете. (Я имею в виду не редакторские замечания, которые он иногда учитывал, а то, что, кажется, осталось у него в подпочве памяти из наших просто разговоров и потом проросло.)

В очень содержательном интервью 81-го года (Анни Эппельбуэн) он в рассуждении о Пушкине повторяет мою

незамысловатую метафору: Пушкин — линза, в которую вошло прошлое и вышло будущее. Я тогда начинал преподавать русскую литературу XIX века. Обзорный курс начинался с Пушкина, и я беспокоился, что у студентов так и останется на всю жизнь представление о том, что наша литература началась с Пушкина. Я им сказал, что до Пушкина было примерно столько же, сколько после Пушкина, и про линзу — что Пушкин был не лучше своих предшественников и последователей, а оказался той ослепительной точкой, в которой сфокусировалось прошлое и будущее. Иосиф, конечно, сказал это лаконичнее, эффектнее.

В комментариях к антологии Алана Майерса Иосиф пишет о Фете, что его стихи напоминают классическую японскую лирику. Это, наверное, тоже из моих рассуждений в классе, которые я ему пересказывал. Я предлагая студентам такой эксперимент: прочитать в английском переводе строфу стихотворения Фета или Алексея Толстого как самостоятельный текст и спрашивал, что это им напоминает:

Not a patch of blue in the sky.
The steppe is all flat, all white,
Only a raven waves its wings heavily to meet the storm[11].

Или:

The last of snow is already melting in the field.
The earth is steaming warmly.
The blue iris blossoms and the cranes call each other[12].

Студенты узнавали: японские хайку.

Или вот, вскоре по приезде в Энн-Арбор я пересказывал Иосифу рассказ моего литовского друга Казиса Сая, как гонимый госбезопасностью Томас Венцлова (я с Томасом тогда еще не был знаком) вызвал его однажды на прогулку для разговора. Дома разговаривать было опасно из-за прослушки. Они ходили по Вильнюсу, и Томас советовался — как поступить. Перед этим прошел дождь, и по тротуару ползало множество дождевых червей. И Казис, хотя и глубоко взволнованный тем, что говорил Томас, следил, как бы не наступить на живого червя, а Томас, увлеченный своим горьким монологом, ничего не замечал и наступал. Через несколько лет в грандиозном обращенном к Венцлова "Литовском ноктюрне" я прочел: "Отменив рупора, / миру здесь о себе возвещают, на муравья / наступив ненароком…"

При всем моем внимательном чтении-перечитывании Бродского я наткнулся не более чем на десяток-полтора следов

моих — может быть — рассказов, замечаний. В некоторых случаях я почти уверен, в иных не очень. Однако этот ограниченный опыт можно смело экстраполировать — вот так из многоголосого гула случайной болтовни со множеством собеседников образовывается поэтическая мысль. Мне не похвастаться хочется: я, мол, Бродскому мысль подсказал, — а интересно видеть вроде как бы экспериментальное подтверждение ахматовского замечания о роли компоста в поэзии. И уж точно, что в каждом случае вырастало нечто качественно новое, отчужденное от первоисточника, не присвоенное, а освоенное Бродским.

А в нескольких случаях я натыкался и на прямое обращение к себе. Как замороженные слова у Рабле, реплики Иосифа оттаивали и требовали ответа. Так я прочел пропущенное в свое время интервью, которое он дал Джону Глэду. Глэд Иосифу процитировал из моей статьи "Английский Бродский": "Писателем можно быть только на одном родном языке, что предопределено просто-напросто географией. Даже с малолетства владея двумя или более языками, всегда лишь один мир твой, лишь одним культурно-лингвистическим комплексом ты можешь сознательно управлять, а все остальные — посторонние, как их ни изучай, жизни не хватит, хлопот и ляпсусов не оберешься". Это писалось в 1979 году, но я и сейчас так думаю, хотя уже тогда надо было сделать исключения для прозы Конрада и Набокова, а лет через пять и для прозы Иосифа. Кто-то из моих американских знакомых вернулся из Ленинграда, рассказывал, что Александр Иванович и Мария Моисеевна сильно рассердились на меня за эти слова. И Иосифа они задели. Он ответил Глэду: "Это утверждение вздорное…" Тут же спохватился (ведь он никогда не говорил со мной грубо, даже когда не соглашался):".. то есть не вздорное, а чрезвычайно, как бы сказать, епархиальное, я бы сказал, местечковое". И тут же приводит аргументы мимо темы — напоминает о двуязычии Пушкина, Тургенева. Мастерами французской литературы ни тот ни другой не были.

А иногда слово отказывается оттаивать. Разбирая архив, я увидел — на одном из черновиков "Эклоги летней" сбоку крупно приписано: "Лёше: о Маяковском". О чем это ты?

Возвращаясь к двуязычию, с Иосифом совершенно особый случай. Его разговорный английский был свободен и богат, но далеко не безгрешен грамматически и фонетически. Кстати, и о тезке Иосифа, Конраде, чей стиль многие считают образцовым в английской прозе, вспоминали, что говорил он по-английски с таким сильным польским акцентом, что его порой было невозможно понять. Вот и Джон Ле Карре, сам прекрасный стилист, дивился, вспоминая об Иосифе: как же так — ведь в

разговоре он косноязычен ("inarticulate"), а ведь пишет в своих эссе прекрасно?

Как у всех у нас, апатридов, английский наезжал у Иосифа на русский. Это не обязательно плохо. Русский литературный язык всегда прирастал кальками иноязычных слов и выражений. В качестве приветствия Иосиф говорил: "Что происходит?" ("What's going on?"). И наоборот, удивлял англоязычных знакомых, калькируя русские выражения, например, прощался по-английски: "Kisses, kisses…" ("Целую, целую…"). Но иногда получается неуклюже. Например, "епархиальное" в разговоре с Глэдом — калька с английского "parochial". По-русски в этом смысле следовало сказать: "провинциальное".

В интервью Эппельбуэн Иосиф рассказывает случай: я приехал из Москвы, мой приятель спрашивает: "Новые стихи привез?" Я начал читать. Он говорит: "Нет, нет, не свои, а…" — и называет московского поэта. Это анекдот из репертуара Наймана. В исходном варианте приехал из Москвы он, Найман, "приятель" — я, и сказал я будто бы Найману: "Нет, нет, не свои, а Пастернака" (то есть дело было еще при жизни Пастернака, в конце 50-х). Сейчас мне не верится, что я мог так нахамить, хотя кто его знает. Я понимаю, почему Иосиф подставил себя на место Наймана в этом рассказе. Ему надо было показать собеседнице, как требовательны к нему были его старшие товарищи, и он воспользовался уже существующим" анекдотом. Между Иосифом и мной такого разговора быть не могло. В это время мы еще не были знакомы. Но забавно, что в его юном восприятии я представляюсь суровым и презрительным "старшим".

Я помню два раза, когда я произвел на Иосифа сильное впечатление. В обоих случаях не совсем понимаю почему. Но и то и другое он потом всю жизнь вспоминал.

В самом конце 1970 года я лежал с инфарктиком в Мечниковской больнице. Однажды под вечер появилась моя докторша, милейшая женщина, имя которой я неблагодарно забыл, и сказала, что сделает мне новокаиновую блокаду. Когда годы спустя я рассказал про эту процедуру американскому кардиологу, он удивился. В Америке про такое лечение не слышали. Ломая одну за другой ампулки с новокаином, докторша делала мне уколы в левую сторону груди, всего уколов двадцать, следы от которых аккуратно окружили сердце. На следующий день меня навестил Иосиф. Принес самодельную рождественскую открытку-коллаж. Она у меня цела. Там особенно трогательны верблюды волхвов, вырезанные из пачки "Кэмела". Я показал Иосифу круг на груди. Он даже покраснел от волнения. Перед уходом попросил показать еще раз. Не знаю, почему это

произвело на него такое впечатление, но и через восемь лет, показывая мне шрамы после операции на сердце, он вспоминал тот мой припухший красный круг.

А в первый раз дело было, наверное, числа 20 июля 1963 года. Нина с нашим новорожденным первенцем была еще в родильном доме. Мы с Виноградовым шли под вечер по Невскому в "Кавказский" ресторан (в подвале у Казанского собора) отметить мое отцовство. На подходе к ресторану увидели бредущего навстречу Иосифа. Помню, что мы оба с Виноградовым обрадовались. К этому времени уже отношение к Иосифу переменилось, снисходительная ирония сменилась живым интересом к необычному человеку. Мы объяснили Иосифу, что празднуем," позвали с собой. Он с большой охотой согласился. Отпировав под звуки зурны и тамбурина, мы, разумеется, не захотели расставаться. Купили еще водки и пошли к Иосифу, который жил тогда поблизости, на канале Грибоедова, в квартире Томашевских. Хозяева уехали в Крым. Я был взволнован — с тех пор, как меня увезли из этого дома в 46-м году, я не так уж часто возвращался туда, а после переезда отца в Москву в 50-м вообще был только один раз. Теперь в моем пребывании в этом доме было что-то незаконное, вроде визита украдкой в перешедшее в чужие руки родовое гнездо. Но я со своими товарищами этими сентиментами не делился. Мы заглянули в кабинет покойного профессора, где стеллажи стояли поперек комнаты, как в библиотеке, и сели со своей водкой на кухне продолжать ресторанный разговор. Именно разговора нам троим не хотелось прерывать, потому мы и пошли к Иосифу, но о чем мы так взволнованно говорили, я не помню. Белые ночи уже прошли, но тьма еще наступала ненадолго, уже светало, и мы сидели за столом, я напротив Иосифа, а Виноградов между нами, и говорили все громче. Я сказал что-то возмутившее Иосифа, и он, почти крича, стал стучать по столу кулаком. "Вот ты стучишь на меня кулаком, — сказал я ему, — и это выдает, что подсознательно ты хочешь меня убить". Как он осекся! Изрекая, не совсем всерьез, свое квазифрейдистское замечание, я никак не ожидал такого эффекта. После паузы он сбивчиво заговорил, и это были благодарные, даже нежные слова. И меня, и Виноградова это удивило и тронуло. В шестом часу утра мы ушли от Иосифа, на пустынном Невском остановили такси. Прежде чем ехать к себе, я завез Леню на Рылеева. Вылезая из машины, он поцеловал меня и сказал: "Спасибо за прекрасную ночь". Шофер посмотрел на нас странно.

После этой ночи мы с Иосифом из знакомых стали друзьями. Но так же, как и с сердечным кругом, я не очень понимаю, почему

его так поразила моя реплика.

Сон на вторник, 30.IV.96

Большая квартира. Люди бродят по комнатам. Вечер, неуютно. В той комнате Иосиф начинает читать. Я перехожу туда. Он сидит перед двумя-тремя знакомыми и читает. Я сажусь рядом. Беру его за руку с нежностью — прохладная рука. Я хочу ему сказать что-то про машинку, которую ему вставят в сердце, но понимаю, что этого говорить не стоит. Вместо этого спрашиваю: можно я зироксну (sic!) то, что ты сейчас читал? Он говорит: ну конечно, конечно. Еще говорит что-то с грустью и нежностью. Роется в портфеле, достает стихи. Тут сзади подходит М. и говорит своим обычным веселым голосом: "Ну, Лешенька, нам пора ехать". Я говорю: сейчас, сейчас. Ужасно не хочется отпускать руку Иосифа. Перед глазами оказывается разломанный шоколадный шар, из которого выпала бумажка со стишком. Читаю первые строки: "Вот взорванный та-та-та домик / раскрылся сразу точно томик…"

Пробуждение словно бы от необходимости запомнить — Не стишок, а чувства нежности, грусти, прохлады. Окончательное пробуждение — я понимаю, что сон был из стихов Иосифа — "С грустью и нежностью", "Сегодня ночью снился мне Петров, он как живой стоял у изголовья…".

Случай на площади Контрдэскарп

Я читал транскрипт интервью, данного Иосифом Адаму Михнику (оно было опубликовано в сокращенном виде), и наткнулся еще на одну скрытую цитату из себя. В интервью несколько раз речь заходит о Солженицыне. В частности, Иосиф говорит, что "Красное колесо" написано не по-русски, а по-славянски, что Солженицын, памятуя о своем статусе великого писателя, принудил себя заботиться о стиле и с этой целью стал подражать Дос-Пассосу ("киноглаз"). И то и другое из моей статьи 1984 года в "Континенте", той самой, из-за которой разыгрался грандиозный скандал. Я писал, что Солженицын, почти как Цветаева, пробует неиспользованные возможности русского языка — лексические и грамматические формы, какие по законам языка возможны, но еще никогда никем не употреблялись. Я писал, что иногда эти эксперименты уж слишком затрудняют чтение: "воронье смельство" — это уже и не по-русски, а на каком-то общеславянском языке. Ну, и про "киноглаз" и Дос-Пассоса — это и все критики отмечали.

Я не уверен, что Иосиф вообще заглядывал в "Красное колесо". Из его высказывания можно заключить, что доспассососовский стиль там преобладает, тогда как на самом деле вставки, именуемые "киноглаз" и стилистически нарочито отличающиеся от основного текста, совсем незначительны по отношению к массивному повествованию. Да, у Иосифа была выдающаяся способность ловить идеи в воздухе, едва ли не с одного взгляда схватывать философские концепции, но с литературой это не срабатывало. К счастью, он не часто судил о литературе понаслышке. Я помню еще только один случай: когда я его в этом заподозрил. У него есть неудачное эссе о современной русской прозе — "Катастрофы в воздухе". В основе этого эссе — доклад, прочитанный на какой-то конференции где-то в Швейцарии. Место доклада я, может быть, и путаю, но хорошо помню рассказ Иосифа, как он его писал. Собственно говоря, он рассказывал мне не о докладе, а о своей горестной судьбе, о том, как трудно ему приходится из-за блядского неумения отказывать. Вот согласился выступить на конференции, уже в самолет пытался накатать выступление, и вдруг понял, что потом не сумеет разобрать свои каракули, и начал писать крупными печатными буквами! он для "Нью-Йорк Ревью оф Букс" сделал из этого доклада "Катастрофой в воздухе". Там есть хорошие мысли о Достоевском и Платонове, но их он высказывал

уже и прежде, а то, что он написал про современную прозу, да. же и на Иосифа-то было не похоже — обоймы имен, как в статьях "Литуратурки", довольно банальные, прямо скажем, характеристики писателей. И даже хвалил военную прозу Бакланова и Бондарева. Уклончиво проборматывал что-то положительное о Распутине, писателе даже на мой менее придирчивый вкус пошловатом. От удивления я не удержался и спросил бестактно: "Да ты их читал?" Ответ был слишком краткий и упрямый, чтобы прозвучать убедительно: "Читал".

Что касается моей статьи об "Августе 1914-го", то он ее читал или, по крайней мере, проглядывал в связи с последовавшим скандалом, кроме того, я делился с ним впечатлениями от романа в июне 84-го года в Париже. Как раз тогда я привез статью из Кёльна, неуверенно предложил ее в "Континент", зная, что Максимов Солженицына недолюбливает, и, к моему " удивлению, Максимов статью не только взял, но и расхвалил ее до небес. Я звонил ему с улицы, из телефонной будки, хотел попросить аванс и совсем взмок, выслушивая его похвалы, перемешанные с горькими замечаниями в адрес Солженицына и его последней прозы.

Аванс я просил у Максимова каждый раз, приезжая в Париж. Всегда думал, что уложусь в бюджет, но никогда не получалось. Я просил аванс, а Максимов просто выдавал мне пособие из своего фонда. Фонд называла как-то вроде "Интернационал борьбы против тоталитарных режимов" и помещался отдельно от редакции на Елисейских Полях. Это был и вправду интернационал — там всегда толпились какие-то камбоджийцы, конголезы… Кстати сказать, надоумил меня просить экстренной финансовой помощи у Максимова Иосиф, который и сам к ней прибегал. Ему вообще очень нравилось, что "Континент" платит гонорары, не очень большие, во сравнимые с гонорарами западных журналов, несколько сотен долларов за подборку стихов или статью. Ему как-то приятно было упоминать это в разговорах. Я его понимал. Дело было не только в деньгах, но еще и в подтверждении нашего профессионального статуса как русских писателей, как-то отделяло от любительщины и графомании, процветавшей в эмигрантской печати. А в тот раз аванс был мне нужен еще потому, что приближался мой день рождения, 15 июня, и я хотел по этому поводу поужинать в хорошей компании — пригласить Марамзина, Иосифа и двух находившихся тогда в Париже Юриев — Кублановского и Милославского. Деньги за борьбу с тоталитаризмом были получены. Гости приглашена Марамзин, с его знанием этого дела, выбрал ресторан. Иосиф, никогда не забывавший моего дня

рождения 67-го года, вздыхал, что, жаль, не будет Уфлянда и Герасимова. Это когда мы говорили по телефону 13 июня. И договорились еще поланчевать вместе на следующий день. Встречу назначили в кафе на площади Контрдэскарп.

На редкость благодушное у меня было тогда настроение. Погода в Париже стояла прелестная. Я показывал Париж дочери Маше, проводил время со старым другом Марамзиным и с новыми талантливыми приятелями — то с Кублановским, то с Милославским. С Иосифом ежедневно болтали, отводили душу. Даже то, что мы встретимся завтра на площади Контрдэскарп, было приятно. Я хорошо знал и любил это очаровательное замкнутое городское пространство, почти все занятое фонтаном, приткнувшись к которому всегда попивали вино из литровых бутылей два- три клошара.

Вот по контрасту с чересчур хорошим настроением и резануло меня то, что произошло 14-го. Собственно, "произошло" — неправильное слово. Произошло — ничего. С утра мы с Машей пошли на что-то поглядеть, на могилу Наполеона, что ли. Потом очень спешили — в метро и от метро, чтобы поспеть к назначенному времени, часу дня. Поспели. Прибежали на площадь Контрдэскарп. Иосиф сидел за столиком на тротуаре. С ним был Адам Загаевский, молодой польский поэт. Есть такое ироническое выражение "Разбежался!". Со мной это произошло почти буквально, потому что я, спеша, подошел к столику и наткнулся на ястребиный и, как мне показалось, ненавидящий взгляд Иосифа. Ошарашенный, я что-то заговорил. Иосиф явно через силу промычал что-то в ответ. Поляк глядел в сторону. Положение становилось нелепым. Я сказал: "Ну ладно, мы пойдем". Иосиф кивнул и отвернулся. Мы пошли. Идти нам было некуда.

День рождения отметили без Иосифа. Он звонил Марамзину, просил передать, что ему понадобилось срочно уехать в Италию. Еще через день позвонила Вероника, чтобы перед отъездом из Парижа я к ней обязательно заглянул. И я узнал, что меня-то еще только краем задел Иосифов нервный срыв. Но это уже не моя история… "Он попросил передать вам подарок", — сказала Вероника. В пакете была элегантная серая хлопчатобумажная блуза и полосатая рубашка. Странно, но я уже видел этот наряд в витрине недешевого магазина на бульваре Сен-Мишель.

Надел я впервые обнову недели через две в Мюнхене, когда отправился на радио "Свобода" читать свою солженицынскую статью. В коридоре радиостанции меня познакомили с Гариком Суперфином, всего несколько недель как освобожденным из советского лагеря и выпущенным на Запад. Во время нашего

короткого разговора Суперфин как-то уж очень пристально меня разглядывал. Потом он сказал: "Извините, но вы одеты точь- в-точь, как одевают зэков в спецлагерях".

"Украдены Ключи Вселенной"

Я никогда не знал ничего толком про ранних, еще до Рейна, Наймана, Бобышева, до Уфлянда, друзей Иосифа. Как это назвать — брезгливость? Снобизм? Не слишком разбираясь в собственных чувствах, я не любил немытую, богемную молодежь, кружки вокруг харизматических дилетантов, многозначительную метафизическую трепотню. Немножко пьянства, немножко наркоты, немножко распутства, неумелая писанина или малевание и жизнь за счет какой-нибудь изнуренной мамы. Смутно именно такой мне представлялась компания, с которой якшался Иосиф до нашего знакомства"" то, что он от нее отошел, я ставил ему в заслугу. Именно поэтому меня особенно возмутили лернеровские доносы, пресловутая статья в "Вечернем Ленинграде", суд. Ведь там Иосиф изображался как исчадие этой клоаки, а он уже давно не имел с ними ничего общего. Нет, и тогда я не считал, что советская власть ошибается только по поводу Иосифа, а каких-то подлинных тунеядцев можно сажать в тюрьму. К тому времени у меня уже были вполне ясные представления о советской власти и все ее действия я считал глупыми и гнусными. Бородатый обормот-художник-поэт-буддист-оккультист в рваном свитере был для меня просто малоприятным человеком, но комсомольский функционер или гэбэшник в гэдээровском костюмчике — выродком.

Но на самом деле я почти ничего не знал о круге друзей юного Иосифа. Что-то мне начал мало-помалу рассказывать, когда приходилось к слову, Гарик Восков, единственный из приятелей юных лет, кто был действительно близким другом Иосифа и остался на всю жизнь. Гарик достался мне как бы в наследство от Иосифа. Мы подружились уже после 72-го года, и в Энн-Арбор он приехал вслед за нами. За эти годы я от него слышал много историй про юного Иосифа, про их общее увлечение индуизмом, про Уманского и Шахматова, но все фрагментарно. И вот, работая над графическим очерком, позвонил Гарику: не даст ли он мне координаты Уманского в Нью-Йорке. Гарик сказал, что звонить Уманскому бесполезно: "Он Иосифа ненавидит. Он всегда говорил, что Иосиф не поэт, а торговец газированной водой. Что Иосиф такой же врун, как и его отец".

Вот еще что рассказал на этот раз Гарик.

(по телефону утром 7 августа 2003 года)

Мы с Уманским очень дружили несколько лет, катались по ночам на велосипедах…

Шурка был вундеркинд. В раннем детстве уже замечательно играл на рояле. Его мать рассказывала, как во время войны где-то, где они жили в эвакуации, ему было лет семь-восемь и он на концерте всех поразил своей игрой. Там был какой-то важный нарком. Этот нарком пришел в восторг и говорит: "Мальчик, а теперь сыграй для нас еще". А мальчик схватил палку и — тр-р-р-р-р — по отопительной батарее: "Вот для вас!"

Его дедушка был поляк, профессор биологии и толстовец, все раздавал. Он вырезал из дерева маленькую свинью. Она открывалась, и внутри можно было рассматривать все органы.

Уманский был небольшой, похож на Сократа — курчавый, негроидные ноздри. Несильный от природы, но очень выносливый, экспансивный и привлекательный. Очень развил себя йогой. Мог прямо как был, в одежде, в ботинках, принять позу лотоса и другие позы хатха-йоги. Но еще до занятий йогой научился останавливать у себя боль. А главное — останавливать мысли, когда они его уж очень одолевали.

Начали-то мы с ним с чтения Демокрита и других греческих философов, а потом нашли довоенное издание Ромена Роллана "Жизнь Рамакришны". Потом наткнулись на Блаватскую, на какой-то теософский журнал — название забыл — помню, что место издания: Париж и Лондон. Это мы все читали в Публичной библиотеке. Уманский, оборванный, небритый, хотя борода у него особенно не росла, сидит в читальном зале, читает "Йога-сутру". Сидит-сидит да вдруг как заорет: "Потрясающе! Я так и думал!"

Однажды я, как заложник, сидел в Публичке целый день. Мы взяли книгу про йогу, Уманский спрятал ее в штаны и вынес из библиотеки, дома всю перефотографировал, потом принес обратно и я книгу сдал.

А еще одно время в Публичке висело замечательное объявление: "Украдены Ключи Вселенной". Эту книгу один наш знакомый украл, но целый год нам не говорил.

Мы с Уманским долго изучали Блаватскую — как надо медитировать, чтобы полностью отключаться и проходить сквозь стены. Наконец решили попробовать. Намедитировались, пошли по коридору и врезались лбами в стеклянную дверь. Стекла были толстые, не разбились.

Один наш приятель работал в Публичке разнорабочим и нашел в подвале кучи книг неучтенных, выброшенных. В основном библии. Там, например, были французские библии XVIII века. Он их потихоньку выносил. И еще там были разные книги по оккультизму. Однажды он своровал из подвала книгу о таро. А Миша Мейлах раздобыл книгу Владимира Шмакова, 1914 года, про арканы Гермеса Трисмегиста. Цифровая символика: 0 — Господь не делает ничего, 1 — начало действия, 2 то, в чем он создает, 3 — активность, процесс действия, 4 — мир создан, 5 — жизнь в этом мире, и так далее до 21. С 22 начинается новый каскад до 42, и так далее до 96. (Цыганское гадание на этом основано.) И еще про символику букв в каббале. Я Иосифу все это рассказывал, и этого много в "Исааке и Аврааме".

Благодаря этому другу, который книги из подвала таскал, я крестился.

Тут я перебил Гарика: "А Иосиф?" "Нет, — сказал Гарик, — Иосиф не крестился". После этого Гарик заговорил о харизматичности Уманского.

Он, например, однажды шел по Невскому, а возле Аничкова дворца (Дворца пионеров) стояла группа подростков, разговаривали о стихах. Они были из кружка поэзии. Уманский остановился, заговорил, они все так и пошли потом за ним в его подвал. И уже вокруг него потом группировались, он их учил. Там был этот, хромой (Я: "Кривулин?" — Гарик: "Да"), Игнатова и потом эта, ну, потом она еще была замужем за евреем с кривым глазом, я к ним приходил, у них дети срали прямо на пол, потом они уехали в Израиль. Самая красивая была Марина Нежданова. Уманский на ней женился. Учил ее математике, йоге, они стали вегетарианцами, а то совсем ничего не ели — уходили в лес без еды и по три дня там по снегу ходили. Потом она ушла от Уманского к "черту", а от "черта" к одному психиатру. А Уманский, уже когда вышел из лагеря, женился на бывшей жене Горбовского Анюте. Анюта потом в Америке повесилась.

"Черт" — художник один. Рисовал себе мефистофельские брови и гулял по Пестеля. Говорил: "Я — черт". Умел гипнотизировать, всю свою коммуналку с ума свел. Он зарабатывал тем, что учил косить от армии на медкомиссии. Люди ему хорошие деньги платили. Но Уманскому бы и так дали белый билет, без косения. Вот когда возле Уманского "черт" появился, Иосиф и стал говорить, что Уманский занялся чернухой.

Мы с Иосифом решили, что на Уманского так в конце концов

индийская философия повлияла. В ней так много всего построено на отрицании, что он и пришел к полной пустоте.

Иосифа привел к Уманскому Шахматов. Познакомились Шахматов и Уманский так. Шахматов после армии работал в Ленинграде, ехал куда-то на грузовике и вдруг видит: возле Пулкова по шоссе идет совершенно голый человек. Это был Уманский.

Шахматов

(Здесь я вставляю отрывок из своего биографического очерка об Иосифе.)

29 января 1962 года Бродского арестовали и два дня продержали во внутренней тюрьме КГБ на Шпалерной. Велось следствие по делу двух его знакомых, Александра Уманского и Олега Шахматова, и Бродскому могли предъявить серьезные обвинения.

Олег Шахматов, отставной военный летчик, способный музыкант и человек с авантюрной жилкой, был лет на шесть старше Иосифа. С детства питавший слабость к авиации Иосиф сошелся с ним довольно близко. Шахматов познакомил его с разносторонне одаренным Александром Уманским, увлекавшимся физикой, музыкой, философией и, в особенности, восточным мистицизмом и западным оккультизмом. После короткой отсидки за дебош в женском общежитии ленинградской консерватории Шахматов уехал в Самарканд и поступил там в консерваторию[13]. В декабре 1960 года Бродский поехал туда навестить приятеля. (Гарик: "Я купил ему билет в Самарканд, потом проклинал себя за это".)

Несколько недель, проведенные в Самарканде с лихим приятелем-авантюристом, имели серьезные последствия в дальнейшей судьбе Бродского. Однажды в вестибюле самаркандской гостиницы он увидел американского адвоката Мелвина Белли (Melvin Belli, 1907–1996). Белли был очень знаменит в Америке. Среди его клиентов были голливудские кинозвезды, в том числе Эррол Флинн, которым Бродский восхищался в детстве, а позднее, через три года после самаркандского эпизода, Белли защищал Джека Руби, убившего убийцу президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Белли и сам снимался в кино. Бродский его узнал по запомнившемуся кадру из какого-то американского фильма. Импровизированно возник

план передать с американцем рукопись Уманского[14] для публикации за границей, но Белли эту просьбу из осторожности отклонил[15]. (Гарик: "Шахматов уговорил Уманского написать два письма президенту Кеннеди. На английский переводила и перепечатывала подруга Иосифа Оля Бродович". В письмах Уманский, видимо, открывал Кеннеди глаза на недостатки советской системы и порочность коммунистической идеологии.)

Вслед за этим друзей осенил фантастический план побега за границу. Бродский, много лет спустя, описывал его так: купить билеты на маленький рейсовый самолет, после взлета оглушить летчика, управление возьмет Шахматов, и они перелетят через границу в Афганистан[16]. В воспоминаниях Шахматова этот план выглядит несколько более реалистическим. У него был пистолет. Когда летчик начнет выруливать на взлетную полосу, Шахматов, угрожая пистолетом, вытолкнет его из самолета; перелетят они не куда попало в Афганистан, откуда их выдали бы советским властям, а в Иран, на американскую военную базу в Мешхеде[17]. Были куплены билеты на рейс Самарканд-Термез, но перед полетом Бродский устыдился намерения причинять вред ни в чем не повинному пилоту, и план был похерен (Шахматов пишет, что просто рейс отменили).

Год спустя Шахматов был арестован за незаконное хранение оружия. Вслед за ним арестовали Уманского, и обвинять их стали уже в изготовлении и распространении антисоветской литературы. На следствии Шахматов среди прочего рассказал и о неосуществленном плане побега за границу. Вот тогда Бродский и был арестован, но, поскольку факта преступления не было, да и о намерении были только показания Шахматова, через два дня его отпустили. Под пристальным наблюдением КГБ он, однако, оставался до выдворения из страны.

Вот что писал два года спустя в официальной справке офицер ленинградского управления КГБ Волков: "Шахматов и Уманский 25 мая 1962 года осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы каждый. Осуждены правильно. Участие же Бродского в этом деле выразилось в следующем.

С Шахматовым Бродский познакомился в конце 1957 года в редакции газеты "Смена" в г. Ленинграде. В разговоре узнал, что Шахматов также занимается литературной деятельностью. Это их и сблизило. Затем он познакомился и с Уманским и вместе с Шахматовым посещали его.

После осуждения Шахматова в 1960 году за хулиганство последний по отбытии наказания уехал в Красноярск, а затем в Самарканд. Оттуда прислал Бродскому два письма и приглашал приехать к нему. При этом хвалил жизнь в Самарканде.

В конце декабря 1960 года Бродский выехал в Самарканд. Перед отъездом Уманский вручил Бродскому рукопись "Господин Президент" и велел передать Шахматову, что Бродский и сделал. Впоследствии они эту рукопись показали американскому журналисту Мельвину Белли и выяснили возможность опубликования рукописи за границей. Но, не получив от Мельвина определенного ответа, рукопись забрали и больше никому не показывали.

Установлено также, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора — не выяснено. Несколько раз они ходили на самаркандский аэродром изучать обстановку, но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в город Ленинград.

Уманский увлекался индийским философским учением йогов, являлся противником марксизма. Свои антимарксистские взгляды изложил в работе "Сверхмонизм" и других работах.

О Бродском Уманский показал, что читал его стихи и раскритиковал их. Считал Бродского болтуном. Об изменнических настроениях Шахматова и Бродского узнал только после их возвращения в Ленинград. Об антисоветских разговорах со стороны Бродского не показал. Бродский по делу Уманского и Шахматова не привлекался. Управлением КГБ по Ленинградской области с ним проведена профилактическая работа"[18].

Продолжение рассказа Гарика

Шахматов привел Иосифа к Уманскому. Я там был, мы познакомились. Иосифу было лет 17–18. Он толком ничего не говорил, только хватался за голову, кричал: "Вы ничего не понимаете!" Он мне сразу ужасно понравился, я увидел — сердце. Я ему сказал: "Ты — поэт". А Уманский отнесся к нему, как ко всем, цинично. Иосиф вызывал у него раздражение.

Иосиф был очень безобидный. Идею всепрощения он уже тогда откуда-то очень крепко усвоил. Однажды мы возвращались с Уманским на велосипедах в город, а навстречу едет Иосиф на только что купленном велосипеде. Измученный, он даже седло не поднял, фабричную смазку не обтер. Я стал поднимать ему седло, Иосиф улыбался и протягивал нам шоколад, а Уманский говорил ему что-то очень циничное: "Шоколадки кушаешь…" и т. п. А Иосиф не отвечал и все продолжал улыбаться.

Тут я опять перебил Гарика: "Иосиф — непротивленец? Он же писал: "Пусть закроется — где стамеска! — яснополянская хлеборезка! Непротивленье, панове, мерзко. Это мне — как серпом по яйцам!"" "Это у него волны такие", — не совсем понятно пояснил Гарик и припомнил другой пример незлобивости Иосифа, тоже связанный с двухколесным транспортом:

Однажды на площади Искусств на него мотоцикл наехал, сбил с ног. Я на мотоциклиста с кулаками, а Иосиф стал меня удерживать: "Нет, нет, нет!" Ну, находило на него иногда, особенно перед бабами. Как-то в Энн-Арборе мы не то что поссорились, но вроде того. Сидел на диване и говорил: "В Никарагуа послать войска… Камбоджу надо было бомбить…" Это не Иосиф. А вот как-то вскоре после смерти Ахматовой сидели мы у Найманов, у Толи и Эры. Иосиф был с Зосей. Рейн был. Еще кто-то. Потом Рейн ушел на кухню воровать мясо из борща. Найман ему говорит: "Ты что, Ахматова умерла, а ты…" Рейн разозлился. А тут Иосиф снял шпагу со стены (у Наймана висела) и начал ею перед Зосей поигрывать. Рейн говорит: "Брось! Отдай!" Вырвал шпагу и ударил Иосифа кулаком в челюсть. Иосиф на минуту потерял сознание. Очнулся и говорит Рейну: "Ты прав". А потом: "Баб развезите по домам сами, я пошел". И ушел. У Рейна из руки, которой за шпагу хватался, кровь льется. Я повез Зосю домой. Кстати, такси стояло прямо у дома, в нем двое гэбэшников сидели.

Дальше Гарик продолжил про Уманского, Шахматова и как дело закончилось тюрьмой для них.

Шахматов чем всех покорил? Талантливый (музыкант), смелый, щедрый. Получит мало-мало денег и сразу всех поит.

Мы с Уманским и Шахматовым однажды решили вести дебаты. Договорились, кто будет выступать за коммунизм, кто за капитализм, и каждый день писали трактаты "за" или "против". Потом гэбэшники нашли у Уманского сочинения Маркса, Ленина, Хрущева все исписанные с замечаниями вроде "свинья" и т. п.

Еще мы с Уманским и Шахматовым пили много. Пьяные вошли в трамвай, стали орать: "Долой советскую власть!" А кондукторша нам тихо говорит: "Вы, ребята, молодцы". Однажды пили водку на Мойке в столовой для спортсменов и ссали из окна. На Дворцовой площади при людях ссали на Александровскую колонну. На углу Невского и Садовой ссали.

Мочеиспускание как выражение нонконформизма и протеста,

видимо, было обычно в этой компании. По этому поводу возникла даже мемуарная перепалка. В книге Волкова Иосиф говорит, за что в первый раз посадили Шахматова: "Он отлил в галоши и бросил их в суп на коммунальной кухне в общежитии, где жила его подруга, в знак протеста против того, что подруга не пускала его в свою комнату". Это вызвало особое возмущение Шахматова, хотя главным в его статье было доказать, что Иосиф все врет и что Иосифа он не закладывал. В своей отповеди Бродскому он приводит свидетельство той самой подруги: "А в галоши написала я, боялась, что ты меня не застанешь в комнате, когда вернешься"[19]. У Шахматова-мемуариста вообще ход мысли удивительный. Отругав Бродского, он переходит к Уманскому:

Этого человека приличные и порядочные люди называли гигантом. Перед ним преклонялись профессиональные музыканты, архитекторы и писатели. Он, сидя на своем знаменитом подоконнике на Желябова, писал фортепианные сонаты, не прикасаясь к инструменту. Я сам присутствовал, когда музыканты Малого оперного трясущимися руками принимали в дар его тетрадки. Театр-студия университета ставила его пьесы и заказывала новые. Когда ему было лень выходить из дома, он выкидывал тетрадки в мусорное ведро. Бродский при мне достал однажды одну и положил в карман. Желая сделать приятное своему отцу, Шурка пришел в институт им. Иоффе, престижный вуз вроде Баумановского, блестяще сдал экзамены и показал им свою статью о природе элементарных частиц. И был принят, несмотря на начавшийся учебный год. Отчислен он был за непосещение лекций по марксизму. (Это, конечно, чепуха. В отличие от московского физтеха ленинградский Физико-технический институт им. Иоффе не учебный, а научно-исследовательский. — Л.Л.) Те, кто хотел видеть дальше своего носа, тянулись к нему, и он моментально находил нужные слова, освещающие этому человеку его путь[20].

И заключает свою хвалу другу Шахматов так: "Вот Шурку я продал, потому что знал, что его все равно посадят"[21].

В 92-м году, вернувшись из Европы, Иосиф рассказывал: после выступления в Мюнхене подошел бомжеватый пожилой человек, спросил: "Не узнаешь?" Оказалось, Шахматов. Сказал, что ночует в русской церкви. Показал бутылку бренди за пазухой, предложил пойти поговорить: "Нам надо объясниться". Иосиф сказал, что объясняться не о чем. Шахматов отошел, и мюнхенский "кореш" (так Иосиф обозначил своего спутника) спросил, кто это был. Иосиф ответил: "Человек, который меня заложил КГБ"[22].

Гарик об аресте Шахматова и том, что последовало,

рассказывает так:

Шахматову [за галоши] дали год. Иосиф как раз был летом в Сибири, в Красноярске зашел к его матери. Рассказывал: "Вышла женщина с большими печальными серыми глазами".

А раскололи Шахматова так. Когда он был в лагере, один прибалт рассказал ему, где в Красноярске спрятан клад. Клада он не нашел, а нашел пистолет ТТ. Вскоре его опять забрали за уличную драку и при обыске нашли пистолет. Теперь ему обламывалось от шести до восьми лет. Вот тут он и сказал следователю: "У меня есть специальная информация, я знаю о существовании подпольной антисоветской организации в Ленинграде". Он им наговорил, будто группа Уманского имеет оружие и радиостанцию. Имен назвал человек тридцать, даже тех, кого видел один-единственный раз. Его повезли в Ленинград, а к Уманскому тем временем подослали стукача. Мы стукача легко вычислили. Но Уманский — юродивый, стукача не выгнал.

Я в это время был на севере, в Лавозере. Хотел там устроиться у знакомого начальника геодезической станции. Изучали северное сияние, Новый год встречали, 1962-й. А тем временем в Ленинграде начались обыски.

Был среди нас один хороший малый, Геннадий, фанатичный музыкант. Жил вдвоем с матерью в комнате, которую почти всю занимал рояль. На рояле стоял бюст Бетховена, и ели они на этом рояле. Когда к нему пришли с обыском, спросили: "Холодное оружие есть?" Он сказал: "Есть", — и подал им перочинный ножичек.

Иосиф мне написал об обысках и пр., но письмо перехватили. 28 февраля начальник станции мне вдруг говорит: "Мы тебя на работу взять не можем, уматывай". Отвезли меня на станцию. Пока ждал поезда, захожу в буфет. Там двое. Обычно в пустынном месте, когда новый человек входит, на него смотрят, а эти, наоборот, сразу уткнулись в тарелки. Ну, понятно… Мурманский поезд пришел в Ленинград на Московский вокзал в шесть утра, и два этих типа да еще милиционер-гигант с усами встречают меня у вагона. Посадили меня с моими лыжами в черную машину и повезли на Литейный. Сначала до восьми утра какие-то шли пустые разговоры, а потом настоящий следователь, полковник, проснулся, приехал и с восьми начал меня допрашивать. Я пытался по вопросам понять, что они знают. Расспрашивали про Иосифа. Я говорю: "Да он — поэт…" — "О чем вы вели с ним разговоры?" — "О погоде и о спорте". Стали на меня орать: "На вас тридцать человек показали, что вы все знаете!"

Времена были, по известному выражению, "вегетарианские", так что Гарика, Иосифа и остальных, постращав, отпустили. Уманскому за антимарксистские трактаты дали пять лет и Шахматову столько же, видно, со злости, что впутал ГБ в дурацкую историю.

И вот последнее, что припомнил Гарик об отношениях Уманского и Бродского.

Перед моей эмиграцией [1977] Уманский, уже давно отсидевший, дал мне толстую тетрадку с критикой стихов Иосифа, чтобы я ему передал. Он доказывал, что у Иосифа нет никакой поэзии. Мне эта роль посредника не понравилась, и я тетрадку в печке сжег. В Америке рассказал Иосифу, он сказал: "Жаль".

У Гарика интересно устроена память — он припоминает иногда самые мелкие обстоятельства, но признается, что не помнит иных важных событий. Однажды он поразил меня таким высказыванием: "Знаешь, я вдруг вспомнил вчера, что у меня была другая, первая, жена, еще до Людки. Но абсолютно ничего о ней не помню, кроме того, что она любила есть серединки из лука".

В глубине Адриатики дикой…

Так Иосиф перевел строку из стихотворения Умберто Саба, и отсюда родилось ставшее теперь расхожим: "Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря…" Я не буду здесь каталогизировать всех бесконечных вариаций этого острого ностальгического мотива в его стихах, где он представлен то лирически преображенными личными воспоминаниями, то чистыми фантазиями о другом варианте жизни — ординарной, анонимной, на берегу моря и вдали от тех городов, где делается политика и культура. Его очаровывали поэтические судьбы Кавафиса в Александрии, Пессоа в Лиссабоне (о стихах Пессоа он сказал мне непонятно: "Это такие стихи, завернутые сами на себя"; если он имел в виду то, что называется self-referentiality, намеки на и отсылки к другим собственным текстам, то этого, кажется, у Пессоа не больше, чем у любого другого поэта). В Триесте, по-моему, таким местным гением ему представлялся не Саба и, конечно, не Джойс, а случайно открытый в средиземноморском захолустье гений — Свево, "итальянский Пруст". На самом деле все эти жизни были печальны, что, конечно, Иосиф знал, но он ведь никогда и не пытался пожить жизнью служащего человека в провинциальном городе у моря. Дачные недели в Гурзуфе и в Ялте, в Комарове, на Кейп-Коде или шведском острове не в счет. Если бы он и вправду хотел забиться в самый дикий угол Средиземноморья, он мог попробовать пожить в Таганроге, но он прекрасно сознавал, что действительно жить в воображаемой географии невозможно. Ничего не выйдет, кроме неудобства и скуки и, безусловно, пустоты там, где стоял милый вымышленный город.

Воображаемая география вымышленных городов! Есть известное место в "Записках из подполья", где Достоевский называет Петербург "самым отвлеченным и самым умышленным городом на свете", которое многие неправильно понимают, потому что прилагательное "умышленный" в современном сознании связано только с преступлением. Я убежден, что Достоевский употребил "умышленный" в том смысле, в каком ренессансные писатели употребляли слово "идеальный", то есть данный в идее. Это можно прочесть на музейных табличках под картинами с изображением странноватых городов — "Citt & ideale", градостроительная фантазия. В русском языке нет глагола "идеировать" от слова "идея", означающего ментальное действие идеями. В англо-русском словаре to ideate не переводится, но

объясняется: "формировать идею, понятие, вынашивать идею", и дан хороший пример: "the state which Plato ideated". Петербург — город "which Петр I ideated". Процесс "формирования идеи", идеации Петербурга описан Пушкиным: "И думал он…" и т. д. Достоевский, с его пожизненным интересом к архитектуре, безусловно, не раз видел citta ideale в европейских музеях. Все города в стихах Иосифа идеальные, умышленные: ".. за моей спиною… тянется улица, заросшая колоннадой… в дальнем ее конце тоже синеют волны Адриатики" ("Вертумн") — это беглый взгляд то ли на ведуту Каналетто или Гварди, то ли на полотно де Кирико, но это и ur-город, элементарный кристалл, из которого в воображении разрастаются другие метафизические города его стихов. То, что сын фотографа часто создает эти города приемом двойной экспозиции — Флоренция-Петербург, Милан-Петербург, Венеция-Петербург, — объясняется не просто тоской по родному городу. Здесь есть более глубокий ностальгический мотив — тоска по мировой культуре, по всечеловеческим холмам (как великодушно интерпретировал Мандельштам Версилова!). Ведь Петербург и был последним в Европе городом, идеированным, по крайней мере, в эстетическом плане, из наследия классической средиземноморской цивилизации.

Строя свои города, Иосиф сознательно отдавал предпочтение идеализирующему воображению перед памятью. По поводу своего стихотворения "На виа Джулиа" он говорил, что римская виа Джулиа: "Одна из самых красивых улиц в мире. Идет… вдоль Тибра, за палаццо Фарнезе. Но речь не столько об улице, сколько об одной девице… Как-то я ждал ее вечером, а она шла по виа Джулиа под арками, с которых свисает плющ, и ее было видно издалека, это было замечательное зрелище. Длинная улица — в этом нечто от родного города, и от Нью-Йорка… "[23] Красавица приближается из перспективы увитых плющом арок по виа Джулиа, которая существует только в идеальном городе-кристалле с гранями отблескивающими то Римом, то Петербургом, то Нью-Йорком. На настоящей виа Джулиа всего одна арка — она соединяет крыло дворца Фарнезе и церковь Св. Марии, Молящейся за Мертвых, напротив. Далее тянется действительно довольно длинная, узкая и скучноватая улица.

> И я когда-то жил в городе, где на крышах росли
> статуи, и с криком: "Растли! Растли!" —
> бегал местный философ, тряся бородкой,
> и длинная мостовая делала жизнь короткой.

Иосиф позвонил и спросил, где Розанов призывает: "Растли! Растли!" Я ничего такого вспомнить не мог. Вспомнил про целомудренную проституцию — насчет того, что незамужние девушки должны по вечерам выходить на улицу и благопристойно, с цветком в руках, ожидать мужчину. Не то, ему надо было именно "Растли!". Я сказал, что перезвоню, и весь вечер внимательно, но безрезультатно листал Розанова. Не найдя призыва к растлению, я написал письмо большому знатоку Розанова, старому поэту Юрию Павловичу Иваску. С Иваском у нас как раз тогда была кратковременная переписка. Иваск прислал мне обличительное письмо: я неправильно квалифицировал какие-то сонеты в рецензии, между прочим, благожелательной, на книгу его еще более голубого приятеля, знатока китайского языка, жителя Рио-де-Жанейро, Валерия Перелешина (настоящая фамилия куда лучше бледного псевдонима: Салатко-Петрищев!). Я не сказал Иваску, зачем мне нужно было отыскать цитату, так как с Иосифом они были соседи в Массачусетсе, но отношения как-то не сложились. Иваск, к моему смущению, бурно расхвалил меня за то, что я интересуюсь Розановым, но сказал, что ничего похожего у Розанова нет. Все это я и доложил Иосифу. Но он оставил, как первоначально написалось. В память сердца он верил сильней, чем в печальную память рассудка. Я был бы рад, если бы кто-то, прочтя эти строки, посрамил бы меня и Иваска, указав том и страницу, где Розанов призывает: "Растли! Растли!"

Германское

Андрей Сергеев деликатно и верно объясняет странное среди других увлечений молодого Иосифа увлечение романтической стороной немецкого милитаризма. Разумеется, это было далеко в стороне от его основных интересов, так, чуть-чуть и не всерьез, ну и, разумеется, вермахт воспринимался в полной изоляции не только от нацизма, но и от военно-исторической стороны дела. К тоталитарной идеологии, идеологам-тиранам и рифмующимся с ними массовым баранам Бродский относился с отвращением и презрением. Но как-то в его воображении дистиллировался поэтический образ солдата со шмайсером на груди, тоскующего по своей девушке и т. п. Это было не так уж уникально. У Солженицына в "Круге первом" герой с сочувствием упоминает немецкую "Soldatentreue" (солдатскую верность). Не говоря уж о том, что среди самых популярных писателей эпохи был Ремарк, чьи романы замешены на Soldatentreue, эротике и жалости к загубленной молодой жизни. Еще в России Иосиф читал Курцио Малапарте, его жесткую военную журналистику, столь отличную от риторики Эренбурга, Шолохова и Алексея Толстого. Ему уже взрослому нравились фильмы про войну. Он сам мне рассказывал, что на просмотре американского патриотического боевика "Самый длинный день" о высадке в Нормандии, когда в конце зазвучал американский гимн, он вскочил и слушал стоя. Не сомневаюсь, что это было отмечено всеми стукачами московского Дома кино. А Вероника вспомнила, как однажды они пошли в популярный ресторан в Париже, у дверей была очередь, они отстояли, но швейцар по своим швейцарским соображениям начал пропускать кого-то вперед. Вероника стала качать права, и швейцар слегка ее оттолкнул. Тут же ей пришлось хватать за руки Иосифа, который, рассвирепев, пытался расправиться с хамом, при этом крича (по-английски): "Забыл, подонок, что мы вас освободили!" В минуту гнева он уже не отделял себя от тех, кто высаживался в Нормандии. Но, видно, поэтика солдатчины казалась ему наиболее органичной у немцев. Можно рассматривать эти сентименты как привезенные из побежденной Германии военные трофеи, подобно фильму про Марию Стюарт с Зарой Леандер.

Его единственное стихотворение на эту тему, "Лили Марлен", куда более лирично, чем пародийно. "Лили Марлен" Иосиф с чувством и очень музыкально пел в подвыпившей и подпевавшей компании. Это — вольный перевод популярного в годы Второй

мировой войны по обе стороны Западного фронта шлягера. Иосиф сохранил основные образы оригинала — свидание под фонарем за воротами казармы, страх быть убитым и надежду вернуться, — но "устервил" эту банальную военно-лирическую образность. (Его выражение, не вполне довольный каким-нибудь текстом, он говорил: "Надо бы еще устервить".) У Иосифа — кружащиеся попарно осенние листья вместо "вечернего тумана", круглые коленки вместо "dein verliebter Mund" и развернутые на два куплета окопные переживания вместо одной строки "и если со мной приключится беда". Так же, может быть, и не вполне сознательно он переводил с банального на поэтический в другой, советской, военно-лирической песне, которую тоже иногда напевал: ".. и лежит у меня на погоне осторожная ваша рука…" (в оригинале Е. Долматовского "на ладони"). Если какая-то лирическая реальность исчезла из "Лили Марлен" в вольном переводе Иосифа — это фигура "камрада", приятеля-часового: "Уже часовой кричит: "Опаздываешь к отбою, это тебе обойдется в трое суток (Schon rief der Posten, / Sie blasen Zapfenstreich/ DasKann dreiTagekosten)…" — "Товарищ, уже иду (Kam'rad,ich komm sogleich)…"" Но немецким словом "Kamerad" он обычно заменял; в разговоре слово "друг", словно бы военный оттенок, который он там улавливал, усиливал этическое содержание слова. В 65-м году, рассказывал о том, что так и осталось для него главной личной катастрофой, он, чтобы я лучше понял, в чем дело, сказал: "Это как будто ты был на фронте, а твой камрад спал с твоей женой…" В 1994 году он написал прощальное стихотворение "Меня упрекали во всем, окромя погоды…" и в английском автопереводе назвал его "Taps" ("Отбой", немецкое "Zapfenstreich" из третьего куплета "Лили Марлен"). Принятый в американской армии со времен Гражданской войны сигнал отбоя полагается также играть, когда тело солдата предают земле. Исполняемый горнистом, он удивительно красив, душу выворачивает.

В Норенской, рассказывал Иосиф, их однажды отправили в лес трелевать бревна вдвоем с его домохозяином Пестеревым. Важить (подцеплять и катить ствол длинными жердями-вагами) и подтаскивать (трелевать) бревна к лесной дороге — работа тяжелая (я знаю — трелевал, когда нас посылали работать в колхозы). День был осенний, холодный. Хозяин и работник не слишком заботились о выполнении нормы и больше сидели на бревнах, перекуривали. Пестерев вспоминал войну. По рассказу получалось, что война была самое счастливое время его жизни. Он почти сразу попал в плен и до конца войны работал в Германии на бауэра. И такой там был порядок, и так сытно

кормили, и так все было справедливо, и так богато и культурно живут немцы, даже деревенские, Иосиф Александрыч… Между тем закапал и становился все сильнее и ледянее дождик. Сидеть стало очень мокро и холодно, и Иосиф предложил поработать, чтобы согреться. Пестерев же продолжал свои сладкие воспоминания. Замерзая, Иосиф снова предложил поработать, подвигаться. Но Пестерев этого просто не слышал: дождь не дождь, но как это работать, если надсмотрщиков поблизости нет и можно сидеть и курить. И тогда окоченевшего Иосифа осенило. Он встал и гаркнул: "Arbeit!" Пестерев быстро поднялся и взялся за вагу.

Марина

У Иосифа смолоду было много друзей, в том числе близких, таких, кого он любил и кому полностью доверял. Но у него не было желания всех их между собой перезнакомить и подружить. Получались группы друзей, между собой разделенные почти непроницаемыми перегородками, вроде отсеков подлодки. Я был в одном отсеке с Уфляндом, Виноградовым, Ереминым, Герасимовым. С Рейном, Бобышевым, Найманом мы общались, а вот ранних геологических друзей совсем не знали. С Яшей Гординым я был издавна, но мало знаком, с Гариком Восковым подружился после отъезда Иосифа, так же как с Чертковым. Никого не знал из московских друзей. Сергеева я так никогда и не видел. Кое-кого из Литвиновых-Слонимов встречал случайно и мимолетно. С Голышевым встретился только на похоронах Иосифа. С удивительным Мишей Ардовым я познакомился в 1998 году в Москве, потом еще встречался в Америке, иногда мы переписываемся. Я не знал Ахматову и весь ее круг — Чуковскую, Н.Я. Мандельштам, Томашевских. Надо остановиться, ибо список близких Иосифу людей становится слишком длинным и конец его теряется в тумане моего неведения.

Марину я почти не знал до того, как Гарик, после отъезда Иосифа, привел ее к нам на Светлановский и она промолчала весь вечер. Редко-редко она появлялась в "Костре". Этому всегда предшествовали драматические сцены в редакции: "Срывается график!" Телефона у нее то ли не было, то ли она к нему не подходила. Наша крошечная старушка-курьер Мария Рафаиловна возвращалась и докладывала, что звонила-звонила, но дверь не открыли. Иногда в конце концов она появлялась. Поздно, часов в восемь, когда в редакции никого не было, кроме уныло дожидающегося художественного редактора. Ей все это сходило с рук. Считалось, что она очень талантлива. Было известно, что работу в срок она не сдает — а иногда и вовсе не сдает — не потому, что ленится, а потому, что без конца переделывает.

Странно было, что легкие, словно бы и небрежные, рисунки и нежные, как будто мгновенно написанные акварели появляются в результате таких изнурительных трудов.

Наши художники-редакторы еще и потому с ней цацкались, что и ее родители, Павел Иванович и Наталья Георгиевна Басмановы, пользовались среди ленинградских художников уважением. От них Марина унаследовала легкую, нежную, праздничную мастеровитость и, видимо, странности характера.

По рассказам, жили Басмановы замкнуто, в захламленном жилище возле Мариинского театра. Говорили о чудачествах Павла Ивановича. Будто бы он, инородец с Алтая, презирал городскую цивилизацию и запретил проводить к себе в квартиру то ли электричество, то ли газ. (Газ, наверное, все-таки.) Учеником Матюшина и Малевича он был, в его живописи есть супрематистская чистота, но, в отличие от В.В. Стерлигова, совершенно не интересовался живописными теориями и космической философией своих учителей. В Союзе художников считали, что у него абсолютное "эксгибиционное чутье", и всегда хотели, чтобы он руководил развешиванием работ на выставках, и все его указания выполняли. Иосиф считал, что Павел Иванович лютый антисемит и ненавидит его именно по этой причине, но Миша Беломлинский говорит, что к себе никогда такого отношения Павла Ивановича не чувствовал. "Конечно, он относился к нам с Гагой немножко насмешливо, но именно как к художникам, считал нас трюкачами. Но давал советы, какие картинки как повесить, а какие лучше вовсе не выставлять, и всегда потом оказывался прав. Иногда мы с ним выпивали немного в ресторане Союза художников. В то время бумажные салфетки не всегда были и в стакане на столе стояли нарезанные кусочки бумаги. Павел Иванович их вынимал, говорил: "Хорошая бумажка, на ней рисовать можно", — и клал в карман. Он интересно ел пирожные. Выдавливал крем и намазывал его на хлеб. Съедал сначала хлеб с кремом, а потом остаток пирожного".

По рассказу Гарика Воскова, Марину с детства учили рисовать не родители, а близкий друг семьи Владимир Васильевич Стерлигов (1904–1973). Стерлигов, как известно, был наставником целой плеяды ленинградских художников того поколения. Энтузиаст, он пережил и лагеря, и войну, всю сталинскую мерзость. В общем-то не такое уж долгое время, лет двадцать отделяло 1956 год, когда стало можно приподниматься, от расправы с последней волной русского авангарда в середине 30-х. И не один Стерлигов выжил, но, кажется, он один принялся продолжать как ни в чем не бывало. (Он писал в начале 60-х годов: "А потом начался серый дождь… Не знаю, сколько времени он длится. Он заволок прямые зеркала в руках Малевича, Филонова, Татлина, Матюшина, как заволок и их самих, но теперь, кажется, серый дождь начинает проходить"[24].) Вслед за Малевичем у Стерлигова было видение идеальной живописи белым по белому ("чистейшее прикосновение к Истине", пример "прекрасной фантазии, освобожденной от всяких излишеств"). Иосиф вспомнит это в "Римских элегиях". И вообще Марина крепко связана в его сознании с образностью художественного

авангарда начала XX века. В Псков они ездили зимой 63-го года посмотреть "Купание ребенка", небольшое полотно Шагала, и очаровательные псковские церкви, "белые на белом" (стихотворение "Горение"). Стихотворение, написанное в Америке к ее сорокалетию, в визуальном отношении — как картина Брака. Она там — "гитарообразная вещь со спутанной паутиной волос", и общий тон — коричневый.

За пределы модернизма художественные вкусы Иосифа не распространились. Модное современное искусство он считал барахлом, оно его раздражало. Когда ему предложили отпраздновать пятидесятилетие в залах гуггенгеймовского Музея современного искусства, он сказал: "На одном условии — чтобы все картины перевернули лицом к стене".

Басмановы на дух не переносили Иосифа, с какого-то момента на порог его не пускали, но Бродские тоже Марину не жаловали. В разговорах называли ее с холодным презрением "эта мадам". Особенно непримирим был Александр Иванович. Мария Моисеевна еще довольно долго, по крайней мере до моего отъезда, продолжала слабо надеяться, что ее подпустят ко внуку.

В сложных отношениях Иосифа с Мариной я не разбирался и не любопытствовал. Сам Иосиф, по возвращении из ссылки, как-то принялся мне рассказывать, что произошло между ним, Мариной и Бобышевым. ("Это как будто ты был на войне, а в это время твой камрад спутался с твоей женой", — как я уже упомянул.) На короткое время их отношения восстановились. Когда Марина была на сносях, у Иосифа стала, по его выражению" "садиться психика" от волнений — страха и радости. Однажды он привел меня к себе и, дико взглядывая, выпячивая нижнюю челюсть и хватаясь за голову, начал расспрашивать меня как отца уже двоих детей, где достать детскую кроватку. Мария Моисеевна тоже взволнованно участвовала в разговоре, а Александр Иванович презрительно молчал. Точно так же ошалелый от волнений Иосиф, двадцать пять лет спустя, вызвал нас с Ниной посоветоваться перед рождением дочери. Мы ему говорили успокоительным тоном общеизвестные истины, он жадно слушал, а мы радовались: помолодел.

В тот, первый раз мои советы не пригодились, так как, с кроваткой или без, Иосифа от сына отстранили и даже от имени его отказались. Марина записала сына Басмановым, Андреем Осиповичем.

Перед отъездом, осенью 75-го года я заходил к ней пару раз. Я ей отдавал деньги, какие-то большие по нашим тогдашним масштабам (оставшиеся у нас от продажи квартиры и мебели). Иосиф должен был возместить нам это в Америке по тогдашнему

негласно установленному чернорыночному курсу. Курса этого не помню, но, естественно, по нему тысяча рублей превращалась в скромное количество долларов. У Марины был чердак-мастерская, где-то возле улицы Марата. В углу, отгороженном рухлядью, то ли спал среди дня, то ли болел семилетний Андрей. Уладив денежное дело, я спросил ее, а не хочет ли она с сыном уехать к Иосифу. Скажем, при помощи фиктивного брака с иностранцем. Я спросил по собственному почину. Мне наивно представлялось, что вот как славно все может наконец сложиться у Иосифа: любимая женщина, сын и при этом свобода и материальный достаток. Мне даже представился — домик. Марина смугло покраснела и сказала: "Ну вот, приеду я туда, а он побежит за первой же юбкой". И совершенно так же покраснел Иосиф, напряженно слушая мой пересказ этого разговора несколько месяцев спустя в Мичигане, и хмыкнул как-то неловко: "Это я-то побегу за юбкой…"

В течение первых нескольких лет в Америке он составлял планы перевоза Марины с сыном на Запад. Но, насколько мне известно, совместного домика в этих планах не было. Были яркие, но практически трудно осуществимые мечты поселить их в Европе. Лучше всего в Голландии. Ведь Марина по бабушке Эндховен. И в Ленинграде жила недалеко от Новой Голландии.

Какая была Марина на самом деле, я не знаю. Недавно Бобышев опубликовал свои "kiss-and-tell" воспоминания. В них Марина выглядит задержанной в развитии: молодая женщина ведет себя как школьница с припиздью. Говорит пошлости, пишет записочки секретным шифром, вообще выпендривается и, в соответствии с таким поведением, считает Бобышева лучшим поэтом. В отличие от Наймана Бобышев не лукав, не манипулирует прошлым, пишет как помнит. Другое дело, что помнит он все в вульгарно-романтическом освещении. Сцены его объяснений с Иосифом сильно смахивают на худшие страницы "Идиота". Взоры соперников сверкают. Оба взглядывают то на нож, то на топор. В заключение Дима бьется хотя и не в эпилептическом, но в истерическом припадке. Он, стало быть, Мышкин, а Иосиф — Рогожин. "Парфен! Не верю!" Марина в качестве Н.Ф. вместо пачки денег поджигает на даче портьеру. Нет ничего общего между подружкой Бобышева и М.Б. в лирике Бродского — космическим эросом, его *altra ego,* без которой сам он "пустой кружок". Более того, даже в трезвом постскриптуме к истории любви, "Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…", М.Б. у Бродского нормальная женщина ("молода, весела, глумлива"), а не взбалмошная дуреха. "Чудовищно поглупела" она позднее, даже не тогда, когда "сошлась с

инженером-химиком"[25], а еще позже. "Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива". Между отливом, описанным в стихотворении, и тем космическим приливом любви, который нахлынул на 22-летнего Иосифа, прошло четверть века. По-русски стихотворение оставлено без названия, но в английском варианте он дал ему название, заимствованное у Малларме (он нередко пользовался чужими названиями), "Brise marine".

Любовь

Я ночевал в Нью-Йорке у Иосифа. Он был в отъезде. На рассвете меня разбудил телефон. Из трубки раздался жаркий шопот: "Ты что делаешь?" ("What are you doing?"). Я глуповато ответил: "Sleeping" ("Сплю"). То, что стало дальше происходить в трубке, меня сильно смутило, и я положил ее на место мягко, с бессмысленной деликатностью. Я рассказал Иосифу об этом, когда он вернулся, он похмыкал и перевел разговор на другую тему.

Вообще я записываю это только потому, что, по-моему, — я знаю, что рассмешу многих общих знакомых, — Иосиф не был донжуаном. В правительстве Джимми Картера был такой несдержанный на язык секретарь по сельскому хозяйству, который однажды обидел всех католиков страны. По поводу тех ограничений на сексуальную свободу, которые проповедовал римский папа, он сказал: "Кто не играет, тот не устанавливает правил". Я тут сам немного в положении папы римского. Будучи всю жизнь примерным семьянином, что я понимаю в промискуитете? И все же я убежден, что при всех своих многочисленных романах и мимолетных связях Иосиф не был бабником в смысле при всяком удобном случае подъебнуться. Как-то из чисто социального любопытства я спросил, пользовался ли он хоть когда-нибудь услугами проституток, и еще до того, как он покачал головой, я понял, что задал глупый вопрос. Зачем? Он страшно нравился женщинам. Бывало, что спасался бегством из собственной квартиры от решительной дамы с чемоданом: "Я к вам пришла навеки поселиться…" Он приехал в Америку уже победившей сексуальной революции. Вокруг всегда было предостаточно молодых женщин, готовых разделить досуги русского поэта. Иные тут же описывали эти досуги в стихах и прозе. В 1976 году Профферы хохотали над рукописью французской славистки. Она прислала в "Ардис" свой интимный дневник. Акт любви, писала она, сопряжен для русского гения с мистическим экстазом. В высший момент он восклицает: "Бог!" "Ох!" — сухо поправил Иосиф. На самом деле Иосиф не был бабником — он был влюбчив. Ляля Майерс, в течение многих лет друг и конфидантка Иосифа, говорила мне: "Он ведь на всех хотел жениться!" И правда, на годы, на день ли — он влюблялся. "Посмотри, какая она прелесть — тонкая кость!" — передразнивала покойного друга Ляля и с женской беспощадностью добавляла: "Тонкая кость — ноги как у рояля!"

До какого-то момента, пока я хотя бы в этом отношении не поумнел, я время от времени заводил с Иосифом разговор о достоинствах его новой (или старой) подруги, о том, как дивно бы преобразилась его жизнь, если бы он женился, зажил бы по-семейному. (Мне все они очень нравились.) Однажды, будучи особо серьезно настроен, он сказал, что это невозможно. Почему? Потому что проходит какое-то время и неизбежно из отношений улетучивается — поскольку лучшего слова найти было невозможно, он сказал: лиризм. А без этого все лишается смысла. (В одной черновой тетради у него есть набросок очень милого начала стихотворения, верлибром, о мимолетных подругах первых лет в Мичигане, воспоминание о них превращается в осенний пейзаж — голубизна крепдешина и шелка стала голубизной неба, рыжие волосы золотыми осенними листьями.)

В конце лета 92-го года мы вернулись из Европы. Я нажал кнопку автоответчика и сразу же услышал звонкий, каким я его давно не слышал, ликующий голос Иосифа: "… звоню из глубины шведских руд…" Вскоре он позвонил опять и, ликуя, рассказал, что произошло: "Это такой праздник для зрения, для всех чувств… Ну, ужо увидите…"

Я абсолютно не согласен с теми, кто считает, что пик творчества Бродского приходится на 60-е годы или начало 70-х, или 80-х. Он писал по-разному прекрасные вещи и тогда, и тогда, и тогда, но, если судить этого гения по законам, им самим для себя созданным, он писал все лучше и лучше и в последние три-четыре года жизни достиг умонепостижимого совершенства, и лиризм не покидал его до 28 января 1996 года.

Анекдоты

Анекдоты Иосиф любил слушать, а особенно — рассказывать, смешные, но почти все грубо-эротические.

"Знаешь, почему мужчины так сходили с ума от Виолетты Валери?" (чахоточная героиня оперы "Травиата"). — "Нет". — "Дай палец". Он зажал мой указательный палец в кулаке и покашлял. При каждом покашливании кулак как бы непроизвольно сжимался.

"Самолет идет на посадку в Найроби. Один пассажир говорит другому: "Здесь у половины населения СПИД, у другой — туберкулез". — "Значит, е… можно только тех, которые кашляют?""

Или вот одна общая знакомая вспомнила анекдот, который Иосиф театрально, "в лицах", рассказывал ей в офисе издательства "Фаррар, Страус и Жиру".

"На шоссе в Сицилии молодой человек и девушка останавливают проезжающую машину. Девушка садится на заднее сиденье, а молодой человек — рядом с водителем, наставляет на него пистолет и приказывает ему мастурбировать. Водитель выполняет требуемое. "Еще раз!" — приказывает молодой человек. Не без труда, но водитель доводит себя до оргазма второй раз."Еще!" — "Но это невозможно!" Молодой человек тычет ему пистолетом в висок. Невероятными усилиями водитель делает это в третий раз. "А теперь, — говорит молодой человек, — не подбросите мою сестру до Палермо?""

Впрочем, в последнем анекдоте, который я от него услышал, ничего похабного не было.

"Два грузина возвращаются с охоты, тащат убитого медведя. Попавшийся навстречу прохожий шутливо спрашивает: "Гризли?" — "Нэт. За- стрэлили"".

Найман

"Я сижу в Риме в кафе" Греко" со старой знакомой, разговариваю, вдруг вижу — эти черненькие глазки, Найман. За столик не садится, ходит, рассматривает картинки на стенках. Увидел нас, подсел, поговорили, он ушел, а теперь я читаю…" Иосиф раздражен, огорчен. Найман описал эту встречу в стихотворении таким образом, что, выходит, женщина в кафе — любовница Иосифа. Иосиф говорит: "Да ни сном ни духом. И ведь он же знает, что это может прочитать моя жена, теща…" Меня удивило, что теща Иосифа в Тоскане вчитывается в стихи Наймана, но кто знает. Слышно, что Иосиф действительно сильно расстроен. Я говорю ему, что думаю о Наймане.

А что я, собственно, о нем думаю? Познакомился я с Найманом страшно давно, но многие годы он был для меня где-то поодаль, в третьем составе. Бывало, придешь в театр и смотришь в программку. Если птичка карандашом поставлена против имени любимого артиста, играющего в первом составе, повезло. Если против имени артиста второго состава, огорчительно, но, может, и ничего еще. А иногда печаталось нижним в столбике или вписывалось сбоку от руки третье имя. Примерно так мной воспринималась, как я теперь понимаю, эта троица. Талантливый, много знающий, с великолепным воображением, иногда невыносимый, всегда интересный, смешной Рейн. При нем, для контраста, медленный и мямлящий, как зять Мижуев, Бобышев. Но и этот фетюк нет-нет, а иногда выдавливает из себя стихи, не без искры дарования. Но не дай бог напорешься на чтение Наймана — скука смертная. Декламирует он "с выражением" гладкие зарифмованные предложения со знаками препинания, и слушателя от одури спасает только необходимость придумать, чего сказать, когда он кончит. Зато был он хорошенький, маленький, но складный, нравился женщинам. Его тогдашняя подруга Эмма говорила: "Толька все время пристает: "Посмотри, какие у меня тонкие руки, я скоро умру"…" Все смеялись. Потом кто-то мне сказал, что Наймана устроили секретарем к Ахматовой. Тогда очень важно было иметь штамп в паспорте с места работы. Вот и Бродского судили за отсутствие штампа в паспорте. Такой штамп можно было получить в Союзе писателей, устроившись к какому-нибудь писателю секретарем. Иногда секретарство было чисто номинальным, иногда секретарь действительно как-то служил своему писателю. Позднее Довлатов секретарствовал у Веры Пановой. Получалась даже какая-то

обратная пропорциональность: Довлатов/Панова — Ахматова/Найман. Заканчиваются мои воспоминания о Наймане тех времен разговором с Иосифом. Иосиф, волнуясь, рассказывает мне об их разрыве. Он узнал, что Галя уходит от Рейна к Найману. Это воспринимается им как личная катастрофа. До меня только тут доходит, как много для него значило, что есть рядом с ним крепкие, как ему казалось, супружеские союзы: Рейн и Галя, Уфлянд и Галя Якушева, я и Нина. Насколько Рейн или Галя виноваты или не виноваты в этой истории, ему было неважно, важно было другое: то, что делает Найман (что сделал Бобышев), делать нельзя. Его ужаснуло еще одно предательство, хотя на этот раз предан был не он сам, а его друг его другом. "Я у него спросил: "А.Г., это правда?" Он сказал: "Да". Я сказал: "Вы понимаете, что, если это произойдет, нам придется прервать отношения?" Он сказал: "Ну, значит, так тому и быть"". И выслушивая Иосифа тогда, и вспоминая позднее, я понимал, что на самом деле речь идет об обыкновенной житейской истории, где виноватых нет, потому что все виноваты, а потрясло Иосифа, что Найман, вслед за Бобышевым, загремел с тех благородных высот, на которые возводил своих старших друзей Иосиф в юном воображении.

Потом лет на двадцать Найман исчез с моего горизонта. Я слышал, что он, дело обычное, живет переводами. Я вообще не интересуюсь переводами поэзии, топорное ремесло, и у больших поэтов редко получается что-то живое. Даже совсем плохо зная язык, лучше разбирать оригинал со словарем, чем читать эти тратата-тратата. Хотя как способ заработка, как халтура в советских условиях это было дело не из худших: стерильное упражнение в версификации, а за него еще и деньги платят. Я бы и сам этим занимался, если б остался в России.

Я снова встретил Наймана в 1989 году в Париже на большой конференции в честь столетия Ахматовой и устыдился своего прежнего равнодушного и насмешливого отношения к нему. Он меня тронул. Он потянулся ко мне как к родному. Было видно, что он-то ко мне всегда относился значительно лучше, чем я к нему. Он подолгу рассказывал об общих знакомых, об их смешных и печальных превращениях, обо всем, что я пропустил за годы эмиграции, и я дивился, как забавно он рассказывает, то ли я не замечал прежде этого его таланта, то ли он открылся позднее. Толя меня тронул еще и тем, как он выглядел, как вел себя в этом своем первом заграничном вояже. Для поездки он ухитрился приодеться, видимо, так, как ему мечталось в 1959 или в 1964 году: синий блейзер с золотыми пуговками, белая накрахмаленная рубашка и бордовенький галстук-бабочка. Было

видно, как он счастлив тем, что вот, такой нарядный, ходит по Парижу, говорит по-французски. Во время нашей прогулки он подал клошару монетку, перекрестился и сказал: "Пардоне муа". В ресторане объяснил официанту: "Ну сом этранже". Он тогда только что опубликовал свои воспоминания об Ахматовой, и поэтому на конференции, где было немало выдающихся филологов, к нему относились с почтением, попросили председательствовать на заключительном вечере. Он начал свою речь словами благодарности Ахматовой за то, что благодаря ей нам всем удалось побывать в Париже.

Мы вместе пришли в гости к Олегу Целкову. У Целкова в мастерской стоял маленький бильярд, на котором мы играли в ожидании обеда. Толя и Олег потешались над моей неумелостью. Сами они играли хорошо, изящно посылали немыслимо трудные шары в лузу. Мы ждали Мишу Мейлаха. С ним мне предстояло тоже впервые увидеться после тринадцати лет, из которых четыре он провел в страшном пермском лагере. Миша позвонил откуда-то с другого конца Парижа, и Олег объяснял по телефону, как добраться до его мастерской. "Выйдешь на станции "Репюблик", — говорил Олег. — Записывай: "рэ", как русское "я", только перевернутое. "Е", как русское "е". "Пэ", как русское "рэ"…" На другом конце провода автор диссертации о провансальских трубадурах, Миша, покорно записывал: ""Бэ", как русское "вэ"…"

После Парижа Найман разъездился. Многочисленные друзья стали приглашать его и в Европу, и в Америку. Приезжал он и к нам. Я устраивал ему какие-то выступления. Как и большинство моих русских гостей, он не понимал здешней аудитории и не умел приготовить интересную лекцию, полагался на остроумие. Остроумие не всегда переводится на иностранный язык. Получалась непоследовательная, сбивчивая каша из банальностей и непонятных публике анекдотов. Но, несмотря на то что говорил он плохо, принимали его хорошо, с доброжелательным любопытством глазели на близкого друга великой Ахматовой. А я так же, как в Париже, заслушивался его живыми, артистично оформленными — с завязкой, кульминацией, эффектной концовкой — застольными историями.

Это был пик перестройки, моды на горбачевскую Россию, в Норвичской летней школе от студентов отбоя не было, и мне не стоило особого труда пристроить туда Наймана. Договорились, что он будет вести ахматовский семинар. Филологического образования у него нет никакого, и ему только казалось, что он знает, как это делается. Для начала он прочитал две лекции, в обеих плел нечто несусветное. Одна была посвящена разбору коротенького ахматовского стихотворения 1911 года "Смуглый

отрок бродил по аллеям…". Толя отметил, что в стихотворении семь раз встречается слог "ле", совпадающий с французским артиклем "les", стало быть, Ахматова таким образом намекает на то, что юный Пушкин испытывал влияние французов. Он как-то долго и путано ломился к этому безумному выводу. В другой лекции он бормотал что-то корявое насчет того, что настоящий символизм — это акмеизм (слышал от Жирмунского?), а настоящий акмеизм — это символизм. Надо сказать, что через некоторое время он, видимо, начал догадываться, что так дело не пойдет. Однажды — это было уже следующим норвичским летом — он предложил мне прогуляться и попросил во время прогулки объяснить постструктурализм. Он полагал, что это и впрямь можно узнать за полчаса. Я пересказал ему кое-как кое-что из Барта. По-моему, он остался недоволен.

Если в первое лето Толя приехал в Норвич со своей милейшей Галей, то на следующее они привезли и восемнадцатилетнего сына, похожего на симпатичного пуделя-шалопая, а на третье приехали с сыном, дочерью и мужем дочери. В окружении семьи мне Найман нравился больше всего. Он как-то старел среди чад своих, исчезали черты былого хорошенького мальчика, получался заботливый пожилой еврей. Но тут разыгрывался еще вот какой сюжет. Общительный, веселый Найман, его умная и от природы доброжелательная жена, славные дети в общем-то всем в Норвиче пришлись по душе. Но как раз в это время среди норвичских преподавателей начинался страшный раскол. По существу, это был раскол между старшим поколением, из "ди-пи", средний возраст которых был за семьдесят, и нашим, в среднем лет на двадцать-двадцать пять младше. Причины раскола были вполне академические! — старики преподавали по старинке, переучиваться не хотели, современных студентов не понимали и в конечном счете отпугивали. (Нынче и я уже собственной шкурой чувствую правоту Генри Адамса: "Нет ничего утомительнее, чем престарелый педагог".) Шли бурные преподавательские собрания, решения принимались в пользу составлявших уже большинство младотурок, но и старики не сдавались, обращались с петициями к администрации и т. п. Старики были все люди порядочные, интеллигентные, и антисемитского мотива в их борьбе с младшим поколением из "еврейской эмиграции" не было. За одним исключением. Самой темпераментной личностью среди стариков (хотя по возрасту ближе к нашим) была женщина с двумя фамилиями, причем обе настолько часто встречаются в биографиях наших великих поэтов и в истории России, что назову ее здесь условно "Нащокина-Столыпина". Знакомство с

Нащокиной-Столыпиной могло хоть кого отучить от сопливых иллюзий насчет "породы" и "дворянской косточки". В кости она была широка и крепка. Коренастая, коротконогая, с часто багровеющим от гнева круглым лицом, она больше всего напоминала мне злых училок и пионервожатых. В летнюю школу ее наняли в незапамятные времена по рекомендации мужниного дяди, архиепископа зарубежной православной церкви. Она была автором книги "Духовность в русской литературе с древнейших времен до наших дней" (96 страниц, формат с две пачки сигарет, шрифт крупный), но, так как такое количество духовности для студентов на два месяца не размажешь, ее отодвинули от преподавания, сделали ответственной за культурно-массовые мероприятия, отчего сходство с пионервожатой усилилось. Каждый день мы находили на столах в столовой ее объявления о сегодняшних мероприятиях. Помещение, в котором проходили концерты, спектакли и репетиции, называлось "Webb Hall". Выросшая вдали от родины и latigue maternelle, она наивно транскрибировала эти слова как "Уеб Хол": "Репетиция церковного хора в 7 ч. в Уеб Холе" или, игривее, "Встретимся в Уебе в семь!". Бурная Нащокина-Столыпина грудью встала против еврейского засилья. Затащив кого-нибудь из стариков в свою комнату в преподавательском общежитии и нарочно оставив дверь открытой, она кричала своим пронзительным комсомольским голосом: "Почему они не приглашают национальных русских писателей? Почему одних евреев?" Гостями летней школы в то лето были Окуджава, Искандер и В.В. Иванов. И Найман. Но как раз с Найманом для Нащокиной-Столыпиной все было непросто. Как раз он исправно ездил с нею по воскресеньям в церковь, усердно, со знанием дела молился и вообще то и дело норовил по-русски обняться и троекратно расцеловаться. В такие минуты он был самым своим. Но вот она входила в столовую и видела, как проросла столовая побегами черноглазого, кучерявого Найманова семейства. В глазах Нащокиной-Столыпиной промелькивало безумие. Когда психологи ставят такие жестокие опыты над крысами, крысы сходят с ума и пытаются загрызть сами себя.

Встретившись с Найманом вновь в Париже, принимая его в Америке, я радовался, что он пишет не только свои безнадежные стихи, но и прозу. На мой взгляд, тут у него есть несомненный талант. Не гениальность, когда до конца и не поймешь, в чем же тут дело, как у Петрушевской или друга моего Алешковского, но все же совершенно необходимый для прозы дар и умение рассказать историю. Дар интереса к людям, наблюдательности, памяти на характерное. Талант Наймана очень похож на

довлатовский и соразмерен довлатовскому. Он подарил мне свои "Рассказы об Ахматовой". Я с удовольствием читал, а вот по прочтении почувствовал, что постепенно накопился осадок. К интересному тексту была подмешана доза чего-то недоброкачественного. Мне бы вполне хватило честной записи ахматовских разговоров, как у Чуковской или Ардова, как у Эккермана, в конце концов: "я спросил… господин Гете на это ответил…" У Наймана важным событием оказывалось, что у Ахматовой однажды на прогулке сполз чулок. Я даже подумал, что это провокация наймановского подсознания — в поэме "Феликс" Бродский пишет про сексуально одержимого мальчика: "При нем опасно лямку подтянуть, а уж чулок поправить — невозможно". Там же, в "Рассказах", Найман пишет о "Второй книге" Н.Я. Мандельштам: "Главный ее прием — хорошо дозированное растворение в правде неправды, часто на уровне грамматики, когда нет способа выковырять злокачественную молекулу без ущерба для ткани". Мне показалось, что вот так же исподволь Толя вздувает себя до размеров равного Ахматовой собеседника, а чтобы это было не так уж очевидно, чуть-чуть опускает Ахматову, Бродского и других своих персонажей. Вообще это довольно тонкая тактика. Например, он, как бы просто припомнив смешное, цитирует из издательского договора, что он и Ахматова будут переводить Леопарди "солидарно". (Хотя я думаю, что это могло показаться смешным человеку нашего поколения, привыкшему слышать слово "солидарность" только в агитпроповском контексте, но не Ахматовой с ее знанием французского и латыни.) Забавная юридическая формула действует как прививка, и читатель может не заметить, что действительно смешно другое — "тогда мы с Ахматовой переводили Леопарди". Благородной эккермановской дистанции, знания своего места в "Записках" начисто нет. "Я прочитал Ахматовой свою новую большую поэму…" То-то осчастливил. Ему не повезло, что он, с его честолюбием, в нежном возрасте попал в среду, где писание стихов считалось высшим занятием. Еще ему не повезло, что гуманитарно мало образованный он попал в среду людей, знающих много и глубоко: языки, литературу, историю, философию. Болезненное честолюбие не позволяло ему просто набираться ума-разума. От природы сообразительный и артистичный, он легко имитировал культурность. К тому же миловидный мальчик всем нравился в этом, в основном дамском, кругу. Он научился держаться на равных. С годами и сам поверил, что так оно и есть[26]. Как это случается со многими, Толя в небрежении держал свой подлинный дар — рассказчика-бытописателя, убедил себя в том, что у него есть дар поэта,

романиста. "Наглая попытка пролезть в следующее по классу измерение", как писал Набоков. Довлатов был умнее, он рано перестал вымучивать из себя стихи и романы, работал с тем, что Бог дал. Но способность к суровой самооценке, к мужественным решениям — это, небось, тоже генетика. Из гиганта Довлатова можно было выкроить трех миниатюрных Найманов.

На Иосифа эти мои рассуждения не произвели впечатления. Он сказал: "Просто Толяй решил сварить себе супчик из знакомства с Анной Андреевной". Однако это он помог издать книжку в английском переводе. Согласился и, по возобновленной дружбе, написать предисловие к сборнику Наймановых стихов, хотя горько жаловался: "Прочитал с начала до конца, ну, абсолютно не за что зацепиться". (Примерно в то же время говорил, что ему попалась книжка Бобышева: "Колоссальные претензии при ничтожном даровании". Все-таки — даровании.)

Даря "Рассказы об Ахматовой", Толя намекал, что это не мемуары, а проза, за которой вскоре последует другая, более важная проза. И действительно, через некоторое время я получил для прочтения большой роман. С романом дело обстояло яснее. Там было много метких зарисовок нашей жизни в молодости, занятно пересказанных историй тех времен. Все это было, к досаде читателя, переложено тягомотиной — якобы модернистским приемом раздвоения личности повествователя на "Наймана" и "Германцева" да еще Толиными невнятными дилетантскими фантазиями об истории литературы. Он позвонил из Нью-Йорка узнать мое мнение, и, хотя я высказался вежливее, вернее, многословнее, чем здесь, Найман огорчился и сказал: "А Иосифу не понравилось, он сказал: "Позвони Леше, ему понравилось"" (хорош Иосиф!). После этого он уже почти не звонил, да и в летней школе дела пошли худо, приглашать гостей туда перестали.

Ну а потом он переступил границу приличия, написал свой roman a clef про Мейлаха, несколько такого же рода сочинений про Рейна. Чем больше он наворачивал в свои пасквили повествовательных прибамбасов, двоил и троил персонажей, намекал, что "Эмма — это я", и т. п., тем очевиднее становилось, что внутреннее содержание его текстов — зависть к незаурядным людям, рядом с которыми прошла жизнь: "Рейну дали государственную премию, а мне нет". Читая это неприличие, я вспомнил, как однажды мы сидели за столом в Норвиче и Толя потешал всех смешными рассказами про московских знакомых. Потом разговор перешел на издательские дела, и я к слову сказал, что получил накануне по почте договор на сборник стихов

из московского издательства. Кто-то профессионально спросил, какой гонорар мне предложили. Я сказал, что тридцать тысяч (или три тысячи — сейчас уже не помню, какие тогда были деньги, помню только, что на доллары получалось вроде тысячи или двух). И вдруг я увидел, что у Толи побелело лицо. Сбивчиво, нескладно, он начал говорить о том, что московские издательства расстилаются перед эмигрантами, а лучшего на родине не замечают. Всем было ужасно неловко. Такую же неловкость испытываешь от его литературных приемов, из которых главный — вслед за злой карикатурой на Мейлаха или Рейна, или Кушнера, или Ардова, изображенных под псевдонимами, упомянуть имена Мейлаха, Рейна, Кушнера, Ардова, реальных людей, чтобы получилось, что карикатуры вроде не на них. Однажды мы с Ниной в Иерусалиме поднимались на Гефсиманскую гору, шли по пустынной в тот час дороге, но за нами увязался арабский мальчик лет девяти, он протянул мне набор открыток, а когда я отказался, продолжал тащиться за нами, скандируя: "Thank you! Fuck you!" Умная Нина, как бы не замечая, спросила его, как его зовут, сколько ему лет, есть ли у него братья и сестры. Ребенок охотно отвечал на довольно сносном английском и вообще разговорился, сам у нас что-то спрашивал про Америку. Но время от времени он все же выкрикивал: "Fuck you!", правда, теперь, выкрикнув, указывал грязным пальчиком на пустую дорогу позади и говорил: "Это я не вам, это во-он тому мистеру".

Прием расщепления личности главного героя применил В.П. Аксенов в романе "Ожог", том самом, из-за которого он поссорился с Бродским. Я с Иосифом не соглашался, что "Ожог" — говно. Он оценивал прозу критериями поэзии (что само по себе правильно), и если ему казалось, что прозаик пренебрегал какими-то поэтическими элементами, например, стройностью ритмико-интонационной структуры, то для него весь текст разваливался. Я-то считаю, что проза должна быть дисциплинированной, но не слишком, не так, как стихи. По-моему, Аксенов замечательный бытописатель — в "Ожоге" Магадан сталинских времен и Москва брежневских описаны очень хорошо. Дал Бог писателю такой глаз на повседневное, такой слух на случайные разговоры, что его пристальное вглядывание и вслушивание само по себе делает текст и смешным, и лиричным одновременно. Не знаю, зачем ему была нужна вся эта возня с упятеренным героем. Видимо, чистый нарратологический эксперимент. В отличие от Аксенова Найман время от времени намекает на то, зачем он размывает границы между собой повествователем и своим *alter ego* Германцевым, и остальными

своими персонажами: это, де, примитивные читатели вычитывают у меня карикатуру и пасквиль, не понимают, что тут дело тонкое, "Эмма это я"… Эти яростные, но мутноватые пассажи наивны, как тыкание пальчиком "во-он в того мистера". Что происходит на страницах его прозы, как говорил Довлатов, "и без Фрейда видно". Происходит "опускание" знакомых и бывших друзей, обладающих отсутствующими у Наймана талантами, путем проекции на них присутствующих у Наймана недостатков. Так он отдает "Б.Б."-Мейлаху постоянную суетливую озабоченность устройством своих делишек и берет от него себе — Германцеву мужественно перенесенные четыре года лагерей. "Паше"-Ардову отдается показное благочестие. "Кашне"-Кушнеру — поэтическая бесталанность и пожизненное доение знакомства с Ахматовой. В финале бесовский шутовской хоровод разгоняется святою иконой. На иконе — автор в "итальянской льняной рубашке без ворота" мажет хлеб медом, сейчас пойдет купаться. Лен, мед, чистые струи. Этот литературный метод вроде симпатической магии — из глины, слюней, бог знает чего лепятся карикатурные уродцы и протыкаются иголками. Но ничего не происходит. Книги обэриутов, созданные колоссальным трудом Мейлаха, не свалились с полок, и в корыстолюбивого социопата для тех, кто на себе испытал, как я, его бескорыстное участие, Мейлах не превратился. И Ардов на виду у всех, страстный искатель истины, веселый и, в отличие от своего хулителя, добрый писатель. И талантливые стихи Кушнера не стерлись вдруг из памяти у всех, кому они запомнились с первого чтения. И Бродский не отказался посмертно от восхищения Рейном, от пожизненной любви к другу. Найман жутко опростоволосился со своей прозой, потому что на виду у всех не справился с мелкими чувствами. Именно это слово выбрал Иосиф, ставя точку на давней и не сумевшей возобновиться дружбе. Перед смертью читая гранки второго издания своих сочинений, он выставил посвящение "А.Г. Найману" над стихотворением, (которое прежде печаталось без посвящения:

Однажды этот южный городок
был местом моего свиданья с другом;
мы были оба молоды и встречу
назначили друг другу на молу,
сооруженном в древности; из книг
мы знали о его существованье.
Немало волн разбилось с той поры.
Мой друг на суше захлебнулся мелкой,
но горькой ложью собственной…

(А все-таки самые лучшие воспоминания об Ахматовой я слышал от Елены Георгиевны Боннэр: "Я два месяца ежедневно встречалась с Ахматовой, получала от нее рубль на чай и молча уходила". Потом поясняет: "В сорок девятом году ей нужны были уколы, а ходить на люди она не хотела. Миша Дудин мне говорит: "Хочешь заработать? Только чтоб никаких с ней разговоров…"")

Сон на воскресенье 26. VIII. 01

Летом, в большой пустынной комнате на втором этаже говорю с Иосифом по телефону — извиняюсь за писание каких-то "двух статей" о нем, изворачиваюсь, объясняю, что это вообще была не моя затея, я должен был доделать за — называются какие-то имена, каких-то общих знакомых. Он почти ничего не говорит, хмыкает. К тому же разговор несколько раз прерывается, и я думаю, что связь оборвалась, потому что и потрескивание в трубке исчезает, но потом, к моему облегчению, возобновляется. Снизу начинает доноситься плач младенца. Я знаю, что это соседский ребеночек, за которым присматривает Маша, но входит в комнату на руках с ним — мама. Она довольно молода, лет пятидесяти, крепкая, не обращая внимания на то, что я с трубкой, начинает говорить мне что-то веселое о ребенке. Я досадливо машу на нее рукой: у меня важный разговор, и так плохо слышно…

Удивительно в этом сне, в этом телефонном разговоре, что Иосиф почти ничего не говорил, а я не то что знал, что он думает, а думал за него: не одобрял меня.

Психиатрия

Был ли Иосиф сумасшедшим? Он дважды побывал в психушках. В статьях и заметках иностранных журналистов это иногда подается вскользь таким образом, словно правительство заточило молодого инакомыслящего поэта в скорбный дом. (Так же уверенно многие пишут, что в 1964 году его отправили в "ГУЛАГ за полярным кругом".) На судьбу Иосифа проецируют события более позднего времени. Это позднее, в конце 60-х, советские власти стали практиковать зверские методы "карательной психиатрии", расправляясь с диссидентами, как, например, с приятельницей Бродского, поэтом Натальей Горбаневской. Под новый, 1964-й, год на Канатчикову дачу (больница им. Кащенко) в Москве Иосифа устроили, желая таким образом спасти его от преследований. Устроил, пользуясь своими связями, В.Е. Ардов, с согласия, естественно, Иосифа. Принимала участие в обсуждении этих дел и жившая в это время на Ордынке Ахматова. Видимо, всем им это казалось недурным решением проблемы: посидит под крылом у знакомых психиатров, а тем временем ленинградские мерзавцы угомонятся. И в будущем психически неуравновешенного, как будет свидетельствовать медицинская справка, молодого человека оставят в покое. Нервы у Иосифа действительно были не железные, и выдержал он в больнице всего около недели. Миша Ардов вспоминает, как Иосиф кричал из прогулочного дворика психбольницы: "Скажите Ардову (старшему. — Л.Л.), пусть сделает так, чтобы меня немедленно выпустили отсюда!.. Я не могу! Я больше не могу!" "Увы! — прибавляет Ардов, — он этого не выдержал, вышел на волю, отправился в Ленинград. Дальнейшее известно"[27]. Выдержал бы — не было бы ареста, суда, ссылки. "Увы!" отголосок досады тех дней. Вернувшийся из Москвы Найман передразнивал своего приятеля Мишу: "Мне врач, — называлось имя доктора, — говорила, что Бродский действительно страдает шизоидной психопатией". Тридцать с лишним лет спустя, когда вышли записные книжки Ахматовой, я прочел там черновик письма благоволившему ей Суркову (был такой официозный поэт-начальник):

А [лексей] А [лександрович]. В дополнение к моему предыдущему письму [от… декабря] спешу сообщить, что Иосиф Бродский [сегодня] выписан с Канатчиковой дачи [со следующим] с диагнозом шизоидной психопатии и что видевший его месяц тому

назад психиатр утверждает, что состояние его здоровья значительно ухудшилось вследствие травли, кот<орую> больной перенес в Ленинграде.

Простите, что [нагружаю] обременяю Вас [моими делами] тем, что так тяготит меня. Совесть не позволяет мне поступать иначе.

Анна Ахматова[28]

Я думаю, что диагноз этот не туфта, но что, однако, он означает? Психопатия — это отклонение от психической нормы. Степень отклонения может быть очень разной. Клинический шизофреник отклонился настолько, что разговаривает с инопланетянами и выполняет их указания. "Шизоидная" означает "напоминающая шизофрению", напоминающая тем, что человек зацикливается на тревожных мыслях, страхах. Неприятные слова "шизоидная психопатия" в переводе на непрофессиональный язык — это "чувствительность", "ранимость". Еще говорили: "нервный" — "Он такой нервный!". Похоже, что только таким и может быть поэт. Человек, не одержимый сомнениями и страхами, способен сляпать "Гимн Советского Союза" да и что-нибудь поприличнее, вроде "Василия Теркина", но никак не напишет "Когда для смертного умолкнет шумный день…" или "Молчи, скрывайся и таи…". Юному Иосифу и до, и вне зависимости от неправедных гонений были свойственны тревоги и страхи. Так, он явно боялся оставаться один, воображение, видимо, рисовало ему картины насилия, вроде убийства топором, как в "Холмах". Об этом у него немало ранних стихов:

Дом заполнен безумьем, чья нить
из того безопасного рода,
что позволит и печь затопить,
и постель застелить до прихода —
нежеланных гостей, и на крюк
дверь закрыть, привалить к ней поленья,
хоть и зная: не ходит вокруг,
но давно уж внутри — исступленье.

Вероятно, по поводу этого стихотворения ("В горчичном лесу") Ахматова говорила 20 октября 1963 года: "Судя по тому, как он описывает страх, зимой один в Академяках жить он не будет"[29]. Речь шла о том, что Иосифа пригласили пожить, посторожить дачу Бергов в академическом поселке (Академики от финского названия Комарова — Келломяки). Ахматовой эти страхи в пустом доме были и самой хорошо знакомы и в 1921

году:

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий —
Что там, крысы, призрак или вор? —

и много позднее: "Уже безумие крылом души накрыло половину…" В отличие, однако, от подлинного безумца Иосиф знал, что "исступленье" внутри, а "не ходит вокруг". Да, он хватался иногда за лоб руками, говорил, что "психика садится". Но, когда дело доходило до критического момента — на суде, в тюрьме, на операционном столе, да в последние недели перед смертью, в конце концов, — становился собран, решителен и даже вызывающе весел.

Только два раза я забеспокоился, а не поехала ли у него крыша на самом деле. В первый раз это было, когда мы гуляли где-то в окрестностях его ленинградского дома и он заговорил о своих планах побега за границу. Планы были такие: зарыться в уголь в финском товарняке или же смастерить воздушный шар, подобраться к финляндской границе, ночью шар надуть и перелететь или — вместо шара посадить в рюкзак несколько кошек, пограничные овчарки бросятся за кошками, и тут… Вскоре он дал мне прочитать "Post aetatem nostram", где герой переходит границу именно с кошачьей помощью, и я понял, что он тогда просто проигрывал вслух свои выдумки для, как бы он сказал, художественного произведения. В другой раз, уже перед его отъездом, он позвал меня погулять и поговорить. В какой-то степени все мы были параноиками, все опасались подслушивающих устройств в помещениях. Сначала мы гуляли по Летнему саду, но он начал оглядываться и сказал: "Пойдем отсюда". Мы подошли к его дому, зашли в садик у Преображенского собора и продолжили разговор на скамейке. В садике, на мой взгляд, было мирно. Дети играли. На другой скамейке мужик читал газету. Еще на другой девушка сидела, видно, поджидала кого-то. Но, взглянув пару раз на мужика и на девушку, Иосиф опять забеспокоился, сказал, что это в конце концов противно, и мы снялись с места. Тут я осторожно предположил, что, может, это просто девушка и просто человек с газетой, и просто мания преследования. В ответ Иосиф процитировал своего любимого Станислава Ежи Леца: "Если вы страдаете манией преследования, это еще не значит, что за вами на самом деле не следят".

(Если не считать одного пьяного ночлега в квартире

психиатра, дяди Красильникова, в Удельной, и в юности поездки в Рождествено к Константину Александровичу, я был в сумасшедшем доме только однажды. Навещал на Пряжке Герасимова, который попал туда на несколько дней по пьяной лавочке. Произвели впечатление двери без ручек и нарастающий гул по мере приближения к отделению, где томился Володя. Хотя оно было не буйное, но довольно шумное. Мы прошли через несколько комнат, и наконец мне отперли последнюю дверь без ручки, из-за которой и слышались голоса. По коридору ходили громко разговаривающие люди в серых пижамах, а на стене прямо напротив входа аккуратно вырезанные красные буквы составляли надпись: ЛЕНИН С НАМИ.)

Можно, конечно, выводить творческий потенциал Иосифа из того, что его в младенчестве "мамка уронила". Мария Моисеевна рассказывала, что такое действительно случилось. Некоторые невропатологи и психиатры описывают симптом "гиперграфии", неудержимого стремления писать. Обычно это связано с патологией левой передней доли головного мозга, например, при некоторых видах эпилепсии или в результате травмы. В тот же синдром могут входить задиристость, высокая самооценка, мистические переживания, повышенная религиозность. Иногда даже говорят, что левая лобная доля — это местонахождение Бога. Гиперграфия проявляется также на эйфорическом полюсе циклотимии. Таковы, вероятно, были болдинские осени. Так Стивенсон написал чуть ли не за одну ночь "Доктора Джеккила и мистера Хайда". Женя Рейн сам мне говорил об этом в связи со своим циклотимическим недугом. Почему "гиперграфия", а не привычное "графомания"? Потому что "графомания" имеет оценочный характер, то, что выходит из-под пера графомана, не имеет интеллектуальной или эстетической ценности, а зачастую и вовсе лишено смысла. А гиперграфией "страдали" все одержимые творчеством литераторы — Бальзак, Диккенс, Толстой (а также мой похожий на Бальзака молодой друг Дима Быков). О Достоевском и говорить не приходится, вышеописанный синдром в специальной литературе даже иногда называют "синдромом Достоевского". Гиперграфия совсем не обязательное условие поэтического таланта, но иногда сопутствует ему. Взять Цветаеву или Эмили Дикинсон, Уитмана. А иногда поэт безудержно "гиперграфичен" смолоду, а с годами все более контролирует творческий поток. Видимо, это случай Блока и Бродского. Среди бесконечных "стихов о Прекрасной Даме" так же, как среди тысяч стихотворных строк, написанных Бродским до ссылки, мелькают прекрасные стихи, но много и невыразительного, излишне многословного, возникшего потому, что руку с пером несло по

бумаге.

Что до симптома задиристости, это тоже было не чуждо Иосифу, особенно смолоду. Это проявлялось в быту (о бестактных выходках Иосифа немало пишет Найман), но и самый творческий импульс был у него, если верить некоторым его высказываниям, соревновательным и даже агрессивным. Прочитав или услышав что-либо, он нередко реагировал: это можно сделать лучше. Задумавшись в разговоре о том, почему он не написал своей "Коммедии Дивины", он говорит: "Знаете, ведь такие вещи можно сочинять, только находясь в каком-то естественном контексте. Когда ты начинаешь думать: ладно, я им сейчас всем врежу — и старым, и малым. То есть и предшественникам и потомкам, да?"[30]

Надо сказать, что психологические черты пограничной (она же "творческая") личности совсем не уникальны. Сколько их ходило и ходит, молодых скандалистов с ворохами рукописей. Но человек, в конечном счете, определяется не врожденными или там пусть от удара головкой об пол приобретенными качествами, а диалектикой личности. У Иосифа замечательна та самодисциплина, с которой он не то что обуздал, а скорее взнуздал и свою гиперграфию, и океанические прозрения, и желание "всем им врезать". Это проявлялось равно в безупречно регулярной строфике экстатического "Разговора с небожителем" и в вежливости, избытком которой он смолоду не отличался. В зрелые годы он никогда не забывал сказать "спасибо" официанту, продавцу, уборщице.

Проктология

Я позвонил зачем-то в Саут-Хедли. Он не сразу взял трубку, а когда взял, я услышал, что он давится от смеха, говоря: "Извини, я тебе перезвоню через пять минут". Когда перезвонил, все еще смеясь, рассказал, в чем дело. И под конец жестко добавил: "Только не вздумай вставлять в мемуары".

……

Кстати об Одене. Недавно Валентина Полухина встретила в Нью-Йорке вдову и сына Василия Яновского. Яновский был писатель из "парижской волны". Может быть, менее одаренный прозаик, чем Гайто Газданов, но тоже симпатичное дарование. В Нью-Йорке в послевоенные годы Яновский водил дружбу с Оденом, и вот выясняется, что впервые он показал Одену переводы стихов Бродского еще в 1968 году. Оден, как вспоминает г-жа Яновская, сказал, что переводы слабые, но чувствуется, что поэт сильный. Три года спустя он написал предисловие к книжке Иосифа в переводах Джорджа Клайна. Предисловие осторожно благожелательное. Примерно так же благожелательно Оден писал и о Вознесенском. Прочитав мемуарный очерк Яновского об Одене, я спросил Иосифа, встречал ли он в Нью-Йорке Яновского. Иосиф сказал, что да, что однажды, в начале американской жизни, был у Яновского в гостях в Бруклине: "Накормили жирными кислыми щами, еле до дому доехал". Получается прихотливый скатологический мотив, ведь Яновский среди прочих странностей Одена вспоминает, что Оден не любил гостей, которые изводят много туалетной бумаги. Познакомился Яновский с Оденом не как писатель, а как врач-проктолог. У Одена начались с этим делом проблемы еще в молодости.

В его биографии я прочел, что в 1930 году, по возвращении из Берлина, ему пришлось лечь в больницу — лечить надорванный анус.

Кейс Верхейл вспоминает, как шокирован был Иосиф, когда Кейс объяснил ему, что не имеет сексуального интереса к женщинам. Но потом всю жизнь он относился к гомосексуализму нормально — без отвращения и без похотливого любопытства. Как-то в разговоре была упомянута сексуальная ориентация Сьюзен Зонтаг, Иосиф сказал: "Поэтому мне с ней интересно разговаривать о девушках". Он относился к гомосексуализму нормально, но не считал его равнозначным гетеросексуализму, что является основой нынешней либеральной политики в этой

области. В статье о Кавафисе он пишет, что "гомосексуальность побуждает к анализу сильнее, чем гетеросексуальность", что",гомо"-концепция греха более разработана", что "гомосексуальность есть норма чувственного максимализма, который впитывает и поглощает умственные и эмоциональные способности личности с такой полнотой, что "прочувствованная мысль", старый товарищ Т.С. Элиота, перестает быть абстракцией". (Я цитирую свой старый перевод, в английском оригинале все это звучит менее тяжеловесно.) Но он же однажды предложил мне и Алешковскому настолько механистическое объяснение мужеложства, что даже не склонный к психоанализу Юз покачал головой: "Больно уж просто".

"Полторы комнаты"

Один завет Ахматовой, которому Бродский не последовал: "И никакого плюшевого детства". Детство, лоно семьи он описал взволнованно, любовно, с пристрастностью и пристальностью, которую можно было бы назвать прустовской, если бы его описания не были еще и напряжены строгой дисциплиной лирического поэта. В отличие от любимого им Пруста, которому не хватает и нескольких сотен страниц, чтобы выстроить свой мир, свой миф о детстве, Бродский создает не менее содержательный и вместе с тем окончательный текст на нескольких десятках страниц — "В полутора комнатах", "Трофейное", "Путеводитель по переименованному городу". В общем-то можно объяснить, как это ему удается — потому что тонко соткана ткань мотивов, перекличка образов, потому что предложения, периоды, главки так ритмически организованы, что делают ненужным многословие. Все это можно, повторяю, объяснить, "проанализировать", но здесь академическим упражнениям не место — читатель, у которого есть вкус к таким вещам, проделает это и без моей помощи, а иной Богом посланный читатель все это чувствует и не нуждается в доказательствах. У Иосифа есть еще и лирический эпиграф к воспоминаниям — стихотворение "Дождь в августе". И стихи на смерть родителей — "Памяти отца: Австралия" и "Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…", где эта вот первая строка — реминисценция из Пруста.

Конечно, было бы ошибкой читать воспоминания Иосифа, как "Детство" Толстого, как объективное, реалистическое воссоздание того, что было. Здесь правдивость иного рода — правдивое изложение личного мифа: не "так было", а "так помнится и чувствуется". Я приходил к Иосифу на Пестеля, поднимался по обшарпанной, но по ленинградским понятиям более или менее приличной лестнице на второй этаж. Дверь открывалась. Во тьму уходил коридор коммунальной квартиры, более многосемейной, стало быть, хуже, чем была наша на Можайской. Зато адрес у Бродских кут! лучше, чем наш, в одном квартале от зловонного Обводного канала. Я входил в большую комнату, где был и буфет, и стол, и двуспальная родительская кровать, как было у нас. И так же, как у нас, через родителей нужно было проходить в маленькую комнату сына, только у меня была вся комната, а у Иосифа, как он описал, половинка. Иосиф успел побывать у меня еще на Можайской, но я у него начал бывать только после 63-го

года, когда уже переехал в свою кооперативную квартиру. Наша с Ниной бетонно-блочная квартиренка на окраине поднимала нас в иную социальную категорию, и я с сочувствием взирал на жилище друга, которому приходилось жить в коммунальной тесноте под постоянным родительским надзором.

(Жилье Иосифа могло восприниматься и по-другому. Генрих Сапгир вспоминает, что бывал у Бродских "в огромной зале с балконом", где пристанище Иосифа было "за колонной и шкафом". Я прочитал это и удивился: по масштабам советского жилья комната родителей была не маленькая, метров тридцать, но не огромный зал с колоннами! А потом подумал: ведь не просто же так Генриха называли поэтом "барачной школы". Я вспомнил, как очень давно, еще до того, как я познакомился с Сапгиром, кто-то — то ли Чудаков, то ли Рейн — рассказывал мне о московском поэте, который сколотил себе хибарку на краю городской свалки. Видно, и вправду в таких жилищах ютился Сапгир смолоду, что обычная изукрашенная лепниной комната в старой квартире показалась ему огромным залом.)

Выбраться из "полутора комнат", найти временное пристанище было постоянной заботой Иосифа. Денег на то, чтобы снимать жилье, у него никогда не было. Знакомые то и дело пускали его пожить, когда сами уезжал" Он жил в Комарово на даче у Бергов. У Томашевских на канале Грибоедова, где произошел наш достопамятный ночной спор. У каких-то незнакомых > мне знакомых в высотке возле Поклонной горы. Однажды даже в двух шагах от собственного дома, на улице Чайковского. Если не ошибаюсь, он сказал мне, что это ленинградское жилье дочери московской поэтессы Маргариты Алигер. Мы встретились у подъезда, ходили по Чайковского, по Фурштадтской, по переулкам, и он читал только что написанные куски из "Исаака и Авраама". Дело было осенью 63-го.

Стремление обрести хотя бы временную приватность подкреплялось еще и тем, что отношения с отцом были всегда напряженные. В общем-то тунеядцем еще до ленинградского суда считал Иосифа Александр Иванович. Вот когда власти не на шутку взялись за Иосифа, он встал грудью на защиту сына, а до того этот растяпа огорчал и раздражал отца. Иосиф со смехом рассказывал: мать наготовила им и уехала, они с отцом садятся обедать, Иосиф запускает поварешку в кастрюлю борща, начинает наливать себе, и тут отец вопит: "Идиот! Ты что делаешь?" Оказывается, задумчивый Иосиф наливает борщ, забыв поставить себе тарелку. Да и серьезные перепалки, видимо, вспыхивали часто. Так было с детства. В одном интервью, разговорившись о жизни с родителями больше, чем обычно, Иосиф сказал: "Я

помню, как отец снимает свой флотский ремень и надвигается на меня — я, должно быть, натворил что-то ужасное, не помню что — где-то сзади вопит мать. <.. > В школьном возрасте я был очень плохой и в этом смысле постоянно вызывал неудовольствие отца, чего он никогда не скрывал. Они ругали меня так, что это сделало меня нечувствительным ко всему последующему. Ничего из того, что впоследствии обрушило на меня государство, не могло с этим сравниться"[31]. Мне, думаю, и другим приятелям Иосифа Александр Иванович казался довольно милым стариканом, любителем порассказывать о своих военных и прочих приключениях, не без прихвастывания, но занимательно. Юного Иосифа, похоже, раздражало, что отец — обыватель, лишенный духовных запросов. Он не любил отцовской болтовни, и однажды, когда мы вышли на улицу после того, как Александр Иванович досказал мне какое-то свое маньчжурское приключение, в котором он сам оказался исключительным молодцом, Иосиф сказал мрачно: "Вегетирует". Я тогда впервые услышал этот глагол в таком применении. Среди неопубликованных вещей Иосифа есть небольшая абсурдистская пьеса "Дерево", где компания анонимных персонажей, вроде как служащих в советском учреждении, ведет свои банальные разговоры (в том числе и на философские темы), пока не срастается в дерево — материализованную метафору вегетации, прозябания, вместо духовной, интеллектуальной, творческой жизни. Стихотворение об отце, "Фотограф среди кораблей", писалось уже в ссылке. Взрослея, Иосиф сумел увидеть отца с любовью, хотя и там не все благополучно:

Фуражка, краб, горбатый нос, глаза,
привыкшие к чужим изображеньям,
и рот, чья речь уже давным-давно
чуждается любых глубин душевных, —
ты движешься в порту, формальный мир
превознося невольно над пучиной
любви, страстей, ревизии примет.

Ты, сохранивший к старости своей
почтенье к орденам, к заслугам,
взираешь с уважением во тьму
и, думая уже Бог весть о чем,
проходишь среди дремлющих чудовищ
и предъявляешь…

Тут Иосифу, наверное, расхотелось предъявлять претензии

отцу, и стихотворение осталось неоконченным. Окончательная разлука, эмиграция, окончательно отделила главное от неглавного. Главным была любовь, и вот об этой любви, соединявшей мать, отца и сына, Иосиф и писал впоследствии.

Под его пером Александр Иванович и Мария Моисеевна стали тем, чем они, по существу, и были в его жизни, — героями, божествами семейной любви, сакральными существами, способными превращаться в птиц и вообще жить после смерти. Забитое вещами, едва ли не захламленное жилье в коммуналке тоже вспоминается как сакральное пространство. Громоздкий мещанский буфет преображается в некий нотрдам вещности, дешевая сувенирная гондола — выплывает много лет спустя из венецианского тумана. Как-то я зашел к Иосифу с сыном. Мите было тогда лет шесть-семь. Обычно в таких случаях он оставался в большой комнате с Марией Моисеевной и Александром Ивановичем, которые возились с ним, угощали сластями, пока я разговаривал с Иосифом в его закутке. На этот раз их не было дома, и Митя сидел с нами. Но не скучал: рассматривал бесчисленные пришпиленные к книжным полкам и стенам открытки, боксерские перчатки и фехтовальную маску, рапиру в углу, бронзовую пушечку и бронзового Наполеона на столе. Когда мы вышли на улицу, он с искренним восхищением сказал: "Какой Ося богатый!" Потом вздохнул грустно: "А жены у него нет".

Иосиф — еврей

Иосиф был мастью рыжеват. Гарик звал его попеременно то "кот", то "рыжий". У Иосифа были твердые представления о собственной генетике, которые он прямо излагал, и интерес к исторической родине, о котором он нигде не говорит напрямую. Он когда-то горячо рекомендовал мне роман Йозефа Рота "Марш Радецкого". Я много лет все собирался прочесть, но прочел только через шесть лет после смерти Иосифа. Рот был, как мама Иосифа, из немецкоговорящей еврейской семьи среднего достатка. Он родился и вырос в Австро-Венгрии, на востоке Галиции, в городе Броды. В "Еврейской энциклопедии" пространная статья посвящена Бродам как центру хасидического мистицизма в восемнадцатом веке. Фамилии, произведенные от названия городка, имеются и в других вариантах, кроме "Бродский": Брод (как Макс Брод, другой известный австрийский писатель, душеприказчик Кафки), Броди, Бродницер. Краткая заметка в "Брокгаузе и Ефроне" сообщает, что большинство из двадцати тысяч жителей Брод евреи, а основной городской промысел — контрабанда. Рот, не называя свой родной городок, делает его основным местом действием романа и описывает весьма красочно.

В те времена граница между Австрией и Россией на северо-востоке двойного королевства была очень странным местом. Стрелковый батальон Карла-Йозефа квартировал в городке с десятитысячным населением. В городке имелась круглая площадь, в центре которой пересекались две дороги. Одна вела с востока на запад, другая — с севера на юг. Первая — от железнодорожного депо к кладбищу, вторая от развалин замка к паровой мельнице. Из десяти тысяч жителей примерно одна треть занималась каким-либо ремеслом. Другая треть кое-как существовала от своих крошечных земельных участков. Остальные занимались вроде бы коммерцией.

Мы сказали "вроде бы коммерцией", ибо ни предметы, ни методы торговли не соответствовали цивилизованной коммерческой практике. В этих краях коммерсанты зависели более от провидения, чем от предвидения, куда более от непредсказуемого случая, чем от делового планирования любой здешний коммерсант был готов в любой момент ухватиться за что Бог пошлет, а если Бог не посылал ничего, то выдумать предмет торговли. На самом деле, за счет чего эти коммерсанты

существовали, было загадочно. У них не было лавок. Не было имен. Не было кредита. Но они обладали остро отточенным, чудесным чутьем на все скрытые и таинственные источники денег. Они жили за счет работы других людей, но они же и обеспечивали других работой. Были прижимисты. Жили бедно, как чернорабочие, но это другие делали черную работу. Всегда в движении, всегда настороже, бойкие на язык и сообразительные, они могли бы полмира завоевать, если бы у них было хоть малейшее представление о мире. Но у них не было. Ибо они жили вдали от мира, между Востоком и Западом, зажатые между ночью и днем, словно бы призраки, исчадия ночи, вдруг явившиеся днем.

Мы, кажется, сказали "зажатые"? Природа в тех краях не давала им чувствовать себя зажатыми. Природа окружила пограничных людей бесконечными горизонтами, она окружила их благородным кольцом зеленых лесов и синих холмов. Проходя под сенью елей, могли бы они чувствовать, как благой склонен к ним Господь, если бы ежедневная забота о хлебе насущном для жены и детей оставляла им время поразмышляли о Господней благости. Но через ельник они шагали, чтобы купить дрова для перепродажи в городе при первом приближении зимы. Кстати сказать, приторговывали они и кораллами, продавали их крестьянкам окрестных деревень, а также и крестьянкам по ту сторону границы, на русской территории. Приторговывали и пухом для перин, конским волосом, табаком, серебром в слитках, бижутерией, китайским чаем, южными фруктами, лошадьми и скотиной, домашней птицей и яйцами, рыбой и овощами, пенькой и шерстью, сыром и маслом, землей и лесными угодьями, итальянским мрамором, человеческим волосом из Китая для париков, чесучой и шелком, манчестерским сукном, брюссельскими кружевами и московскими галошами, венским льном и богемским хрусталем. Не было ничего из мирского изобилия, от дивных вещей до барахла, что бы не было известно местным дельцам и коммивояжерам. Если они не могли раздобыть и продать что-либо законным образом, они добывали это хитростью и махинациями, дерзостью и обманом. Иные даже промышляли людьми, живыми людьми. Переправляли дезертиров из русской армии в Соединенные Штаты, а молодых крестьянок в Бразилию и Аргентину. Управляли пересылочными конторами и вербовали в заграничные бордели. И при всем том их прибыли были ничтожны и они представления не имели о великолепной жизни, доступной богачам. Их инстинкты, так развитые и нацеленные на добывание денег, их руки, умеющие извлекать золото из булыжника, как искру из кремня, не умели добывать

сердечную радость для себя или здоровье для собственного тела.

Местные жители были исчадиями болот. Ибо болота раскинулись невероятно широко по всему пространству по обе стороны шоссе, с лягушками, с микробами лихорадки, с предательской травой, которая заманивала путника, незнакомого с местностью, в ужасную смертельную ловушку. Многие погибали, и никто не слышал их предсмертных криков. Но местные знали предательские трясины, и было что-то от этого предательства в них самих. Весной и летом воздух был густ от напряженного, непрерывного кваканья лягушек. Столь же напряженные трели жаворонков наполняли небо. Неустанный диалог неба и болота.

Среди дельцов, о которых мы рассказали, было много евреев. Прихоть природы, возможно, таинственный закон их загадочного происхождения от легендарного хазарского племени, одарила пограничных евреев рыжими волосами. Волосы пылали у них на голове. У них были огненные бороды. На тыльной стороне их ловких рук, как крошечные копья, стояла жесткая рыжая щетина. Их уши пушились мягкой рыжеватой шерсткой, словно бы отблеском красного пламени, полыхавшего в их головах[32].

В Энн-Арборе в 1978 году я прочитал последнюю книжку Артура Кестлера "Тринадцатое племя", где доказывалось антропологически и статистически, что рыжеволосые и "шатеновые", сероглазые и светлокожие евреи-ашкенази — потомки не иудеев, а хазар, тюрков, принявших иудаизм. Как видно, эта теория имела хождение и на полвека раньше, когда Рот писал "Марш Радецкого". Мне выкладки Кестлера показались убедительными, и я все ждал ученых критических откликов, но не дождался. Только четверть века спустя, совсем недавно, я прочитал, что в свое время

"Нью-Йорк Ревью оф Букс" заказало рецензию на "Тринадцатое племя" Гершону Шолему. Но великий знаток каббалы ответил редакции так: "Зигмунд Фрейд сообщил евреям, что их религию им навязали египтяне и гордиться евреям нечем. Евреям это показалось безосновательным, но довольно забавным. Зато многие неевреи были страшно рады: проучил Фрейд этих зазнаек. Артур Кестлер хочет добить их, утверждая, что они даже и не евреи вовсе, что все эти чертовы ашкенази из России, Румынии, Венгрии, выдумавшие сионизм, даже не имеют право называть своей родиной Израиль, который их хазарские предки и в глаза не видели… Больше мне нечего сказать о научной ценности труда Кестлера"[33]. Шолем так рассердился, что возникает подозрение: а может, у него просто нет научных аргументов, чтобы обоснованно возразить Кестлеру?[34] Кестлер

ухитрился написать книжку одинаково поперек горла и антисемитам, и сионистам. У первых она отнимает самый милый их сердцу расовый компонент доктрины, а у вторых риторический аргумент "исторической родины". По Кестлеру, историческая родина Бродских, Слуцких, Шкловских, Пинских и т. п. — Поволжье, Северный Кавказ, Крым и Украина. Насчет антисемитов не знаю, ими, как известно, движет иррациональной. Что касается сионизма, то я всей душой симпатизирую идее еврейского государства в Палестине, желаю Израилю добра и победы над врагами, а также некоторым израильтянам избавиться от расовых предрассудков, согласно которым еврей — это тот, кто физически происходит от библейских праотцев (при этом почему-то решающее значение имеют материнские хромосомы). Конечно, в наше время многое мог бы прояснить анализ ДНК. Вон выяснили же недавно, что исповедующее иудаизм чернокожее племя в Восточной Африке действительно генетически прямые потомки древнего Израиля. Но это, повторяю, для тех, кому важна чистота крови или там генов. По мне так все, кто считает себя евреем и желает жить в Израиле, имеют на это право в силу исторических реалий XX века нашей эры, а не XX века до нашей эры. Кестлера я Иосифу пересказывал, и слушал он с интересом.

Слушал-то он слушал, но согласия со мной не изъявлял. Когда-то в шутливом стихотворении он очень серьезно написал: "Есть мистика. Есть вера. Есть Господь. Есть разница меж них и есть единство". Мы одинакового крайней мере мне так кажется, не переносили пошловатого эклектической го мистицизма, болтовни о "майстере" Экхарте и Вивекананде ("Господин Вивекананда, род занятий: пропаганда", — рифмовал Иосиф) и, в общем- то, одинаково следовали совету Витгенштейна: о том, что не поддается адекватному высказыванию, следует молчать. Но там, где для меня были только пожизненные колебания и сомнения, у Иосифа были, как я теперь полагаю, кое-какие верования. В 71-м году, когда он болел и от кровопотери лицо его было белым, как старая веснушчатая бумага, в больнице ему сделали переливание крови. Эта стандартная медицинская процедура сильно его взволновала. Обрывая себя, недоговаривая, сказал: "Ну, знаешь… по представлениям евреев, душа человека находится в крови…" Очень интересовался, чью кровь ему перелили. Прочел на ярлыке фамилию донора — татарин. Евреем он считал себя именно по крови, по носу с горбинкой, по картавости. Примерно за год до смерти в интервью Адаму Михнику говорил: "Я еврей. Стопроцентный. Нельзя быть больше евреем, чем я. Папа, мама — ни малейших сомнений. Без всякой примеси. Но я думаю, не только потому я еврей. Я знаю, что в

моих взглядах присутствует некий абсолютизм. Что до религии, то если бы я для себя сформулировал понятие Наивысшего существа, то сказал бы, что Бог — это насилие. А именно таков Бог Ветхого Завета. Я это чувствую довольно сильно. Именно чувствую, без всяких тому доказательств"[35].

Перед самым отъездом из России, после посещения ОВИРа, он мне рассказывал, как в приемной между евреями, ожидавшими оформления выездных документов, завязался разговор о разных благах, которые ожидают их в Израиле, — какое щедрое ежемесячное пособие дают новоприбывшим, какие комфортабельные квартиры и еще специальное пособие на покупку машины. И только молодой, лет двадцати с небольшим, парень не принимал участия в приятном разговоре. Он повернулся к Иосифу и шепнул: "Но мы-то с вами не за тем едем!" "И в глазах эта — баранина", — презрительно добавил Иосиф. Обывателей, обсуждающих свои обывательские надежды, он не осуждал, но бараний восторг принадлежности к стаду, самоопределение по принадлежности к группе, нации, этносу — вот что ему было отвратительно. Он рассказывал, как его вызывал для беседы следователь отделения милиции Шифрин и уговаривал взяться за ум: "Подумайте о родителях, ведь наши родители — это не их родители". Иосиф рассказывал об этом с гримасой омерзения.

Он вывел и охотно повторял свою формулу самоопределения: "Я — еврей, русский поэт, американский гражданин". Евреем в России родился, поэтом и гражданином Америки стал. В "Путешествии в Стамбул" он пишет: ".. в один прекрасный день, индивидуум обнаруживает себя смотрящим со страхом и отчуждением на свою руку или на свой детородный орган <…>, охваченный ощущением, что эти вещи принадлежат не ему, что они — всего лишь составные части, детали "конструктора", осколки калейдоскопа, сквозь который не причина и следствие, но слепая случайность смотрит на свет". Случайность рождения и выбор пути создают личность, а если принимать за путь случайность рождения, личности не получится, так — нечто размазанное с остальной массой. Но и отрицать свою природу бессмысленно. Этот скорей дуализм, чем диалектика, и определял отношение Иосифа к еврейскому вопросу. В политическом аспекте это его не слишком интересовало, скорее смешило. В те же предотъездные времена он напевал на мотив из репертуара Эдит Пиаф:

Подам, подам, подам,
Подам документы в ОВИР.

К мадам, мадам, мадам
уеду я Голде Меир.

В 67-м году, когда мое тридцатилетие пришлось сразу же вслед за израильской победой в Семидневной войне, он порадовал гостей на дне рождения двустишием:

Над арабской мирной хатой
гордо реет жид пархатый.

Иногда был не прочь и подразнить. У нас в Дартмуте одно время профессорствовал Артур Герцберг, историк, раввин, сотрудничающий в интеллигентных изданиях, вроде того же "Нью-Йорк Ревью оф Букс", да еще в течение нескольких лет бывший президентом Всемирного еврейского конгресса, то есть вроде как главным евреем на земном шаре. Этот приветливый, общительный господин знал всех и вся, что ему и по должности полагалось, но немножко еще и страдал пороком "name-dropping", любил упомянуть о своих близких отношениях с разными знаменитостям. Скажем, я рассказываю ему, как сильно на меня повлияло "Происхождение тоталитаризма" Ханны Арендт, он перебивает: "Ха, Ханна! Я сколько раз Ханне говорил…" И следует монолог о заблуждениях Ханны Арендт, на которые он ей указал. Видимо, он хотел пополнить коллекцию знаменитых знакомых, потому что попросил меня познакомить его при случае с Иосифом. Когда Иосиф приехал в Дартмут, я их свел за ужином в ресторане. Сев напротив ученого ребе, Иосиф заказал свинину на ребрышке и, обкусывая ребрышко, попросил ребе объяснить происхождение кошерных запретов: "Я никогда не мог толком понять".

Но и Герцберг оказался не лыком шит. Он очень вразумительно и кратко изложил нам основные гипотезы по этому поводу. Заметил, что большинство серьезных историков религии нынче склоняется к тому, что в процессе завоевания евреями Палестины они, как это бывало и с другими народами завоевателями, присваивали тотемных животных завоеванных племен, вводили их в свой еще полуязыческий пантеон и распространяли на них соответствующие табу. "Но, — закончил он, — я сам считаю, что запреты были чисто произвольными. Для утверждения религии необходимо, чтобы что-то было нельзя безо всяких объяснений, просто нельзя".

Многие вспоминают, что Ахматова называла Иосифа "полтора кота". Уж не подсознательная ли проговорка — подозрительно похоже на "полтора жида" из популярнейших "Одесских

рассказов"? Я никогда не слышал от Иосифа ничего о Бабеле, хотя Бабель в "Берестечке", в "Учении о тачанке" описал пограничных галицийско-волынских евреев, пожалуй что, и получше, чем Йозеф Рот. "Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия…" Можно поспекулировать насчет дружбы жовиально-пузырящегося Рейна с горько-надменным Иосифом, но меня останавливает одно воспоминание. Необычайно эрудированный Михаил Эпштейн сделал доклад о Пастернаке и Мандельштаме. Поэтика Пастернака, докладывал Эпштейн, выросла из талмудистской религиозности южных евреев, сефардов, а Мандельштама — из мистицизма северных хасидов, ашкенази. (Или наоборот — не в этом дело.) Ошарашенный, я подошел к нему и спросил: как же так, ведь, судя по биографическим материалам, которыми мы располагаем, ни Мандельштам, ни тем более Пастернак не получили в детстве еврейского религиозного воспитания, ни "талмудического", ни "хасидического". В дальнейшей жизни Мандельштам иудаизмом никогда всерьез не интересовался, а Пастернак так и прямо отталкивался от еврейского происхождения. Каким же образом талмудизм и хасидизм проникли в их творчество? Миша тихо ответил: "Коллективное бессознательное".

Я не думаю, что Иосиф верил в прапамять, флюиды, флогистон и прочее коллективное бессознательное. Но только сейчас я начинаю догадываться, что сознательно его интересовали Волынь, Галиция, Броды. Он почти ничего не написал на еврейскую тему. Критики, которые трактуют "Исаака и Авраама" как медитацию об иудействе, ошибаются. Я недавно говорил об этом с профессором Ковельманом, московским гебраистом. Ветхий Завет, рассуждает Ковельман, значительно важнее в культурной истории христианства, чем еврейства. Еврейская религиозность зиждется не на историях Ветхого Завета как таковых, а на непрерывном живом переживании Торы, которое находит выражение в Талмуде, в непрекращающемся из века в век комментировании. Юношеское стихотворение "Еврейское кладбище около Ленинграда", слабое подражание Слуцкому, Иосиф похерил даже во втором издании собрания сочинений, где снисходительно позволил опубликовать

множество ювенильных вещей. Но у него есть одно стихотворение, за которым стоит больше личного, чем может показаться на первый взгляд, "Леиклос" из цикла "Литовский дивертисмент". Леиклос — улица в бывшем еврейском гетто в старой части Вильнюса. В доме на улице Леиклос Иосиф останавливался у своих друзей, физика-литовца Рамунаса и его жены-узбечки Эльвиры, Катилюсов. (Занятно, что Леиклос [Liejyklos] означает "Литейная". В Ленинграде Бродский жил на Литейном проспекте. Да еще ведь и слово "гетто" происходит от итальянского глагола gettare в значении "отливать [металл]"; оно возникло в Средние века в Венеции, где евреям разрешено было поселиться в районе старого литейного предприятия, "ghetto".) "Леиклос" — лирическая медитация о кровной связи с прошлым, о том, какой была бы — даже без "бы" — какой была судьба Иосифа 1871 года рождения:

Родиться бы сто лет назад
и сохнущей поверх перины,
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто;
вздыхать, накрывшись с головой,
о польских барышнях, к примеру;
дождаться Первой мировой
и пасть в Галиции — за Веру,
Царя, Отечество, — а нет,
так пейсы переделать в бачки
и перебраться в Новый Свет,
блюя в Атлантику от качки.

За этим лирическим иероглифом скрывается несентиментальное представление о той безрадостной, нездоровой жизни, о которой пишут и Рот с Бабелем, знание истории (сотни тысяч украшенных бакенбардами евреев эмигрировали в конце XIX — начале XX века в Америку), память о деде Моисее Вольперте, агенте фирмы "Зингер", торговавшем швейными машинками в Прибалтике и Польше, но еще и глубокое со-чувствие тому еврейскому миру, от Риги до Триеста, который породил Кафку, Шагала, Бабеля, Йозефа Рота, Итало Свево да и Фрейда, в конце концов. (Мать Фрейда, урожденная Амалия Натансон, родилась в Бродах, где ее предки пользовались

репутацией "уважаемых коммерсантов и ученых-талмудистов с семнадцатого века"[36].) Иосиф Фрейда не любил, но в "Леиклос" присутствие Фрейда не вызывает сомнений. Музиль значил для Иосифа больше, чем Рот, Малевич, видимо, не меньше, чем Шагал, и Монтале или Джойс, чем Свево. Польскую модернистскую поэзию он любил, не разбирая, кто там еврей, кто католик. Я хочу сказать, что еврейская струя, с которой он порой ощущал кровную связь, была неотделима от центральноевропейской культуры в целом. Именно нарушением этого гештальта я объясняю его ужасное, неприличное стихотворение "На независимость Украины". Единственный раз, когда он обнародовал этот текст, на чтении в Квинс-Колледже в 1992 году, он пояснил, что стихотворение продиктовано глубокой печалью. Больше Иосиф его не читал и никогда не печатал, да было поздно. Магнитофонная запись чтения разошлась в копиях по всем украинским кафедрам в Канаде, а в 96-м году расшифровка, с большими искажениями, появилась в киевском еженедельнике "Столиця" вместе с отповедью академика Павла Кыслого. Кыслый о Бродском писал: "Ти був заангажованний, смердючий цап, / Не вартий шгтя Тараса".

Я никогда не слышал от Иосифа, бывал ли он на Украине, если не считать Крым и Одессу. Спрашивал у общих друзей, те тоже не припоминают. Между тем в дачных, детских строфах "Эклоги летней" вспоминается "река вроде Оредежа или Сейма" (кстати, как и многие ленинградцы, Иосиф пишет неправильно, надо: Оредежи, название женского рода). Оредежь — наша, я и сам ковырялся в огненно-красном песке и синеватой алюминиевой глине ее обрывистых берегов летом 46-го года, но Сейм? И потом

.. хаты,
крытые шифером с толью скаты
и стёкла, ради чьих рам закаты
и существуют. И тень от спицы,
удлиняясь до польской почти границы,
бежит вдоль обочины за матерком возницы.

Где же это может быть — хаты и тени "до польской почти границы"? А что за река течет в балладе "Холмы"?

В реку их бросить, в реку,
она понесет к лесам.
К темным лесным протокам,
к темным лесным домам,

к мертвым полесским топям,
вдаль — к балтийским холмам.

Если быть педантом и поизучать карту, такой рекой может быть только Щара, в верховьях протекающая по Полесью (в Брестской области Белоруссии). Щара впадает в Неман. Неман течет в Балтийское море. В черновике есть строка: "Так белорусский город…"

Похоже, что лесистый, болотистый, холмистый край, где некогда сходились Россия и Австро-Венгрия, а сейчас сходятся Россия, Украина и Беларусь, был в центре того мира, который привлекал ностальгическое воображение Иосифа. В этом краю находится и странный городок, давший ему имя. В бумагах Иосифа я наткнулся на копию открытки, посланной родителям в 73-м году из Милана. Упомянув, что видел "Тайную вечерю" Леонардо, он добавляет, что прежде видел картину на этот сюжет в церкви в Млине. Млинов на Украине много, есть один и неподалеку от Брод.

(Кстати, неподалеку от Брод находился замок Боратын, "Богом ратуемый", откуда пошел род Баратынских.)

О зингеровском деде и вообще о семье матери Иосиф вспоминает то в интервью, то в прозе, то в подтексте стихотворения. Эта семья принадлежала к той мелко-среднебуржуазной среде, где дома говорили по-немецки, где, начиная с конца XIX века, получавшие европейское образование дети ассимилировались, и если и не полностью отходили от веры отцов, то в культурном отношении были европейцами. От сверстников-христиан их отличала разве что не столь сильная национальная идентификация — их почтовый адрес был в той из трех империй, куда их приводила деловая карьера коммерсанта, врача, юриста. Мне представляется, что в их представлении родиной была не Германия, Австро-Венгрия или Россия, а полоса пространства между Балтикой и Средиземноморьем, по которой распространялись их родственные связи, современные и в глубину веков, что не мешало им в критические моменты истории проявлять лояльность; и патриотизм и головы класть за кайзера или "за Веру, Царя, Отечество", как сказано у Иосифа.

Почти нигде на письме и никогда в наших разговорах Иосиф не упоминал предков по отцовской линии. Иногда вспоминал только тетку, сестру Александра Ивановича, с которой вместе жили короткое время после войны. Говорил, что она была немного того. Вспоминал, только когда хотел процитировать любимую присказку полубезумной тетки: "Всё в порядочке, в порядке — Ворошилов на лошадке". В одном интервью говорит,

что отец отца держал в Петербурге переплетную мастерскую. Забавно, что это я однажды рассказывал Иосифу о его генеалогии. Пересказал то, что как-то, после его отъезда, мне изложил Александр Иванович. Кажется, началось с того, что я спросил, как получилось, что он в детстве жил в Петербурге, ведь при черте оседлости евреям получить вид на жительство, да еще постоянное, в столицах было непросто. Александр Иванович охотно рассказал. Это все благодаря отцу (то есть деду Иосифа). Он был бравый, богатырского роста и сложения солдат, двадцать пять лет отслужил. Вышел в отставку после русско-турецкой войны 1877–1978 годов. За службу полагались разные льготы, в том числе для евреев разрешение селиться где угодно. Иван поселился в Петербурге. Открыл там часовую мастерскую. Все это исторически вполне правдоподобно. И богатырский рост мог быть — Александр Иванович был довольно высок, и у Иосифа был склад высокорослого, только вот ноги вышли коротковаты. "Двадцать пять лет" вызывают некоторые сомнения, после Николая I срок солдатской службы был короче. Во всяком случае сын Ивана, отец Иосифа, хотя и получил начатки еврейского воспитания (умел с грехом пополам разбирать текст на иврите), но был отдан в гимназию, потом поступил в университет на географический факультет. Правда, после 1917-го, когда и университет был уже не тот, и география пошла другая. Точен был рассказ Александра Ивановича или приукрашен, правильно я запомнил или что-то исказил, не так уж важно, потому я здесь пытаюсь не историю рода Иосифа восстановить, а понять, что он сам об этом знал и думал. Я и тогда ему это пересказал в расчете на то, что он добавит что- то слышанное в детстве, поправит, может быть, засмеется и скажет, что Александр Иванович мне лапшу на уши вешал. Но он просто пожал плечами и заговорил о другом.

Никогда Иосиф не жаловался на обиды и несчастья, причиненные ему антисемитами. Есть расхожее выражение "быть выше этого". Он действительно был, и, как мне кажется, безо всяких усилий. Не таил обиду под маской гордости, но был естественно, непринужденно горд. Розанов где-то писал про писателей, для которых высшая доблесть показать городовому фигу в кармане, тогда как "порядочному человеку городового и в мыслях иметь неприлично". Так же вот неприлично в мыслях иметь кубанских "батек" с окружающим их поголовьем. Между тем есть евреи, обожающие расковыривать эту болячку. Их интересуют только юдофобы, все остальное человечество воспринимается в положительном свете. Коржавин рассказал мне, как однажды выходил из московской "охранки" (Управление по

охране авторских прав, где выплачивали авторские отчисления драматургам и прочим литературным поденщикам) в компании двух песенных текстовиков. Погруженный в свои мысли, он не прислушивался к их трескотне, пока что-то странное не проникло в его сознание: эти два еврея на все лады расхваливали мрачнейшего держиморду советской литературы Всеволода Кочетова: "Берет на работу евреев… друзья евреи… совершенно не антисемит…" Иосиф сказал одному собеседнику, сильно обеспокоенному появлением в России антисемитских обществ, вроде "Памяти": "Вот, смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество "Память"… Чем я хуже этого кота?" Я помню, только однажды его достало. Рассказывал, как накануне куролесил в Нью-Йорке с симпатичным парнем, героем правозащитного движения Б. И вдруг, по достижении какой-то точки опьянения, Б. стал насмешливо передразнивать, утрируя, картавость Иосифа: "Поха уходить из этого хестохана". Реакция Иосифа была слегка огорченное удивление: "Чего это он?"

На классически антисемитское объяснение литературных успехов Бродского я наткнулся не на веб-сайте какого-нибудь дуболомного "русского национального возрождения", а, к своему удивлению, в мемуарах Бобышева, который, как мне казалось, в быту никогда не делал различия между евреями и неевреями. Но, пожизненно уязвленный славой преданного им друга, он фантазирует совершенно нереальную сцену: какие-то загадочно всесильные сионские мудрецы, "одетые почти одинаково", приходят домой к Бродским, чтобы спасти "своего" от преследований. Иосиф, суетясь, предъявляет им свои "еврейские" стихи, а "этого гоя", то есть Бобышева, выпроваживает на лестницу. "По этой линии он и достиг многих, если не всех, успехов"[37]. Что за бред? Какие такие наделенные таинственной властью евреи в Ленинграде в 1963 году? Как же так не спасли они Бродского от тюрьмы, судебного издевательства и ссылки, коли они так сильны? Зато обеспечили ему все, вплоть до Нобелевской премии, "по этой линии". Недалекий Бобышев и не догадывается, что надо хотя бы сводить концы с концами.

Тема: "Образ Иосифа Бродского в литературе"

Роман Гандлевского "<НРЗБ>". Еще одно произведение, где из Бродского выкроен литературный герой. Лет двадцать тому назад вышел пухлый роман Феликса Розинера "Некто Финкельмайер". А еще есть такой раритет — роман почтенного советского писателя Георгия Березко "Необыкновенные москвичи" (1967), где Бродский выведен под именем Глеба Голованова, хорошего, в общем, советского парня, только неправильно понятого и оклеветанного. Аксенов в сатире "Скажи изюм" сводит счеты с "Аликом Конским". Из этих четырех книга Гандлевского единственная, где автор понимает, с чем имеет дело. Гандлевский, конечно же, отдавал себе отчет, что он пишет "<НРЗБ>" по следам "Дара" (сходство с "Пушкинским домом" Битова поверхностное). Три главные темы романа — одержимость любовью, одержимость собственным поэтическим даром и одержимость поэзией. Ясно, что это совпадение, а не подражание Набокову, стилистического сходства почти нет. Вообще, по старинному и единственному правилу он пишет только о том, что досконально знает.

Подобно Набокову, Гандлевский смело берется изображать то, что, не соскальзывая в пошлость, изобразить трудно, — как возникают лирические стихи. У него это получается по той простой причине, что он сам очень хороший поэт, и стихи, сочиняемые его героем, хорошие. Стихотворческое дарование Набокова было куда скромнее, чем поэтический дар Гандлевского, но кое-какое было, и Годунову-Чердынцеву он отдал свои едва ли не лучшие строки. Писать прозу вообще трудно, и если я еще могу себе представить, как писатель находит слова, чтобы описать свой собственный опыт сочинения стихов, то как опишешь другого поэта, если это поэт больший, чем ты? Набоков поступает так: он изображает не самого Кончеева (Ходасевича), а матрицу Кончеева в сознании молодого поэта, который ведет с гением воображаемые диалоги. Это на удачных страницах. В своей более прямой и лаконичной прозе Гандлевский решается на прямые и опасные действия. Он дважды дает нам тексты Чиграшова (Чиграшов — Бродский с переписанной по беллетристическим соображениям биографией). В самом деле, что делать, если ты хочешь привести в тексте стихи гения? Написать за него "гениальные стихи"? Процитировать

стихи его реального прототипа? Таких грубых преступлений против хорошего вкуса Гандлевский не совершает. Он в двух эпизодах парафразирует строки Бродского — и у него получается! Первый парафраз — прозой. Герой романа впервые читает стихи Чиграшова. Особенно его потрясает одно стихотворение о любви.

Функции Создателя в стихотворении препоручались любимой женщине. Своими прикосновениями она преображала безжизненный манекен мужской плоти: наделяла его всеми пятью чувствами и тем самым обрекала на страдание, ибо, вызвав к жизни, бросала мужчину на произвол судьбы.

(Бродский: "Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую, воронью ночь склоняла чело…" и т. д.) В последней строфе, пересказывает герой Гандлевского, "внезапно появляется ребенок, играющий с юлой".

И с дивной звукописью описывалось сходящее на нет вращение…

Этот образ запущенного кружиться физического тела — трансформация концовки Бродского: "Так, бросаем то в жар, то в холод, то в темень, в мирозданьи потерян, кружится шар". В другом эпизоде Лева Криворотое читает Чиграшову новое стихотворение. Это воспоминание о том, как в детстве накатывает непонятное лирическое волнение, вроде как у Пастернака "Так начинают, года в два…".

Когда в два ночи жизнь назад на Юге
Проснешься, а родители ушли,
И с танцплощадки звуки буги-вуги
Враз отрывают койку от земли,
И танго в знойном небе Аргентины
Не помещается и входит в дверь…
И все это, любимая, поверь, —
Поэзии моей первопричина.

Чиграшов хвалит стихи, кроме последних двух строк, которые "из рук вон". И тут он говорит Леве то, что понимают только очень сильные и испытавшие славу поэты: "…приучите себя хорошенько к мысли, что единственный человек, которому ваша лирика по-настоящему нужна и интересна, — вы сами и есть". Конечно, это мысль немолодого Гандлевского. Но нечто подобное мог сказать, да собственно говорил, и Бродский. Чиграшов

повторяет в конце монолога: ".. концовка — хуже некуда". И дальше:

— Предложите свою, — сказал я, наглея от обиды.

— Задали вы мне задачу… Ну хоть — "Все это, досмотрев до середины, я скатываю в трубочку теперь…".

Действительно, на наших глазах нечто милое и невнятное превращается в сильное, с резким в конце поворотом, стихотворение. Мелькает мысль: жалко, это Гандлевский мог бы и для поэтической книжки сберечь. Но не мог бы — это не его. Это — концовка "Двадцати сонетов к Марии Стюарт": "Я благодарен прежде белоснежным листам бумаги, свернутым в дуду". По-моему, оба момента в романе — tours de force автора.

Мне все это сильно понравилось и также польстило, что Гандлевский приспособил кое-что из моего скромного бытия для воображаемой жизни своего героя: его Лева Криворотов с удовольствием, бесконечно затягивая, "шлифует" комментарии к тому Чиграшова в "Библиотеке поэта", точь-в-точь как я уже десять лет вожусь с комментариями к Бродскому.

В 1965 году, когда Иосиф, возвращаясь из ссылки, заехал в Москву, кто- то из знакомых повез его в Переделкино к писателю Анатолию Рыбакову. У Рыбакова была репутация человека, умеющего хорошо устраивать литературные дела, и он согласился поучить Иосифа уму-разуму в этом плане. По словам Иосифа, Рыбаков стал излагать ему такие многоходовые византийские планы, что Иосиф скоро совсем запутался и перестал следить за мыслью писателя, ждал, когда можно будет уйти.

Нечто совсем иное я прочитал в рыбаковском "Романе-воспоминании". Пара страничек, посвященных Иосифу, не вызывают доверия, поскольку стилистически очень уж напоминают лернеровские статьи в "Вечернем Ленинграде":

[Я] предложил Бродскому поговорить о нем с Твардовским.

Он гордо вскинул голову:

За меня просить?! Они сами придут ко мне за стихами.

Дальше, вспоминает Рыбаков, он заговорил о недавно умершей Фриде Вигдоровой:

Мне казалось, что разговор о ней смягчит Бродского.

Однако, буркнув в ответ что-то пренебрежительное, Бродский предложил почитать еще стихи.

Я был поражен:

Как вы можете говорить о Вигдоровой в таком тоне? В сущности, она вас спасла… Вас спасла, а сама умерла.

Спасала не только она, — ответил Бродский, — ну, а умереть, спасая поэта, — достойная смерть.

Не берусь судить, какой вы поэт, но человек, безусловно, плохой. — Я поднялся и ушел в кабинет.

Гостям пришлось ретироваться.

Не берусь судить, насколько верен рассказ Рыбакова, но писатель он, безусловно, плохой. В его рассказе он "уходит", а неприятные гости "ретируются", он "говорит", а заносчивый парень Бродский "буркает". О Вигдоровой Рыбаков пишет, наворачивая клише на клише: "Хрупкая, похожая на подростка, очень болезненная, но поразительно мужественная". Пишет, что ее подкосила борьба за Бродского и от того она умерла. Вигдорова умерла от неоперабельного рака поджелудочной железы, но Рыбаков мыслит мелодраматическими клише.

Тут же Рыбаков и объясняет, почему он припомнил и включил в книгу этот эпизод, — прочитал в 1988 году в "Русской мысли", что Бродский на вопрос журналиста о романе Рыбакова "Дети Арбата" ответил: "Что я могу думать о макулатуре?" "Но ведь книга пользуется фантастической популярностью?" — удивился журналист. "Разве так редко макулатура пользуется популярностью?" — ответил Бродский.

Интервью, данное в Копенгагене, видимо, было на английском, и я думаю, что "макулатура" здесь не пежоративная оценка, а жанровое определение — "pulp fiction" (а если и на русском, то кальки с английского нередко проскакивали в речи Иосифа). И в этом смысле Иосиф, конечно, прав. Я читал, правда, наискосок, бестселлер Рыбакова — он написан по всем правилам популярного чтива (pulp fiction).

Говорил ли Иосиф, что умереть, спасая другого, — не худшая смерть и что он не будет упрашивать редакторов напечатать его стихи? Очень может быть. К Вигдоровой он относился с нежной признательностью, чему свидетельства его письма к ней. Ее фотография всегда висела у него над письменным столом. И слова о "достойной смерти" верны и звучат благородно, если не предварять их ремаркой "буркнул… что-то пренебрежительное".

Иосиф после ссылки был так же несовместим с московским литературным истеблишментом, как и до ссылки. То был не сознательно избранный нонконформизм, вон он и к Рыбакову за советом поехал, и с Евтушенко в редакцию "Юности" пошел. Это была психологическая, даже физиологическая несовместимость. Послушав разговоры на совещании в "Юности", он в обморок

упал.

Рыбаков был крепкий еврейский мужик. Жил долго. Судя по его автобиографическим книгам, не шибко интеллигентный. В молодости посадили, отделался ссылкой — повезло. В 30-е годы, чтобы опять не сцапали, скитался по провинциям, менял службы. Отвоевал. Надо было начинать новую жизнь в сорок лет. Подумал, что у человека свободной профессии меньше будут рыться в анкетах. Преподавать танцы не хотелось. Выбрал литературную работу. Научился писать и написал детские книги "Кортик" и "Бронзовая птица". Там был только минимум агитпропа — хорошие комсомольцы, чекисты, плохие белогвардейцы, а остальное — роман тайн по испытанным формулам. На такие книги был голод. Рыбаков стал популярен и получил привилегированный статус официального писателя. После этого, уже с ориентацией на статус советского писателя первого разряда, стал сочинять производственные романы. И тут все получилось — за роман "Водители", из жизни шоферов, ему дали Сталинскую премию. Никаких иллюзий относительно Сталина и советской власти Рыбаков не питал. Хотелось жить в хорошей квартире, ездить в автомобиле на дачу, деньги всегда иметь и при этом не делать подлостей. Вроде бы получалось. Когда времена стали помягче, начал писать на темы, которые его по- настоящему волновали: о страданиях евреев, о собственной молодости с арестом и ссылкой. Что-то удавалось напечатать, что-то должно было лежать до самой перестройки. Зато в перестройку его автобиографическая сага "Дети Арбата" стала бестселлером. К тому, что вот прямо в своем советском издательстве выходит книга, где рассказывается о советских пакостях, еще не привыкли. Я уважаю Рыбакова — это ведь было страшно трудно в советской жизни, оставаясь порядочным человеком, обеспечить себе, своей семье зажиточное комфортное существование. Мне только кажется, что он на самом деле принимал pulp fiction за литературу, а совписовскую возню за литературную жизнь. В "Романе-воспоминании" он подробно с увлечением описывает переговоры в кабинетах литературных чиновников — кто кому позвонил, кто на кого нажал, чтобы вышла книга, чтобы дали премию. Иосиф действительно должен был показаться ему монстром.

Сон на 21.III. 04

В большом городе, кажется, в России я приглашен провести

одно семинарское занятие со студентами. Почему-то очень рано на рассвете, чуть ли не в пять утра. Семинар во сне пропущен, а уже после семинара я с теми, кто меня пригласил, жду автобуса на углу двух широких улиц. Автобусы подходят слишком набитые — люди едут на работу. Тут появляется Иосиф. Я забываю про автобус, начинаю весело рассказывать ему про давешний семинар. "Знаешь, что я им залепил, чтобы они глаза продрали? Я им сказал, что Ахматова переводила стихи, у которых не было оригинала, что она цитировала несуществующие тексты, и… — я понимаю, что несу чушь, но не могу не добавить еще что-то третье, —.. и все, что она писала, основано на жизненном опыте, которого не было". Тут я думаю во сне: "А как же "Реквием"?" И говорю вслух: "Даже "Реквием"". Иосиф поджимает губы и тянет: "Мммммм…" Я-то ждал, что он резко опровергнет мою чепуху или как-нибудь иронически отзовется, но мне вдруг становится ясно, что он видит в моих словах какую-то истину, которой я сам в них не вижу, он просто ищет правильные слова взамен моих неправильных, чтобы эту истину высказать.

Поэзия и правда

"Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, в сторону Спаса Преображения. Кроме этого дома (превосходного), пять шестых которого сдавалось внаем…" Примерно там, где Достоевский поселил семейство Епанчиных, через несколько лет после окончания "Идиота" вырос на полквартала дом Мурузи. Довольно противное на вид здание в "мавританском", видите ли, стиле, то есть со штукатурными арабесками. Литейный вообще не слишком привлекателен, особенно четная сторона в начале проспекта. Дело не в эклектике, а в том, что все заметные здания — дурного вкуса. Туповатый конструктивизм Большого дома — зловещее здание всегда напоминало мне прямоугольным покроем и коричневатостью полувоенные френчи, какие до войны носили, а после войны донашивали советские начальники. Нелепый дом Мурузи. Дом офицеров в безобразном стиле а-ля-рюсс. Зато Преображенская площадь с некрупным собором — одна из самых милых в городе. Уютный масштаб, узкие переулки, ведущие в одну сторону к Фурштадтской, в другую к Кирочной. Это одно из самых европейских мест в Петербурге — родное место Иосифа. С тех пор, как он себя помнит, он там жил. В детстве в доме за собором. Гулял в церковном садике, качался на чугунных цепях ограды, мать кричала из окна третьего этажа, чтоб не качался, или звала ужинать. Потом переехали в "полторы комнаты" в дом Мурузи. Иосиф не помнил, когда точно. Теперь нашлись документы, подтверждающие, что в 55-м. Александр Иванович еще был прописан на углу Обводного и Газа, что позволило оставленному в седьмом классе на второй год Иосифу перевестись в школу на Обводном (а на следующий год, в восьмой класс, из которого он ушел после первой четверти, в 289-ю школу на Нарвском проспекте, где и я учился, с середины второго и почти до конца третьего класса, в 46-47-м годах).

Свято место пусто не бывает. В доме Мурузи жили: старший сын Пушкина Александр Александрович, Лесков, Мережковский с Гиппиус, поэт Пяст, а после революции там сперва была студия перевода при издательстве "Всемирная литература", а потом клуб поэтов под председательством Блока, и Гумилев собирал свой "Цех поэтов". Блок, Белый, Гумилев, Мандельштам и молодые "серапионы" все бывали в этом доме бессчетное количество раз, читали стихи, рассуждали о высоком и прекрасном, низком и ужасном. Потом голоса умолкли лет на тридцать. Потом там

заговорил Иосиф.

Историей родных мест Иосиф интересовался, но многое путал. Пушки в ограде собора он почему-то считал трофеями Крымской войны, хотя какие уж на той позорной войне трофеи! Они с русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Полагал, что в доме Мурузи снимал квартиру Блок. Бывал Блок там, у Мережковских, а после революции в студии и клубе поэтов, неоднократно, но не жил. "И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбления революционным матросам". Картинка выразительная, но быть такого не могло. Мережковские съехали в 1913 году, да и жили они в другой части дома.

Он кое-что путал, но, я думаю, не всегда из-за недостоверности сведений. Мне кажется, что в молодые годы он просто не научился еще отделять факты от плодов мощного воображения. Есть поразительный пример. Гарик рассказывал, как семнадцатилетний Иосиф пришел к нему с фантастическим, но детально разработанным планом, по которому Гарик должен " был сдать за него, Иосифа, вступительные экзамены по физике и математике в университет (на какой это факультет он собирался поступать?).

План включал в себя подклеивание фотографии Гарика в паспорт Иосифа и т. п. "Постой, а аттестат зрелости? У тебя же аттестата зрелости нет", — сказал Гарик. "Есть", — сказал Иосиф, хотя Гарик прекрасно знал, что Иосиф среднюю школу не кончил. Несколько лет спустя, когда появился тот самый роковой пасквиль в "Вечернем Ленинграде", Иосиф написал подробное по пунктам опровержение. В основном он там все опровергал основательно, но был и такой пункт: "Да и какие могут быть знания у недоучки, у человека, не окончившего даже среднюю школу…" — цитировал Иосиф из статьи в "Вечерке" и отвечал на это: "Я получил среднее образование в школе рабочей молодежи, так как с пятнадцати лет пошел работать на завод. Я имею соответствующий документ — аттестат зрелости, который готов предъявить в любую минуту"[38]. Никакого аттестата, как пишет мне Гордин, "в природе не существовало". Но ведь Иосиф не перед девушкой прихвастнуть решил. Он знает, что обращается в такие инстанции, где действительно потребуют предъявить. Как объяснить это безумное заявление?

Гарик, вспоминая, как решительно сказал ему Иосиф, что имеет аттестат зрелости, говорит: "Ну, я подумал — поэт…" Гарик правильно подумал. В юности многие фантазируют и привирают (иные и в зрелом возрасте). Вон и Андрей, так поразительно похожий на отца и внешне, и мимикой, разводил турусы на

колесах о своих рыцарских подвигах — какого-то негодяя он послал в нокаут, другого вышвырнул из троллейбуса. Видно было, что хлипкий на вид малый увлекся. "Редко бывают подобны отцам сыновья; все большею / Частию хуже отцов и немногие лучше", — говорит богиня у Гомера. И с другой стороны генетической цепочки — когда Александр Иванович рассказывал свои военные истории, было ясно, что жизненный материал подвергся обработке по законам жанра. Разница между фантазерами и гением не только в том, что у гения воображение мощнее, но и в том, что ему удается поженить воображение с цепкой наблюдательностью. Мы стараемся не судить о людях и городах по первому впечатлению. И правильно делаем. Но Иосиф мог увидеть многое мгновенно, и тут же начинали раскручиваться мощные маховики воображения, и на выходе из этой машины возникала картина исключительной полноты и точности. Ревнители византийского наследия могут спорить с рассуждениями Иосифа, но вряд ли эстетически чуткий читатель откажет "Путешествию в Стамбул" в выразительной силе. Как отчетлива до мельчайших деталей панорама города! Не только диковинные экспонаты в музее и минареты Айя-Софии, но и голливудскую драку на телеэкране в дешевом кафе, и буро-черные ручейки между булыжниками уловил ястребиный глаз путешественника. "А вы знаете, как долго Иосиф пробыл в Стамбуле? — сказала мне В., которая его туда привезла. — Один день".

Разоблачитель Бродского

Десять лет (лет — с середины июня до начала августа) Наум Моисеевич ("Эма") Коржавин был моим соседом. В Норвичской летней школе мы всегда оказывались в соседних комнатах. Я его полюбил. Эма был уже почти слепой, но стремительный. Весь составлен из шаров разного диаметра, самые выпуклые — лоб и пузо. Но также шарообразны нос, толстые очки, даже, кажется, пальцы коротковатых рук. Он напористо катался по норвичскому кампусу в запорожских шароварах — вверх по холму, вниз с холма. В столовую в чистой майке, из столовой заляпанный сегодняшним меню, но заботливая Любаня тут же переодевала поэта в чистое. Своим красно-белым посохом слепца он на знакомых дорожках не пользовался, но нес его перед собою как маршальский жезл. Я обычно не мог удержаться и говорил: "Словно гуляка с волшебною тростью…"

Хотя выпуклостью Эма и напоминает Сократа, он не столько собеседник, сколько монологист. Голос у него странный — очень сиплый и очень звонкий. Я к нему подсаживался в столовой и вообще любил слушать его, когда было время. Дивился его сильной памяти и уму. Если бы я хоть что- то понимал в шахматах, я бы сказал, что ум у него алехинский — многоходовый и неожиданный. Еще в нем очень привлекательна честность по отношению к себе. Вспоминая, он не заботится о том, чтобы выставить себя в выгодном свете, но и не кокетничает расчетливо своими промахами и недостатками. Рассказывает, как пытался дать свои стихи любимому Пастернаку и Пастернак сказал: "Я слишком занят, чтобы разбираться в микроскопических различиях между вами и Евтушенко". Такое многие бы утаили или постарались забыть, а Эма упрекнет Пастернака за бестактность и рассказывает дальше.

Наше летнее соседство началось в 1987 году и совпало с историческими переменами на родине. На эти темы Эма, в основном, и рассуждал, а я слушал. Его мысли часто меня удивляли и пророчества оказывались верны. Так, например, в те перестроечные времена на мои сетования, что в стране просто нет кадров, чтобы рулить в сторону капитализма и представительной демократии, старый антисоветчик сказал: "Есть. КГБ — наименее коррумпированная организация". Эма хорошо знает русскую историю. Однажды в начале 70-х годов мы с Ниной были в Москве и случайно попали в театр Станиславского на пьесу Коржавина "Однажды в двадцатом". Сюжет и спектакль я не помню (смутно

напоминает "Бег" Булгакова). Помню, что очень понравился резонер, профессор-историк, как бы Ключевский, со свойственным Ключевскому скептическим гуманизмом, но комментирующий события после 17-го года. Историка играл популярный Евгений Леонов, но мы тогда еще не знали, что Леонов и внешне похож на Эму.

Познакомились мы года за три до того, как я начал служить в Норвичской летней школе. В то лето 1984 года они вместо обычного симпозиума устроили вроде фестиваля писателей и поэтов, своих, работавших тогда в Норвиче[39] — Коржавина, Ржевского, Саши Соколова, и приезжих: Ивана Венедиктовича Елагина, Юза, Виктора Платоновича Некрасова (с ним я только там единственный раз и встретился), Бахыта Кенжеева. Впрочем, Бахыт был не приезжий, он в Норвиче жил при тогдашней жене, преподавательнице. (Там-то, с этими писателями, я играл в кошмарную "пти жё", о которой расскажу в другом месте.) Выступление каждого писателя предварялось похвальным словом, и меня попросили сказать о Коржавине.

Когда Леонид Денисович Ржевский обратился ко мне с этим предложением, я умилился. К тому времени я давно уже не читал стихов Коржавина, только его статьи в эмигрантской прессе, но в памяти всплыли листки первого в юности самиздата. Самое раннее самиздатское воспоминание — две поэмы Цветаевой, "Горы" и "Конца", и листочки со стихами Коржавина: "Можем строчки нанизывать, поскладнее, попроще, но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь, мы не будем увенчаны, и в кибитках снегами настоящие женщины не поедут за нами…","‥ а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят…" Особенно нравилось определение Сталина в одном стихотворении: ".. не понимавший Пастернака угрюмый, мрачный человек". Я и сейчас думаю, что это очень хорошая поэтическая мысль. Тот же страшный душевный изъян, который делает человека садистом и тираном, выражается в его неспособности воспринимать лирическую поэзию. Собственно говоря, эту же мысль развивает и Бродский в Нобелевской лекции. Можно даже предположить, что сам Сталин об этой своей патологии догадывался. Ведь он спрашивал у Пастернака про Мандельштама: "А он — мастер?" Сам не знал.

Я прочитал насквозь два имевшихся тогда сборника Коржавина. Стихов было много, но мне только понравилось, ностальгически, то, что я знал в юности. Разве что вот еще простенький куплет: "И нас от сдирания шкуры на бойне хранят, защитив, лишь тонкие стенки культуры, приевшейся песни мотив". Даже неудачный сдвиг, "на бойне хранят", мне тут не

мешает. Да я и вообще не верю в эту крученыховскую сдвигологию — ну, сделай паузу, когда читаешь, трудно, что ли? Остальные многочисленные стихи были усталыми, необязательными. В них и тени не было того темперамента, что раскалял коржавинские статьи. И неожиданностей не было, что делали интересными разговоры с Коржавиным. Мне и потом, когда мы познакомились поближе, часто казалось, что собственные стихи Эме не слишком интересны. Так некоторые (не буду указывать пальцем в зеркало) тянут лямку, потому что не могут в силу разных жизненных обстоятельств бросить службу, когда на самом деле им только одного хочется — стихи сочинять. Эма, кажется мне, много лет тянул лямку поэта, а хотелось ему только заниматься публицистикой — ораторствовать, излагать свои мысли об истории и современности в печати, полемизировать. Так или иначе, мне нужно было и хотелось, из благодарности, сказать о нем нечто приятное. Я подумал и понял, о чем надо говорить — о том, что так привлекло меня в тех ранних стихах и что привлекает в его прозе, о храбрости. Я имел в виду не только смелость писать стихи, за которые заведомо можно было загреметь на Лубянку и в лагерь, что и произошло в 1947 году, но и смелость мысли. Мысль часто, на мой взгляд, неправильная, но зато свободная, не зависящая от мнений. Об этом я и сказал.

В Норвиче Любаня преподавала русский язык, а Эма числился на американский манер "poet-in-residence", а на русский манер раз в неделю "вел поэтический кружок". На кружок к нему приходило несколько студентов из тех, кто старается ничегошеньки не упустить из десятинедельной программы, за которую деньги плачены. Отдельные слова и кусочки фраз из Эминого часового монолога им удавалось понять, и они были довольны — практика. А Эма в течение часа своим сипло-звонким голосом рассуждал о русской поэзии, в основном споря с невидимыми, но ненавистными модернистами-авангардистами. Доводы свои он подкреплял чтением стихов. Занятия кружка проходили по вечерам в холле нашего, второго, этажа университетской гостиницы. В это время я обычно валялся у себя в номере с книжкой и сквозь закрытые двери не мог разобрать, какие стихи читает Эма, но легко определял в звонко-сиплых подвывах стихотворный размер. "У-у-у у-у-у у-у-у-у-.." Пятистопный хорей. То ли "Выхожу один я на дорогу..", то ли "Ты жива еще, моя старушка…" "У-у-у у-у-у у-у-у-у…" Трехстопный анапест. Что-нибудь из Блока.

Наивная вера, что твой собеседник все поймет, если продекламировать ему стих с выражением, была свойственна и

Иосифу. В интервью шведскому телевидению он рассуждает о Пастернаке. Ироническое отношение к Пастернаку он отчасти, видимо, усвоил от Ахматовой, отчасти то была собственная идиосинкразия, глубокая личностная несовместимость. Но, казалось, он испытывал неловкость, не совсем знал, как быть с этой антипатией, потому что стихи Пастернака, особенно стихи из романа, он любил. (Зато с видимым облегчением ругал сам роман — тут ему все было ясно.)

На видеозаписи он говорит так: вот я недавно слушал, как Пастернак читает свои стихи, и понял: "Он ведь совершенно не понимает, что читает!" И тут Иосиф пытается показать, как Пастернак читает "Марию Магдалину". Имитаторского дарования у него не было, изобразить жалобные подвывания Пастернака он не мог, а просто постарался прочитать несколько строк потише и помонотоннее: "ногиявподолтвоиуперла-ихслезамиобли-лаисус…" "А ведь на самом деле это совсем другое!" — сказал Иосиф. И во всю мощь своей оркестроподобной носоглотки запел: "Ноу-ги — я-ау — в по-доул — твои-нг — упё-нг-рла…"

Иногда попозже вечером, когда я уже собирался спать, Эма вдруг вкатывался в мою комнату и в полном запале без меня начатого спора со мной с порога кричал: "А твой Бродский…" В отличие от его рассуждений о судьбах человечества слушать его филиппики против Бродского было не очень интересно. Вкусовая система и выражавшая ее бедная поэтика 30-х годов были для Эмы онтологичны: это так, потому что так оно и есть. Всю прошлую поэзию — Ахматову, Блока, да что там, Пушкина — он мерил мерками Ярослава Смелякова, А.Т. Твардовского, своими собственными, и, поскольку романтическая риторика и сентенциозность этих поэтов не на голом месте явились, а уходят корнями в XIX век, поэзия прошлого ему, в основном, нравилась. А вот послекоржавинские поколения уже раздражали нарушением правил. А ведь вся Эмина эстетика — такая же данность, как сама природа, нарушать ее — значит делать нечто противное природе, даже Богу, это значит выпендриваться, гениальничать, "свое я показывать". Ему представлялось, что это и есть модернизм. Как-то он еще связывал эту вселенскую порчу со структурализмом. И вообще это был типичный ленинградский снобизм. И только пустозвонам американских кампусов это может нравиться.

Он был честен в своем наивном гневе. Он искренне старался обнаружить хорошее в стихах поэтов подозрительного поколения. Иные из них даже почти полностью отвечали его требованиям: Олег Чухонцев. Иные отчасти: Кушнер. И у Бродского он выискивал хорошие места, а одно стихотворение, "Ты забыла деревню, затерянную в болотах…", он даже считал замечательным

и читал наизусть: "У-у-у-у у-у-у у-у-у-у-у у-у-у…"

Вечная, блин, проблема эстетической пропасти между отцами и детьми (вечная, Блум, проблема). У Коржавина нет ни строчки, которая напоминала бы настоящего Бродского, а у юного Бродского полно коржавинских строк, есть и целые стихотворения, которые могли бы быть написаны Эмой, — "Стансы" ("Ни страны, ни погоста…"), например. Потому-то Иосиф и не любил эти стихи, не хотел их печатать в собраниях — не свои.

Как-то в юности Рейн привел меня к Самойлову. Из этой единственной встречи Самойлов запомнился мне как большой весельчак. Он рассказывал нам о парижском поэте-возвращенце Алексее Эйснере и с удовольствием цитировал рифмованные мечтания евразийца, что-то вроде "Оделись дымкою бульвары, росой покрылася трава, и поскакали кашевары в Булонский лес рубить дрова…" и "Перед Венерою Милосской застыл загадочный калмык…" (на мой вкус, не бог весть что). В какой-то момент нашей болтовни я выразил восхищение Коржавиным, и Самойлов сказал: "Когда Эмка вернулся из ссылки, он приходил в грязной вонючей шинели и мы всегда хором кричали: "Мандель, сними свою мандилью!""

Иосиф и деньги

Их, денег, у Иосифа не было никогда. Ну, почти никогда. Даже Нобелевскую премию он ухитрился получить в тот год, когда ее денежное выражение из- за дурного расположения звезд на биржевом небе было самым низким за всю историю. Если обычно это что-то порядка миллиона долларов, то в 1987 году было семьсот тысяч. К тому же ему скверно насоветовали, как избежать двойного, американского и шведского, налогообложения, и в результате он, конечно, вынужден был заплатить налоги и там, и там, да еще и штраф в Америке. Осталось от нобелевского куша меньше половины. Помню, что он упоминал пару раз 340 тысяч долларов: "Это все, что у меня есть". Эта сумма может показаться гигантской русскому человеку, но ведь нет ничего относительнее, чем деньги. Свой капитал Иосиф упоминал в разговорах года за три до смерти, когда ему пришлось съезжать с насиженного места в Гринвич-Виллидж, срочно искать жилье для семьи. Уже и в начале 90-х с теми деньгами, которыми располагал Иосиф, к сколько- нибудь приличному жилью на Манхэттене и подступиться было нельзя. Не говоря уж о том, что очень больному человеку, вложи он все, что имеет, в покупку жилья, пришлось бы жить безо всяких сбережений, рассчитывая только на то, что удастся заработать.

В России он жил от случайного заработка до случайного заработка с частыми периодами полного безденежья. Справки о заработках, представленные в суд, чтобы доказать, что он не бездельник-тунеядец, свидетельствуют о копеечных доходах. Однажды, на старый-новый 1967 год, нищета допекла его настолько, что он разразился длинной инвективой против уродства этого мира с его экономикой:

Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле трясусь от злости.

И в шутливом послании Кушнеру: ".. вместе давно не видим двух рублей". Действительно, если рубль и рубль встречались в его кармане, то ненадолго. Он тратил свои маленькие деньги не задумываясь. Мне в ту пору казалось, что в основном на такси. Он не переносил общественного транспорта и готов был потратить последний рубль на такси, не думая о том, что будет есть завтра.

В 72-м году, по приезде в Америку, он ощутил себя богачом и немного этого испугался. Он рассказывал так: получил

ежемесячное сообщение из банка о состоянии моего счета и увидел, что накопилось три тысячи. А он ведь платил за квартиру, что-то покупал, и все же накопилось. И в голову пришла мысль: а хорошо бы — пять тысяч! И эта мысль Иосифа испугала: ведь этак и начнешь все время думать, копятся деньги или не копятся. Он решительно не хотел занимать голову такими скучными мыслями.

Приличная университетская зарплата, разные премии до и после Нобелевской, гонорары за публикации и выступления — чеки приходили исправно. Иосиф, пока не соберется снести в банк, прикнопывал их над столом среди открыток и фотографий, и, как мне кажется, они там порой приживались в этой мозаике навсегда. Заработки были для холостяцкой жизни приличные, но по буржуазным стандартам у него не было ничего. Даже в лучшие времена его доход далеко уступал среднему доходу дантиста, у которого он лечил зубы, или, тем более, кардиолога. Но главное — у него не было недвижимости, не было сбережений, и он это понял, когда появилась ответственность за семью.

В предчувствии смерти он сделал, что мог, — составил толковое завещание, по которому его наследство — доходы от публикаций и продажи архива какому-нибудь научному учреждению — должны были обеспечить осиротевшую семью. Распорядителями этого наследства он оставил верных друзей. Мне не раз приходилось сталкиваться с высокомерным и раздраженным отношением к этим людям со стороны российских издателей. Дескать, кто они такие, чтобы распоряжаться печатанием или непечатанием Бродского! Он наш поэт, мы его знаем и любим и поэтому имеем право печатать, что хотим и когда хотим, и плевать мы хотели на этих американцев. Иными словами, мы любим Бродского и поэтому воруем то, что он оставил своей вдове и дочке.

Деньги Иосиф на жаргоне своей юности называл "башлями", и мне казалось, что как-то даже торопился с "башлями" расстаться. Несколько раз я участвовал в сборе денег на вспомоществование нуждающимся старым знакомым, иной раз и тем, к кому Иосиф не должен был бы питать симпатий, и, когда я просил у него, он принимался торопливо выписывать чек, даже не давая договорить. В 1982 году, когда нам подвернулась возможность купить дом, а денег не было ни копейки, он так же торопливо выписал мне чек на десять тысяч для первого взноса, отказался выслушивать мои объяснения, как я собираюсь выплачивать долг, поспешно перевел разговор на другое. (Я очень рад, что долг ему выплатил и даже проценты впарил, чего он не заметил.)

Он любил цитировать из дневника Штакеншнейдер о

Достоевском: "…для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него шесть тысяч рублей". Он однажды даже написал небольшое эссе о деньгах как стихии Достоевского. Он там пишет, что шесть тысяч рублей — это "попросту сносные человеческие условия, то есть те условия, которые и делают человека человеком".

Как-то я наткнулся в своих старых бумагах на записку Иосифа. Он просит меня дать от его имени несколько сотен долларов одной общей знакомой из России и прибавляет, что отдавать все-таки жалко. Я никак не могу вспомнить, в чем там было дело, помню только, что это было довольно наглое, ни на чем не основанное требование человека, которого Иосиф на дух не переносил. И это был единственный на моей памяти случай, когда Иосиф пожалел денег. Но не дать не мог ведь просили.

Гуманизм, демография

Конечно, Иосиф обожал Одена (отмахивался от увлечений Одена марксизмом и фрейдизмом, от его пацифизма), любил разговоры с Исайей Берлином (предпочитал не замечать некоторой либеральной ограниченности собственных идей Исайи Григорьевича), но в ком он нашел полное соответствие своему мировоззрению, кто помог его взглядам на мир обрести окончательную ясность — это Орвелл. Я никогда не слышал от него ничего о романах Орвелла, даже о "1984", но уже к моему приезду в Мичиган в 1976 году он был начитан в эссеистике и документальной прозе Орвелла — "Дорога к причалу Уиган", "Посвящается Каталонии" и проч. Он перевел "Убивая слона", воссоздав на русском этот кристалл английской прозы. Хотел, чтобы Нина переводила и "Ардис" издал книжку Орвелловой публицистики. С этой целью он подарил нам четыре "пингвинских" томика публицистики и писем Орвелла, которые я вот уже четверть века читаю, когда хочется прочистить сознание от демагогии, идеологии и прочей мути. За несколько недель до того, как я пишу это, прокатилась волна статей об Орвелле в связи с посвященной ему книгой Кристофера Хитченса (того самого, который однажды написал обо мне, что я в годы Второй мировой войны служил в Ваффен-СС). Много писали о том, что Орвелл был не так уж прямодушен и целен, каким он предстает в мифе об Орвелле. Поскольку в ихнем бинарном сознании есть только две категории, лево и право, а высказывания Орвелла попадают то в одну, то в другую, то они уличают его в непоследовательности и в лицемерии. Что, однако, может быть честнее, добрее и смелее орвелловского взгляда на мир?

Иосиф писал, что мир "погибнет не от меча, а от дешевых брюк, скинутых сгоряча". Люди в дешевых брюках и юбках размножаются в геометрической прогрессии. Бедность плодит бедность. Совесть велит быть на стороне бедного человека. Христианство, как учит Нагорная проповедь, — это любовь к бедным. В декабре 1977 года не было в мире никого беднее, чем вьетнамец, пытающийся в дырявой лодке уплыть от коммунистического террора.

Сколько света набилось в осколок звезды
на ночь глядя, как беженцев в лодку.

Лодка с самыми бедными людьми на Земле есть квант

божественного света. Одна эта метафора должна перевесить целую жизнь ежедневного крещения лба и буханья поклонов.

По улицам наших городов ходят не люди, а толпы. Тирания — неизбежное порождение толпы. Иосиф постоянно писал и говорил об этом, но я первым делом вспоминаю не слова, а жест. Мы наелись устриц, напились белого вина, потом еще Наташа Горбаневская затащила нас в подвал, где сильно пьяный румын пел "Атвары патыхонку калытку…", в подвале было душно, вышли на улицу, и еще было светло — июнь. Мы были в самом центре квартала Сен-Жермен, густая человеческая масса двумя встречными потоками перла по тротуару и мостовой. Между прочим в толпе мимо нас проплыло такое: тщательно одетый человечек очень голубого вида, в костюмчике, галстучке, шагал, держа перед собой аккуратный букетик, а за ним шли три здоровенных подпитых бугая, они скандировали: "Un, deux, trois…" На "quatre" первый бугай тыкал твердой, сложенной в горсть ладонью человечку в обтянутый серыми брючками зад. "Un, deux, trois… quatre!" — тычок в зад. А человечек продолжал вышагивать, глядя прямо перед собой. "Мужские игры", — сказал Иосиф. Обтекая нас, перла однородная масса, и тогда Иосиф немного выпятил подбородок и мотнул головой, словно одним движением указывая на все поголовье сразу. И я понял смысл жеста: вот он, конец света.

Подвиг Торопыгина

"Мое существование парадоксально", написал Иосиф в "Речи о пролитом молоке", подводя итоги первых десяти лет взрослой жизни. Один из парадоксов этих десяти лет состоял в том, что формально советской власти было трудно обвинить его в девиантном поведении, труднее, чем большинство молодых людей нашего круга. Он мало пил, не то что большинство из нас, не баловался наркотой, как некоторые, тогда еще немногие, не фарцевал, как, например, Довлатов. Он не участвовал в диссидентском движении, и в его ранних стихах нечасто встречаются места, которые можно истолковать как политические выпады против режима, в отличие, скажем, от стихов других авторов гинзбургского "Синтаксиса", песен Галича или даже эзоповских текстов Евтушенко. Он не соответствовал фельетонному типу избалованного стиляги, маменькиного сынка или "оторванного от жизни" книгочея: он вырос в небогатой семье, в скверных бытовых условиях и серьезным книгочеем стал только уже в юношестве. К нему нельзя было обратить обычное суровое назидание: "Пойди-ка ты на производство, поработай у станка, поварись в рабочей среде…", ибо он так и сделал без всяких понуканий — в пятнадцать лет пошел работать у станка, потом трудился на других пролетарских работах, ездил, что твой песенный романтик, в трудные северные экспедиции. Попытка угона самолета с целью побега за границу? Так это даже не утруждавший себя юридическими тонкостями КГБ не мог ему пришить: один человек сказал, что Бродский говорил… Его даже в "формализме" (так, со сталинских еще времен, идеологические контролеры называли любое художественное экспериментаторство) обвинить было трудно. Помню, как Володя Торопыгин, редактор нашего "Костра", когда ему в секретариате Союза писателей дали посмотреть пачку стихов Бродского, искренне удивлялся: "Они же такие — классические…" Он полагал, что будут какие-то непонятные выкрутасы, вроде как у Сосноры или Вознесенского, а по сравнению с Бродским даже Роберт Рождественский, на которого Торопыгин равнялся, был авангардист.

Именно от этого преследования Бродского воспринимались даже осторожными, интегрированными в систему людьми, вроде Торопыгина, как очевидная вопиющая несправедливость. Вот Солженицына, который покушается на святое, на Ленина, восхваляет предателей-власовцев, обращается за поддержкой к

нашим врагам на Западе, Торопыгин мог осуждать с чистым сердцем, а тут…

Володя Торопыгин был полноватый высокий мужчина, кареглазый, с правильными чертами. Такие в те времена нравились проводницам и буфетчицам, что, я думаю, скрашивало и разнообразило его жизнь. Когда я пришел в "Костер", он был заместителем главного редактора, потом стал главным. По работе у меня с ним отношения были хорошие, да и так мы вроде не враждовали, во всяком случае выпивали вместе то и дело, но приятельства не было. Он все же был больше номенклатурой, чем литератором. Эти вечные как бы с юмором, а на самом деле с упоением рассказы о поездках на пленумы, фестивали, декады, как в Новосибирске три дня ждали вылета во Владивосток и так хорошо сидели, что не заметили, как Серега отлучился, а он, оказывается, слетал в Москву и обратно, а пиджак его тут на стуле, ха-ха, висел… Он был начисто лишен литературного дарования. По- моему, его идеалом был Роберт Рождественский, сам по себе порядочный пустозвон, но и тот что-то из себя представлял по сравнению с нашим Володей. Сам он, видимо, себя причислял к плеяде Евтушенко, Рождественского, Окуджавы. Ведь он и сам писал смело. Поэтическая смелость его была такого рода. Когда в 1954 году сняли за моральное разложение министра культуры, "философа" Александрова, Торопыгин читал на вечере в университете стихи о том, что на нашем славном пути к коммунизму нет-нет, а будут встречаться еще бюрократы, и звенящим от смелости голосом кульминационную строчку: "Может быть, философы, министры будут попадаться среди них". Другое дерзновенное произведение в его репертуаре было про проводницу, которую некоторые ханжи осуждают, а она живет не по выгоде, а по сердечным порывам. Тут ударная звонкая строчка была: "Нелька, Нелька, как же ты права!" Однажды он позвал меня с собой на выступление в детскую спортивную школу-интернат в Сосновку. Тогда там рядом, на Ольгинской, жил Окуджава. Я в качестве заведующего спортивным отделом должен был что-то рассказать про спорт, Торопыгин стихи прочитать, а Окуджава спеть. Я рассказал, Торопыгин прочитал про Нельку, Окуджава спел. Подростков, естественно, интересовал только Окуджава. Мы втроем протискивались сквозь толпу юных спортсменов к выходу, они, не замечая нашего присутствия, возбужденно говорили об Окуджаве, а один противным голосом пропищал: "А я Та-ра-пигин", — и все засмеялись. Какая жалость тогда шевельнулась во мне к бесталанному поэту!

Как ни дорожил Володя своим номенклатурным благополучием, была черта, перейти которую он не мог. На

заседании партбюро Союза писателей ему поручили быть общественным обвинителем на процессе Бродского. И вот, что он сделал. Тут же после партбюро спустился в буфет и нарочито прилюдно нахлестался коньяку до безобразия — с криками, битьем посуды, опрокидыванием мебели. И на следующий день явился, опухший, в ресторан спозаранку и все безобразия повторил, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: у Торопыгина запой, выпускать в суд его нельзя. Это был бунт маленького человека в советском варианте, но все равно бунт, даже, пожалуй, подвиг.

Кончил он рано и страшновато. Я тогда уже жил в Америке, а он был редактором не детского "Костра", а молодежной "Авроры". На него донесли, что он печатает крамолу. Во-первых, стихотворение Нины Королевой, в котором намекалось на страшную участь царской семьи в Екатеринбурге: "И в год, когда пламя металось / На знамени тонком, / В том городе не улыбалась / Царица с ребенком". Но этого мало. Был еще рассказик Голявкина, вроде бы шутка, про какого-то маразматика. Но напечатан на странице семидесятой! Как раз тогда, когда торжественно отмечалось семидесятилетие Л.И. Брежнева! За притупление бдительности Торопыгин лишился номенклатурного поста, заболел и медленно и мучительно умер пятидесяти двух лет от роду.

Величие замысла

Из mots Иосифа часто цитируют: "Главное — это величие замысла". Судя по всему, это пошло от Ахматовой. Видимо, как-то, году в 63-м, Иосиф сказал это в разговоре с нею, и на Ахматову несколько туманная фраза произвела большое впечатление. Она потом все вспоминает ее на все лады в письмах Иосифу в ссылку, в записной книжке. Надо бы сказать не "фраза", а "оракул" и, соответственно, не "туманная", а "суггестивная", потому что дано символическое высказывание и мы вольны толковать его по-своему.127

Гордин мимоходом связывает это с пушкинским "единый план "Ада" есть уже плод истинного гения". Я думаю, что у "величия замысла" действительно литературный генезис, но другой — знаменитое место в сто четвертой главе "Моби Дика" о "возвеличивающей силе богатой и обширной темы". "Мы сами разрастаемся до ее размеров, — пишет Мелвилл, напоминающий Достоевского многословием и проницательностью. — Для того чтобы создать большую книгу [тут переводчик неточен, надо было перевести "great" как "великую"],надо выбрать большую [великую] тему". "Большая тема" почти синонимична "величию замысла".

"Моби Дик" был написан в 1851 году, а по-русски впервые вышел в переводе И. Бернштейн в 1961-м, через сто десять лет. По воспоминаниям Гарика Воскова, Иосиф тогда же с большим энтузиазмом рекомендовал ему эту книгу. Там еще есть глава-трактат "О белизне", тоже, по-моему, крепко запомнившаяся Иосифу: белизна "является многозначительным символом духовного начала и даже истинным покровом самого христианского божества и в то же время служит углублению ужаса во всем, что устрашает род человеческий".

Между прочим, и "мы сами разрастаемся до ее размеров" — очень иосифская мысль. Я когда-то переводил на русский "Less than One" и после долгих размышлений остановился на буквальном переводе титульного парадокса: "Меньше, чем единица". Я помню, почему я так сделал: я убедил себя, что и по-русски "единица" в определенном контексте имеет то же значение, что местоимение "сам". Это было непростительной ошибкой. Перевести надо было по смыслу: "Меньше самого себя" — "One [человек, сам] is less than [меньше, чем] one [он сам]". В том-то все и дело (по Иосифу), что хотя произведение — лишь часть человека, отделившаяся от своего творца, но человек,

закодированный в собственном произведении, лучше, "больше", чем автор как житейская личность. Это тоже не новая мысль. Что-то сходное, видимо, ощущалось и говорилось от века. И не только "Пока не требует поэта…", но даже небольшой, милый поэт Полонский объяснял, что переделывает на старости лет ранние стихи потому, что ему кажется, что, если стихи становятся лучше, он сам становится лучше. Новых истин нет. "Цель поэзии — поэзия, — говорит Пушкин, прибавляя, — как говорит Дельвиг, — и прибавляя, — если не украл этого…" Мысль, зерном запавшая в сознание Иосифа при чтении "Моби Дика", проросла: "Главное — величие замысла".

Кублановский

Вероника сказала: "Интересно просто смотреть, как Иосиф разговаривает с Сьюзен Зонтаг и как два мастера играют в пинг-понг". Сравнение верно и в том смысле, что в разговоре Иосиф именно не просто отбивал реплику собеседника, а, приняв ее, отражал вдвое сильнейшим и точным ударом. Кублановский ругал новых эмигрантов и невыгодно сравнивал их со старыми: "Те отступали с оружием в руках". "В том-то и беда, — ответил Иосиф, — с оружием в руках надо не отступать, а наступать".

Кублановскому этот разговор, видно, запомнился, иначе с чего бы в стихотворении, посвященном Иосифу, полощется мотив сине-бело-красного флага — в 86-м году еще воспринимавшегося как царский и белогвардейский — и вспоминается Белая армия:

Белое — это полоски под кольцами,
это когда пацаны добровольцами,
это когда никого
нет пред открытыми Богу божницами,
ибо все белые с белыми лицами
за спину стали Его.

Стихи, как почти все стихи Кублановского, очень хороши. Он вообще высказывается в стихах значительно лучше, чем по-другому. К Иосифу он в стихах обращается нередко, называя его "братом" (от чего Иосиф бы поморщился), но всегда полемически: защищает от Иосифа Византию, православие, православное воинство.

Дряхлый ястреб, парящий бессрочно,
многомилостив и безучастен,
над в пространство раскатанной точкой
темноты, может статься, и властен.
А всего-то столетие только,
как осыпалась вся на пути и
по обочинам — жухлая фольга
до Венеции от Византии.

Конечно, фольга', а не фо'льга, но это ничего. Когда в "Ардис" пришел пакет с "Метрополем", то единственное, что там сильно понравилось Иосифу, — это стихи Кублановского. Он подбирал стихи для книжки Кублановского "Избранное", вышедшей в

"Ардисе" в 1981 году. Читал мне вслух:

У Китса на чердаке
треуголка ветхая на крюке
и эолова арфа в густой паутине.

… А у нас давно плывет по реке
гора старья на пречистой льдине.

Наступила оттепель, наконец.
Мальцы по площади плот гоняют.
Зачем ты жил на земле, певец?
Здесь о тебе ничего не знают.

Мне еще больше нравилась у Кублановского лирика, смешанная с историей. Так никто никогда не писал — как будто А.К. Толстому удалось сплавить исторические баллады и лирические шедевры. В иных строках есть вкрадчивая гениальность:

В край Киреевских, серых зарниц,
под шатер карамазовских сосен,
где Алеша, поверженный ниц,
возмужал, когда умер Амвросий,

исцелявший сердца на крыльце,
ибо каждое чем-то блазнится,
куда Лев Николаич в конце
то раздумает, то постучится…

Я не сразу понял, что меня так задело за душу в этом начале стихотворения, не сразу заметил, как исподволь здесь нарушена логическая последовательность — вместо "то постучится, то раздумает" — "то раздумает, то постучится". А ведь преодоление логической связи есть преодоление времени. И исторические Киреевские, и вымышленные Карамазовы с вымышленным Алешей, и исторический Амвросий с историческим Львом Николаевичем в предсмертной поездке в Оптину — все выводятся за рамки времени в лирическое сейчас и всегда.

Мастерства в лирике Кублановского пропасть, но кажется, что чувства не всегда остаются на уровне мастерства и в стихи попадает то, чему в стихах быть не следует, как убогий конец того же стихотворения:

Все я думаю: — Братья! За что
изувечили нашу Россию?

Так не только писать, но и говорить не стоит. Потом, когда мы познакомились в 82-м и несколько лет приятельствовали, он в теплую минуту иногда говорил мне: "Эх, Лешка, крестись!" Или: "В твоих стихах мало кровности". Видимо, что-то в этом же стиле он сказал при личном знакомстве и Иосифу. Вернувшись из Парижа, Иосиф раздраженно упомянул подобные разговоры и впредь моих восторгов по поводу новых стихов Кублановского не разделял. Тогда он и написал вымученное послесловие к новому, большому сборнику, которое я уже упоминал: ".. судьба не без умысла поместила этого поэта между Клюевым и Кюхельбекером…"

Кублановский жил в Париже очень бедно, хотя и не совсем нищенски, как иные эмигранты. Ирина Алексеевна Иловайская, некогда и моя благодетельница, устроила ему квартиренку в Пасси — две комнаты общей площадью с простыню. Однажды летом 83-го года Юра привел меня с Юзом туда в заключение длинной веселой прогулки по городу. Мы буквально еле втиснулись втроем в переднюю комнатушку, вход в которую был прямо с лестничной площадки. В заднем наперстке болела Юрина подруга. Передняя была и кухней — раковина, газовые горелки. Столик был туда еще втиснут и над столиком книжная полка. На книжной полке стояло томов десять, вышедших к тому времени в YMCA-Press, собрания сочинений Солженицына. Казалось, что солидные коричневые книги занимали треть пространства. Юра объяснил: он в письме Солженицыну пожаловался на свое бедственное положение. Солженицын прислал ему подписной купон, чтобы он мог получать собрание сочинений в издательстве бесплатно. Бродский просто делился с ним деньгами.

Зато Солженицын значительно пристальнее, чем Бродский, читал его стихи. Юра показал мне страницы из солженицынского письма. Оно меня поразило. В книге "С последним солнцем" больше двухсот стихотворений, и вот Солженицын, помимо общих замечаний, переписал бисерным почерком почти все оглавление и поставил плюсики и минусики — отметки. Минусов было очень мало, но по два, даже кажется, по три плюса встречалось нередко. Из критических замечаний запомнилось одно. Солженицын оценил как неудачное выражение "о'кей" в строке, обращенной к друзьям на родине: ".. всё ли о'кей, мужики?" Именование юных героев Белой армии "пацанами", особенно имея в виду похабную идишскую этимологию этого слова, Солженицыну тоже, думаю, не понравилось, но по мне как

раз свободный живой язык лучших стихов Кублановского пленителен, как, например, в одном недавнем апокалиптическом стихотворении:

Сели мы с пацанами
…….
А за окном цунами.

Обрывки разговоров

What does one say on the phone to a genius?
Woody Allen, NYT, 8.12.07, C9

"Обрывки" — в прямом смысле слова, клочки бумаги с каракулями. От работы журналистом в молодости у меня осталась привычка, разговаривая по телефону, записывать, конспектировать разговор. Начиная с 80-х годов мы виделись с Иосифом все реже и все больше общались по телефону. После его смерти я просмотрел свои старые календари и блокноты и повыдирал из них то, что относилось к нашим разговорам. Беда в том, что на одних бумажках запись настолько конспективная, что я не помню, к чему относятся слова "месть античности", что значит "ворота поворачиваются в профиль" или "оправданный получал тот же срок, что и осужденный". А в иных случаях вообще не могу разобрать, что накорябал. Но есть и вполне разборчивые, осмысленные. Я перепечатываю их здесь просто в хронологическом порядке, исключая те, что могут обидеть людей, ныне здравствующих. Прямые цитаты из речи Иосифа даны в кавычках, конъектуры и мои пояснения в квадратных скобках.

20 октября 1982

Иосиф сказал, что написал "стихотворение про берговскую дачу" ("Келломяки").

"Рэндом Хаус" выпускает в переводе роман Лимонова "Это я, Эдичка". Иосифа попросили написать blurb (короткое похвальное высказывание, которое печатается на суперобложке). Он предложил: "Это написано Смердяковым, который предпочел перо петле".

29 января 1983

Иосиф позвонил, вернувшись из Европы. Был в Венеции, Женеве, Париже. В Париже познакомился с Кублановским. "Человек хороший и поэт. Напомнил тебя в момент приезда [на Запад]. Голова на плечах — нормальный". Кублановский: "Вы не

верите в богочеловека?" Иосиф: "Я не понимаю, почему только один [богочеловек]". — "Потому что Сын Божий". — "Почему только один сын?"

Кублановский "очень много грустного порассказал. Картина убийственная. После трех дней [разговоров] пришел к Веронике наверх [комнатка в мансарде, где он иногда останавливался] и впервые в жизни ощутил [желание, чтобы мне сделали] операцию, чтобы это перестало быть частью меня. Реставрация николаевской России, православие, трон. У истории, как и у ее объектов, особенно у большой страны, чрезвычайно малый выбор возможностей. Приспособление одних к другим, консолидация всех сил. КГБ не очень против религии… Русскому человеку всегда хочется Иосифа Виссарионовича, а если он [Иосиф Виссарионович] невидимый, то и вовсе хорошо. Человек обращается к религии не по соображениям метафизическим (исключено), а в [поисках] духовного командира".

Еще из разговоров с Кублановским. "Клуб литераторов в Ленинграде. поддерживается КГБ. Кривулин, Охапкин, Шварц — все туда ходят. [Кривулин:] "Товарищи из Большого Дома сказали мне, что восьмидесятые годы будут расцветом русской литературы"".

"Кублановского перед отъездом вызывали в КГБ. [Спрашивали, чем он собирается заниматься в Париже.] "Буду писать". — "Куда?" — "В Русскую Мысль". — "Почему?" — "Ну, самая старая газета…" — "Лучше в Синтаксис. У них умеренная политическая платформа". И дают адрес".

"Написал несколько стихотворений, статью про Уолкотта. Я как Киплинг навыворот — ему платили фунт за строчку, а мне наоборот". Этой шутки Иосифа я не понимаю, но вроде бы записано правильно. Потом разговор свернул на Достоевского.

"Федор Михайлович всегда селился в угловых квартирах. Когда тебя приходят забирать, то видишь, что на улице что-то происходит".

"Пасха была детский праздник, как елка в наше время" [в связи с Достоевским?].

Говорил по телефону с Рейном. "Межиров и Евтушенко уговорили Женьку написать письмо Кузнецову [с просьбой помочь в издании сборника стихов; Ф. Кузнецов был в то время начальником в Союзе писателей, незадолго до того он сыграл гнусную роль в расправе над участниками неподцензурного альманаха "Метрополь"]. Женька пришел с письмом, Кузнецов прочитал и бросил на пол. [Иосиф:] Письмо упало и разбилось?"

"Разговаривал с иезуитом из [нрзб] колледжа. Установка церкви: коли зло восторжествовало, то задача церкви — выжить.

Дать человечеству пройти сквозь это. [Способы выживания:] компромисс, приспособление, подпольная церковь".J

В связи с "Синтаксисом" № 10, где Найман напечатал что-то о Пушкине. "Что привлекательно в Пушкине для русского человека — это его негрскость. Смотришь на портрет — ни на кого не похож. Дуэль, бабы — [это вызывает] смутный интерес. Да еще и жалко. Действительно, жалко невероятно".

"Пентаметр в английской поэзии на сегодня заместил четырехстопный [ямб]. Замена произошла психологическая — засилье нерифмованного пятистопника". На мои слова о том, что, читая Йейтса, мне кажется, что он иногда сбивается с размера: "Йейтс плохо слышал. [Но вообще] эти колебания приемлемы своего рода гармония. [Но] переводчик не должен себе этого позволять". Тут уже Иосиф переходит на своих переводчиков. "Они больше всего боятся механистичности речи. [Создают] искусственные шероховатости, к сожалению, [для них] уже естественные. Питер Вирек мне говорит: "Иосиф, у вас есть опасность метронома". — "Я лучше буду привлекать этим, чем его отсутствием". [Снова о Йейтсе.] У него есть гомерические и дантовские моменты сюжетного порядка. Но он лирик. [А у критиков] интерес к сюжету, а не к лиризму".

Апрель 1995

"Месяц тому назад, еще зимой, был в Нью-Йорке, пошел в гости к дальнему родственнику по гайворонской линии, Осташевскому. Он привез мне [?] Горация, академическое пиратское издание. И я впервые за тридцать лет принялся этого Горация читать. Читал и заснул, и увидел сон.

[На] последней квартире в Риме делаю это поразительной интенсивности и длительности, грубо говоря, мероприятие. <… > Была у меня такая девушка <… > 1980–1981 году. Это ее квартира, но не она — лица не видно, торс, некая масса, верхняя часть завалилась куда-то между кроватью и радиатором [батареи парового отопления]. Руки хватаются за батарею. Видна только скула, глаз. Похоже на Ингрид Тулин или Энтони Перкинса.

[Это было] тело римской поэзии. Калорифер — гекзаметр, чем кончил Гораций. <.. > И мне пришло в голову, что Гораций, который перекладывал на латынь греческие размеры, и является отцом всей европейской поэзии. Почему его так любила Ахматова? У Горация последняя стопа пресеченная. И у Пушкина. Сокращение на два слога.

"Прозерпина" — предощущение смерти.

"Я памятник себе // воздвиг // нерукотворный" — здесь две цезуры. Это не похвальба, [написано] без восхищения собой. "Народная тропа" — кладбище."Александрийского столпа" — [не потому, что Александр], а Египет [Александрия]."Главою непокорной" — у ангела голова наклонена. [Почему не напечатал?] "Выше этого государственного сочинения?" — цензору бы не понравилось. Сколько можно дразнить гусей? "Нет, весь я не умру" — это [точный] перевод. "Душа в заветной лире" — вечная жизнь. Лира — хранительница души, не в христианском смысле, а исключительно временной [души]. Т. е. будущее — это вариант его [Пушкина] настоящего по отношению к Горацию.

Гораций, как Ходасевич "к советскому дичку", привил греческий стих к латыни…"

(Но иногда Иосиф в размерах путался. 30 июня 1991 года он позвонил мне из Англии в Норвич. Он собирался выступать с докладом на мандельштамовской конференции и хотел, в частности, говорить о том, что и Мандельштам, подобно Горацию и Пушкину, создал свой вариант гекзаметра. В качестве примера ему хотелось привести "С миром державным…". Я, для верности загибая пальцы, его огорчил: в этом стихотворении строки разной длины, но большинство не длиннее пяти стоп. Нельзя назвать пентаметр гекзаметром (пятистопник шестистопником). Он спросил: "А "Золотистого меда струя…"?" Увы, чистый пентаметр. Но расставаться с полюбившейся мыслью Иосифу не хотелось, и в докладе он назвал размеры этих стихотворений "нашим доморощенным вариантом рифмованного гекзаметра" и употреблял выражение "гекзаметрический пятистопник", то есть совершенный оксюморон. Эта терминологическая путаница, конечно, ничуть не умаляет замечательных мыслей о Мандельштаме, высказанных в докладе.)

Сон на 1.II.03

Безо всякой подготовки, среди совсем других сюжетов, вдруг. Сидим мы с Иосифом рядом. Он что-то быстро пишет в тетради. Держит тетрадь так, чтобы мне было видно. Меня охватывает восторг: я запомню, что он пишет, и, когда проснусь, запишу. Но вот незадача: как ни вглядываюсь, не могу разобрать слов, хотя мы сидим совсем рядом, касаясь друг друга плечами.

2. Меандр: рассказ самому себе

2

Мною движет прежде всего желание рассказать свою жизнь самому себе.

ВЛ. ЛИФШИЦ

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим это не было так интересно, как ему.

Л.Н. ТОЛСТОЙ

Пьяный Ленин, голый Сталин, испуганный Хрущев. Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, Зощенко, Ахматова, Пастернак. В семье А.П. Чехова. Поль Робсон, Роберт Фрост, Элизабет Тейлор и др

Я видел пьяного Ленина, голого Сталина, однажды сильно напугал Хрущева, ударил Тынянова, сидел рядом со всеми остальными вышеперечисленными. Начинаю я с них, чтобы сразу отделаться, так как собираюсь писать не об этом.

Михаила Михайловича Зощенко я видел два раза. В первый раз, когда мне было лет семнадцать-восемнадцать. Отец приехал в Ленинград по делам и мы зашли с ним в Дом писателей, сели перекусить в буфете и тут вошел Зощенко. Увидел отца (они дружили), подсел к нам: "А, вы семгу едите, я тоже хочу". Буфетчица сказала: "Кончилась семга, Михал Михалыч, рубленая селедочка есть". — "Ну, давайте селедочку". Мы ели семгу, а Зощенко рубленую селедку. О чем они говорили с отцом, не помню. Другой раз — года три спустя, то есть незадолго до его смерти. В "Ленинградском альманахе" напечатали несколько моих рифмованных строчек. Распираемый глупой гордостью, я стоял в темноватом коридоре в очереди за первым в жизни литературным гонораром. И вдруг заметил, что на два-три человека впереди меня стоит Зощенко. Он подошел к кассе, очень отчетливо, как будто редкое или иностранное имя, назвал себя: "Зощенко Михаил Михайлович". Получил довольно большую пачку денег и ушел ни на кого не глядя.

Зачем пишутся воспоминания? Чтобы не уйти из жизни бесследно, нацарапать "Здесь был Вася"? Из тщеславного желания пристегнуть себя к великим покойникам: "В это время мы с Ахматовой работали над переводами из Леопарди…"? Для сведения счетов с прошлым и настоящим? Есть исторические мемуары, имеющие документальную ценность. Их пишут люди, которых жизнь вовлекла в дела, обычно интересующие историков. Или простые люди, бесхитростно оставляющие свидетельства прошлого быта. Но как быть с той потребностью рассказать свою жизнь самому себе, которую почувствовал перед смертью мой отец? Что рассказывать? В литературные формы легко укладываются только редкие приключения и анекдоты, то есть то, что в жизни было случайным и побочным, не составляло ее главного содержания. Главная область воспоминаний — детство,

но что можно написать о детстве, если в нем самым важным были фантастические мечтания и сны? Как можно писать мемуары о том, что десятилетиями составляло предмет самых глубоких радостей и горестей, — о жене, детях? Кто знает, впрочем, может быть, рассказ о не-главном, о том, что в какой-то степени поддается описанию, вдруг да и скажет мне то, чего я не умею сказать себе прямыми словами. Ведь так оно получается в стихах, когда стихи получаются. Так что буду писать что могу и как могу, "писать похоже на сон или облако" по примеру Подростка. О старушке и сосисках, незнакомом мальчике с укутанным в вату горлом, толстых стеклянных крышах и медных копейках под водой. А в этой главе о встречах со знаменитыми людьми.

Тынянов… Сам я, сказать по правде, ничего не помню, но мама часто рассказывала. Нам уже дали жилье в писательском доме на канале Грибоедова. Тынянов, который чем-то ведал по общественной части то ли в союзе, то ли в литфонде, заглянул к нам — что-то ему надо было сказать моему отцу. Родителей не было дома, только двухлетний я с домработницей. Будучи человеком оригинальным, Тынянов не отделался от ребенка обычным "Как тебя зовут? Сколько тебе лет?", а сказал: "Давай драться", — на что я, младенец, естественно, не знал, как отвечать. Но тут папа пришел, усадил Юрия Николаевича в кресло и они стали разговаривать. И в середине разговора я неожиданно вылез из-за спинки кресла с папиной домашней туфлей в руке и изо всех младенческих сил хлопнул этой туфлей по голове, в которой уже носились замыслы романа "Пушкин" (неоконч.).

Поздней осенью 44-го или зимой 45-го года, пообедав (жареная картошка) после школы, я маршировал по темноватым, затхловатым, страшноватым коридорам нашего дома, звонил и меня впускали в теплую и светлую квартиру Эйхенбаума. Для его внучки Лизы и ее двоюродной сестры была нанята француженка. Мама попросила, чтобы взяли и меня. Ученье было самое простое. Пожилая дама указывала пальцем в потолок: "le plafond". Потом в пол: "le plancher". Потом неопределенно помахивала ручкой: "la maison". Но на меня, как только все это начиналось, находило что-то непонятное — совершенно не в силах, да и не стараясь совладать с собой, наоборот, радостно, я начинал щипать девочек. Кузины, натурально, взвизгивали и сердились. Француженка бранилась. Ученье это продолжалось для меня недолго — попросили маму больше меня не присылать. К французскому я вернулся только в университете и знаю его через пень-колоду. Лиза, я слышал, свободно владеет французским. Что касается ее деда, то в моих воспоминаниях он время от времени

появляется в дверном проеме и улыбается неопределенно.

Весной 56-го года мой отец с Ириной Николаевной, намыкавшись по наемным углам, въехали в свою кооперативную квартиру на Аэропортов- ской. Их соседями через площадку оказались Шкловские. Я не раз слушал прославленные монологи Виктора Борисовича и начисто забывал к следующему утру. Не жалел об этом ни тогда, ни теперь: большую часть услышанного можно найти в его книгах и в записях людей с памятью, устроенной по-другому (А.П. Чудакова, например). Для меня же запоминать остроты и афоризмы было бы большим трудом и убийством сиюминутного переживания. Я всегда боялся нарушить автономию живущей во мне памяти, понуждать ее, она сама знала, что для нее важно, а что нет. В своем месте я расскажу, как Шкловский помог мне в начале моей недолгой карьеры кукольного драматурга.

В своем месте я расскажу о двух часах, проведенных с Пастернаком. Но я начал с пьяного Ленина. Это, разумеется, поэтическая вольность. Рожденный в 1937 году, я Ленина видеть не мог, но у меня однажды было безумное ощущение, что я его вижу.

Тут дело в Пунчёнке. Николай Иванович Пунчёнок, детский писатель, не только в литэнциклопедию не попал, но даже в подробных списках "Советской литературы для детей" не упоминается (я сейчас проверил). Скорее всего не потому, что он писал хуже, чем другие детские писатели-моряки, Золотницкий, Сахарнов, а потому, что значительно меньше. Это имя, Коля Пунчёнок, которому так соответствовала сплющенная кнопка боксерского носа над висячими сивыми усами, мне казалось милым и забавным. К тому же всех носивших синюю флотскую форму я выделял из компании родительских приятелей. Вадим Сергеевич Шефнер рассказывал мне, как однажды у него и Пунчёнка были одновременно путевки в Дом творчества в Дубулты. Ехали вместе, и в дороге Пунчёнок говорил, что все, теперь точно он засядет за главное дело своей жизни, большой роман. Тут главное взять разгон не надрывной, но равномерной работой. Десять страниц в день — это ведь совсем немного: пяток страниц с утра, после обеда прогулка на свежем воздухе, и еще пять страниц. Больше не нужно. Но за двадцать шесть дней-то получится — 26х10 — двести шестьдесят страниц. А это уже, считай, половина романа.

Приехали в Дубулты. Расположившись, Вадим Сергеевич постучал к Пунчёнку. У того уже был наведен в комнате идеальный флотский порядок. На письменном столе горела лампа. В стакане стояли остро отточенные разноцветные

карандаши. На столе лежал лист ватмана, по которому Пунчёнок по-штурмански вычерчивал красные, синие, зеленые, коричневые линии. "Это линии геуоев, пояснил он. — Сегодня я ешил посвятить день составлению пуана, а уж завтуа начать писание. 25х10…" "Поскольку ты сегодня уже поработал, не отметить ли нам прибытие?" — предложил Шефнер. "Что ж, по случаю п'иезда можно по маленькой, — поколебавшись, согласился Пунчёнок, — но уж с завтуашнего дня ни-ни". (Он сильно картавил, что, несмотря на боцманскую внешность, заставляло думать о благоуодном пуоисхождении.) Они выпили, и не по маленькой. Так что назавтра была просто медицинская необходимость опохмелиться. Приведя себя в порядок, Вадим Сергеевич засел за работу. Слегка мучимый совестью за совращение Пунчёнка, писал он свой новый роман-сказку, сочинилось у него за этот срок и несколько стихотворений. Пунчёнок же лишь изредка мелькал в столовой, пьяный и красный, он гудел, и остановить его было невозможно. В день отъезда Шефнер зашел за приятелем. Пунчёнка в комнате не было — он, видимо, принимал на дорожку с собутыльниками. Лампа горела на столе. Под лампой лежала цветная диаграмма и запылившийся лист бумаги поверх нее. На листе четким штурманским почерком было выведено:

Часть Первая.
Глава первая.
Он плюнул.

Пунчёнок на старости лет для прокормления переквалифицировался из мариниста в лениниста. Стал сочинять рассказики для детей о Ленине— заработок верный. К тому же у него был вкус к старым книгам и журналам, архивным розыскам. Ксива, свидетельствующая, что податель сего член Союза писателей и работает над произведением о Ленине, открывала доступ в спецхраны. Как-то он зазвал нас с Феликсом Нафтульевым в гости к себе на Звездную. Писателям мелкого ранга тогда только-только выдали квартиры на этой новой окраинной улице окнами на гигантскую свалку. В пьющих кругах считалось, что Пунчёнок хорошо готовит. Его коронным блюдом были сосиски в томате. Наталья Владимировна разговаривала с Феликсом в комнате, а я стоял на кухне и наблюдал, как Пунчёнок опускает сосиски в побулькивающий кетчуп. Считалось, что я учусь, как готовить сосиски в томате. Понизив голос, и без того заглушаемый томатным бульканьем, он говорил: "Лешенька, я откуыу дивное место п'ятать водку от Наташки. У меня всегда есть четве'тинка в сливном бачке. Наташка никогда не догадается,

и постоянная смена пуохуадной воды". И он плескал действительно прохладную водку из мокрой бутылочки в чашки, и мы выпивали, закладывали, так сказать, фундамент перед умеренной официальной выпивкой под сосиски. Так что к концу ужина мы были порядочно навеселе. Был теплый апрельский вечер, из окна по-весеннему попахивало городской помойкой. Пунчёнок, разгорячась, рассказывал о каком-то своем ленинологическом открытии. Что-то довольно бредовое, вроде того, что Ильич так до конца и не избавился от своей адвокатской закваски и иногда даже притормаживал очередные зверства, пока не подыщет юридическую формулировку. При этом в какой-то незаметный момент Пунчёнок перескочил с третьего лица на первое. "А почему, позволительно сп'осить, вся этаульт'а-'еволюционная шатия-б'атия так долго миндальничала в Сама'е?" — орал он, прохаживаясь по комнате и закладывая большие пальцы в проймы воображаемой жилетки. Странное теплое чувство я испытывал. Передо мной был настоящий Ленин, но получивший дополнительный шанс провести хоть вечерок по-человечески. После всей ненатуральной сухотки его существования сегодня он просто-напросто крепко поддал" вкусно поел и мелет забавную чушь перед приятелями.

В 45-м году крейсер "Киров" зимовал на Неве. Не знаю, в какой должности, но Пунчёнок занимал там каюту. Однажды в воскресенье Б.Ф. взял меня погулять. Был сыроватый зябкий денек. Реденькая метель тряслась вдоль желтых стен Адмиралтейства и Сената-Синода. Проходя по трапу на палубу, в утробу кораблю, в каюту с круглым иллюминатором, я начал впадать в эйфорию, и взрослым совершенно не нужно было меня развлекать, я был счастлив и так. Они стали разговаривать и пить имевшийся у Пунчёнка коньяк. Капнули на дно рюмочки и дали мне. У меня голова закружилась еще счастливее от острого запаха алкоголя. На всю жизнь это для меня один из самых волнующих ароматов. Не понимаю людей, которые пьют задержав дыхание, торопясь занюхать: не пьянство, а наркомания. Золотая капля коньяка зафиксировала день в памяти. Не этим ли золотом загорается толстое стекло иллюминатора в моем воспоминании — ведь день-то был бессолнечный.

У Поля Робсона я брал интервью летом 58-го года на журналистской практике в Сочи. Он был неприветливый, почти грубый, жаловался на то, что перележал в первый день на солнце и теперь у него температура. У него были розовые пятна на скулах — обгорел. Дряхлого Фроста слушал в Пушкинском доме. Сопровождавший его Ф. Рив (отец будущего Супермена) раздавал сборнички в бумажной обложке. Я взял один и получил автограф.

Лет через двадцать, в Америке, неожиданно обнаружил в книге Ф. Рива "Роберт Фрост в России" себя на одном из снимков. Фрост пробирается по проходу к эстраде, а сбоку я на него глазею. С Элизабет Тейлор дело было так. Бродвейский продюсер Рик Хобард прочитал в "Нью-Йорк Тайме" заметку, что-де в СССР появилась пьеса про Бабий Яр. Он сунулся к Бродскому, Иосиф переадресовал его ко мне, и я взялся с приятелем, Деннисом Уиланом, перевести на английский это слезливое и неискусное произведение. Хобард объяснил, что в случае успеха мы будем получать по пятьдесят тысяч — то ли в неделю, то ли в день, забыл. Авансом же он выдал нам пятьсот долларов на двоих. Пьеса с треском провалилась, что делает честь вкусу нью-йоркской публики. На премьеру я не поехал, что делает честь моему здравому смыслу. Но когда я приезжал в Нью-Йорк еще для первых переговоров с Хобардом, он водил меня в знаменитое артистическое кафе Сарди на Сорок третьей улице. Туда ломятся туристы, чтобы поглазеть на кино- и театральных звезд. Но мы-то проходили без очереди и прямо в отсек, куда публику с улицы не сажают. Вдоль стены там тянется бархатный диван, вдоль дивана стоят столики. Я сел на диван, Хобард на стул напротив. Разговариваем, и вдруг он начинает указывать мне глазами налево. Гляжу, а в аккурат у меня слева под боком усаживается Элизабет Тейлор. Тут же началась процессия — разные театральные люди потянулись к ручке мисс Тейлор. На ланч суперзвезда заказала только большой бокал "блади Мери", то есть водки с томатным соком, с перцем и толстым стебельком сельдерея, чтобы помешивать. Все выпила и стебель схрупала. Я вспомнил, как однажды в Ленинграде ловил машину, опаздывая на "Ленфильм" на дубляж и как на удачу попалась как раз ленфильмовская машина. По дороге шофер рассказал, что работает на советско-американском фильме "Синяя птица": "Элизабет Тейлор, — говорит, — в гостинице нашей сырой воды попила — и пожалуйста, дизентерия; короче, обосралась".

Летом 64-го года Нина с годовалым Митей и беременная Машей жила на даче в Ушково. Я возил продукты и проч. Как-то в воскресенье она говорит: "Тебе надо полдня от нас отдохнуть, поезжай куда-нибудь развлекись". Я выполнил ее указание прямолинейно — поехал в Сестрорецк, купил себе билет в кино на комедию "Дьявол и десять заповедей" с Фернанделем, а так как до начала фильма оставался час, пошел гулять по сестрорецкому парку. Еще мороженое себе купил, стаканчик, для полного удовольствия. Иду по пустынной, как мне казалось, аллее со стаканчиком, как вдруг меня настигает волна бегущих куда-то людей. Видимо, я настолько к этому моменту релаксировался, что

тут же и поддался стадному чувству и побежал вместе со всеми и немножко даже впереди толпы со своим стаканчиком. Бегу, не зная зачем, по аллее, ведущей к заливу, и вдруг вижу, что навстречу нам от залива не бежит, но тоже быстро движется колонна людей, возглавляемая милиционером-исполином, этакая материализованная фантазия Михалкова, дослужившаяся до милицейского генерала. Дальше все происходит мгновенно. Колонны, наша бегущая и их идущая, сталкиваются, и я животом своим, в ту пору еще не слишком выпуклым, притиснут к чужому, большому и упругому животу. Правой рукой я вовсе пошевелить не могу, а левой вздымаю стаканчик с мороженым. Мороженое уже липко течет по пальцам и вот-вот начнет капать на меня и притиснутого ко мне пузатого человека. Наши взгляды скрещены на стаканчике, потом я смотрю в его напряженное страхом лицо и вижу, что это Никита Сергеевич Хрущев. Вот-вот липкие сливки начнут капать на его светло-серый пиджачок. Хрущев ниже меня ростом, а из-за него выглядывает еще более мелкий Толстиков (ленинградский партийный начальник) и шипит на меня злобно, но совершенно не подходящими к случаю словами: "Что вы пылите тут! Что вы пылите!" А я не пылю, а капаю. Еще через мгновение охрана протискивается-таки между нами: пиджак премьера спасен, мы оттеснены. Позднее я где-то прочитал, что Хрущев заказывал костюмы у знаменитого итальянского портного.

Моя встреча с Ахматовой. Мне лет одиннадцать-двенадцать. В приемной лечебного отдела литфонда, тогда еще в шереметевском особняке, окнами на Неву, мы с матерью сидим, ожидая очереди, ближе к двери. "Только сразу не смотри, — шепчет мама, — у окна Ахматова". Скашиваю глаза, вижу черный профиль, не очень чистое окно с толстым зеркальным стеклом, грязноватый лед Невы, длинную горизонталь Военно-медицинской академии на другом берегу.

Через год я умирал там, в Академии, от запущенного дифтерита. Не умер (вычеркнуть — самоочевидно). Вышел через два месяца на ватных ногах. Словно в виде осложнения после болезни научился говорить букву "р". Сразу после школы мы отправились с матерью в Крым. После быстрого и мало запомнившегося путешествия с группой — Симферополь, какие-то пыльные археологические ямы, Алушта, Гурзуф — приехали в Ялту.

Ялта прекрасна, как все города, построенные амфитеатром над морским заливом, но в моих воспоминаниях она даже лучше Сан-Франциско или Неаполя. Те тоже хороши, но великоваты. Тринадцатилетнему человеку не исходить все их улицы и

переулки, не полюбить их так, как я полюбил в тот год Ялту. Мне особенно нравились узкие улочки там, где кончается эспланада, возле порта. Я написал: "Узкие улочки", — но на самом деле я не помню, были ли улочки или какой-то один квартал детской фантазией преображался в "узкие улочки возле порта". Несло кухонным чадом из столовой. "Припортовые кабачки, — шептал я, — припортовые кабачки…" Нравилось притворяться, что я не знаю, что откроется в конце квартала. Вот я иду по своим делам, погруженный в свои мысли, из дверей таверны пахнет едой и вином, случайно поднимаю взгляд: "Ах, море!"

В самом центре набережной установили щит с огромной картой корейского отростка, перерезанного 38-й параллелью. Каждый день я подолгу стоял в толпе перед картой, смотрел, как еще передвинулась со вчера на юг линия фронта. Победный марш коммунизма доставлял удовольствие наподобие заполнения кроссворда. Вместо клеточек были кружочки городов: вот еще два, вот сразу три, сегодня только один. Наконец остался зиять незаполненным какой-то Фусан, внизу слева. Он застрял на несколько дней. Потом карта исчезла.

Мама повела меня в дом Чехова. Оказалось, что мы туда выбрались 15 июля, в день смерти писателя, и по этому поводу к экскурсантам вышли и сфотографировались с ними две старушки: Мария Павловна, любимая сестра Антона Павловича, и Ольга Леонардовна Книппер, его вдова. Теперь у меня в офисе висит фотография: слева Мария Павловна в темно-синем платье в горошек, справа Ольга Леонардовна, между ними их гостья московская актриса Бабанова, а совсем справа, из-за кромки фотографии к плечу Книппер тянется моя толстощекая, очкастая физиономия. Фотографией на стене я хочу намекнуть своим студентам на интимный характер моих отношений с преподаваемой литературой. Сравнивая исторические расстояния, я думал, как поразило бы меня, если бы мой университетский профессор показал мне свое фото с Натальей Николаевной Пушкиной. Но нынешние студенты относятся к таким делам спокойнее.

Жили мы в Ялте сначала несколько дней на турбазе, а по истечении путевки у турбазовской же сестры-хозяйки сняли угол. В одном квартале от набережной, в самом центре. Устроены мы были таким образом: в очень большой, очень высокой комнате старого дома разновеликими шкафами были выгорожены углы. В одном углу спала хозяйка-сестра-хозяйка и ее сын, безобидный идиот моего примерно возраста. Хозяйка-сестра-хозяйка в качестве, что ли, извинения рассказывала маме, что никак не может сдать своего идиота в спецшколу, но уже ходила на прием

к Павленко, и Павленко обещал устроить. Павленко, жуткая энкавэдэшная сволочь и самый оголтелый из сталинских литературных холуев, в чьей-то растроганной памяти, видимо, остался добряком и благодетелем. Доживая свой короткий век в Крыму, он филантропствовал, как я слышал, направо и налево. Всем им, натешившимся пытками и казнями, нравилось иногда и раздавать милостыню — ордера на комнаты, талоны на ботинки, пристраивать дефективных детей в спецшколы. Впрочем, нам дурачок ничем не досаждал. Я пытался втянуть его в какие-то разговоры, но он только хихикал.

Второй угол с двумя коечками был сдан нам. В третьем, таком же, во всех отношениях симметрично, поселилась дама из Киева с сыном, моим ровесником. Она преподавала латынь в мединституте. Я попросил ее научить меня латыни. Она аккуратно выписала для меня две странички пословиц:

Veni, vidi,vici.
Vis pace, para bellum. Omnia mea mecum porto.
Mens sana in corpore sana, и т. п.

Почти сразу вслед за нами третий постоялец снял четвертый угол. То был здоровенный, громкоголосый еврей. Похохатывая и захлебываясь от жизнерадостности, он рассказал свою историю. Он офицер, служил в "особых" частях на Западной Украине, бандиты-бендеровцы подпилили мост, грузовик провалился в ледяную воду, он схватил хронический плеврит, пришлось уволиться в отставку, врачи посоветовали поселиться на юге, ему дали в обкоме партии направление, и он приехал устраиваться на работу — в охрану Сталина! Да, да, в охрану "дачи № 1", Ливадийского дворца.

Надо сказать, что ветерок близости к великому вождю веял над нашим путешествием почти с самого начала. На полустанке поезд остановился и стоял необъяснимо долго, минут сорок, пока мимо не проплыл обгоняющий состав. Пассажиры пониженным голосом говорили, что кто-то увидел товарища Сталина в окне, кому-то он будто бы даже рукой помахал. Полустанок был уже южнее станции Лозовая, так что таинственный поезд несомненно вез вождя в Крым. Потом мы ездили из Ялты на автобусе к Ласточкиному Гнезду. Больше тогда по Южному берегу ездить было некуда: от Ливадии до Симеиза шли впритык "госдачи". Негромко сообщалось, что в Ливадийском дворце дача Иосифа Виссарионовича, в Воронцовском — Вячеслава Михайловича и проч. Из окна автобуса в сторону моря была видна лишь первая линия обороны — бетонная стена в кустах ежевики, с кусками

стекла, вцементированными поверху, по обочине дороги через каждые пятьдесят метров патрули. Впрочем, солдаты держались вольно — с расстегнутыми воротниками посиживали на травке, покусывая травинки.

Вскоре наш жизнерадостный сосед надел ордена и исчез на целый день. "Видели?" — взволнованно расспрашивали мы вечером. "Я видел?! — довольно хохотал он. — Да меня дальше первого КП не пустили. Вышел полковник, такой молодой, но, между прочим, Герой Советского Союза, принял направление из Львовского обкома партии. "Пожалуйста, пройдите сюда". Дал анкету заполнить. Это такая анкета! Больше тридцати страниц. Я писал, писал, весь вспотел. Через два часа полковник приходит, говорит: "Вы, наверно, покушать хотите?" Да, говорю, не откажусь. Он вызывает

солдата, мне прямо туда приносят обед… Вы не поверите — борщ, в жизни такого не ел — там не бульон, а чистый жир! Второе — курица, вся желтая! Компот — одна гуща, почти без жидкого. Полковник говорит: "Вы, наверно, попить хотите?" Говорю, не откажусь. Приносят два стакана какао!" Сказочная калорийность обеда соответствовала сказочной полноте власти, в первый, самый внешний, круг которой был он на несколько часов допущен. Это переживание было самодостаточным, и о собственно цели своего похода он выразился невнятно, что, мол, сказали, что вызовут. Еще и весь следующий день он отсыпался в своем углу.

В тот день после обеда мы купили билеты на прогулочный катер до Симеиза и обратно. Тут было больше возможностей полюбоваться видами Южного берега, чем из автобуса, а меня к тому же любое пребывание на воде по-прежнему, как в детстве, радостно волновало. Назад возвращались после пяти. Было уже не жарко. Я разглядывал берег в свой старый артиллерийский бинокль. В окуляры вплыл Ливадийский дворец. Я увидел, как по дорожке от дворца к пляжу неспешно скатывается открытый лимузин ЗИС-110. Он остановился на площадке над пляжем, из него вышли две женщины в длинных, до земли, штапельных платьях-халатах по советской моде того года, с ними маленькая девочка. Я с интересом их разглядывал, гадая, кто бы это мог быть (и сейчас не представляю себе). Насмотревшись, я перевел бинокль ниже, на пустой пляж. Там были два небольших тента с обыкновенными пляжными топчанами под ними. Один топчан пустовал. Другой был занят. На нем передо мной было выложено с легким наклоном, как продукт на витрине: две желтые босые ступни, черные трусы, над трусами большой желтый живот, за животом лицо с усами. Я услышал собственный визгливый крик:

"Стали-и-ин!" В тот же миг офицер-отдыхающий, стоявший рядом со мной, вырвал у меня бинокль и сам к нему прилип. И все пассажиры катера прихлынули к левому борту, так что катер опасно накренился. Капитан стал громыхать в мегафон, чтобы немедленно отошли от левого борта. И непонятно откуда взявшийся серый катер береговой охраны бесшумно появился между нами и берегом и стал нас оттеснять — мористее, мористее…

Пока мы подходили к Ялте, пассажиры возбужденно галдели, а меня переполняло напряжение, так сильно требовавшее разрядки, что метров за четыреста до пристани я с неожиданной для себя самого отвагой сиганул через борт и поплыл к берегу. Экстраординарность общих переживаний была такова, что вообще-то панически трепетавшая за меня мать отнеслась к этому поступку как к нормальному и встретила меня на берегу без упреков.

И ночью я не мог уснуть, да и никто не мог в трех углах, потому что желающий охранять вождя сосед храпел и время от времени сотрясал воздух другим звуком, на что идиот из своего угла каждый раз восхищенно говорил: "Вот перднул, так перднул!"

Главы второй не будет

Я пишу не книгу — с началом, серединой и концом, а рассказываю самому себе то, что вспоминаю. Я не мог бы написать книгу о собственной жизни, потому что это означало бы навязать жизни сюжет, структуру, тогда как она бесструктурна и части ее несоразмерны (я уже писал об этом где-то). "Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий и призрак Божьего лица", — сказал мой нелюбимый, но неотвязный поэт. Вот именно что сумрак. Вот именно что призрак. И "если Бог пошлет мне читателей", как сказал другой поэт, то я скажу им: вовсе не обязательно читать эту книгу с начала до конца (тем более, что ни начала, ни, тем более, конца в ней нет). Открывайте где придется.

Перемены места жительства

Правильные дома должны быть четырех-пятиэтажными, с лепными украшениями на фасаде, с колоннами, полуколоннами, кариатидами и львиными мордами. Земля, не покрытая асфальтом, диабазовыми торцами, гранитными или известняковыми плитами, выглядит неряшливо. Если вода, трава, кусты и деревья не очерчены чугунными и гранитными оградами, это уже не город, а деревня. Туда мы ездим летом на дачу. На даче много необычного и приятного. Например, свежий воздух — прохладный ветерок с непонятными, волнующими запахами. На даче гулять ходят не на часок- другой, а с утра до вечера. Но жить надо, конечно же, в городе. На даче нет ничего таинственно-прекрасного, а в городе на каждом шагу.

Примерно так читались бы мои младенческие ощущения, если бы превратились в мысли. Предопределенное местом рождения горожанство, петербуржство к середине жизни стало меня тяготить, но я это не сразу понял. Вторую половину жизни я прожил на свежем воздухе, в Америке. Я не скучаю по городам. Я живу в деревянном доме. Трава, цветы, можжевеловые кусты и яблони перед моим домом ничем не отгорожены от дороги, а за домом — от леса и крутого обрыва над Норковым ручьем. Из леса в наш сад приходят оленихи с оленятами, иногда небольшой черный медведь. С кладбища неподалеку прибегает лиса. А сурки, еноты, белки и, увы, скунсы живут прямо на нашем участке. Вот только что по блесткому мартовскому насту перед моим окном прошли два упитанных рябчика, они крупнее и пестрее, чем те, на которых я охотился на Сахалине. За американские годы я повидал много городов, неделями, а где и месяцами, жил в Нью-Йорке, Риме, Париже, Кёльне, Амстердаме, Венеции, Лондоне. Я полюбил эти города. Только два вызывают унылые воспоминания — Москва и Пекин. Если бы я не отучил себя фантазировать, я бы мог помечтать о квартире — просто pied-a-terre: комната, кухня, балкон — в Барселоне или, допустим, в Мантуе. Но дома я себя чувствую только здесь, в своем деревянном американском жилье на обрыве над ручьем. Есть, однако, область снов, полупросонья, откуда неуклонно выплывают видения мокрых желтых листьев у чугунной ограды, неба всегда пасмурного сквозь толстое смутное стекло стеклянной крыши, гранитных ступеней, уходящих под воду. Я не слезлив, но, застигнутый врасплох случайными строчками: "Помнишь ли труб заунывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму.." или".. только в мутном пролете вокзала

мимолетная люстра зажглась…", — могу ощутить жар в заглазье.

Кристалл, из которого начинает разрастаться человеческая личность, родной дом — с четырьмя стенами и очагом, но у меня вместо него несколько городских кварталов между Невским, Невой и Фонтанкой и первые запомнившиеся интерьеры. Среди них, наравне с нашим жильем, присутствуют Пассаж, Дом книги, кафе "Норд" в подвале и, особенно, библиотека и гостиные Шереметевского особняка (Дома писателей). Когда я услышал, как сожгли и разграбили Дом писателей, я испытал то чувство, которое в плохой прозе описывается словами "что-то во мне оборвалось": вот и все, и захотел бы вернуться, да некуда.

Первые десять лет жизни прошли в переездах, переменах жилья. Вроде бы когда мама была на сносях, Союз писателей обещал молодой литературной чете комнату, но к моему рождению 15 июня 37-го года комната не подоспела, и нас поселили в "Европейской" гостинице. Жили недели две в буржуазной гостиничной роскоши. Отец кормил жену гречневой кашей с творогом — приносил из дешевой диетической столовой на Невском. Потом была какая-то комната в египетском доме на Каляева. Некоторое время жили в писательском доме отдыха в Детском Селе. Кажется, еще у маминой тетки на Гражданской (б. Мещанской). Летом 39-го года на даче в Суйде. Но мои воспоминания начинаются только после этого, с двухлетнего возраста, уже на канале Грибоедова. Говорили, что огромный, на целый квартал, дом был построен в XVIII веке для певчих дворцовой церкви, но не могло же там быть столько певчих! В 1934 году надстроили два этажа, четвертый и пятый, с квартирами относительно благоустроенными, для ленинградских писателей. Так потом и говорилось: "живет в надстройке". Нам дали квартиру не в надстройке, а на третьем этаже. Уборная была для жильцов этажа общая на лестничной площадке, запиралась она от случайных посетителей на висячий замок. Среди стишков в Красной Тетради был такой, вписанный Глебом Чайкиным:

ЛИФШИЦ

Славен от края и до края,
Он жил надменен и могуч,
Эгоистично запирая
Свою уборную на ключ.
Что ж, Чайкин лестницу его
Обделал точно игого.

Метонимическое "и-го-го" тогда было понятно. Легковые

извозчики исчезли за несколько лет до моего рождения, но гужевой транспорт был еще нередок на ленинградских улицах и, соответственно, лошадиные яблоки. Там же, в Красной Тетради, записано, что меня привели в "Норд", я увидел на соседнем столике бриош и закричал: "Мама, смотри, булка похожа на лошадиные какашки!"

Наша квартира была прежде одной комнатой, позднее разделенной пополам. В передней полукомнате всегда горело электричество. Был там обеденный стол, и, кажется, там спала на раскладушке домработница. Из полумрака полупамяти отчетливо выплывает только большое мягкое кресло, обитое бежевым дерматином, с которого я сладострастно облупливал трескавшуюся краску. Еще доставляло наслаждение запускать руку между пружинным сиденьем и подлокотником и нашаривать в тесноте завалившийся туда мусор. Сам нарочно совал конфетные бумажки, двухконечный сине-красный карандаш, оловянного солдатика. Одно из самых ранних воспоминаний об отце: я сижу в любимом кресле, он возвращается домой и, обводя глазами комнату, говорит: "Где же Лешка? где же мой сын? куда он подевался?", делает вид, что садится в кресло, на меня. Я понимаю, что это игра, но, все равно, тревожно: где я?

Еще более ранний островок памяти: я играю на полу при электрическом свете, на окнах шторы (затемнение). Входит папа с кем-то. И папа, и его спутник в синих морских кителях. Это, стало быть, зима 1939-1940-го, финская кампания. Родители и я спали в задней полукомнате, с окном (или двумя окнами?) на канал, на Храм-на-крови. Из пестрых глазурных куполов мне сильно не нравился главный, с толстыми белыми и зелеными спиралями, а нравились другие, как бы сложенные из разноцветных кубиков. Я говорил: "Мои кубики".

В нашем тесном жилье мы жили вчетвером: папа, мама, домработница Даша и я. Да еще мама записала в Красную Тетрадь мое восхищенное восклицание: "Гости у нас так и живут!" Действительно, мне кажется, я всегда засыпал под разговоры и смех, доносившиеся из передней комнаты (Даша, видимо, должна была дремать около меня до ухода гостей). Всех гостей я знал по именам и фамилиям: Юра Сирвинт, Толя Чивилихин, Павел Шубин, Лена Рывина, Вадим Шефнер, Орик Верейский, Коля Муратов.

Мне нравилось имя Глеб Чайкин. Помнить я его не мог, он умер, когда мне и полутора лет не было, но, видимо, о нем часто вспоминали. Мама читала такой стишок Чайкина, обращенный к ней:

Веселой краской будни крася,
Живет домохозяйка Ася.
Пройдет еще немного лет,
Она, философ и поэт,
Запишет про меня такое:
"Глеб Чайкин умер от запоя".

На одной странице Красной Тетради Чайкин начал писать: "Смерть есть дверь, и все мы в нее войдем…" Но, видно, отвлекли более приятные занятия, и он торопливо закончил: "Допишу после". Ниже папиной рукой: "Когда после? После того, как войдешь в эту дверь?" И маминым почерком: "Умер 11 декабря 1939 года". Рассказывала мама так: "Пришел домой, сел на стул и умер". А иногда говорила: "Подозревали самоубийство". Мне было уже за сорок, я жил в Америке и читал изданные во Франции мемуары церковного писателя-диссидента Краснова-Левитина. До того как определиться в православии, автор в ранней молодости был членом подпольного кружка троцкистской молодежи. Это меня удивило, потому что молодость Краснова-Левитина пришлась на 30-е годы, а я всегда думал, что троцкистское подполье в это время — выдумка НКВД. Оказывается, что нет. Краснов-Левитин мимоходом вспоминает и "рано умершего" товарища по подпольному кружку, "молодого писателя Глеба Чайкина"[40]. Этой стороны жизни своего приятеля-выпивохи мои родители и их друзья не знали.

Вадим Сергеевич Шефнер в своих мемуарах упоминает Чайкина один раз: Ахматова пришла на заседание объединения молодых поэтов в начале 39-го года, когда там обсуждались стихи Чайкина, и как-то очень деликатно сказала что-то одобрительное. Шефнеру это запомнилось по контрасту с безжалостной критикой, которой молодые поэты подвергали друг друга.

У меня на полке стоит книга в кожаном переплете — "Сочинения Державина", изданные в Москве в 1798 году. На обороте обложки сверху три строчки выцветшими чернилами каких-то денежных расчетов двухсотлетней давности, а ниже Чайкин, ловко имитируя старинный почерк, с ерами и одним неуверенным ятем, написал:

Гораздо сердцемъ взвеселяся,
Сгони пЪчальну тень с лица.
Се въ даръ прими, певица Ася,
Звонкоприятного певца.
Сей даръ покрыли Леты пятна,
Онъ старъ. Прочти: онъ станетъ младъ.

Поэзия зело приятна,
Какъ в жаръ прохладный лимонадъ.
Сладчайший
Апреля 16 дня лета 1938 — 11 часовъ о полуночи.

Имя Шефнера, Вадим, мне казалось некрасивым, но таило в себе некие возможности. Первое, что я зарифмовал, года в три: "Вадим, мы вас съедим". Восхищение у меня вызывали военно-морским обмундированием Леша Лебедев и Коля Корок. А у Гитовича была тогда только фамилия.

Как я узнал много позже, он, будучи на четыре-пять лет старше остальных, считался у них мэтром. За глаза его называли "Гитович", а лично — "Александр Ильич" и на "вы".

Конечно, я выделял из этой компании Борю Семенова. Теперь я бы сказал, что я принимал его за члена семьи, только почему-то ночующего в другом месте. Он появлялся и днем, почти каждый день. Играл со мной, рисовал мне картинки, приносил свежие номера "Чижа", читал вслух. Его мать, Ольга Дмитриевна, тоже почти постоянно была рядом. Я называл ее Оля- Баба. Неприятно было, если соседи или знакомые, заговаривая с ребенком, переставляли слова: "Баба Оля" ("Что, с Бабой Олей гулять идешь?"). Баба Оля — это какая-то чужая, а моя была Оля-Баба. Мои настоящие бабушки в воспоминаниях раннего детства отсутствуют. Папина мама жила в Москве, а мамина потихоньку умирала от какой-то так и не определенной болезни и умерла в 40-м году.

Гулять меня водили Даша или Оля-Баба. Была зима. Было очень холодно. При входе на узкий дощатый мостик стоял старик, вывернув большую сизую ладонь вверх. Оля-Баба давала мне в варежку медную денежку, и я перекладывал денежку в твердую сизую ладонь. Возвращались с купленным на Невском батоном. Мне давали откусить ледяную на морозе, но мягкую внутри горбушку. Опьяненный холодным кислородом, я маршировал по лестнице и по длинному коридору, скандируя во все горло: "Рот-фронт-кронштадт! Рот-фронт-кронштадт!" Произносить эти слова доставляло наслаждение. Смысла их я не знал, но думал, что они военно- морские. Я не знал также, что вместо "р" произношу вроде английского "w": "Wот-фwонт-кwонштадт!"

Дом на канале мне всю жизнь представляется родным гнездом. Но про- жил-то я там недолго — от силы два сознательных года перед войной и года полтора после возвращения в июле 44-го из Омска.

Семенов

По утрам я долго пью кофе и читаю нашу местную газету "Новости Долины" ("The Valley News"). Кофе и чтение заканчиваются рассматриванием комиксов. В "Новостях Долины" по будням печатается тринадцать комиксов. Четыре из них я не смотрю из смутно-эстетических соображений. Остальные девять начинаю рассматривать с менее интересных, приберегая любимые напоследок. Стандартный формат, от которого художники лишь изредка отступают, три-четыре квадрата ("панели") с заключительной шуткой ("punch line") в четвертом. Если шутка действительно смешная, я стараюсь перевести ее на русский, но это не всегда удается, и тогда, вместо перевода, я пытаюсь объяснить идиоматическое выражение или характерно американскую бытовую ситуацию, которая там обыгрывается. Кому я перевожу и объясняю? Лет двадцать по крайней мере я об этом не задумывался, но однажды, запутавшись в особенно сложном объяснении, вдруг понял: каждое утро я рассматриваю свежую порцию американских смешных картинок с Борей Семеновым.

В 44-м или 45-м году Боря притащил мне стопку шведских журналов. Он или кто-то из его приятелей подобрал их в покинутом финском доме на Карельском перешейке. Интерес для нас с ним в журналах на непонятном языке представляли только яркие цветные комиксы в конце номера. Это были приключения какого-то незадачливого Блумквиста или, может быть, Корнблума. Боря быстрее, чем я, догадывался по картинкам, в чем там смех, и со сдержанным "ха-ха" объяснял мне. Вот я теперь и отвечаю ему, уже давно зарытому на кладбище библейского городка, тем же.

Русскому человеку жить в Израиле можно, но трудно умереть. Начинаются ветхозаветные сложности с захоронением. Боря, вскоре после своего восьмидесятилетия, умер не худшим образом. С утра жаловался на радикулит ("опять вступило"), а оказалось, что был смертельный инфаркт. И оказалось, что хоронить его можно только где-то невероятно далеко, так далеко, что вдове и на могилу не съездить. На нормальное городское кладбище можно попасть, только если еврей представит письменное свидетельство, что и в Боре была еврейская кровь. И моя мама это благое дело сделала — прилгнула в письменном виде, я отправил лжесвидетельство в Израиль экспресс-почтой, там те, кто выдает разрешение, сделали вид, что поверили.

Так закончились шестьдесят с лишним лет их отношений. Двадцатилетним мальчишкой он влюбился в мою будущую мать, она позволяла ему за собой ухаживать, влюбляясь и выходя замуж за других. Когда она вышла за моего отца, когда родился я, он продолжал быть не просто другом, а вроде как приходящим членом семьи, как и его мать, Ольга Дмитриевна. Отношения между мамой и Борей охладились уже после войны.

Приятельствовала она потом более с его женой Юкой, а между Борей и ней был некоторый холодок и обращение на "вы". Я не без опаски дал ей книгу Бориных мемуаров, которую получил в Америке в 1982 году.

Боря там вспоминает свою первую любовь.

Ася — вот как ее звали. Тургеневское имя вполне соответствовало ее девичьему облику, большеглазости, живой, быстролетной натуре. Она была немного старше меня [на два года],училась в Консерватории, голосок был чистый, звонкий, казалось, созданный для оперного пения: "Кара мио бен-н-н, креди м' аль ме-н-н…" Закроешь глаза и слушаешь эту непонятную, но такую волнующую итальянскую арию, просто мед струится по жилам. <.. >

Буквально на каждом шагу меня преследовала и поражала ее многоликость. Именно в ней сочетались все чарующие женские образы. Читая Мериме, я замечал, что Ася — вылитая Кармен, способная вмиг увлечь кого пожелает. Но и робкая Лиза из "Пиковой дамы" также была она. Слушая "Царскую невесту" (".. Иван Сергеевич, хочешь, в сад пойдем…"), я не мог отделаться от того, что Марфа — до малейших интонаций сладко струящегося голоса — доподлинная живая Ася. И она же детски наивная Джильда, а завтра хитроумная Розина или недостойная доверия, нежная Манон Леско. <.. >

Имелась у нее слабость или страсть: любила она "прилыгнуть", как говорила бабушка, то есть приправляла фантазией даже не столь значительные факты. Если кто-то дарил цветы, то: "Вообрази, он засыпал всю мою комнату гортензиями и флоксами". Я вспоминал ее крошечную каморку под крышей, где теснились вплотную стол, кровать и два венских стула. <.. >

Более всех благ, дороже денег, подарков, дорогих лакомств Ася ценила общение с известными людьми искусства, литературы, особенно с поэтами и музыкантами. Она могла часами вести остроумную беседу, ее ручки целовали журналисты и писатели, филармонийские скрипачи и консерваторские тенора… В записной книжечке тьма-тьмущая имен всяческих знаменитостей: артисты

Дальский, Аркадский, Оленин; композиторы Поль Марсель и какой-то эстрадный Дюбуа. Поэты — Рождественский, Шубин, Шмидт… Кто знает, какого избранника она искала в этой толпе? <… >

Бывали черные дни, когда я огорчался до боли, видя невозможность отличить ее искренний порыв (так что слезы дрожат на ресницах) от хитро замаскированного обмана, я ведь чувствовал, что от меня утаивается что-то такое, может быть недостойное… <… >

А впрочем, все изъяны Асиного характера искупались ее нерасчетливостью, добротой, способностью вот так, сразу отдать все заболевшей подруге, заняться лечением грязного чердачного кота или вручить старику-нищему все свои деньги вместе с кошельком. <… >

Я всюду таскался за ней, восторженный и нетерпеливый, как щенок на поводке… [41]

Я, повторяю, не без опаски дал маме Борины мемуары. Ведь несколькими годами раньше разразилась тяжелая обида, со слезами и горькими упреками ("Как ты мог!") по поводу для меня поначалу даже не совсем ясному. Это когда она прочла в одном моем очерке мимолетное воспоминание об Ольге Дмитриевне, "Оле-Бабе". Я сентиментально вспоминал, как в младенчестве Оля-Баба пела мне русские песни, рассказывала сказки и истории, молилась за меня. "А я разве не пела над твоей колыбелью? Не проводила бессонные ночи?" — горевала мама, и никакие мои попытки объяснить, что воспоминание об Оле-Бабе, необходимое в том контексте, никак не означает забвения ее материнской любви и заботы, она не принимала. Но на Борину книгу она отреагировала как-то спокойно и положительно. Видимо, ей хотелось быть не столько безоговорочно хвалимой, сколько не забытой. И когда пришло время оказать своему старому поклоннику последнюю услугу, она для него "прилыгнула".

В Бориной книжке есть и мамин перышком нарисованный портретик. Он хотел нарисовать ее такой, какой она была в молодости. Но это изображение молодой курносой "женщины вообще". Боря умел мило рисовать пером всякие рожицы и фигурки в записных книжках, но когда дело доходило до профессиональной работы, книжной иллюстрации, он делал это робко. У него не было своей манеры, его персонажи бесхарактерны — мужчины, женщины, дети "вообще" (generic). А между тем, был он человек очень одаренный и по-своему очень много сделавший для искусства, пригревая, прикармливая на своих редакторских должностях молодых талантливых художников в те времена, когда молодость и талант сулили не

столько заработок, сколько неприятности.

При словах "душа Петербурга" я представляю себе не нарядные описания Анциферова, а Борю Семенова. Вот он идет в плаще и неизменной кепке с папкой под мышкой по набережной родного канала Грибоедова. Вот я вижу его столкнувшимся у дверей Дома книги с говорливым Леонидом Борисовым; автор "Волшебника из Гель-Гью" излагает сплетни за последние три века, а Боря лишь вставляет время от времени слегка скептические "м-дэ". Вот выходит он со старым приятелем карикатуристом Владимиром Гальбой из подвальчика "Кавказского", и Гальба традиционно шутит: "Теперь на виллу Родэ!" Это шутка, понятная лишь старым петроградцам: оба в душе не прочь были бы переселиться в какой-нибудь 1913 год, когда художники, получив гонорар, могли съездить покутить на острова. Не менее ясно вижу я его маленьким мальчиком: он открывает дверь лавочки на Серпуховской улице, звякает колокольчик, из задней комнаты выходит усатый хозяин в розовой рубашке и черном жилете. "Что угодно, молодой человек?" — "На десять копеек драгун и на двадцать гусар". И мальчик получает прелестных оловянных солдатиков. Я вижу эти чужие воспоминания так ясно, потому что услышанное от близких людей в раннем детстве становится частью твоей собственной памяти. Так же ясно я вижу темноватую столовую приюта для девочек при Технологическом институте, где воспитывалась Борина мать, моя Оля-Баба. Строгая начальница в темно-синем платье ходит между столами и следит, чтобы в тарелках ничего не оставалось: "Кушайте, девушки, это все вкусное, все питательное".

Когда родился наш сын, папа приехал из Москвы, и почему-то именно в этот раз с ним и с Борей мы пошли отмечать радостное событие не в "Европейскую" или хотя бы "Кавказский", а по-народному с четвертинкой водки зашли в молочный буфет на Владимирской, разлили под столом. Решали, как назвать ребенка. Папа говорил, что в имени должна быть буква "р". Ему нравилось "Андрей". Мне казалось, что Андреев многовато. Я в качестве компромисса предложил "Дмитрий". "Митя, Митенька", — растрогался Боря.

Кстати сказать, и мое имя, Лев, это Боря придумал. По маминым рассказам, они с отцом сверх всяких сроков затянули, все не могли решить, как назвать новорожденного. Наконец, Боря посоветовал назвать в честь маминого любимого старшего брата, который, будучи студентом Военно-медицинской академии, умер неожиданно от стрептококковой инфекции. "Лев, Лёвушка — прекрасное имя". Пошли в ЗАГС и записали меня Львом, и с тех

пор ни разу в жизни ни мать, ни отец, ни Боря, никто из близких меня этим именем не звал, а только — Лёша, Лёшка, Лёшенька.

У художников

Рисовал Боря не оригинально. У него не было своего стиля, он подражал своим любимым рисовальщикам — Малаховскому, Антоновскому, Радлову. Всю жизнь он был художником-редактором. До войны в "Чиже". После войны в Лениздате, а когда в 1955 году в помещениях масонской ложи (Невский, 3) открыли журнал "Нева" — в "Неве". Редактором он был замечательным, и даже не потому, что у него был хороший вкус, а потому, что он буквально преклонялся перед талантливыми людьми, что среди редакторов встречается довольно редко. Это относилось и к художникам постарше — Владимиру Васильевичу Лебедеву, Натану Исаевичу Альтману, Владимиру Михайловичу Конашевичу, Алексею Федоровичу Пахомову, и к сверстникам-друзьям — Юрию Васнецову, Валентину Курдову, Николаю Муратову, Владимиру Гальбе, и точно так же к молодым художникам, многих из которых он пригрел еще студентами, — Михаилу Беломлинскому, Георгию (Гаге) Ковенчуку, Свету Острову, Михаилу Майофису.

В 1961 году, когда, вернувшись с Сахалина, я мыкался без работы, Боре, как он ни старался, пристроить меня никуда не удавалось, но немного подзаработать в "Неве" он мог мне дать — писать небольшие заметки, сопровождающие цветные вкладки с репродукциями.

Вместе с Борей мы ездили в Парголово к Алексею Федоровичу Пахомову. Безупречный классический рисовальщик, он особенно хорошо иллюстрировал рассказы из "Азбуки" Толстого, рисовал крестьянских детей внимательно, уважительно и несентиментально. Была значительность в его рисовании — независимо от того, каким планом были даны на рисунке персонажи, они всегда казались укрупненными. Тогда я не отдавал себе в этом отчета из-за лояльности по отношению к любому модернизму, но на самом деле мне больше нравились его поздние, "академические" рисунки, чем ранние, 20-х и 30-х годов. Те мало отличались от красивых картинок Самохвалова, Осьмеркина с нарочито плоскими, орнаментальными человеческими фигурами. В 20-е годы мастеровитый от природы крестьянский сын Алексей Федорович научился рисовать, как тогда требовалось: дескать, нравится им это баловство, сделаем, нам же легче. И он с большим изяществом рисовал в детских книжках плоских, странно наклоненных людей с охристыми лицами (слегка напоминала эта манера наскальную живопись). А

когда восторжествовал официальный "реализм", Пахомова признали истинным мэтром. Он этим воспользовался хорошо — рисовал в полную силу, учил студентов в Академии художеств, а поселился в Парголове, тогда еще полудачном, но жилье его напоминало не столько дачу, сколько мелкое поместье XIX века. Боря относился к нему с величайшим почтением — как почитал он всех, кому от природы дано. Что-то нам показал молчаливый Алексей Федорович. Потом одна из мелькавших в доме простого вида женщин подала угощение — четвертинку водки, докторскую колбасу, соленые огурцы и хлеб на тарелочках. Алексей Федорович не пил — ему нельзя было. Мы с Борей выпили четвертинку и уехали на трамвае умиленные.

Основательно пришлось выпить, когда ходил к Муратову. Этот близкий друг Бори, а заодно в довоенные-военные времена хороший приятель и моих родителей, относился ко мне по-отечески и не мог отпустить меня, не напоив-накормив. Вместе с Муратовым я сделал свою первую "книжку", собственно говоря, это была серия открыток со смешными изображениями зверей, но сброшюрованных в виде книжечки. Я к каждой подписал четверостишие. Называлось это изделие попросту — "Зоосад". Именно "Зоосад" дал мне понять, какое же это может быть прибыльное дело в советской стране — литературная поденщина. Я знал из договора с издательством "Художник РСФСР", что мне за стишки заплатят стандартные рубль сорок за строчку. Произвел в уме нехитрое умножение, и получилось что- то вроде рублей сто двадцать, чем я был премного доволен, так как эта сумма равнялась моей тогдашней месячной зарплате в "Костре", а сочинял я, развлекаясь, часа три-четыре. Я просто обалдел, когда выдали мне в шесть раз больше. Оказалось, гонорар зависит еще от тиража, первоначальная договорная сумма выплачивается за сравнительно небольшой первый тираж, а потом начисляются еще и еще выплаты по сколько-то там процентов от основного гонорара за каждый последующий тираж. Увлекшись желанием быстро разбогатеть путем рифмоплетства, я даже приобрел книгу правительственных инструкций, по которым единообразно оплачивался писательский труд во всем СССР, чтобы прогнозировать доходы. Но сочинять всякую фигню без заказа и таскаться по издательствам я ленился. Гонорарные же инструкции читал с увлечением. Этой книги и запретительного списка главлита (цензурного ведомства) достаточно, чтобы понять, что такое соцреализм.

Муратов надавал мне с собой маленьких карикатурных фарфоровых зверушек. Их выпускал тогда по его моделям ломоносовский завод, они продавались в магазинах хозтоваров.

Однажды занесло меня в музей ломоносовского фарфорового завода на Щемиловке. Что и для кого я тогда должен был написать, не помню. Помню, что я был единственным посетителем. Рассматривал всякие красоты царских времен, вспоминал читанную в детстве интересную книжку Елены Данько "Китайский секрет" — как там русский изобретатель Виноградов сидит на цепи в Петропавловской крепости и изобретает фарфор, но поразил меня один чайный сервиз, сделанный к 25-летию, кажется, революции 1905 года. Художник Валентин Курдов (о нем см. у Шварца, "Печатный двор"). На чашках, блюдцах, тарелочках для пирожного были изображены исторические сцены: баррикады на улицах Москвы и Петербурга, казаки разгоняют демонстрацию шашками и нагайками, железнодорожники преграждают путь поезду с карателями. На сахарнице сюжет был "Убийство провокатора". Сапоги убегающих за угол дома революционеров, а посредине сахарницы на булыжной мостовой лежит труп подлого провокатора. Все нарисовано в темноватых, серых, коричневых тонах очень тонко, подробно. Можно было пересчитать все булыжники мостовой, а между серыми булыжниками, нанесенная тончайшей кисточкой, тянется струнка яркой киновари — кровь. Как ни странно, но чудовищная эта посуда была прелестна.

В июне 1962 года во время автобусного путешествия сотрудников журнала "Костер" "Из Петербурга в Москву" заехали мы на фарфоровый завод в Пролетарке, недалеко от Новгорода. В цехе, где женщины рисовали каемочки и цветочки на тарелках, Голявкин попросил, чтобы ему дали тарелку расписать. Это был период в жизни Голявкина, когда он узнал о ташизме, о Джексоне Поллоке. "Это вапше идеальное искусство, старичок, плеснул краску на холст, выпил рюмку, походил, плеснул, выпил, гениально!" Усадили его за рабочий стол, дали белую необожженную тарелку, краски. Голявкин взял толстую кисть и попробовал отдаться автоматическому вдохновению — густо мазнул в нескольких местах киноварью. Результат получился не абстрактный, а, наоборот, натуралистический — то, что получилось, выглядело точь-в-точь как плевательница у зубного врача с кровавыми плевками.

Самое приятное знакомство было с художником Ермолаевым. Я пришел к нему в литографическую мастерскую на Мойке. Они там работали вдвоем, два безмятежных старика — Ермолаев и Каплан. Оба творили в жанре идиллии. Каплан делал большие листы с фантазиями на темы небывало прекрасной еврейской местечковой жизни. Не такой, как у Шагала, где лирически преображается нищета и уродство затхлого Витебска, а вовсе небывалой, хасидически сказочной, где библейские старцы,

бородатые козлы, томные еврейки и молодые козочки одинаково прекрасны, и все словно бы выделаны чернью по серебру, так что в этом мерцании не сразу и отличишь прекрасную козу от прекрасной еврейки. Литографии Ермолаева были полной противоположностью тесным, темным литографиям Каплана — жемчужное небо, свежая зелень, влага, воздух, пространство, белые рубахи, красные сарафаны. Изображался вроде бы крестьянский труд — бабы в поле, бабы с поля идут, но трудно назвать трудом этот нежный матиссовский танец легких линий и светлых красок. Существование Каплана и Ермолаева в советском официальном искусстве было парадоксально. Вообще-то их не должно было быть. Ермолаева выручала "тема труда", а Каплан, видимо, заполнил ту ничтожную квоту, которая в "искусстве народов СССР" выделялась еврейскому народу СССР. Более всего, я полагаю, этим двум помогла выжить лучезарная незлобивость в сочетании с крайней неразговорчивостью. Я вообще не припомню, чтобы Каплан при мне хоть раз открыл рот, только поглядывал и улыбался. Ермолаеву приходилось что-то отвечать на мои вопросы, но видно было, что говорить ему непривычно. Ловко выходила только присказка: "Хорошо, хорошо, вот и очень хорошо!" Гага Ковенчук, который одно время работал в литографической мастерской со стариками, утверждал, что он вообще никогда ничего другого от Ермолаева не слышал. "Ну и гнусная сегодня погода, Борис Николаевич!" — "Хорошо, хо- ро-шо!" — "По городу страшный грипп гуляет". — "Вот и о-чень хо-ро-шо!" Наносить на литографский камень воздушные видения небывалой нежной России, напевая: "Хорошо, хорошо, вот и очень хорошо!" — и так изо дня в день тридцать, сорок, пятьдесят лет…

Был в большущей заледенелой мастерской живописца Ярослава Николаева рядом с ДЛТ. Почему-то не было у него ни одной оконченной вещи. Мне даже подумалось, что он ничего не может кончить из-за того, что в мастерской слишком холодно. Показал он мне с особенным значением как нечто не совсем дозволенное, смелое, нечто для себя и для искусства, какой-то портрет — Дон Кихота, что ли. Смелость заключалась, кажется, не только в аполитичном сюжете, но и в том, что картина была написана, вернее, недописана, не в реальных тонах — лицо, руки не телесного цвета, а отдавали какой-то остылой трупной синеватостью. Заказ у меня был определенный — взять интервью по поводу николаевского magnum opus'a, над которым он трудился уже чуть ли не двадцать лет. Это была большая неряшливо написанная картина, на которой изображался люто холодный день и толпа людей с сизыми физиономиями, глазеющих на проходящий поезд. Смысл этого произведения был

такой: народ прощается с Ильичом (тело Ленина перевозят из Горок в Москву). Николаев произнес название картины четырехстопным ямбом: "На всем пути народ стоял". Мне захотелось продолжить: "В канаве пьянка продолжалась". Это я прочитал у эстонского писателя Энна Ветемаа. У них там спроектировали монумент героям войны в виде прямо из земли выходящей гигантской руки со сжатым по-ротфронтовски кулаком. Начальство сказало, что голый кулак недостаточно отражает боевой дух советских воинов, и в кулак всунули гранату. На фоне заката эстонцам представлялось, что из-под земли высовывается ручища, призывно помахивая бутылкой. Отсюда данное народом название.

Я догадывался, почему Боря захотел поместить в апрельский номер "Невы", где по календарному случаю ленинского дня рождения полагалась на ленинскую тему картинка, именно неоконченный шедевр Ярослава Николаева: на нем Ильич как таковой отсутствовал, все не так противно.

В другой раз для сходной оказии, чуть ли даже не к помпезному столетию Ленина, Боря решил напечатать фотографию бюста вождя. Но зато не работы Кербеля или Вучетича, а нежно любимого Натанушки. Натан Альтман, смуглый старичок в берете, с усиками щеточкой (как и у Бори), с сильным акцентом, не еврейским, а неуловимым, среднеевропейским, жил себе тихонько в романтической ауре — вот он, среди нас, один из мастеров авангарда! Ничего подробного о его биографии не знали, как и о биографии всех тех, кто провел несколько лет в эмиграции, а потом вернулся. Как известно, большинство вернувшихся загремели в ад лагерей, если не были попросту сразу убиты. Так что уцелевшие даже и в наши, не очень кровавые времена предпочитали о своем прошлом помалкивать. И расспрашивать их о том периоде жизни было не принято. Боря рассказывал: отдыхали они вместе с Натанушкой в Гурзуфе, поехали в море на лодке рыбу удить, Натан соскреб со свай пирса мидий, сидит на корме, открывает их и ест. "И на меня поглядывает!" Этот незамысловатый рассказ означал тогда многое. Не просто что, мол, чудачит старик, а что Натан хотя и в смешной такой форме, но доверительно дает понять, что живал он в краях, где запросто едят устриц, мидий и прочее в раковинах.

Я пришел к нему в мастерскую где-то на Петроградской. Над тахтой вместо коврика висела рыбачья сеть (я вспомнил мидий). Альтман показал мне глиняную башку Ильича и привычно рассказал анекдот, который я читал уже в десятках статей и интервью. Собственно, это и было его главной охранной грамотой

— что он рисовал и лепил Ленина с натуры. Тем не менее я деловито записал в блокнот: "Они закончили очередной сеанс, и Натан Исаевич попросил Владимира Ильича время от времени до очередного сеанса поливать бюст, чтобы глина не рассохлась. На следующий день Владимир Ильич вызывает звонком секретаршу и говорит: "Возьмите чайник и полейте мою голову!" Секретарша думает: "Окончательно спятил, крыша поехала от застарелого сифона, надо Сталину сказать…"" Нет, конечно, Альтман говорил и я записывал по-другому: "Каково же было удивление секретарши… "Да бюст мой, бюст!" — пояснил Владимир Ильич и звонко расхохотался".

Бюст, равно как и зарисовки живого Ленина, производили неприятное впечатление. Я не хочу спекулировать в том смысле, что художник-де уловил злодейскую сущность главного большевика, думаю, что Альтман хотел угодить, но не очень умел делать такие вещи. Тогда все передавали, что ленинградский партбосс Толстиков увидел на выставке альтмановского Ленина и в искреннем удивлении спросил: "А это что за крыса?" Иногда истина глаголет и устами хама.

Театральные его работы я не знаю, но ни скульптором, ни живописцем, ни графиком выдающимся Натан Альтман не был. Хотя он был талантливый человек и настоящий художник. Мне рассказывали, как во время войны, эвакуированный в Сибирь, сидел он в холодной избе и рисовал эскизы декораций для местного театра. По избе бегали полчища тараканов. Альтман время от времени ловил одного, окунал кисточку в бронзу, золотил таракана и отпускал, приговаривая: "А это лауг'еат Сталинской пг'емии". Альтман был мастер и умел делать разное в разные времена. Выжил потому, что худо-бедно приспособился к соцреализму со своим Лениным. Завоевал прочную уважительную репутацию у интеллигенции благодаря большому портрету Ахматовой, с намеком на кубизм ("прикубленному" — говорили тогда художники), как и знаменитые графические портреты Анненкова, но на самом деле декоративно-салонному. Но лучше всего — эти предвосхищающие концептуальное искусство золотые тараканы.

Арктика

Когда в начале августа 44-го года мы вернулись в Ленинград, в нашем пострадавшем от снаряда жилье на третьем этаже жить было нельзя, и нас подселили в квартиру Вагнера этажом выше. Некоторое время мы там с мамой жили одни в маленькой комнате. В большую комнату Вагнеров я старался не заходить. Там среди безобидных натюрмортов и других работ жены Вагнера висела и большая неоконченная картина мрачных тонов — синеватая женщина на набережной канала. Я ее боялся. Вагнеры вернулись из эвакуации несколькими неделями позже — старшеклассница Таня, ее мать-художница и сам Николай Петрович Вагнер, пожилой арктический писатель. Ленинград — самый северный из больших европейских городов. До тундры и Ледовитого океана не так уж далеко. Поэтому в Ленинграде Музей Арктики, Институт народов Севера и всегда было несколько писателей — специалистов по Северу. Почему-то все они носили германские фамилии — наш сосед Вагнер, а еще Кратт, Гор. Я как-то попробовал почитать одну из надписанных нам Вагнером книг. Оказалось, про рыболовецкий колхоз. Было очень скучно. Герои то и дело сообщали друг другу: "Пошла сёмушка, пошла…" Был еще среди авторов-северян, но к тому времени уже умер, писатель и художник с географически подходящей фамилий, Пинегин (уж не псевдоним ли, за которым тоже скрывается Шмидт или Штольц?). Вдова Пинегина, Елена Матвеевна, красивая еще, средних лет женщина, была маминой приятельницей. Ее второй муж, журналист Колоколов, был почти всегда в разъездах.

Все это я начал вспоминать, наткнувшись в газете на статью о Нансене. "После освоения Африки только пространства Арктики и Антарктики оставались неисследованными, их безупречная девственная белизна так контрастировала с декадентским fin de siecle". Пинегинская квартира была этажом выше нашей, и оттого там было светлее. К тому же половину пола в кабинете покрывала шкура белого медведя, к тому же на стенах висели картины Пинегина, изображавшие ярко-синее небо и сияющие белые льды (точь-в-точь как картины Рокуэлла Кента, которые я увидел много позже) и всевозможные заполярные трофеи. Мама вела с Еленой Матвеевной беседы в другой комнате, а мне предлагалось глазеть на заполярные диковины. Я трогал голову медведя с собачьими стеклянными глазками. Пластину слипшегося китового уса. Посматривал на картины, увы, не оживленные парусником или

пароходиком — только льды, небо, вода. Еще там были самоедские музыкальные инструменты, узкие изогнутые металлические пластинки, которые, если их цеплять за передние верхние зубы, издавали "дзы-ннь". Я, не без брезгливости, пробовал подзинькать самой маленькой и тонкой, но были там и такие, что заставляли подивиться крепости самоедских зубов, самая большая словно бы расплющенная в кузнице скоба для соединения балок. Все это быстро надоедало. Я подходил к окну и глядел на канал. Вот этим заниматься можно было бесконечно долго: представлять себе, как за Пинегиным присылают катер из адмиралтейства, как он прямо под окнами собственной квартиры с чемоданом и мольбертом садится за спиной рулевого, как катер огибает Спаса-на-крови и по Инженерному каналу, потом по Лебяжьей канавке выплывает в Неву и мчится к Кронштадту, где уже ждет оснащенный для полярного плавания пароход, и капитан Седов, с печатью обреченности на благородном лице, изучает карту в рубке. (Пинегин действительно был участником злополучной экспедиции Седова.) Но Север меня в моих мореплавательских фантазиях не очень привлекал. Мой пароход отправлялся на запад, а потом на юг, к берегам Южной Америки, островам Океании.

И все же, я вспоминаю с нежностью начало романа Каверина "Два капитана" — бедный немой мальчик, сумка утонувшего почтальона, письма обреченного полярного исследователя, "твой Монтигомо Ястребиный Коготь". Дальше, с середины, герои все больше и больше превращаются в набитые советскими опилками чучела на фоне плакатной фанеры, но начало — что твой Диккенс. "Палочки должны быть по-пин-ди-ку-лярны". Красивая и печальная вдова путешественника. Ее расчетливый соблазнитель. "Не доверяй Николаю".

В 1999 году, катая маму в кресле вокруг старческого дома, я к чему-то упомянул Каверина, и она вдруг поделилась сплетнями полувековой — да более того! — давности. "У Каверина была очень некрасивая жена, сестра Тынянова. До войны, как, бывало, жена уедет на дачу, он уж идет через двор с букетом, поднимается к Елене Матвеевне. Он ей потом стал противен. Она мне сказала, что после каждого свидания он по два часа проводил у нее в ванной, отмывался".

Я подумал: вот это писатель! Из Елены Матвеевны, вдовы в квартире, наполненной полярными трофеями мужа, он сделал свою вдову полярника Марью Васильевну, это понятно. Но ее соблазнителя, предателя и лицемера, выкроил из самого себя!

Вода

15 июня 1941 года мне исполнилось четыре года. Главный подарок на день рождения был вот какой. В синюю деревянную коробку наливается вода. В коробке железные утюжки длиной в спичку — красные и синие кораблики с трубами. Коробка стоит на подставках, под нее просовывается рука с магнитной подковой. Рука невидимая, кораблики бороздят синюю воду сами по себе, и от них расходятся маленькие волны. Игра называется "Морской док". Мне объясняют, что такое "док" и, наверное, правила игры, но правила мне неинтересны, как и прочие подарки. Мне интересно то, что происходит в воде.

Наши окна выходят на канал Грибоедова. Левее — храм с кучей каких попало разноцветных луковичных куполов. Правее — зады Малого оперного театра. Иногда оттуда выходит рабочий с передним концом безголового змея на плече, потом появляется другой, третий. Вынесенный длинный рулон декорации грузят на грузовик. Если смотреть прямо вниз, там вода канала, зеленовато-коричневая от расчесываемых течением водорослей.

Кажется, вечером того же дня, 15 июня 1941 года, меня увезли в Москву, вернее в Кучино, на дачу к "теткам". Тетя Лиза, похожая на обезьянку, и тетя Рая, похожая на слона, бабушкины незамужние сестры, жили все лето на даче, выращивали клубнику и проч., по очереди ездили в Москву стенографировать то, что потом перепечатывали на машинке "Ундервуд", ухаживали за прабабушкой и за подкинутыми внучатыми племянниками, вроде меня. У них была бочка, всегда до краев наполненная черной пахучей водой. Несмотря на недоверие к насекомым, бегавшим по этой воде, я постоянно снаряжал экспедиции вокруг и поперек бочки. Если оловянный солдатик падал со щепки и шел ко дну, замирало сердце: относительно к поверхности бочка была необыкновенно глубока. В непроницаемой для взгляда придонной черноте должны были шевелиться примитивные формы жизни, страшные, как смерть. Я с тех пор ничего не видел глубже этой относительной глубины.

Из Кучина меня и увезли в Омск, в эвакуацию. После коклюша, весной, вероятно, 43-го года, полагалось много, целыми днями, гулять. Спускались по крутому берегу к Оми. Мне разрешали забраться на прижатый к берегу полузатопленный катер. Испытывая счастье, я ходил по палубе, заглядывал в нутро катера через приоткрытую железную дверь. Внутри груды каких-то листовок и брошюр размокали.

Медный запах ленинградской воды из крана, когда мы вернулись в августе 44-го на канал Грибоедова. Прогулки по Софье Перовской, Михайловскому саду, вокруг Казанского, воображая себя кораблем. В апреле преследование обреченных бумажных корабликов в ручьях вдоль тротуаров. Летом, в Сиверской, я научился вырезать лодочки из сосновой коры. Были и покупные пластмассовые, зеленые снизу, коричневые сверху. В старых растрепанных "Чижах" любил рассказ, как Ленин купил мальчику лодочку. Это было еще до чтения "Алых парусов".

Почти все мальчики хотели быть летчиками, а я — моряком.

Началось еще в младенческие довоенные времена, когда меня завораживала синева "голландок" папиных и маминых друзей, моряков-курсантов Леши Лебедева и Коли Корока. Я все книги любил — "Детство Темы" и Толстого "Детство", "Гуттаперчевый мальчик" и д'Амичиса "Простое сердце", и т. д. Но ничего не было ближе, чем "Двадцать тысяч лье под водой" и "Человек-амфибия".

У меня от рождения какая-то гулька справа на шее под кожей. Очередной детский врач объяснил, что это рудиментарная жабра, и это наполнило меня гордостью. Папа над моими морскими пристрастиями посмеивался. Он ложился на диван и начинал рассказывать историю из будущего, как через много-много лет, в 76-м году, раздастся у меня в квартире звонок, денщик откроет дверь и сгорбленный старичок спросит: "Здесь живет вице- блице-контр-адмирал Лев Лифшиц?" — и начнет, кашляя, разматывать длинный рваный шарф. Я выйду в блестящем синем мундире, спрошу: "Что вам угодно?" "Я ваш отец", — скажет старичок. "Покормите его на камбузе", — скажу я. "Да нет, я уж пойду", — скажет старичок и начнет с надсадным кашлем заматывать свой длинный рваный шарф. В этом месте я начинал плакать.

Взрослые знакомые бодро сулили мне нахимовское училище и т. п., я, как это делают дети, подыгрывал, внутренне корчась от собственного лицемерия. Вот, например, такое позорное воспоминание. Мама приходит со мной по делам в редакцию журнала "Костер" (в то время в Аничковом дворце). Подводит меня к темноглазому мужчине, говорит: "Вот, Лешенька, это один из твоих любимых писателей, Виталий Валентинович Бианки". Бианки говорит мне что-то мною не запомненное. Я, ужасаясь самому себе, говорю: "У нас разные моря — ваше зеленое, а мое — синее". Стыдно мне было не просто оттого, что я сморозил высокопарную глупость, а оттого, что знал, что лгу. Не айвазовские красоты, не приключения Магеллана и Кука, не доблести краснофлотцев волновали меня и тянули к воде.

Другое постыдное воспоминание. В конце мая 48-го года мы впервые приехали на юг, в Коктебель. До Коктебеля добрались

совсем поздно, в темноте, и вообще мы приехали за день или за два до начала сезона, начала наших путевок. Мария Степановна и Олимпиада Никитична покормили нас жареной барабулькой. Рано утром я проснулся и впервые в жизни выбежал к морю. Странное это было чувство — смесь не испытанного прежде восторга и дикой неловкости от ходульности ситуации: я и море! И я, чтобы окончательно все испортить, говорю: "Здравствуй, море!"

А летом 45-го наша первая послевоенная дача была просто в Сосновке, на тогдашней окраине, за кольцом девятки, в квартире у маминой подруги Нины Сергеевны на Ольгинской улице. В этом трехэтажном желтом домике, как я теперь знаю, жили, в основном, физики из расположенного поблизости ядерного института. (Ольга Окуджава, племянница академика Арцимовича, выросла в этом доме.) Окруженный кустами акаций дом выходил фасадом на то, что называлось "дюнами", и на озерцо. Собственно говоря, это был карьер, откуда брали в свое время песок на строительство Политехнического института. Потом выработанный карьер заполнился холодной ключевой водой. У мамы я прочел дневниковую запись того лета: "Смотрю из окна. Лешенька, посланный с бидоном за молоком, возвращаясь, присел на корточки на берегу, смотрит на воду, а молоко из бидона льется, льется".

Вот что я знал про себя, но не умел и сильно бы постеснялся, если бы даже сумел, сказать. Мне не так хотелось в розоватых брабантских манжетах водить корабли, как сидеть в кормовой каюте, читая книгу при фонаре, под иллюминатором в брызгах дождя и волн. Если говорить абстрактнее, не водная стихия как таковая, а соприкосновение тверди и воды. Даже на какие-нибудь в две доски мостки на пруду ступить мне было (и есть) приятно. Я спускался к Неве и, как завороженный, глядел в мелкую воду на осколки стекла, кирпича, копейки, особенно на гранитную ступеньку под водой.

Не было для меня большего удовольствия, чем покататься на речном трамвае, а потом, когда подрос, взять напрокат лодку, но Малую Неву я предпочитал Большой, Невки им обеим, а еще лучше были каналы, окраинные речки. На Островах особенно приятно было протиснуть лодку в какую-нибудь совсем узкую под нависшими ивами протоку.

У меня нет намерения обводить этим текстом контур известного мифа или, тем более, психоаналитической банальности. Странным стечением обстоятельств я еще тогда, в том нежном возрасте, получил прививку против этой распространенной формы литературного кокетства. В темноватые

годы, 44-46-й, мама еще активничала в Союзе писателей и я часто околачивался в шереметевском особняке, поджидая ее. Бродил по пустым

в дневное время гостиным, воображая бог знает что. То посижу в золоченом кресле в комнате с интерьером рококо: отодвину пахнущее пылью волнистое белое драпри, погляжу на Неву. Разглядывал мелкую с хорошо проработанными деталями бронзовую настольную скульптуру — охота на львов. Забредал в последнюю в анфиладе, с черными деревянными панелями, готическую комнату. Там не было дневного света, а в электрическом — Данте из черной рамы косился довольно злобно. Мама бегала по делам. Какие это были дела? Детская секция. Бюро пропаганды, где добрая Тая Григорьевна могла направить на выступление в школе. Были какие-то культмассовые комиссии, в общем-то не отличавшиеся от старорежимных дамских комитетов: устраивали новогодние карнавалы для писательских детей, лотереи с благотворительными целями. От карнавала я ожидал многого, но мамино костюмерное искусство не оправдывало моих ожиданий — многие даже не догадывались, что я одет пиратом. (Очень красив был старший мальчик, Миша Казаков, в костюме арлекина. Недавно — я пишу это в 2007 году — я пришел домой и нашел на автоответчике послание от Казакова. Он хвалил мою книжку о Бродском, но начал с того, что "мы давно не видались". Я подумал: "Действительно давненько, с празднования нового, 1945-го, года".) На лотереи дамы тащили из дому всякую ненужную ерунду, оставшуюся от своих мам, а то и бабушек: альбомчики, вставочки, флаконы, кольца для салфеток, подставки для ножей и вилок, разнообразные брелоки. Когда-то это добро покупалось в лучших петербургских магазинах к Рождеству или к Пасхе. Думаю, что там были и вещи Фаберже. Теперь такой период, что эти технически сложные и совершенные, но художественно неизобретательные, попросту говоря дурного вкуса изделия ценятся во всем мире очень дорого, но тогда их и в комиссионки не очень-то брали, а уж писательские дамы все знали, что "мещанство", и не жалели отдавать все это слоновой кости, филигранное, перламутровое.

Когда мать освобождалась, мы шли в библиотеку менять книги. Пока мама болтала с библиотекаршей, мне разрешалось подняться по винтовой лестнице на антресоли и рыться в книгах, вычищенных, как я теперь понимаю, из библиотеки Дома писателей. Книг там было навалено на полу без разбора. Кое-что мне разрешалось забрать домой. Я выуживал оттуда как отечественные повести о битвах гимназистов с реалистами, так и переводные о юных насельниках boarding schools. И там, и там

обильно шел снег, набросавшись снежков, ученики шли в натопленные дортуары, на Рождество всех, кроме одного сиротки, забирали домой. Помимо устарелых детских книжек, я иногда подбирал и еще что-нибудь. Меня не очень удивляет, что я подобрал эту брошюрку, — видимо, слово "истерия" в названии вызвало нездоровый интерес. "Истерия" — это было известное мне и очень постыдное состояние. Мне иногда говорили: "Прекрати истерику".

Что я, восьмилетний, действительно читал брошюру Адлера, не понимая многих слов вообще, меня теперь удивляет. Но пусть и в непонятных словах, мой смутный душевный опыт был в брошюре высказан и отчужден, и я получил возможность его контролировать, волевым усилием не до пускать превращения прекрасного в постыдное. Мне и до сих пор иногда снится, как я брожу на тех антресолях шереметевского особняка, среди книг, которые доходят мне до колен, до пояса, выше.

В Ленинграде мне знакомы были квартиры неподалеку от консерватории, где в больших, загроможденных старой мебелью комнатах темновато и прохладно даже в жаркий летний день и блики от мелких волн канала колышутся на потолке, на стенах, на фотографиях усатых дирижеров и теноров с автографами наискосок. От этого миланские усачи чувствовали себя почти как в Венеции. В начале книжки Елены Данько "Деревянные актеры" изображен жаркий день, пустынные каменные мостовые вдоль узких венецианских каналов, полубезумный старик в запущенном темном жилье — великий Гоцци. Книжки Данько, "Деревянные актеры" и "Китайский секрет", написаны якобы по системе Маршака как рассказы специалиста — беллетризованные сведения по истории фарфора, по истории театра марионеток (а заодно Французская революция). Но Маршак и его талантливая ученица обманывали то ли власти, то ли самих себя — не так уж много я, читатель и многократный перечитыватель этих книжек, запомнил о фарфоре или о марионетках. Мог бы обойтись и без знания, что для изготовления фарфора нужен каолин и что имя немецкого эквивалента Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки — Кашперле. Помню зато шаги Гоцци по теплым венецианским плитам и чувство сожаления, когда действие переносится из Венеции в Германию (потом это неожиданно вспомнилось, когда читал "Конец Казановы" и, особенно, когда смотрел "Казанову" Феллини). Шварц вспоминает, что Житков всерьез считал Елену Ивановну Данько ведьмой и говорил, что таких, как она, в старину сжигали или топили.

Очень вскоре после отъезда из России я впервые побывал в Венеции и потом приезжал туда еще несколько раз. Однажды у

нас с Ниной был номер в старой гостинице "Карпаччо" с окном на Большой канал. Это была большая комната на венецианском первом этаже, то есть с окном над самой водой. То и дело — руку протянуть — проплывали, поглядывая на нас, гондольеры. Ночью вапоретти укороченных маршрутов с оглушительным дизельным грохотом разворачивались дугой через весь канал, едва не задевая нашего подоконника. Нина, как только мы возвращались в гостиницу, усаживалась в кресло напротив окна. Я же ложился и засыпал совершенно спокойно. Покой я испытываю, приезжая в Венецию и уезжая оттуда. Мне спокойно в густом туристском месиве на Риальто, на пустынных, как в начале книжки Данько, улицах Джудекки, у кремлевских стен Арсенала, в очередном плохом венецианском ресторане, где приносят белое вино, сильно отдающее водопроводной медью.

У этого ощущения есть физический эквивалент — это как гладить кошку. Хотя именно в Венеции кошек гладить и не хочется. И не потому, что все бесчисленные венецианские уличные кошки грязны и нездоровы на вид, а потому, что пропадает потребность даже к такой несущественной форме

обладания, как погладить. Так же нет желания в Венеции жить — только смотреть (но об этом лучше написано у Бродского). Самое удивительное и прекрасное, что я видел в жизни? С Юзом мы ходили по Венеции в полдень в поисках места, где бы поуютнее присесть. У нас был хлеб, сыр, маслины, мортаделла и бутылка вина. Но где скамейка была занята, а где безлюдно, но собака кучу навалила. Наконец мы набрели на совершенно свободный и чистый тупичок у перекрестка двух узких каналов. Мы присели на уходящие к воде ступеньки и вот что увидели. На перилах горбатого мостика перед нами сидела, глядя в воду, серая кошка. Неожиданно она выгнула спину, повторяя изгиб моста, на котором сидела, а затем сиганула вниз, уже в воздухе вытянувшись в линию. Почти бесшумно ушла под воду. Довольно долго на поверхности воды ничего не было, а потом появилась прилизанная кошачья голова — она быстро продвигалась к берегу. В момент полета кошки у меня в горле образовался ком и я не без труда проглотил его вместе с большими глотками сладковатого вина "Лакрима Кристи".

<Возвращение в Ленинград>

15 июня 44-го года началось с теплого летнего утра. Настроение было соответственно дню рождения благостное. Мама и без того делала дни рождения (не только мои) каким-то исключительно важным праздником — и подарки должны быть пышные, и само празднование, — а тут я к тому же знал, что начинается новая жизнь, осенью я пойду в школу, и чувствовал себя соответственно повзрослевшим, прохаживаясь между высоких грядок нашего огорода. Умелый Фима подарил мне собственноручное изделие: очень славную деревянную пушечку с колесами, выкрашенную в травянисто-зеленый цвет. К фанерной подставке был в углу приклеен аккуратный параллелограмчик из темно-лиловой засвеченной фотографической бумаги, на котором тоненькой кисточкой белильцами написано курсивом: "Льву Лифшицу в день его семилетия от семьи Левита". После завтрака заглянул Илья Вениаминович и тоже принес свое изделие, почти такое же приятное, как пушечка Левита, — алюминиевый светофор, который можно было включить и зажигать поочередно зеленый, желтый, красный фонарики.

Но главное, с этого дня в моем сознании началось возвращение в Ленинград. Видимо, уже тогда шли вовсю о том разговоры. Дело ведь это было не простое: папа с фронта должен был добыть и прислать нам вызов, затем надо было получить места в эшелоне (так, на военный манер назывались поезда — регулярное расписание на дальних расстояниях не действовало, а ходили специальные "эшелоны"). Так или иначе, мы тронулись в конце июля и приехали в Ленинград в начале августа.

Несколько лет спустя, вернее, преодолев огромное жизненное пространство, отделяющее раннее детство от подросткового возраста, я прочитал самый известный в мире русский роман и смог задним числом подставить себя в Эпилог. Для этого память немножко сдвинула даты: приблизила послекоклюшные долгие прогулки по берегу Иртыша из поздней осени 43-го года к отъезду летом 44-го. "Начиналась новая жизнь".

Новая жизнь начиналась с узнавания старой, оказывается, основательно забытой за три года. Так как в нашу довоенную квартиру на третьем этаже попал снаряд (наш дом был помечен белой по синему трафаретной надписью: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!"), нам дали комнату на четвертом, в квартире еще не вернувшегося писателя Вагнера. Но наши вещи, уцелевшие от снаряда и не сожженные

папой для обогрева во время его наездов домой в блокаду, уже были там. Впервые за три года я повернул на кухне медный крантик, и в ноздри ударил чистый запах ленинградской водопроводной воды. Я засунул руку глубоко между пухлым, мною же обколупанным клеенчатым боком и подушкой любимого кресла и достал оттуда огрызок красно-синего карандаша, довоенный фантик конфеты "Кис-кис" и стойкого оловянного солдатика, мужественно проведшего под подушкой три военных года. Солдатик был покрупнее и поподробнее новых, и он, и подземелье совпадали с главной книгой из подаренных мне по приезде в Ленинград — сказками Андерсена. Отождествлялся он также с папиным стихотворением, которого я побаивался, как и всего слишком печального: "К игрушкам проникла печальная весть, / Игрушки узнали о смерти. / А было хозяину от роду шесть. / Солдатик сказал им: "Не верьте!" // "Не верьте!", — сказал им солдатик, и вот, / Совсем как боец настоящий, / Которые сутки стоит он и ждет, / Когда же придет разводящий". Под окнами по-прежнему выгибались в сторону Невского коричневато-зеленые водоросли в канале. Слева сверкала сохранившимися кубиками на куполах и еще свежими выбоинами от снарядных осколков церковь, правее узкий деревянный мостик вел к задам Михайловского театра. Только сизого старика на нем не было.

Оказалось, что я не так уж вырос и вполне мог усесться на свой трехколесный велосипед с хохломским деревянным сиденьем. В один из первых по возвращении дней я разъезжал на этом велосипеде по солнечной, чистой, пустой, красивой, после избяного омского жилья, квартире, когда нас навестил паренек Боря из нашего эшелона.

Ехали мы ведь через Сибирь, Урал, русский северо-восток очень долго. Отделения общего вагона были превращены в как бы юрты из одеял, узлов, подстилок. Такое. путешествие — целый мир, и описан он в романе Пастернака. Среди попутчиков была группа подростков, которые под присмотром краснолицего офицера ехали поступать в мореходное училище. Одного из них Оля-Баба полюбила, разговаривала с ним и немножко угощала из наших припасов. Думаю, единственная причина, почему она выделила этого паренька из других, была та, что его звали Борей, как ее сыночка. Однажды в вагоне поднялось шепотливое волнение, у кого-то украли "паек", и все подозрения падали на будущих мореходов. Офицер производил в тамбуре расследование — выводил их туда по очереди и — я подслушал возмущенный шепот Оли-Бабы и мамы — "бил их по лицу", требуя признания. Это страшное и постыдное событие, видимо, и

вытеснило из памяти остальные впечатления путешествия. Из географии помню только остановку утром в Кирове (Вятке), где мама накупила на перроне знаменитых местных глиняшек, они тогда еще не имели такого дешевого сувенирного вида, как теперь.

Эшелон пришел на Московский вокзал. Растроганный Боря встречал нас в лейтенантской гимнастерке. Он в это время служил в городе, в газете ленинградского военного округа "На страже Родины". Вышли мы вбок, на Гончарную улицу. Так же, как в Омске для отъезда, здесь для приезда был раздобыт грузовичок-пикап. Указывая на кремлевские зубцы, украшающие клуб МВД, Боря говорил мне: "Ты, небось, думаешь, что в Москву приехал?" Я понимал шутку и благодарно смеялся.

Ровное, благостное, серьезное настроение, начавшееся утром в день семилетия, распространяется на все это лето, в том числе и на первый долгий август в Ленинграде до начала школы. Город, в который мы вернулись, был тихий и пустоватый. Было много разрушенных бомбами зданий. Ободранные, измазанные копотью обои под открытым небом выглядели неприлично. Но их постепенно закрывали разрисованными фанерными фасадами. Не знаю точно, зачем это делалось — как маскировка на случай возобновления бомбежек? чтобы вид руин не удручал и без того настрадавшихся ленинградцев? чтобы занять театральных художников? Во всяком случае разрисованы фальшивые фасады были старательно. В ряду однообразных нарисованных окон вдруг попадалось одно с как бы выбившейся занавеской или с горшком герани. Мой мир, по границам которого стояли Храм-на-крови, дом Адамини, ДЛТ, кино "Баррикада", Казанский собор, улица Бродского (еще с деревянными торцами!), Русский музей, вспоминается мне как большая пустая сцена, по которой мне разрешили побродить. (Еще один знак моей взрослости — я сразу же стал гулять по окрестным улицам один.) Небо чуть-чуть отдает малиновым. Это отсвет обложки "Сказок" Андерсена. От каналов пахнет медной водой, как на кухне. Однажды, как всегда погруженный в свои фантазии, я шел по Невскому от Желябова к Дому книги. Прохожие, конечно, были — женщины, военные, — но я их не замечал. Как вдруг что-то поразило мое зрение, вырвало из мысленной игры. Слева большими шагами обогнал меня великан. Он шел, поблескивая на солнце светлым костюмом, белой рубашкой и лиловато-черным лицом. Хотя я уже был приучен не глазеть на необычно выглядящих людей, черный красавец так поразил меня, что я потрусил за ним, забыв все на свете. Он время от времени оглядывался и смеялся: наверное, у меня был рот разинут и вообще глупый вид. Откуда взялся

штатский негр в Ленинграде в августе 44-го года?

У вообще-то талантливого Бориса Корнилова есть халтурная поэма "Моя Африка". Там герою так же поразительно встречается негр на улице опустошенного войной Петрограда в 19-м году. Далее следует из плохих стихов сляпанная история, объясняющая, как и почему чернокожий стал красным буденновским конником, и все это завершается обещанием: "Как умер он в бою / за сумрачную, / за свою Россию, / так я умру за Африку мою". Здесь Корнилов совсем не угадал своей смерти. А вот в хорошем стихотворении, которое кончается: "И когда меня, / играя шпорами, / поведет поручик на расстрел, — / я припомню детство, одиночество, / погляжу на ободок луны / и забуду вовсе имя, отчество / той белесой, как луна, жены", — "теплее", его пристрелил в 38-м году на этапе конвоир. Тут возможен иной сюжет: веселый африканский дух нашего национального гения появляется на улицах Петрополя в годы разрухи, когда трава прорастает между квадратами силлурийского плитняка тротуаров.

Откуда негр? Не знаю. Ну а то, что за несколько кварталов от этой встречи в тот же, возможно, день Рэндолф Черчилль (сын Уинстона) искал своего друга Исайю Берлина и, придя по его пятам во внутренний двор шереметевского дворца, но не зная номера ахматовской квартиры, оглашал этажи кафедральными возгласами: "Исайя! Исайя!" — это не удивительно ли?

Простые уроки. Осень 1944-го

I am a kind of paranoiac in reverse. I suspect people of plotting to make me happy.

J.D. Salinger[42]

Война еще шла, и я, рисуя или так — мечтая, с увлечением придумывал способы, как бы убить как можно больше немцев. Но пленные немцы — они работали в нашем дворе, как и во многих полуразрушенных ленинградских домах, — были почему-то совсем другое дело. Они не вызывали враждебного чувства, только острое любопытство. Вот что: они были иностранцы. Иностранцы же принадлежали к прекрасному книжному миру так же, как и старинные люди. Это низкопоклонство перед иностранцами началось очень рано. Я даже не совсем понимаю, откуда оно взялось: ведь когда в Омске я, стесняясь и с восторгом, глядел на эстонца Энна и его жену Агнес, я еще и книжек не читал. Только раз я видел иностранца чудеснее эстонцев и пленных немцев — негра на Невском.

Но пленных немцев, как ни интриговали они меня, я стеснялся и отворачивался, убегал, когда они что-то кричали мне, смеясь.

Однажды вечером я сидел дома с тетей Нелли. В дверь позвонили. Я открыл и увидел пленного немца. Он кланялся и почтительно просил: "Вет- шо… ветшо…" Не понимаю, как уж я догадался, что он пытается сказать "ведро", имея в виду кастрюлю. Чего-то надо было немцам сварить на костерке. Пока я обмирал от застенчивости, выскочила тетя Нелли и замахала на немца непарализованной рукой: "Вон, вон убирайся…" Она прямо клокотала от злобы. Всего два года назад она видела медленную агонию своих близких, сама умирала мучительной голодной смертью, какое уж тут "ветшо".

А папа как-то собрал еды в пакет и сказал: "Ну-ка, отнеси это пленным". Помню в основном свое дикое смущение, когда я приблизился к кружку перекуривающих фрицев и пробормотал: "Айн херр просил передать…" Потом я пообвык. Кроме папы, меня посылали к немцам с едой Шварцы, Евгений Львович и Екатерина Ивановна. Все же я никогда не задерживался, чтобы поговорить с немцами.

В первый раз, принимая из папиных рук пакет, я пробормотал: "Но ведь они же враги…" Папа сказал: "Победители должны быть великодушны".

Пленных немцев еще долго, до начала 50-х годов, можно было увидеть на строительных площадках Ленинграда. Отстроенные ими дома считались особенно качественными и ценились при обмене квартир. Однажды по Ленинграду пронесся слух, что в зоопарк привезли дикую женщину-людоедку, "четыре метра ростом, с Курильских островов". Такие фантастические слухи время от времени вспыхивают в городской среде. И хотя проще простого было сходить в зоопарк и убедиться, что никаких людоедок там нет, предпочитали верить и пересказывать. Я тоже, хотя и знал, что вранье, с увлечением участвовал в разговоре про людоедку и в порыве внезапного вдохновения сказал приятелям-четвероклассникам: "А кормят ее пленными немцами". Через день я услышал, как наша соседка Евгения Григорьевна говорит маме на кухне: "Одна дама говорила в очереди, что людоедка питается пленными немцами". Евгения Григорьевна говорила, на всякий случай усмехаясь, но видно было, что верить даме ей хочется.

А вот смотреть, как вешают немцев, осужденных за военные преступления, на площади перед кинотеатром "Гигант", некоторые ребята из нашего класса действительно ездили. Они подробно рассказывали. Грузовики с откинутым задним бортом подъезжали под виселицу. Рядом с каждым немцем было по два конвоира. Они накидывали петлю, грузовик трогался, немец оставался болтаться. Три немца вели себя смело, стояли прямо, выпятив грудь, а один, самый молодой, очень боялся, у него ноги подгибались, конвоирам приходилось его поддерживать. Про трусливого висельника говорили с презрительной интонацией, а про бравых с легким оттенком уважения. Недавно в каком-то документальном фильме я увидел эту ленинградскую казнь. Само повешение деликатно не показали, оператор больше снимал толпу перед кинотеатром — в толпе много смеющихся молодых женщин.

Конечно, нельзя сказать, что, посылая пленным еду, папа отрывал от себя. В это голодное время мы жили довольно сытно. Папа всегда много работал и много зарабатывал, кроме периода, когда его травили в Ленинграде уже на пороге 50-х. После развала нашей семьи мы с папой, встречаясь, ходили по кафе, ресторанам. Были тогда такие, одни по специальным талонам, другие "коммерческие", за деньги, очень дорого. В "Елисеевском" мне иногда покупали пирожные по пятьдесят рублей штука, груши и мандарины, завернутые в папиросную бумагу. В кафе "Квисисана" или на Малой Садовой, за углом от "Елисеевского", папа кормил меня редкими для послевоенного Ленинграда лакомствами — сосисками с горчицей и простоквашей с сахаром в толстых стаканах белого фаянса. Надо было оторвать бумажный

кружок, которым стакан был сверху запечатан. В ресторане "Метрополь" обеденный зал был на втором этаже.

На лестничной площадке стоял на задних лапах медведь. По мере того как мы поднимались по лестнице, все острее становился запах неповторимого ресторанного борща (Юз говорит, что этот особый ресторанный вкус борща от лимонной кислоты). Увлекательно было хлебать тяжелой серебряной ложкой селянку, вылавливая кусочки говядины, сосисок, курятины, ветчины, почек, языка, а также маслины и, особенно, каперсы, которых, кроме как в ресторанной селянке, не существовало нигде. Папа цитировал Сельвинского: "В селянке маслины из Греции и венские сосиски, но селянка истинно русская еда". Ели бефстроганов с картошкой жаренной не толстыми кусками, как дома, а хрусткой соломкой. Еще на большой тарелке с бефстроганов стояли две корзиночки из слоеного теста (волованы): в одной тушеная морковка, в другой зеленый горошек. В "Европейской" папа любил заказывать судака орли. Кусочки рыбы во фритюре были похожи на поросят. Однажды он сымпровизировал для меня анекдот: "Тут недавно обедал один генерал, заказал это блюдо, а, когда принесли, рассердился: "Судака вижу, а где же орлы?!"" Серебряный соусник с соусом тартар. Крахмальные салфетки. Вежливый бесшумный официант. Потом, вспоминая наши пиры, я сообразил, что среди ресторанных поваров и официантов в те времена еще могло быть немало таких, кто начинал еще до революции. В конце войны, в послевоенные годы было им лет по пятьдесят.

Все это гурманство запомнилось потому, что повседневная еда дома была куда скуднее. Мама всю жизнь вспоминала, как она спросила меня, что я хочу на обед в день рождения (восьмилетие, 45-й год), и я сказал: "Котлеты и кисель". Мы не голодали, у нас всегда были хлеб, картошка, крупа, сахар, сливочное масло ("для ребенка"), иногда мясо. По маминому характеру, она могла, получив очередные алименты или собственный гонорар, тут же прокутить добрую половину, угощая меня пирожными в "Норде". Но день изо дня ели то, что она готовила из картошки и крупы.

Я, избежавший блокады и послеблокадной проголоди, знал, что другие- то не так живут. Пожалуй, даже преувеличивал роскошность собственной жизни. Мне не хотелось брать в школу завтраки. Кусок хлеба с маслом привлекал всеобщее внимание: "Дай кусманчик". А делиться значило кому-то давать, кому-то не давать, это было бы ужасно.

Однажды, в прекрасном настроении от прогулки с отцом, я уплетал сосиски с простоквашей. К буфету подошла старушка

интеллигентного, как говорится, вида и спросила, сколько стоит порция сосисок. Ответ, видимо, ее огорчил. "А полпорции?" "По полпорции не продаем", — сказала буфетчица. Старушенция запротестовала: "Но почему же? Ведь мне не съесть две сосиски, никак не съесть две…" Я решил показать отцу свою проницательность и чувство юмора и сказал негромко: "Хитрая старушка…" "Не хитрая, а бедная", — сказал папа. При этом он посмотрел на меня с откровенной брезгливостью. Я помню еще только один раз, когда он смотрел на меня так же брезгливо, — это когда я в школе вляпался в дерьмо.

Столовая Дома писателей, особенно главный зал, с черными резными панелями и витражом, изображающим герб Шереметевых, была одним из самых притягательных для меня мест еще с до-войны. Меня как-то взяли на людное писательское собрание, которое я терпел, ожидая вознаграждения в любимой столовой. Наконец мы направились туда, но дежурная в дверях черного зала остановила папу: "С вашими талонами — в другой зал…" Папа повернулся и потащил меня к выходу. "Но почему, почему, ведь она сказала, что можно в другой зал?" — заныл я. "Потому что мы гордые", — сказал папа. Очень редко в жизни бывают случаи, когда банальные сентенции приобретают заповедную силу. Если я не окончательный негодяй, то это потому, что папа таких случаев не упустил.

Не лезть! С начальством, с советской системой в этом отношении-то все было несложно — не унижаться, не прислуживать за подачки было просто, так же как было просто и не зазорно обманывать ее, при случае и грабануть — тут ты всегда чувствовал себя Али-бабой в пещере разбойников, или, как сказал народ: "Тащи со стройки каждый гвоздь, ты хозяин, а не гость". Моральная сторона отношения с совком не вызывала мучительных сомнений. Что, действительно, надо было воспитывать и поддерживать в себе, это независимость в отношениях с людьми, в особенности с теми, кто тебе мил, интересен, вызывает восхищение. Не примазываться к чужой славе, к чужим привилегиям, не навязываться с дружбой, с откровенничаньем, с компанейством. Это очень важно, иначе не сохранишь личную автономию, достоинство. Ночью вспомнишь, не отплюешься. Но и не поддаться гордыне, сберечь постоянную готовность поддержать компанию, ответить на откровенность откровенностью, дружить. Опасность не во внешних проявлениях амикошонства. Например, среди моих знакомых Довлатов и Алешковский в этом отношении — на разных полюсах, но оба завидно сохраняли собственное достоинство. Довлатов — неизменным "вы" почти со всеми, немножко формальной

вежливостью, в том числе и со мной, и с Иосифом, которых знал многие годы. Юз — мгновенно со всеми на "ты", но он просто органически не смотрит ни на кого снизу вверх, даже на тех, кем от души восхищается. И знаменитых, и гениальных, и богатых тянет к нему сплошь и рядом больше, чем его к ним. Поскольку мне Бог и в малой степени не дал Юзовой харизмы, для меня естественнее довлатовский стиль поведения (хотя с Довлатовым мы никогда так близко не сдруживались, как с Юзиком).

Наверное, сыновняя любовь к отцу — это не желание быть "как папа" и проч., а унаследованная от матери влюбленность в этого человека. У матери (жены) она прошла, но в сыне закрепилась навсегда. Да, скорее всего, и в дочери то же самое, а не эдипов-шмедипов. Уж больно похоже чувство, испытываемое к отцу, на влюбленность, если разобраться, — все мило, всем недостаткам находится оправдание, а уж достоинства вызывают горячее восхищение. И радость быть вместе, и постоянное присутствие его в мыслях и снах, и ревность. А отцовское чувство к сыну? Папа культивировал дружеский тон в наших отношениях, под конец, к моему удивлению,

даже начал гордиться мной, моими более чем скромными успехами в детской литературе, но я всегда догадывался, что под этим скрывается другое чувство — он меня жалел. Так же, как дед мой под старость, при всей своей пресловутой холодноватости, жалел его и всех своих шестерых сыновей. Я было подумал, что это в нашем роду так, что мы переносим из поколения в поколение иррациональное чувство вины перед сыновьями и беспричинную, кажется, жалость, но как-то мне попался рассказ Нагибина, обыкновенный, средний рассказ: отец с сыном-подростком едут на природу, все замечательно, мальчик лезет в озеро купаться, отец смотрит на лопатки входящего в воду сына и вдруг испытывает острую жалость. И еще, годы спустя, почти то же самое в рассказе Апдайка.

В Москву, 1945

Как начало, так и конец войны были отмечены поездками в Москву. Просто так купить билет и сесть в поезд летом 1945 года было нельзя. Ездили только по специальным разрешениям и не по билетам, а по каким-то "литерам". Папе выдали "литер" и на меня, когда он отправился по союзписательским делам в Москву через несколько дней после моего восьмилетия.

Поезд уходил из Ленинграда рано, часто останавливался. Станционные здания в Любани, Малой Вишере, на полустанках были изрыты оспой артиллерийских осколков, а то и вовсе лежали в руинах. И страшные рощи-инвалиды, где все деревья были вполовину роста срезаны снарядами. Папа с офицерами-попутчиками со знанием дела вспоминали, какие и когда здесь шли бои.

Я смотрел в окно, и в моей напичканной литературой голове ветвились фантазии, совершенно не связанные с войной. Мне представлялось, что я важная персона, путешествующая инкогнито, но мое инкогнито искусно поддерживается всеми окружающими. Вот я сижу в нашем купе у открытого окна, а два офицера у окна в коридоре разговаривают и как будто совершенно меня не замечают. Но на самом деле они только притворяются, что меня не замечают, потому что такая роль им отведена по сценарию. Такие же роли разыгрывают и все остальные пассажиры поезда, и проводники, и военный патруль, только что прошедший по вагону, и люди на станциях. Много лет спустя я прочел у Сэлинджера: "Я параноик наоборот, мне кажется, что все в заговоре с целью сделать меня счастливым".

Эту эгоцентрическую фантазию нарушило появление двух оборванцев под окном купе именно потому, что тот, кто постарше, лет двенадцати, обратился прямо ко мне: "Эй, пацан, попроси у мамки хлеба". Я сказал, что еду не с мамой. "Ну, у тетки". Мысль о том, что можно ехать с отцом, голодному мальчику в голову не приходила. Отцов у них поубивало. Я побежал в коридор искать папу, чтобы попросить хлеба, но поезд медленно тронулся.

Солнечное утро приезда в Москву. Нас встретил папин младший брат. Ему было тогда восемнадцать, так что я даже не называл его "дядей", а просто — Ильей. Илья был курсантом летного училища, с пропеллерами на голубых погонах. В честь приезда на привокзальной площади купили мороженое, которого я до этого никогда не ел. Большие сливочные брикеты между

прямоугольными вафлями. Предвкушаемое наслаждение не состоялось. Мороженое оказалось горько-соленым, и его выкинули в урну.

Папа сдал меня тете Рае и тете Лизе на дачу в Кучине. У него был билет на трибуну парада Победы (24 июня), но вопреки ожиданиям меня он не взял. Он заезжал в Кучино ненадолго. Один раз приехал более веселый, чем обычно, и объяснил свое веселье теткам: "Заходил со Щипачевым в коктейль-холл". Так возник еще один сюжет для фантазирования. Поскольку ни малейшего представления ни о коктейль-холле, ни о Щипачеве у меня не было, они означали что-то неопределенно прекрасное.

Я скучал, слонялся по двору, пускал самодельные лодочки в бочке с вонючей дождевой водой, а потом не удерживался и топил.

Обратно ехали втроем. К нам присоединилась молодая женщина, Ирина. Папа сказал: "Везем Мише Дудину невесту". В Ленинграде шел дождь. На перроне нас встречали мама и Дудин. Дудин увез невесту, мама меня, а папа один отправился жить своей прекрасной и недоступной жизнью.

Страх

Жизнь в доме на канале Грибоедова вспоминается в густо-ностальгических тонах, а ведь какую тоску я испытывал там, когда мне было лет семь-во- семь. Папа уже жил в другом крыле дома, через двор. Видел я его раза два в неделю. Мама бегала по редакциям, зарабатывала, и часто после школы я сидел дома один. Я съедал что было мне приготовлено. Делал уроки. Было еще светло. Принимался за книгу. Смотрел в окно.

Вот уже последнюю длинную змею свернутого в трубку задника внесли рабочие в заднюю дверь Михайловского театра. Грузовик уехал. Я опять брался за книгу. Постепенно я все меньше мог сосредоточиться на приключениях Рольфа в лесах или на том, как "мальчики из училища Андоверъ готовились побить мальчиковъ из училища Грендель в снЪжномъ сражении". Смеркалось. Я включал радио. Начиналась передача для детей.

"Писательница Ася Генкина написала для вас, ребята, веселые стихи…" Мамин голос читал с выражением: "Я хотел бы быть таким, как наш дедушка Аким…" Уходя, она сказала, что после первого стихотворения специально для меня покашляет в микрофон. Кашляла. Я успокаивался, включал свет, снова брался за книгу. Но проходило немного времени, и беспокойство снова начинало нарастать. Что же она не идет? От радиокомитета до нашего дома так близко. Что же она не идет? Я не замечал, как у меня начинали катиться слезы, как скуление переходило в полногласные рыдания. Тут обычно мама приходила, сердилась, стыдила меня. Иногда раньше приходили соседи. Содрогаясь от рыданий, я открывал дверь, и Катерина Ивановна Шварц приводила меня к ним, показывала кота-великана. Евгений Львович шутил. Я переставал плакать не от того, что страх проходил, а неудобно было.

Еще раньше, до того, как папа переехал от нас через двор, маму в конце сентября или в начале октября 44-го года положили в больницу. Мне не говорили почему, говорили, что скоро выйдет. Раз или два папа брал меня, когда шел к ней. Но маму мне не показывал, оставлял гулять, пока был там. Мне кажется, это было в Александро-Невской лавре (то, что потом стало привилегированной "свердловкой", что ли?), потому что помню, что гулял среди больших деревьев и могил, подолгу разглядывал пропеллеры на могилах летчиков.

Тогда же, с бандой других первоклассников, возглавляемой самым здоровым среди нас Сашкой Капицей, мы на переменке

носились по коридору, влетели в уборную, я поскользнулся и вляпался рукой в унитаз, полный детского дерьма. Долго отстирывал под краном ледяной водой рукав своей одежки, вроде френча, сшитого из папиного кителя. Пришел домой, все еще всхлипывая. Папа лежал на кровати в мрачном расположении духа. Он за словом в карман не полез, сурово сказал: "Сейчас пойду в больницу, расскажу твоей матери, что ее сын в говне купается". Он, действительно, вскоре ушел. Очень было обидно и одиноко.

Нередко мама привозила тетю Нелли присматривать за мной. Это тоже не из приятных воспоминаний, потому что я плохо себя вел, не слушался, грубил, чувствовал, какой я скверный, и от этого еще больше расходился. Тетя Нелли была не единственной, про кого я знал, что она верит в Бога. Но распятие из слоновой кости на малиновом бархате над кроватью Оли-Ба- бы мне нравилось, и к ее "Христос с тобой!" и почтительным рассказам о митрополите ленинградском Алексии — "Всю блокаду пережил!" — я относился никак, как к чему-то естественному. А вот уклончивое тети-Неллино "многие великие ученые верили в Бога", "вырастешь — сам для себя решишь" почему-то меня бесило. Я ей говорил, что Бога нет, что вот, пожалуйста, если бы был, наказал бы меня — я показывал потолку фигу. Или вот: "Плюю я на твоего бога!" — плевал вверх, и слюна противно падала мне на лицо.

Книги

Папа щедро одаривал меня тем, что я любил тогда больше всего на свете, книгами. С мамой, а иногда и с ним, я заходил в Детгиз на Кутузовской набережной. Пока они в кабинетах разговаривали с редакторами или получали гонорар в бухгалтерии, я ошивался на лестнице, разглядывая стеклянную витрину с продукцией Детгиза за истекший год — 1945-й, 1946-й. Однажды папа принес мне большой пакет. Дрожа от счастья, я перебирал стопку новеньких, пахучих книжек. "Все новые детгизовские книжки!" — сказал папа, довольный произведенным эффектом. Я хорошо помнил стеклянную витрину и — какие дети все-таки свиньи! — сказал: "А Мамин-Сибиряк?" "А Мамина-Сибиряка пускай тебе мама покупает", — скаламбурил папа вполне на уровне восьмилетнего понимания.

А какие сокровища он мне приносил из Лавки писателей! Собрание сочинений Жюля Верна, издание "ЗиФ" ("Земля и фабрика"), бумажные томики переплетены, по два, по три вместе, в крепкий синий картон с коричневой ледериновой корочкой и уголками. Так же примерно, только в издательском переплете, выглядели книги серии "Библиотека школьника". Цвет корочки и уголков бывал разный и накрепко связывался с настроением книги. Багровые, закатные тона "Дэвида Копперфильда" или "Айвенго", пасмурные, голубовато-серые двухтомника Некрасова, "Очерков бурсы"… Потом вдруг, бывало, попадался где-нибудь экземпляр той же книги с ледерином другого цвета и книга казалась неправильной — не может "Дэвид Копперфильд" быть темно-синим, никак не может. Собрание сочинении Уэллса было без переплетов, довольно потрепанное, но с подробными картинками. Картинки были страшные. Инженер стоит на мостике с перилами, а внизу, на конусе раскаленного металла, уже начинает полыхать его враг. Инженер его туда спихнул. Оба в аккуратных костюмах и галстуках. Богатые подробностями иллюстрации Доре в "Дон Кихоте" (два старинных тома, с ятями). Но особенно любимые — в детгизовском, пересказанном Заболоцким Рабле. Я их теперь радостно узнаю в New York Review of Books — их там частенько используют, особенно войско Пикрошоля с его лесом пик для иллюстрации пацифистских статей. Но вот самой любимой картинки никак не могу найти в альбомах Доре. В детгизовском издании она помещалась слева, на развороте с титулом. Рабле с тремя или четырьмя другими гигантами — Гомером, Данте и, кажется, Вергилием —

поддерживал гигантскую открытую книгу. Перед книгой стояли в разных позах и в костюмах разных эпох писатели вдвое меньшего масштаба, ростом четырем великанам по пояс. Они вчитывались в открытую книгу, некоторые списывали из нее. Среди них можно было узнать Мольера, Шекспира, других я тогда не знал. По колено второразрядным классикам гуляла толпа литераторов помельче. Их было много, но они все были разные — беспечные, мрачные, горделивые, хитрые. До большой книги им было не дотянуться, но у второразрядных они списывали вовсю. А еще мельче их копошилась совсем мелюзга — видны человечки, но по отдельности не разберешь. Эта иерархия меня завораживала. Особенную симпатию вызывали маленькие, но разные писатели третьего разряда.

Онанизм и антисемитизм

Школа поначалу была приятным продолжением пустынного августа 44-го года. Там были большие просторные лестницы, просторные классы, просторные "рекреации". Мама и наши соседи называли школу ее тридцать лет назад отмененным именем "Петер-шуле",хотя от немецкого прошлого, малопопулярного в послеблокадном Ленинграде, осталось только немного музыки и несколько портретов: по утрам мы маршировали под приятный марш из "Волшебного стрелка", и со стенки смотрели композиторы. Запомнился Вагнер в берете.

Ранец — деревянный ящичек, обтянутый серой тканью. Пенал с пахучей от свежего лака красной вставочкой, тетради с промокашками. Это добро мы ездили с мамой куда-то получать "по ордеру". А когда первого сентября я пришел из школы домой, папа дал мне альбом, карандаши и розовый пряник в виде зайца, и я окончательно почувствовал, что разбогател.

Поскольку кое-как писать и считать я уже умел, а читал вовсю, то единственная работа была выводить крючки и палочки — чистописание. Остальное время я приятно бездельничал. Учительница Анна Захаровна разрешила мне приносить книгу и читать на уроке. Правда, однажды я зачитался "Томом Сойером", расхохотался на смешном месте, и книгу она временно конфисковала. Без книги, пока другие мальчики читали из букваря по складам, было скучно. Краем глаза я заметил призывные взоры сбоку. Крупный мальчик, сидевший за соседней партой, через проход, поглядывал на меня и улыбался. Поймав мой взгляд, он глазами показал вниз, под парту. Я не сразу понял, что он там держит в руке — толстая белая сосиска. Звали мальчика Битов Андрей. Полвека спустя я вспомнил это в разговоре с Андреем Битовым. Он объяснил, что то был не он, а его дальний родственник, сверстник, однофамилец и тезка, путаница с которым продолжается всю жизнь. Будущий писатель учился в другой школе. А вот в параллельных классах Петер-шуле учились, как выяснилось позднее, Сергей Кулле, с которым мы встретились и подружились через десять лет и Борис Парамонов, до знакомства с которым оставалось лет сорок. Кроме не того Битова, из своих однокашников помню соседа по парте Быкова, от которого неприятно пахло хлебом, и тетрадки у него были в сальных пятнах. Была короткая милая дружба с мальчиком по фамилии Френц. Мы заходили к нему в соседний со школой дом. У его отца, живописца в розовой рубахе, была там наверху

мастерская. Мальчик Френц гордился, что. его папа в молодости был гусаром. Я изумился мастерству, с которым мой товарищ лепит из пластилина фигурки животных. Они у него были выстроены на подоконнике по росту — от змеи до тигра. Узнав, что я раньше не видел пластилина, он, к моему ужасу, одним движением смял всех зверей в ком и отдал ком мне. Дома я решил тут же возродить животных на нашем подоконнике, но у меня после долгих усилий получилась только змея, да и то далеко не такая грациозная, какая была у Френца.

Раз утром я в лучезарном настроении начал подниматься по широкой школьной лестнице, а навстречу мне по перилам съехал взрослый парень в лыжных штанах. Он вдруг обратился ко мне: "Эй, ты еврей?" "Кажется, да", — ответил я, смущенный вниманием старшеклассника. "Это и видно по твоей нахальной роже", — радостно засмеялся парень. Об этом новом впечатлении, в отличие от игр под партой, я рассказал дома. Мама припомнила что-то возвышенное из сионистских брошюр своей юности, о гордых подвигах Бар-Кохбы и т. п. Оля-Баба рассердилась: "Другой раз скажи им, что они дураки. Ты же не виноват, что ты еврей…" Потом она привела примеры из жизни: "Вот у нас на Серпуховской на втором этаже Фейгины жили, так те — настоящие жиды. А Фраерман семья хоть евреи, но интеллигентные люди, и такие сердечные. Рахиль Иосифовна всегда зайдет, спросит, не надо ли чего. И в нашей квартире, Рубен Сергеевич и Зара Ашотовна, они, правда, армяне, интеллигентнейшие люди, любезные, предупредительные.." Я рисовал в подаренном папой альбоме бойцов Бар- Кохбы с короткими мечами, под знаменем с голубой звездой Давида, думал одобрительно о Фраерманах и армянах, с неприязнью о Фейгиных, и слова о том, что я "не виноват", смутно меня беспокоили. Впрочем, не очень. Онанизм и антисемитизм, с которыми я столкнулся, пойдя в школу, совсем меня тогда не задели. Восемь недель в августе-сентябре 1944 года я бы не назвал ни радостными, ни счастливыми, потому что их содержанием была безмятежность глубже эмоций. Это был рай, и я, по малости лет, не заметил, как с наступлением холодов и ненастья он начал уходить от меня, и мне долго казалось, что я могу туда вернуться.

Дедушки, бабушки

Моя бабушка, майор медицинской службы Ревекка Ильинична Белкина. Из рода известного в 20-е годы прошлого столетия литератора Ивана Петровича Белкина. Дед, полковник медицинской службы Александр (Ошер) Владимирович Лившиц, на вопросы о предках что-то говорил о каких-то мельниках, о каких-то контрабандистах на литовской границе. Как-то я перечитывал своего любимого А.К. Толстого, начал читать "По гребле неровной и тряской, / Вдоль мокрых рыбачьих сетей, / Дорожная едет коляска, / Сижу я задумчиво в ней, — // Сижу и смотрю я дорогой / На серый и пасмурный день, / На озера берег отлогий, / На дальний дымок деревень. // По гребле, со взглядом угрюмым, / Проходит оборванный жид, / Из озера с пеной и шумом / Вода через греблю бежит", — и лирическое ощущение метемпсихоза, которым проникнуто это стихотворение, остро передалось мне. Я подумал: "Это же я в облике моего предка, мельника или контрабандиста, шагаю, задумавшись, отмечая только как часть родного пейзажа коляску с красивым графом-сочинителем в ней". Западные губернии, брянские и черниговские леса, городки Погар, Стародуб, где я не бывал, дальше переданная мне родовая память не уходит. Дед предполагал такую этимологию фамильного имени, Лившиц-Лифшиц-Липшиц (даже в нашей семье писалось по-разному). Что это, мол, от названия города — саксонского Лейпцига, когда он еще был славянским Липском. Евреев из Липска де называли липсичами, что в их собственном произношении превращалось в Липшицев.

Дед был из бедной семьи. Он родился в 1892 году. Это я знаю, потому что он как-то говорил, что помнит столетие Пушкина и что ему было тогда семь лет. Он вспоминал это в 1949 году, в дни стопятидесятилетия. У него была сестра, "тетя Геня", кажется, еще какие-то братья или сестры, но о тех я ничего не знаю. Бездетная, мужиковатая, но добрая "тетя Геня" и ее муж, лысый бухгалтер из наркомзема, "дядя Митя" однажды чуть не стали мои- ми приемными родителями.

В гимназии дед был не чужд муз. Когда к ним в Стародуб приехал знаменитый Бальмонт, юный Александр-Ошер показал поэту свои стихи. Видимо, Бальмонт его не слишком одобрил. Но какая-то тяга к литературе осталась до конца. Едва ли уже не в последний раз навещал я его с отцом в 58-м или 59-м году. Он уже был на пенсии (чем тяготился). Он полу-завел разговор, полу-спрашивал совета у сына-писателя: вот, мол, начал переводить

книгу с немецкого. Помню, мы с отцом оба сначала подумали, что речь идет о какой-нибудь научной медицинской книге, но оказалось, что роман Ремарка. Папа стал говорить о том, как трудно, почти невозможно пробиться начинающему переводчику. Что перевод прозы — это искусство, требующее таланта и опыта, он деликатно не говорил, но думаю, что дед и это почувствовал (потому что знал подсознательно, что поздно браться за это дело). Он в своей обычной иронической манере сказал что-то, что-де он ведь не всерьез, так, от нечего делать. (И папины единоутробные братья, Лев и Илья, сочиняли втайне стихи, и сводный брат, мой ровесник, Юра, красивый инженер со странностями, одна из которых — страстное увлечение почему-то Клюевым. А несколько лет назад в новогоднюю ночь вдруг позвонил из Иерусалима незнакомый мне мой двоюродный брат Дмитрий, старший сын Ильи, и долго, не жалея денег, читал свою романтическую поэму.)

Дед, по мнению его знавших, был не только талантлив, но и хорош собой. О бабушке, Ревекке Ильиничне Белкиной, так никто не вспоминает. Ее сестры, маленькая обезьянка Лиза и несколько слоноватая Рая, остались старыми девами. Уже взрослому бабушка показала мне на фотографии единственную из сестер, которая была действительно красива (еврейской черноокой красотой; Фаня, кажется), та была душевнобольная. И постарше красивого Ошера была Ревекка. Ему, кажется, было 16 лет, когда их поженили, а ей 18–19. На белкинские деньги он доучился в гимназии, потом на медицинском факультете Берлинского университета.

Папины младенческие воспоминания — не у родителей, а у богатых Белкиных: собственный дом на Волхонке, прямо напротив нового музея Александра III. Были еще какие-то доходные дома в Москве и в провинции, мясохладобойня, лесные откупа. Старые девы тетя Лиза и тетя Рая всю жизнь прожили в доме на Волхонке со своей мамой (прабабка умерла ста четырех лет). Конечно, от прежнего жилья у них остались две комнаты в коммуналке. Там и я обычно останавливался школьником, приезжая в Москву на зимние каникулы. Не пережив октябрьского потрясения, там умер на глазах у внука мой прадед. "Мы сидели за столом, вдруг дедушка страшно закашлялся, мне показалось это очень смешным, но мама и тетки заволновались, меня утащили…" — года четыре тогда было папе.

Начали врачебную практику дед и бабка в Харькове, где и родился мой отец. В Гражданскую войну дед служил в Красной армии. После войны устроился на работу в Военно-медицинскую академию в Петрограде. Вскоре расстался с семьей, женился на

хорошенькой молодой женщине из дворян (что тогда было большим недостатком), Ирине Павловне. Бабка с двумя младшими сыновьями, Львом и Ильей, уехала в Москву, а старший сын, Владимир, мой отец, жил то в Ленинграде с отцом и его новой семьей, то с матерью. Своего отца он до конца жизни не одобрял за развод, к всегда растерянно-испуганной Ирине Павловне относился с холодной иронией. Дед, кажется, так относился ко всему на свете.

С предвоенных лет до конца он жил в трехкомнатной квартирке в "новых", то есть 20-х годов, в духе барачного конструктивизма, корпусах на Батениной. С нашего возвращения в Ленинград в 44-м году в течение двух- трех лет меня возили туда мыть — там была ванна с колонкой, которую топили дровами. Пахло дровами, колонка была раскалена, ванна была глубокая, парной воздух был все равно холодноват. Помытый я там ночевал, на следующее утро гулял с Юрой, своим дядей-ровесником. За корпусами шли ржавые болота с деревянными мостками, полоса отчуждения Финляндской железной дороги. Я говорил: "Путешественники все глубже углублялись в болота экваториальной Анголы…" Красивый Юра странно улыбался. Я понимал, что ему нравится придуманная мною игра, но у них в доме вообще мало говорили. От сухой печальной иронии деда все умолкало. Теща-дворянка, Елена Владимировна, пряталась в своей комнате. Ирина Павловна растерянно слонялась на кухне. Старшего из своих сводных братьев, Всеволода, папа как-то взял на две недели на рыбалку. За две недели Всеволод не сказал ни одного слова. Юра был вторым. Затем родившийся в конце войны Виктор, красивый, как и все дети деда от второго брака, но страшный заика. Только, кажется, последний ребенок, единственная дочь Елена, родившаяся, когда деду было уже под шестьдесят, росла вполне нормально: к этому времени дед начал мягчеть, разучился скрывать свою любовь и порой выглядел еще более растерянным, чем поблекшая Ирина Павловна.

Еще в этом доме на меня производил большое впечатление буфет, совершенно колабрюньоновское сооружение, с натурально вырезанными гирляндами мертвых животных — зайцев, куропаток. Но главная странность — как он попал туда? Ни в одни из дверей этой квартирки он бы ни за что не пролез, но и не мог быть построен прямо там — он был очевидно намного старше дома. Я вспоминал этот буфет, читая о том, как доставлялся гардероб в дом Громеко.

В Военно-медицинской академии дед служил доцентом на кафедре физиологии. Он считал себя учеником Павлова, а его непосредственным научным руководителем был академик

Орбели. Я там много бывал, в этом городке — есть такие города внутри города Ленинграда, — старые больницы, Университет, Технологический институт — дед устраивал меня на прием к разным медицинским светилам. Бывал я и у него на кафедре, смотрел кроликов, белых мышей и каких-то пятнистых лягушек, которыми дед очень гордился. Из-за того, видимо, что в те времена я еще не мог отличать его иронию от серьезного рассказа, мне запомнилось, что достоинство пятнистых лягушек состояло в том, что они друг друга жрали. Обычные будто бы лягушки не жрут, а эти жрут и доказывают возможность внутривидовой борьбы. После известной сессии ВАСХНИЛ взялись и за физиологию. Вместе с шефом, академиком Орбели, погнали из академии и деда — ведь если есть внутривидовая борьба среди лягушек, то, значит, и внутри- классовая среди пролетариев возможна — подкоп под марксизм! Впервые я видел деда искренне сокрушенным, когда он рассказывал, что братоубийственных пятнистых лягушек после разгрома лаборатории выкинули в Неву, зимой — прямо в полынью.

Друзья помогли ему пристроиться чем-то вроде завхоза в военно-медицинский музей возле Витебского вокзала, потом пришла пенсия. Он помягчел в последние годы. Страдал от подагры, язвы. Умер в своей родной академии, где у старых приятелей лечился. Как это часто бывает с врачами, он сам себя неверно диагнозировал: думал, что ложится в клинику с приступом язвы, а оказалось, что ходил с большим инфарктом, выяснилось на вскрытии. Было это в 1960 году, я был уже на Сахалине. Потом как-то мы с приехавшим из Москвы папой в осклизлый денек поехали на Богословское кладбище, папа велел таксисту подождать, купил у входа букетик. Мы нашли могилу, растерянно поглядели на камень. Папа положил букетик. Поблизости мы наткнулись на могилу Евгения Львовича Шварца.

Через четверть века меня в Америке навестил старый знакомец, исторический писатель Яков Гордин, и передал письмо от своей матери. Она писала:

Александр Владимирович Лившиц (Ошер — как называла его моя мама) был земляком моих родителей (гор. Стародуб, Черниг. губернии). Я с ним познакомилась в году 1923 (семи лет), когда он приехал в Петроград устраиваться на работу (на службу, как тогда говорили) в Военно-медицинскую академию и остановился у нас с мамой. Мне он запомнился как высокий, красивый, светловолосый молодой человек, веселый и добрый. Он одет был в военную форму — шинель и буденовка. Однажды, когда я рассматривала буденовку, то заметила, что в острие ее —

дырочка. На мой вопрос — зачем эта [дырочка?], Александр Владимирович мне ответил: "Когда мы поем "Кипит наш разум возмущенный", чтобы пар выходил". В то время — разгар нэпа — на нашей Фурштадтской улице (ул. П. Лаврова) была маленькая немецкая булочная, где продавались ватрушки — предел моих мечтаний. Заметив мою слабость к ним, А.В. стал их мне покупать. Но не знаю, какое чувство мною тогда руководило, — я их не брала. Стеснялась, верно. Тогда он придумал — спорил со мною о чем-нибудь и, если я проигрывала (а это случалось часто), "в наказание" покупал мне ватрушки.

Потом А.В. уехал за семьей и привез в Петроград жену и двух мальчиков. Им дали от Военно-медицинской академии казенную квартиру на Шпалерной улице, где мы с мамой бывали. [Дом на углу Шпалерной и Рождественского. Квартира была на первом этаже. Папа говорил, что это была квартира Родзянко (может быть?). Учился он на Моховой в б. Тенишевском училище, где прежде учился Мандельштам, потом Набоков.]

Помню жену В. А. — небольшого роста, круглолицую, полную, в очках. На нее был похож старший сын — Вова. Как звали младшего — не помню. Мама говорила, что он ее крестник. Владимир Лившиц был известен своими поэтическими способностями еще в школьные годы. Он был постарше меня, мы учились в разных школах, но он как-то читал у нас на вечере свои стихи. Потом Александра Владимировича перевели в Москву, и наша связь прервалась.

Моя мама Розалия Марковна Васина (для А.В. — Роза Варонич), мой отец — Яков Давидович Басин, военный врач. Думаю, что А.В., как и мой отец, учился в Харьковском университете, после окончания сразу же (1916 год) был отправлен на фронт.

В этих воспоминаниях дед не совсем такой, каким я привык его себе представлять.

Ад

Мы поселились на Можайской 24 апреля 1947 года, когда мне еще не было десяти, а уехал я оттуда с Ниной и пятимесячным Митей в самом конце 1963-го. До недавнего времени Можайская, 41, кв. 7 было самым длительным местом жительства в моей жизни, хотя и с сахалинским перерывом. По существу, я там вырос, а вот родным домом мне все равно всегда представлялся канал Грибоедова, 9, где я жил года два до войны и полтора в конце войны и сразу после. Все остальные жилища, в том числе и Можайская, смутно ощущались как немного обидные, как будто меня туда выгнали. Окончательно это чувство прошло только здесь, в Нью-Гемпшире, в нашем доме над Норковым ручьем.

И то сказать, были в Ленинграде и более унылые места, но не так уж много. "Иные ады являют собой вид разрушенных домов — городов после пожара, в коих обитают и скрываются адские духи. Ады умеренные вид имеют грубых жилищ, иногда составленных наподобие города с переулками и улицами, внутри же домов адские духи вовлечены в непрерывные ссоры, вражду, драки и жестокости…" Такие сведения об аде дает Сведенборг. Я наткнулся на эту цитату в очерке Милоша о Достоевском и Сведенборге. Одна из улиц, "рот", Семеновского полка — Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая — скучная Можайская только однажды попала в русскую литературу. У Достоевского в "Подростке" "Версилов живет в Семеновском полку, в Можайской улице, дом Литвиновой, номер семнадцать…". Эти адресные сведения "громко прокричал раздраженный женский голос". Таких голосов я наслушался в умеренном аду нашей кухни и школы. Семеновский плац, где за девяносто восемь без малого лет до нашего переезда на Можайскую Достоевский думал, что его вот сейчас убьют, был теперь обширным загаженным пустырем. Иногда мы ходили туда играть в футбол. Однажды меня там побили и отняли мяч.

Безопаснее для игр был другой пустырь на Обводном, напротив ремесленного училища в конце Можайской. Местные мальчишки называли его стадион "Золотая вошь".

В начале 47-го года в довоенную квартиру моего отчима И.В. (окнами на Нарвские ворота) вернулась из эвакуации его довоенная семья — Ольга Михайловна с сыном Вовой. Зажили так: в одной комнате мама с И.В., за стеной Ольга Михайловна с Вовой, в третьей комнатке мать И.В., Фаина Ильинична, и я. И.В.

на дух не переносил свою первую жену, и с сыном, чуть старше меня, у него уже были натянутые отношения. Мама и Ольга Михайловна скрывали взаимную ненависть под тем, что обе считали "маской ледяной вежливости": "Здравствуйте, Ольга Михайловна". — "Здравствуйте, Ася Михайловна". Зато по вечерам из комнаты Ольги Михайловны разносился по квартире жаркий шепот: "Господи, покарай жидов…" Она была поповна, по молодости лет весело выскочившая замуж за веселого молодого еврея, но после его измены вернулась к отеческой вере. Ее вечерние молитвы были явно адресованы не только к Господу. Фаина Ильинична обожала сына, любила внука, не скрывая, ненавидела бывшую невестку и, скрывая, но не очень, нынешнюю, а заодно и ее отродье, меня. Жить в этом аду было невозможно, мама ринулась менять жилплощадь. Предлагала она не больно завидную комнату на проспекте Газа и темный, где-то в третьем дворе на Литейном, десятиметровый пенал, который ей дали от Союза писателей, выставляя с канала Грибоедова, и в котором мы ни одного дня не жили. Так что она считала, что на Можайскую выменяла очень удачно.

Помню, как она взяла меня с собой смотреть новое жилье. Там у людей было положение отчаянное. В задней комнате, которой предстояло стать моей, жила пожилая еврейская пара, а в большой, проходной — старуха в сапогах с каким-то терявшимся во мраке плохо освещенной комнаты семейством. То есть евреям нужно было по всякой нужде ходить через жилье чужой старухи, а старухе терпеть это еврейское хождение. Мама поговорила со старухой в сапогах, потом мы прошли в заднюю комнату. Подошел и наш будущий сосед Ефим Львович Рабинович. Он еще донашивал военный китель. Речь шла о запахах. Говорили, что зимой не пахнет, а летом только если ветер в нашу сторону. Видно было, что маме хотелось в это верить.

Мы переехали. Переезжали в апреле. Я даже помню — двадцать четвертого. Наняли открытый грузовик, нагрузили мебелью и осчастливили меня — разрешили сидеть в кузове среди вещей.

Наши три окна выходили на Малодетскосельский проспект, но все равно пахло. Другой границей квартала был Обводный канал. На другом берегу канала стояли толстые башни из почернелого кирпича, газгольдеры. То был построенный, когда еще только вводилось газовое освещение, газовый завод. Так что газом приванивало постоянно. Летом, действительно, сильней, чем зимой. Обводный канал, даже при моей неразборчивой любви ко всякой воде, тоже не радовал. В нем не вода текла, а густая, почти черная муть в радужных мазутных разводах, с белесыми

вкраплениями использованных презервативов. Мне иногда снится эта тоскливая смесь спермы и солярки в заросших лебедой, замусоренных и засранных собаками берегах, как она тянется мимо закопченных кирпичных газгольдеров, закопченных кирпичных, в бездарном псевдорусском стиле церквей-складов на запад, на закат цвета розовой промокашки. Что она там оплодотворяет? Какие монстры родятся?

Планировкой наше жилье напоминало описанное Иосифом в "Полутора комнатах". Так же, как ему, мне надо было проходить к себе мимо двуспальной кровати в передней, большой комнате. Только наша "большая" была поменьше, без лепных арабеск и потолки пониже. У нас не было балкона. Из его окна, если посмотреть налево, увидишь Литейный, а направо — Спасо-Преображенский собор. У нас под окнами — булыжники Малодетскосельского (потом его заасфальтировали и устроили бульвар), угловая булочная, молочная. Направо взгляд упирается в Николаевские казармы на Рузовской. Там и в моем детстве были казармы. Я обычно ложился спать, когда солдат выводили на вечернюю прогулку. Рота топала по булыжнику и орала: "Стоим на страже всегда, всегда. А если скажет страна труда, даль-не-восточная даешь отпор! Крас-но-зна-менная…" "Даешь отпор"? "Рази в упор"? Никогда не мог разобрать. После того как солдат, надышавшихся нашего свежего загазованного воздуха, уводили баиньки, становились слышны осторожные посвистывания паровозов и громкие приказы диспетчера с Витебской железной дороги.

М.Л. Гаспаров вспоминает, что в детстве он каждое утро рыдал, так ему отвратно было ходить в школу. Это мне знакомо. В четвертый и пятый класс я ходил в 311-ю школу на Малодетскосельском. Учителя вспоминаются гоголевскими монстрами. Учитель литературы Александр Васильевич так нас ненавидел, что однажды ударил расшалившегося мальчика стулом по голове. Однорукий физрук Василий Кузьмич, когда мой отец приходил в школу выступать, долго с ним предавался воспоминаниям как фронтовик с фронтовиком, но вскоре февральским утром остановил меня в раздевалке и с гадкой улыбкой спросил: "Что, Лифшиц, читали у вас дома "Правду" сегодня?" В тот день в "Правде" была напечатана статья о "безродных космополитах", с которой началась страшная антиеврейская кампания, и ее у нас дома — о да! — читали. Наша классная руководительница, учительница естествознания Елена Михайловна, войдя в класс, орала: "Абдрашитов, сними свою тюбетейку, а то я ее говном вымажу!"

Абдрашитов, Бедреддинов… Мухитдинов, который сидел в

пятом классе третий год, однажды пропал на неделю, а вернувшись, сообщил нам, что его женили. Он даже прочитал небольшую лекцию о технике брачных отношений, рисуя мелом на доске иллюстрации. В нашем классе было двенадцать татар, двенадцать евреев и небольшое славянское меньшинство. Все мы были какие-то сбесившиеся, и я в том числе. Несмотря на утренние рыдания, придя в школу, я тоже превращался в молодую обезьяну. Румяный Архипов кричал: "Вперед, голожопые индейцы!" И мы принимались скакать по партам, норовя чего-нибудь сломать. Всей сворой набрасывались на мелкорослого мальчика по прозвищу Карла: "Кастрировать Карлушу!" Кидали в чернильницы кусочки карбида, отчего чернила пузырились, а по классу разносилась гнусная вонь. Делали бумажные самолетики и макали их носом в чернила, прежде чем запустить в товарища. А то и в учителя. А иногда поджигали. Однажды в класс пришла какая-то новая безответная училка, уж не помню, по какому предмету. После первых пяти минут она бросила попытки навести порядок и села, закрыв лицо руками. И кто-то запустил горящий самолетик прямо ей в волосы. Запахло паленым. И вот тут я словно впервые очнулся и подумал: "Ад".

(Я пишу это и вспоминаю: ".. так писать — похоже на бред или облако", — упрекает себя герой "Подростка". И еще он себе напоминает: "Без фактов чувств не опишешь".)

Иоббаный врот

"Ппиззда! Ххуйякк… Иоббаный врот… Хуяк!" Фелик Рабинович стоял спиной к помойке — "на воротах". У меня за спиной была подворотня. Мяч был мой, поэтому бил "пендели" я. Бил плохо, то "пыром", то мяч вовсе летел куда-то вбок, а если и летел к воображаемым воротам, то так вяло, что даже неуклюжему Фелику не составляло труда его поймать, чем он не всегда утруждался, а просто давал мячу от себя отскакивать. Бетонный сундук помойки поленились закрыть, и, наполняя наш двор-колодец теплым смрадом, он ждал, когда мяч в него залетит. В тот день у меня впервые пошли горлом могучие матерные речения. Никогда прежде я сам так свободно их не произносил, не ощущал их магического действия, мгновенно разряжавшего досаду от кособокого удара или боль в пальцах от "пыра". Когда увалень Фелик вообще застыл столбом, глядя мимо и позади меня, в подворотню, я сначала радостно накинулся на него: "Хуля ты белядь йобба…" — и только потом сообразил оглянуться. В подворотне с кошелками в руках стояла, окаменев, мама.

Как-то все это было втащено ею по крутой черной лестнице на четвертый этаж — кошелки и я, ошалевший от страха, с моим волейбольным мячом в дерматиновой покрышке. Чего-то она при этом выкрикивала насчет моей мелкой и грязной душонки. Пока она возилась с отмыканием двери (не ключом, а Г-образной отмычкой, согнутой из толстой проволоки — просовывалась в дырку, потом ею нашаривалась щеколда), я готовился убежать в свою комнату, рухнуть на кровать, как бы от раскаяния и горя, через некоторое время достать книжку и читать до вечера, вечером кое-как попросить прощения и проч., но не тут-то было. Открыв, наконец, дверь и все еще загораживая мне коридор, мама выпустила сумки, проворно схватила грубую кухонную табуретку и трахнула меня этой табуреткой по чем попало (пришлось по правому плечу и боку). От неожиданности я взревел и уж по-настоящему бросился рыдать на кровати, однако же и радуясь, потому что понимал, что конфликт уже разрешился и куда скорее, чем я предполагал.

Было мне тогда лет одиннадцать или двенадцать. Лет двадцать спустя я неосторожно пошутил: "Ты меня в детстве табуреткой избивала…" Она обиделась и навсегда запомнила обиду. Даже в последнюю осень, через полвека с лишним после того матерного футбола, когда я катал ее в кресле по обочине

лесной нью-гемпширской дороги и вокруг старческого дома, она говорила: "Ты ведь ничего не помнишь, кроме того, что я тебя в детстве "табуреткой избивала". Ни того, как я таскала тебя на каток, ни как выстаивала в очередях, чтобы ты был хорошо накормлен, как бегала улещивать учителей после твоих выходок, как ночью в Омске, в сибирский мороз ломала на улице деревянные тротуары, чтобы тебе было тепло…" Воспоминания ветвились: "Однажды мы с И.В. пошли тротуар ломать, а из соседнего дома выскочил офицер, он в отпуск приехал, и принялся палить в нас из револьвера…"

В первые месяцы жизни в Америке я, пытаясь чего-нибудь заработать, написал длинный список лекций, которые мог бы прочесть, и стал рассылать по университетам. Откликнулись только три университета, и все три из моего списка выбрали тему "Семантические особенности русского мата". (Я говорил о том, что в матерных глаголах основная семантическая нагрузка в приставках и суффиксах, а собственно матерный корень никакого содержания, кроме эмфатически-эмоционального, не имеет.)

Всякие там "трехэтажные" и "четырехэтажные" матерные выражения всегда мне казались искусственными, зато разные присказки с матерком бывают очень выразительны. Как-то в студенческие годы погнали нас, как бывало каждую осень, работать в колхоз. С несколькими приятелями меня поставили под начало небольшого корявого мужика таскать из леса бревна к дороге, "трелевать" (от английского trail). Бревна попадались очень тяжелые, да еще все время шел дождь, так что трелевать их по раскисшей лесной тропе было трудно. Нашему надсмотрщику надоедало смотреть, как мы неумело пытаемся толкать бревно жердями-вагами, он распихивал нас и, кряхтя, важил бревно в одиночку. "Надорвешься, Коля", — кричали мы ему. "Ни х-хуя, — кряхтел Коля, — в пизде народу много". На дороге нас поджидал грузовичок и, если мы перегружали его бревнами (чтобы поскорее покончить с дневной нормой) и шофер кричал: "Машину мне сломаете!", — Коля откликался: "Ни хуя, в пизде машин много!" И еще много чего там оказывалось, если послушать Колю, собственно говоря, вообще всё.

Мама у меня тоже писательница

Уйдя со второго курса консерватории, мама увлеклась литературой. Занималась в поэтических кружках. Годы спустя на вопрос "Образование" в анкетах писала: "Высшее, литературный университет". Видимо, так назывались курсы при Союзе писателей. Стихи она с детства очень любила, особенно драматические, романтические, сентиментальные, и почти на все откликалась стихотворными цитатами: "А сердце матери спросило: "Мой сын, не больно ли тебе?"", "Все пройдет, как с белых яблонь дым…", "Как хороши, как свежи были розы!"… Стихи ей нравились практически без разбору — и русская классика, и Вертинский, и ленинградские поэты, окружавшие ее. Исключением было то, что попадало под рубрику "мещанство": Надсон, романсы начала века, Северянин. Читала она "с выражением" и меня учила так читать. Но помнила любимые тексты нетвердо. Начинала энергично и даже резко взмахивая руками: "Греки сбОННННДили Елену по волнам, ну а мне соленой ППЕНой по губам…" — запиналась, но, компенсируя все забытое еще более энергичной выразительностью, заканчивала: "Ой ли, вей ли, дуй ли, пей ли, все равно! Ангел Мэри, дуй коктейли, пей вино!" И "все равно" произносилось с крайней степенью отчаяния, и "коктейли" как крайняя степень падения. (Интересно, между прочим, что эти непубликованные стихи Мандельштама были на слуху.)

Смолоду она стала и сама сочинять. Естественно, ей хотелось печататься, хотя мании величия в связи с собственным сочинительством у нее не было. Вспоминала, как впервые напечаталась в многотиражке конфетной фабрики и, гордясь, принесла газету своему отцу, простому еврею-пере- плетчику. Стих был к 7 ноября и начинался так: "Холодная рябь на свинцовой Неве…" "Холодная раб? На свинцовой нёве?" — с удивлением прочел вслух дедушка.

В декабре 1935 года молодой поэт Володя Лифшиц (он был на пять лет ее моложе) пошел ее провожать после какого-то поэтического чтения. Провожая, читал стихи. Потом, на лестнице уже сказал: "Выходите за меня замуж". — "Вы какой-то странный", — сказала мама (будущая мама), "Таким меня мама родила", — сказал будущий папа. И они поженились- Мама говорила, что тут большую роль сыграло то, что стихотворение, которое он читал, ей очень понравилось: "Коробка с красным померанцем.." Она не знала, что это Пастернак, думала, что он

читает свое. Так что своим появлением на свет полтора года спустя я отчасти обязан Пастернаку.

Вслед за папой мама решила писать для детей. Расцвет ее творчества пришелся на военные годы. В Омске она не только печаталась в газете и в местном литературном альманахе, но и выпустила в областном издательстве книжку детских стихов "Мои товарищи". Сердце сжимается, когда глядишь на эту тетрадочку серой шероховатой бумаги, тусклые старательные картинки подслеповатого художника, эвакуированного из Смоленска, мамины стихи.

Мама в посылку духи положила,
Трубку, табак, туалетное мыло.
Чуть не забыла носки положить,
Схватила иголку и начала шить.

Меня и в шесть лет смутно беспокоило: что это она "начала шить" — носки, что ли? Но я тогда полагал, что в стихах ради рифмы и размера можно жертвовать смыслом. (Я и сейчас отчасти так думаю.) Тем более что я был уверен, что дальше в стихотворении говорится обо мне:

"Мама, — сказал я, — постой, не спеши,
Видишь в руках моих карандаши?
Видишь, какую картину рисую?
В этот пакет я ее упакую".
Я вывел чудовище с длинной рукою,
С черною свастикой над головою,
Измазал нарочно чернилами лист,
И надпись я сделал к рисунку: "фашист".
А рядом, на беленьком листике чистом
Гонится конница вслед за фашистом,
И нету фашиста, лежит недвижим,
Герои-бойцы торжествуют над ним.

Это стихотворение называлось "Посылка на фронт". Была еще "Колыбельная": "Спи, сынок, воробышек пушистый, я тихонько песенку спою, как герои — летчики, танкисты, защищают родину твою. Им летят навстречу пули градом, им навстречу зарево-пожар, но несется впереди отряда твой отец, боец и комиссар". От "воробышка" мне становилось неловко, но зато нравилось, что папа несется впереди отряда.

Когда мы вернулись в Ленинград и война кончилась, мама сделала еще одну книжку, в Детгизе, понарядней, чем омская, с

картинками Бори Семенова. Называлась "Наш дом". Идеологически книжка должна была отразить радостное восстановление города после войны. Но маму занесло, и центральным было стихотворение про дворника:

Я хотел бы быть таким,
Как наш дедушка Аким.
Он умеет делать сани,
Что по ветру ходят сами,
Деревянные мечи
И тряпичные мячи.

Помню волнения мамы — редактор придирался к строфе:

Я в дверях сломал замок,
В дом попасть никто не мог.
А войти необходимо.
Побежали звать Акима.
Повертел гвоздем Аким —
Дверь открылась перед ним.

"Как это, — говорил редактор, — советский ребенок ломает замок?" И еще: "Что это у вашего Акима за уголовные навыки — двери отмычкой открывать?" Но суровые времена в начале 46-го года еще не успели наступить, и сомнительную строфу пропустили. Заканчивался этот гимн дворнику так:

Вот стоит он у парадной
В новом фартуке, нарядный,
И седая борода
В два расчесана ряда.
Мы проходим, говорим:
"Здравствуй, дедушка Аким!"

По существу, ни Маршак, похвалой которого она очень гордилась, ни знакомые ей Хармс, Введенский, Олейников, Владимиров на мамины детские стихи не влияли. Подсознательно она ориентировалась на хрестоматии своего детства: "Дедушка, голубчик, сделай мне свисток…" Так же прозу она принялась писать под Чарскую.

Проработав лето 46-го года библиотекарем в пионерском лагере Кировского завода в Сиверской, мама со свойственным ей энтузиазмом принялась писать повесть для детей среднего школьного возраста. Она быстро заполняла своим неряшливым

почерком толстую общую тетрадь, читала мне вслух только что написанные главы. Как-то вечерком пионеры сидели в пионерском лагере. Вдруг одной девочке показалось, что в окно кто-то смотрит. Она очень испугалась. Думала, что привидение. "Как, как оно выглядит?" — спрашивали товарищи. "Лу… лупоглазый такой… Лупик!" — отвечала испуганная пионерка. В следующих главах выяснялось, что заглядывал мальчик из соседнего колхоза, который хотел подружиться с городскими ребятами. Это был старинный мотив: бедный мальчик подглядывает в окно, как живут богатые дети. Кажется, потом выяснялось, что во время войны мальчик помогал партизанам и т. п. Называлась повесть "Лупик", что меня сильно смущало, хотя маме я этого не говорил. Дело в том, что в то лето в Сиверской я действительно сошелся с местными мальчишками. Разговоры у них шли, в основном, о том, кто и как из местных ребят подорвался, стараясь раскурочить неразорвавшийся снаряд. "Мать прибежала, стала кишки с куста собирать, обратно ему в живот засовывать…" Также много разговоров было о размножении животных и людей, и в новой для меня лексике корень "луп" был весьма продуктивным. Так что мне очень хотелось посоветовать маме изменить название, но я стеснялся.

На секции детской литературы в Союзе писателей мамину повесть похвалили, надавали советов. Мы ездили к авторитетной Нине Владимировне Гернет. Они с мамой "работали над рукописью", а я сидел тихо, рассматривал книжки, едва ли не "Историю царской тюрьмы", известное сочинение отца Нины Владимировны. Повесть была сдана в Детгиз, но времена уже переменились. Мама пришла, убитая, с редакционного совета. Рассказывала в своей драматизированной манере, что все редакторы и писатели ее хвалили и поддерживали, но рядом с главным редактором сидел какой-то неприятный человечек ("Похожий на Урию Гиппа…") и говорил: "Печатать нельзя, таково мнение обкома комсомола".

Уже вовсю бушевала борьба против безродных космополитов и тлетворного влияния Запада. Евреев отовсюду стали гнать в открытую. Детгиз, детская редакция радио для мамы закрылись, но она еще пыталась удержаться где-то на самой периферии литературы. Не издательства, а просто полиграфические предприятия выпускали иногда миниатюрные даже не книжечки, а гармошечки с картинками и текстом. Мама нашла одну такую фабрику где-то за Обводным, директор которой, по фамилии Герман, давал ей заказы. Сначала она сочинила стишок про неряху Надю, у которой "руки, губы в шоколаде, полконфеты на щеке". Напечатана эта гармошечка была так халтурно, с таким

сдвигом красочных слоев, что противные коричневые полконфеты оказались не на щеке, а на грязно-голубом небе. Потом Герман предложил ей крупный заказ. Он придумал настольную игру "Я знаю, кто изобрел". Как положено, там была картонная игровая площадка, фишки, карточки. Карточки тасовались и раздавались играющим наподобие карт. На одной стороне карточки был нарисован предмет, на другую сторону подглядывать было нельзя, нужно было сначала сказать, кто этот предмет изобрел, а потом перевернуть карточку и как бы в награду и утверждение истины (или если ошибся, то в укор) прочесть про изобретателя стишок. Маме и предлагалось подобрать полсотни изобретений и написать про изобретателей стихи.

Она горячо взялась за дело, вооружившись моей "Детской энциклопедией" 1913 года издания. Паровая машина — Джеймс Уатт, самолет — братья Райт, лампочка — Эдисон, радио — Маркони и т. д. Был там даже и Макинтош, изобретатель непромокаемого плаща, макинтоша. Из стихов помню лишь начало одного: "Огюст, Луи Люмьер, два брата, придумали не так давно чудесные такие аппараты, что называем попросту — кино. Мы все спешим в кино по воскресеньям, там чудеса покажет нам экран: героев смелых, жаркие сраженья, тропические страны, океан…" Игра поступила в продажу зимой 48-го года. Удачнее подгадать было нельзя. В это время как раз была пущена волна утверждения русских приоритетов во всех видах науки и техники. Уже вовсю пошли писаться статьи и книги про изобретателя радио Попова, электрической лампочки Яблочкова, строителя первого самолета Можайского, простого русского умельца Ползунова, соорудившего первый в мире паровой двигатель. Эдисон и Маркони изображались как жуликоватые проходимцы, способные и на мокрое дело. По поводу маминой игры в "Комсомольской правде" был напечатан язвительный фельетон. Ее литературная карьера закончилась.

Сын дилетантки

О Коктебеле я услышал от отца в 47-м году. Они с И.Н. ездили туда летом. Подружились со вдовой Волошина и еще с какой-то бывшей балериной, приятельницей Волошина. Обеих женщин в то голодноватое время они подкармливали, и бывшая балерина подарила им на прощание около тридцати акварелей Волошина. В 76-м году картинки были отданы нам с Ниной, вроде как приданое при отъезде в Америку, а еще через три года я из-за нужды их продал. Но в хорошие руки — Барышникову. А Барышников 205 в 2006 году подарил их Пушкинскому музею в Москве.

В 48-м году страна за окном поезда была еще в военных руинах. Засыпая, слышал рассказ женщины, севшей в Харькове и сошедшей на станции Синельниково: ".. а она говорит, что русская. Но немецкий врач ее осмотрел и сказал, что еврейка, потому что, мол, русские девушками не остаются…" Было непонятно, но страшно.

В Симферополе вагон отцепляли и прицепляли к поезду на Феодосию. Как добирались от Феодосии до Коктебеля — не помню. Приехали в темноте. Мария Степановна и Олимпиада Никитична сказали, что вообще-то мы приехали раньше начала срока, сезон начинается через два дня. Накормили толстыми жареными рыбками. Мама вспоминала крымское детство: "О, барабулька!" Очень рано утром я проснулся, выбежал к тихому морю и произнес: "Здравствуй, море!" Хотя я был совершенно один и никто моего высокопарного восклицания не слышал, сразу же стало стыдно.

Я все лето просыпался рано и шел к морю. Однажды на рассвете увидел купание святого. Я уже слышал, что большой бородатый старик, гостящий со взрослым сыном у Марии Степановны, епископ. В ту пору кратковременной реабилитации церкви было принято умиляться по поводу того, что священнослужителям дают советские награды: "Лауреат Сталинской премии!" Это был известный хирург и православный епископ, после смерти причисленный к лику святых, Войно-Ясенецкий. Купался он в холщовом подряснике. Купался так: сын принес с собой на пляж две дощечки и старик, разувшись, стал на одну, чтобы не становиться босыми ногами на камешки, потом переступил на вторую, а первую сын переставил вперед, и так переставлялись дощечки до самой воды, пока епископ не смог окунуться.

Мы провели в Коктебеле все лето, три месяца. Я там встретил одиннадцатилетие, научился, сам, плавать. Ездили в Феодосию, где мама декламировала: "Беден и неукрашен / Мой древний град / В венце генуэзских башен, / В тени аркад…" Дальше она не помнила, и поэтому через некоторое время опять звучало "Беден и неукрашен…" Ездили на грузовике в Старый Крым за мелкими грушами. Мыли голову в морской воде глиной под названием "кил". Поднимались невысоко к могиле Волошина, а потом, в жару с И.В. ходили через перевал в Отузы и Козы, где И.В. выпил сладкого кагора и мне дал чуть-чуть, и мы, совсем разморенные, еле доплелись обратно. Я был уверен, что теперь каждое лето буду проводить в Коктебеле, но оказался там снова только через двадцать лет, когда многолюдный и даже по советским меркам убогий курорт уже ничем не напоминал пустынную крымскую деревеньку.

Коктебелем в 48-м году управляли Мария Степановна и Олимпиада Никитична. Про вдову Волошина и так все знают, а Олимпиада Никитична была высушенная постоянной папиросой во рту сестра-хозяйка, темно- коричневая от несходящего загара, казавшегося почти черным из-за белизны халата. Медицинскую одежду она носила, видимо, потому, что первая половина ее титула была "сестра". Она постоянно металась по дому и по саду, и у меня осталось впечатление, что она в Доме творчества делала все. Хотя, наверное, были уборщица, прачка, повариха. Про нее, понизив голос, говорили: "Скрывает, что она гречанка". Греков, как и татар, совсем недавно выселили из Крыма. Иногда она останавливала на минуту свой бег и басом пела: "Глядя на луч пурпурного заката…" Я подслушал разговор мамы с приятельницами: во время своих мимолетных передышек в особенно жаркий день, если рядом только женщины, Олимпиада Никитична распахивает белый халат, под халатом у нее ничего нет и видны загорелые шрамы от ампутированных грудей.

Мария Степановна была с нами приветлива. Она дала мне машинописный листок со стихотворением Волошина "Голова мадам де Ламбаль",как раз в моем тогдашнем вкусе. Как и всё в Доме творчества, библиотека была как бы ее и как бы общая. Я для начала взял там "Историю Тома Джонса, найденыша", огромный том в кремовой обложке с рельефным изображением героя. Я думал, что это будет вроде "Айвенго", но книга оказалась из тех, что мне "еще рано читать". Но мне нравились и такие книги. Я пробирался сквозь них, как в тумане, фантазируя бог весть что относительно непонятных мест.

Мария Степановна пускала меня одного в студию Волошина, где я побаивался огромной гипсовой головы египетской богини,

но притягивала галерейка с книгами — и книги, и галерейка. Там можно было воображать себя на старинном фрегате. Мне нравилось, что задняя, деревянная часть дома, где нам отвели комнату, называется "корабль".

Для игр у меня скоро появился товарищ, сверстник, сын известного тогда журналиста-международника и переводчика Бориса Изакова. Изаков переводил вдвоем с женой, Голышевой, и поэтому я потом, когда слышал от Иосифа о его московском друге Голышеве и читал мастерские переводы этого Голышева, ничуть не сомневался, что он и есть мой коктебельский наперсник, что мы рано или поздно встретимся и вспомним лето 48-го года. Встретились мы с Виктором Голышевым только в 1996 году в Нью-Йорке на похоронах Иосифа, и оказалось, что этот милейший Голышев совсем не тот, как оказался не тем и Битов.

Тот был тоже очень воспитанный, славный мальчик. Иногда к нам присоединялась для игр дочь критика Ф.Л. Она была старше и крупнее нас, ей было тринадцать, ноги и щеки у нее были покрыты черным пушком, и от нее я получил первую в жизни женскую оплеуху. Дело было так. Мы на пляже обсуждали, во что бы нам поиграть. Игры все были ролевые — разбирали себе роли персонажей прочитанных книг и начинали импровизировать разговоры, погони, дуэли. В тот раз согласились играть по книге Виноградова "Черный консул". Привлекательных мужских ролей там было предостаточно, а вот с женскими туго. Я предложил Лене роль Савиньены де Фромон, и тут-то она меня и треснула, очень больно, своей пушистой рукой. Удар закрепил в памяти имя литературного персонажа в остальном полностью забытой книги. Эта самая Савиньена была куртизанка, что для девочки-подростка, видимо, звучало как "проститутка". Но я совершенно не понимал, за что меня стукнули. А тут еще откуда ни возьмись появились взрослые, и мать на меня накричала. От несправедливой обиды я заплакал и убежал по пляжу. Мой друг бежал рядом со мной, подвывая. С тех пор никто никогда больше не плакал со мной из солидарности.

Имя Ф.Л. через несколько месяцев стало широко известно. Он вошел в обойму шельмуемых критиков-космополитов, то есть евреев. Вообще-то он был верный партийный барбос, в 30-е годы даже работал в ЦК партии, но зимой 49-го ему припомнили то, как он однажды лажанулся. Будучи редактором издательства "Молодая гвардия", отверг пришедшую самотеком рукопись как безграмотную галиматью. Отвергнутое сочинение было "Как закалялась сталь" Николая Островского.

Из писательских детей еще помню маленькую девочку, дочь харьковского драматурга Юхвида. Забыть трудно, поскольку

кормление ее сопровождалось трижды в день воплями и суматохой. Дитя соглашалось есть только сырой мясной фарш. Главным произведением ее папы было либретто оперетты "Свадьба в Малиновке".

В то лето там были украинский поэт Савва Голованивский, белорусский Максим Танк (интриговала фамилия), но запомнился только молодой армянин Геворк Эмин, потому что он принялся было ухаживать за мамой. Потом приехал И.В. и разрабатывались планы, что И.В. переоденется в женское платье и вечером придет на свидание к Эмину. Автором этого сценария (неосуществленного) была детская писательница Елизавета Яковлевна Тараховская. Она, пожалуй, единственная из старых коктебельцев подружилась с нами, и от нее я слышал рассказы о забавах и игрищах веселых волошинских времен. Я не знал тогда, что она родная сестра Софии Яковлевны Пар- нок. Узнал, когда набирал книгу Парнок для "Ардиса" в 1977 году. Она же приобщила нас к богатой преданиями коктебельской традиции собирания камешков — "собак" (камешков простых, но с интересным рисунком), "куриных богов" (с дыркой), "лягушек" (с обведенными зеленью глазками кварцита), сердоликов, агатов и аметистов. Мама камешками увлеклась и была довольно удачлива. Ее коллекция хранится у меня до сих пор. Но однажды дело обернулось для нее скверно. Она разглядывала на свет очередную удачную находку, когда к ней приблизился самый заядлый камнеман, высокий старик Василий Алексеевич Десницкий и стукнул ее своей суковатой палкой по руке. Она охнула и выронила камень, который профессор- марксист-горьковед проворно подобрал и удалился.

Помимо отдыхающих по путевкам, у Марии Степановны бывали свои гости. Мне они казались особенно важными и недоступными. Однажды я шел в нашу комнату в "корабле" мимо беседующих с Волошиной на террасе философа А. и музыканта Н. Один из них, то ли философ, то ли пианист — я не знал, кто из них кто, — взглянул на меня и спросил у Марии Степановны: "А это чей?" "Так, сын одной дилетантки", — сказала Мария Степановна. Наверное, это было вполне адекватное определение, но я, уже старый человек, не могу избавиться от обиды 1948 года, причем почему-то не на Волошину, а на философа и музыканта, потому что один из них задал свой вопрос, и оба выслушали ответ, глядя на меня как на вещь, словно я не понимаю, что речь идет обо мне и моей матери. Изредка вспоминаю и мысленно ворчу: "Канта небось всю жизнь преподавал, а не чувствует, что на человека как на вещь глядеть нельзя. Да и этот тоже, Мастер Генрих, конек-горбунок сраный…"

На юг мы ездили еще летом 50-го года, в Ялту и потом Гудауты, в 52-м в Евпаторию, в 53-м в Гудауты. Какой восторг были эти железнодорожные путешествия — ветер с паровозной гарью у открытого окна, тишина и неожиданно мощный запах перегретого шлака и мощных сорных цветов на случайном полустанке, ресторанный борщ на перроне в Орле или Курске, покупка вареной курицы на станции Поныри, меловые холмы при подъезде к Белгороду на закате, сон под стук колес, на следующий день ветер становится теплее и теплее, потом Перекопский перешеек с водными просторами с обеих сторон. "Это уже море?" — "Нет еще, это лиманы…"

Засыпание и невозможность заснуть под стук колес. Разрастающиеся темы и вариации. Кажется, что уже совсем не отделаться от этой музыки и никогда не заснешь. Вот так же много лет спустя начал в голове по ночам неотвязно звучать и разрастаться рассказ самому себе о своей жизни.

Рош, сал, бер, йон

Я пишу это 5 марта 2003 года. Пятьдесят лет назад. Возбуждение от необычности происходящего. Музыка и патетические речи по радио. Заплаканные лица на улице. Занятия в школе отменили, но домой идти не велено. Все слоняются с мрачным видом, говорят вполголоса. В актовом зале учителей и старшеклассников по очереди выстраивают в почетный караул. Это выглядит так: в конце зала на деревянной тумбе, обтянутой кумачом и обвитой черной лентой, тяжелый гипсовый бюст Вождя. Мы стоим в две шеренги человек по шесть лицом друг к другу, образуя как бы коридор, ведущий к бюсту на тумбе. На правом рукаве у каждого красная повязка с черной каймой. Стоять надо минут десять. Мучаюсь я невероятно, боюсь: а вдруг лицо неконтролируемо расплывется в глупую улыбку. Мне совсем не хочется улыбаться, хочется скорбеть, но а вдруг? Чем больше я об этом думаю, тем сильнее приходится напрягать губы, стискивать зубы, морщить лоб, чтобы предотвратить катастрофу — не осклабиться. Соображаю, что со стороны эти лицевые судороги могут выглядеть как потуги не разрыдаться, и становится полегче.

Желание испытать скорбь было. Двумя днями раньше, когда утром я собирался в школу и радио прервало передачи для сообщения о болезни Иосифа (глубокая пауза) Виссарионовича (глубокая пауза) Сталина, у меня даже мелкие слезинки вылезли от волнения. Волнение было сродни тому, какое испытал в семь лет, когда мама завела со мной разговор о разводе с папой. Только теперь мне было без малого шестнадцать. "Вот оно, — думал я, — начинается…" Что начинается — не знал. Что-то новое, великое и ужасное.

Лицо Сталина, как оно изображалось художниками и скульпторами, а особенно в профиль на медалях, было какое-то онтологическое лицо. Не красивое, не характерное, а изначальное, лицо-как-оно-есть. Смотреть на него было приятно, как на четко вычерченное геометрическое тело — куб, конус, пирамиду. Кинохроника, где Сталина показывали не так уж часто, иногда вызывала смутное беспокойство: даже снятый искусными операторами Сталин был не совсем похож на свое медальное лицо.

В тяжелые годы из разговоров не слишком таившихся взрослых я знал, что происходит много несправедливого, скверного: обижают любимого писателя Зощенко и других

хороших писателей, в том числе папу и маму. Потом многие люди моего поколения говорили, что они знать ничего не знали про лагеря и ужасы ежовщины, я — знал. Слова "тридцать седьмой год" у меня ассоциировались не с моим появлением на свет, а с рассказами мамы о том, как Боря Семенов боялся ночевать дома после того, как забрали его друга Матвея Усаса, ночевал у нас. Про других исчезавших в те дни — Заболоцкого, Введенского, Бориса Корнилова. Кстати, подаренную ей Корниловым ("1935 31 VIII") книжку она не уничтожила — не по бесстрашию, думаю, а по беспечности. (Вот я достаю ее с полки, обложка запятнана красным, и я припоминаю мамин рассказ: Боря Семенов затащил ее в пивную, там они встретили пьяного Корнилова, он стал открывать пиво, порезался, заляпал книжку кровью.) Еще у меня есть книжка, изданная в 1933 году, "Воображаемые портреты", шаржи Николая Эрнестовича Радлова на ленинградских писателей (кстати, и название книги пародирует "Воображаемые портреты" Уолтера Патера). При мне в 45-м году папа перелистывал ее с приятелем (кажется, это был Шефнер) и почти над каждым портретом ставил значок — крестик, если писатель умер, или двойной крестик (# — "решетку"), если сгинул за решеткой. Портретов в книжке шестьдесят, двойными крестами помечены семнадцать. В двойной крест над С. Колбасьевым, писателем-моряком и знатоком джаза, вписан кружочек с точкой посередине — мишень. Про Колбасьева папа знал точно, что его расстреляли. Немного подросши, я понял и помету над портретом Е.И. Замятина: стрелка и буквы "к.е.м." — уехал к е… матери, эмигрировал, спасся.

Любимый дядя И.В., ненадолго вернувшись после "десятки" из лагеря в 47-м году, рассказывал, что с ним проделывали в Большом Доме. "На первом допросе следователь беседовал со мной вежливо. Потом говорит: "Положите, пожалуйста, руки на стол. Я удивился, положил. Он взял линейку и стал со всей силы бить меня по пальцам". Я смотрел на большие пухловатые руки Константина Александровича. Представлять себе, как унижали вот этого крупного лысого человека в очках, было мучительно. И шурин И.В., директор мебельной фабрики Людвиг Гаврилович Кениг на семейных застольях рассказывал со своим неистребимым венгерским акцентом, как его обвиняли в шпионаже в пользу четырнадцати государств. Военнопленный Первой мировой, интернированный в далеком Красноярске, он женился там на старшей сестре И.В., потом вся семья перебралась в Ленинград. Арестовали его в 38-м, били, он чего-то не подписывал, потом подписывал, а однажды вызывают на допрос — кабинет незнакомый, одна стенка деревянная, следователь

новый. "Я стою, держу штаны, чтобы не упали, — ремень-то забрали. И вдруг, — этого места в его рассказе я всегда с нетерпением дожидался, — деревянная стенка отодвигается, там стоит кресло, в кресле сидит страшная старуха…" Людвиг Гаврилович был из тех, кому повезло попасть под бериевскую частичную оттепель 39-го года, когда ежовских энкавэдэшников Берия пересажал и перестрелял и многих их подследственных отпустил. Все это, как водится, оформлялось как партийный контроль над органами. Комиссию, посланную чистить ленинградский Большой Дом, возглавляла старая большевичка т. Землячка, так поначалу напугавшая Людвига Гавриловича старуха.

И.В. — из-за любимого, заменившего ему отца дяди, из-за шурина и вообще из-за того, что все в стране делалось не по-людски, отвратительно для его инженерного ума, Сталина ненавидел и дома этого не скрывал. Он хранил запрещенную книгу запрещенного немецкого писателя Лиона Фейхтвангера "Москва 1937". Мне не запрещали ее читать. Книга была по западным понятиям просоветская, почему ее и издали у нас перед войной, но по послевоенным понятиям вражеская — в ней обсуждалось то, что свято и обсуждению не подлежит. Например, там была глава о культе личности Сталина "Сто тысяч портретов человека с усами". Так что и понятие о культе личности, и представление о нелепости всех сталинопоклоннических заклинаний и ритуалов были мне известны. "Отец родной", — говорил И.В. не с шутливой, а со злой интонацией. Не скрывая, ненавидела Сталина и Оля-Баба — за разрушенные церкви, за тот же 37-й. Странно, как неосторожно они себя вели. Вот мне лет двенадцать, мы сидим, смотрим телевизор (у нас один из первых телевизоров в Ленинграде, испытательный образец, принесенный И.В. с работы). Смотрим все равно что —211 концерт, чтение последних известий диктором Зименко, кино "Ленин в Октябре". Всех увлекает само по себе шевеление фигурок на крохотном экранчике. Всегда приходят смотреть телевизор соседи по квартире. Вдруг на экранчике, по сюжету кинофильма, появляется актер-Сталин. "Тьфу- тьфу, — говорит, отворачиваясь от экрана, Оля-Баба, — бандит проклятый!" Я встаю, делаю вид, что ухожу, говорю: "Монархическая фракция демонстративно покидает зал заседаний", — все смеются.

Объяснить я этого не могу, но в детстве знание о том, что Сталин источник зла, причиняемого хорошим людям, что культ его нелеп и поддерживается негодяями и дураками, уживалось со снами или дневными мечтаниями о встрече со Сталиным, о том, как он узнает от меня всю правду и восстановит справедливость.

Да вот и просто с тем, что он был очень привлекателен: загадочно интересен и красив. За эту навязанную моему детству шизофрению я, когда начал что-то соображать, и возненавидел рябого урода.

Своей тупой ассирийской жестокостью он остановил ход русской истории и на три четверти столетия заставил народ прозябать в плохоньком мире вонючих жилищ, убогой впроголодь пищи, одуряющей тупой пропаганды. Изначально обреченная, как вечный двигатель, "социалистическая экономика", создавая которую он загубил даже для Гитлера немыслимое число человеческих душ, на пороге последнего десятилетия XX века окончательно забуксовала и стала разваливаться. В одночасье развеялся морок железного занавеса и в стране повеяло свободой. Да только порча зашла слишком уж далеко. На мрачный риторический вопрос своего первого поэта: "К чему рабам дары свободы?" — народ, как и предсказал поэт ответил: "Без надобности". Которые порасторопнее кинулись воровать с небывалым даже в русской истории размахом: нефть — так целыми месторождениями, недвижимость — так заповедными рощами и историческими кварталами, кино — так целыми студиями и госфильмофондами и власть, власть, власть. Ну а спившееся, нездоровое, не умеющее думать за самих себя большинство затосковало по родимому уюту несвободы — комната в бараке, с как-никак, но работающим центральным отоплением, выстоянная в очереди колбаса по два двадцать и знание, что завтра будет так же, как вчера. И стало чаять воссияния новых сапог на верхушке власти: "Любимый вождь, наступи мне на харю!" Сегодня в связи с годовщиной передавали результаты опроса: 53 % нынешних россиян относятся к Сталину "только положительно" или "скорее положительно, чем отрицательно".

Мне было уже лет пятнадцать, и я считал себя умным, потому, в частности, что отношусь к Сталину не как все — "ура! ура!", — а изучаю его идеи. В это время Сталин как раз начал выживать из ума и закуролесил — после многолетнего перерыва снова взялся за философствование. Солнечным летним днем гулял по ЦПКО на Кировских островах. Крутились карусели, летали туда-сюда раскрашенные качели-лодочки, а из репродукторов диктор важным голосом читал новое сочинение т. Сталина "Экономические проблемы социализма". "Экономические проблемы" меня не очень увлек-. ли, а вот перед этим "Относительно марксизма в языкознании" очень понравилось. Особенно понравились теории Марра в простом изложении Сталина. Все языки мира происходят от четырех элементов,

первоначальных слов — рош, сал, бер, йон. И правда, чем больше я об этом размышлял, тем больше выходило, что так оно и есть: немного постаравшись, можно было любое слово возвести к рош, или сал, или бер, или йон. Правда, Сталин как раз был против этого, за был какой-то академик Мещанинов, но запомнилась фраза: "Если бы я не был уверен в абсолютной честности академика Мещанинова…" Значит, абсолютно честный человек может верить в рош, сал, бер, йон. И про базис и надстройку все выходило очень стройно и понятно.

Все-таки в те дни в начале марта 53-го единственным не вымученным, а по-настоящему сильным чувством было желание как-то присоединиться к ходу истории. Как это сделать, было неясно, ясно было, что стояние перед гипсовой головой — это не то. Мой друг классом старше, Никита Сусло- вич, сказал: "Едем в Москву!" Ему удалось невероятное. Он подбил на поездку еще одного товарища, у того отец был заместителем военного коменданта Московского вокзала, и мы получили билеты на поезд. Этой радостью я и поделился, прибежав домой за вещами. И тут мама с И.В. буквально с применением силы заперли меня в комнате, где я от упускаемого шанса принять участие в истории разрыдался уж по-настоящему. Очень может быть, что они спасли мне жизнь, ведь даже здоровенный парень, борец в полутяжелом весе, Никита, который добрался-таки до похорон Сталина, еле выбрался живым из смертельной давки.

После почетного караула директор школы Лев Борисович велит мне идти в школьный радиоузел помогать Паше Гетманскому менять пластинки. Паша, веселый, прыщавый, приветливый парень, и радиотехникой увлекался, и фотографией. Закрывшись в тесном радиоузле, мы меняем пластинки и рассматриваем толстую пачку фотографий, недавно переснятых Пашей. Паша старался, но фотографии, переснятые с переснятых с переснятых, все равно мутноваты. Пухлые задницы, выпяченные в сторону объектива, волосатые женские отверстия над и под напряженными мужскими дрынами — грубая похабель, изготовленная, наверное, еще в начале века. Кое-что в этом роде мне приходилось видеть и раньше, но в таком количестве — впервые. Если бы мне был интересен психоанализ, я бы порассуждал о том, как желание испытать величественную скорбь смешалось в тот памятный день с похотью, разожженной порнографическими открытками, но психоанализ мне неинтересен.

Целительная Абхазия

Летом 1953-го, сразу после экзаменов за девятый класс, мы уехали с матерью в Абхазию, и там исцелился я от шизофренически двойственного отношения к тирану. Мне исполнилось шестнадцать лет, и в одночасье исчезла тяга к фантазированию, инфантильный эскапизм, а заодно и увлечение иерархиями, в том числе и той, с медальным генералиссимусом на верхушке. С тех пор всю жизнь ни к Сталину, ни вообще к царям, президентам и вождям народов у меня нет ни почтения, ни особого интереса. Талантливых людей среди них мало, а сочетание власти с бездарностью если и не всегда приводит к такой кровище, как правление Сталина, но к хорошему не приводит никогда. То и мило в демократиях, что власть в них рассредоточена и возможности заурядного лидера очень ограниченны. А талантливых за весь XX век было на весь мир, может быть три, а скорее два — Теодор Рузвельт в Америке и Уинстон Черчилль в Великобритании, насчет де Голля не уверен, мало знаю. Ханна Арендт просекла нечто большее, чем суть фашизма, когда пришла к выводу о банальности зла. Николай II не был маниакальным социопатом, как Ленин, был вполне приятным для семьи и узкого круга знакомых господином, но его бесталанность, банальность мышления обозначили "несоответствие занимаемой должности" трагического масштаба и открыли дорогу всем последующим бедам. Или нынешний, когда я пишу эти строки, правитель России. В налаженной демократической системе сдержек и противовесов он, с его очевидной организованностью, осторожностью, управленческой дисциплиной, был бы полезным главным чиновником страны. На самом же деле, не обладая гениальностью реформатора, он словно бы обречен творить зло: вытравил слабые ростки свободы — независимые от правительства СМИ, начала многопартийности да еще по уши влез в кавказскую бойню. Все они, и психопаты, вроде Гитлера, и незлые болтливые дядьки, вроде Хрущева, насквозь понятны, предсказуемы и как личности неинтересны. На вершину, откуда они всем видны, их возвела цепочка случайностей. С ними случай сыграл так, а с нами со всеми этак. Вот я, к примеру, случайно научился в Абхазии запрягать лошадь в телегу, что год спустя привело к знакомству с Ереминым, что привело к дружбе с Виноградовым, Уфляндом, Герасимовым, что на многие годы определило мою жизнь.

В Гудауты мы впервые приехали в 1950 году из Ялты, где я

видел голого Сталина. В окрестностях Сухуми было какое-то секретное военное конструкторское бюро. И.В. ездил в командировку. Он там работал с бароном фон-имени-не-помню. Барона вывезли в СССР, как ракетостроителя Вернера фон Брауна в США. О жизни ученого пленника И.В. рассказывал восторженно: особняк, теннисный корт. Возвращался И.В. загорелый, с фруктами и бочонком кислого вина. В то лето командировку на юг И.В. совместил с отпуском, приехал за нами в Ялту и повез в Гудауты, где снял жилье. Ехали из Ялты в Сухуми на огромном дизель-электроходе "Россия", который был того же трофейного происхождения, что и барон. Восемь лет спустя мы на том же корабле катались с Ниной — из Сочи в Батуми.

Комнату И.В. снял у абхазской семьи Отырба (ударение на первом слоге). Отырба жили в просторном доме, построенном по тамошнему обычаю на столбах. У них были лошадь, корова, козы, домашняя птица, сад, конечно. Имя хозяина было Казак. Имен молчаливой и насмешливой его жены и дочери, девушки лет восемнадцати, не помню, а мальчика, моего сверстника, звали просто Витя. Принимали они нас скорее как гостей, чем дачников. Все время норовили угостить. Мы часто с ними ужинали во дворе — мамалыга, слоистый овечий сыр. Все приправлялось аджикой, которую я полюбил на всю жизнь. Пили их домашнее вино, вроде божоле.

Казак был крепкий мужчина лет пятидесяти. Хочется сказать: немногословный, но как-то при этом он ухитрился немало поведать нам о своей жизни (под ироническими взглядами жены). Был он весьма остроумен. Когда мы были приглашены ужинать во второй раз, И.В. решил, что неудобно с пустыми руками, и вынес к столу бутылку марочного крымского муската "Красный камень", приобретенную в Ялте. Казак вежливо пригубил сладкий напиток, но было видно, что удовольствия это ему не доставило. И.В. расстроился, стал показывать Казаку этикетку: "Ты посмотри, Казак, это же хорошее вино, выдержанное, ему десять лет". "Было бы хорошее, десять лет бы не простояло", — сказал Казак.

По рассказам Казака выходило, что до революции жили они зажиточно, солидно. Когда царская семья отдыхала в Гаграх, его с несколькими другими мальчиками нарядили в черкески и повезли играть с царевичем. (Много лет спустя я работал наборщиком-корректором в американском издательстве "Ардис", набирал там первое неподцензурное издание "Сандро из Чегема" и в великой эпопее Искандера узнавал и рассказы Казака Отырба, и ту Абхазию, которую Казак нам тогда показал; я был уверен, что наш

Казак послужил одним из прототипов дяди Сандро; а еще

немало лет спустя я познакомился с автором, и оказалось, что нет, семейства Отырба в Гудаутах Фазиль не знал; видимо, среди маленького народа и семейные предания общие. Во время коллективизации Казака арестовали, отвезли в Сухуми, в тюрьму. "День сижу — за что сижу, не понимаю. Два дня сижу — за что, не понимаю. Спрашиваю, не говорят. Я так рассердился. Третий день — охрана, мингрел, утром кушать приносит, хаш, я так рассердился, взял его и задушил. Они прибежали, я говорю: теперь я знаю, за что сижу". "Дядя Казак, а кто такой мингрел?" — спросил я. Казак на минуту задумался. "Армян знаешь?" — "Знаю". — "Еврей знаешь?" — "Знаю". — "Еще хуже".

Казак знал, что мы евреи, но как-то у него мы, ленинградцы, отделялись от здешних, кавказских, евреев, армян, мингрелов, грузин, которые все были более или менее враги.

Вскоре после нашего приезда в Гудауты к Отырба летом 53-го года было то прохладное утро, когда на главной гудаутской улице я увидел стихийный митинг. По радио передали об аресте Берии, и собралась небольшая ликующая толпа. Интеллигентного вида абхазец в белой рубашке с закатанными рукавами говорил по-русски о страданиях, которые причинил Берия абхазскому народу.

Между прочим, Фазиля удивило мое воспоминание о петиции, он о ней ничего не слышал. В то лето Казак и его друзья собирали подписи под петицией к Верховному Совету СССР с просьбой об отсоединении Абхазии от Грузии и включении в РСФСР, то есть то самое, из-за чего там сыр-бор и нынче, пятьдесят лет спустя. Казак брал Витю и меня с собой в Лыхны и другие селения, когда он отправлялся собирать подписи под петицией. Ездили мы верхом или на тележке. Вот тогда он научил меня и взнуздывать свою лошадку, и запрягать.

Walter de la Mare

Мы гордились, что мы журналисты, но внутри нашего потока мы все же разделялись, на тех, кто уже печатался, и еще не печатавшихся. Как все сильные желания, зуд напечататься рациональному объяснению не подлежал. Что-то большее, чем тщеславие (или я просто недооцениваю этот мотив). Теперь мне кажется, что в том же самом углу воображения, который отведен под эротические фантазии, возникало видение типографски набранных строчек моего текста. При этом моя подпись виделась тоже, но, ей-богу, не в подписи было дело. К счастью, желанию этому не дали застояться, закиснуть, превратиться в отравляющий душу невроз. К концу университетского курса я от него излечился.

По программе нам надо было начать практиковаться в газетном ремесле уже с первого семестра. Для начала прикрепляли к собственной университетской многотиражке "Ленинградский университет", а первой ступенькой в иерархии жанров считался отчет (иерархия, снизу вверх, была такая: отчет, информация, репортаж, статья, очерк/фельетон). В октябре редактор "ЛУ", впоследствии кинорежиссер, Игорь Масленников, дал мне первое задание — написать отчет о заседании студенческого научного общества при кафедре ихтиологии.

Рано стемнело. Я долго шел, наваливаясь грудью на сильный нехолодный ветер. Кафедру ихтиологии нелегко найти в василеостровском лабиринте. Я не помню, как выглядело здание снаружи, потому что, когда я отыскал его, было уже совсем темно — вечер, ненастье, плохо освещенный двор. Заседали студенты, человек шесть-семь, в кабинете таком высоком, что снизу потолок было плохо видно, только белые шары, разливавшие желтоватый умеренный свет. Профессор, очевидно любимый, узкий, с голым обтекаемым черепом, что-то говорил, посмеиваясь, расхаживал между столами, а студенческая плотва поворачивала вслед за ним внимательные мордочки. Я с первых минут перестал стараться понимать незнакомую науку, чиркал в своем блокноте на авось и глядел по сторонам. В высоких стеклянных шкафах стояли чистенькие хорошенькие скелеты с аккуратными латинскими ярлычками и стеклянные банки с рыбами. От долгого плавания в формалине рыбы обесцветились. Отражаясь в гигантском окне, все это хозяйство — лампы, стекло, банки, рыбы, ихтиолог и его стайка — превращалось в черный аквариум с голландским переплетом, в глубине которого, как водоросли, ходуном ходили

черные кроны деревьев. Завывание ветра было слышно сквозь журчание профессора.

Пробираясь под натиском ветра назад, в сторону Невы, я наполнялся чувством восторженной тревоги, совершенно подавившим промелькнувшее вначале трусливое волненьице, что писать в отчете нечего — весь вечер проглядел по сторонам. Не помню, было это так далеко на Васильевском или я нарочно дал крюка, только к Неве я вышел у Горного института. Нева стояла вровень с мостовой, и торопливые черные волны воровато бежали в неправильном направлении, к центру города, как шпана, прорвавшая оцепление милиции. Отодвинутый этим напором с законного места, чуть не вплотную к парапету набережной и накренясь в ее сторону, несуразно большой в непосредственной близости к зданиям на берегу, стоял линейный корабль Ее Величества "Триумф". До сих пор я шел по совершенно пустынным улицам, но тут была суета: матросов сажали в большие автобусы, куда-то везли. Англичане смеялись.

Когда я добрался до троллейбуса и ехал домой, на мостовых стали проступать и быстро разрастаться, сливаясь, глубокие лужи. Где-то на Гороховой объявили, что троллейбус дальше не пойдет. Я добрался до дому в большом возбуждении и долго перезванивался с друзьями по поводу надвигающегося на город наводнения.

Так совпало, что в дни наводнения в Ленинграде стояла с визитом английская эскадра. В один из еще довольно мокрых следующих дней мы пошли на Невский поглазеть на англичан. Румяные матросы расхаживали под колючим ветром и дождем с голыми шеями и, как мне помнится, все время смеялись. Толпами ходили такие же, как я, школьники, студенты. Иностранцы в 54-м году были для нас в диковинку. У всех у нас были в карманах или сумках какие-то книжки, пластинки, значки — дарить заморским гостям. Я робел попробовать свой английский. Наконец, заметили морячка на скамейке у Казанского, подсели к нему, стали совать наши подарки. Вслед за более смелыми друзьями и я, проверив несколько раз в уме грамматику, выдавил: "Who is your beloved poet?" Смешанного со смехом имени я не понял, но понял, что моряк просит ручку и бумагу. В моей записной книжке на несколько лет появилось имя — Walter de la Mare.

Отчет об ихтиологическом собрании надо было сдать в редакцию. Нам ведь за это еще и отметки ставили. Я сел за свою фашистскую машинку и перепечатал бессмысленные записи из блокнота, придав им вид связности с помощью клише: "с интересом выслушали собравшиеся", "по вкусу пришлось молодым ихтиологам и", "оживленный разговор завязался по

поводу" и проч. Мне поставили пятерку. Студенты-старики говорили: "Лифшиц хорошо пишет". Отчет напечатали, и я испытал бессмысленное наслаждение оттого, что мои лиловые каракули превратились в ровные черные, много сотен раз повторенные типографские строчки. Так оно и пошло: ощущение полной бессмыслицы делаемого дела, едва ли не приблатненная торопливость халтурной писанины, постыдное удовольствие от публикации. Впрочем, последнее улетучивалось быстро (до следующего задания). Но все же во всех этих журналистских опытах было неясное, но важное содержание. Вслед за ихтиологией мне велели написать корреспонденцию о защите докторской диссертации на геологическом факультете. Там я вообще не понимал ни бельмеса, о чем идет речь, но хорошо запомнил, что по лицу свежеиспекаемого доктора можно было сказать, какое он ничтожество и дрянь, и что один из его неофициальных оппонентов, немолодой профессор, который говорил абсолютно непонятное мне, стоя в дверях битком набитой аудитории, краснея от гнева, гневается от своей обреченности и одиночества и знает, что не сможет предотвратить продвижения поганца к позиции власти в любимой науке, и не может хотя бы не высказаться. Я ожидал, что по существу понятнее и увлекательнее будет дискуссия по океанистике с участием Кнорозова, дешифровщика табличек острова Пасхи, но и там разговор был слишком специален, а увлекал меня опять-таки контраст между яркой экзотичностью предмета обсуждения и унылой в масляной краске, душной аудиторийкой, слякотным зимним деньком за окошком. Когда я думал обо всем этом, я испытывал стыд, ощущал ошибку выбора: все вокруг занимаются делом — рыбами, минералами, письменами, лишь я верхоглядничаю и халтурю. Я шел в то второсортное отделение Публички на Фонтанке, куда пускали студентов, с еще большим рвением обкладывался античными переводами, заказывал сочинения Walter de la Mare'a, читал, думал, но в откровенные минуты понимал, что и Аристофан, и романтичный английский стихотворец хороши не сами по себе, а потому, что можно, оторвавшись от страницы, взглянуть в окно и увидеть грязный лед на Фонтанке и понурых пешеходов. Так и в лучших музеях самое острое наслаждение испытываешь, когда, оторвавшись от картин, посмотришь вдруг в окно. Я тщательно скрывал свою внутреннюю, mirabile dictu, поверхностность, но она меня очень мучила. Лишь три года спустя я был разрешен от этого мучения. Разрешение пришло в виде маленькой книжки в бумажной обложке, напечатанной заграничным шрифтом, хотя и по-русски. Я ночь напролет читал "Доктора Живаго" с

возрастающим волнением личной благодарности автору и потом долго в разговорах пытался и не умел сказать, что книга гениальна, потому что дождь, снегопад, лицо, промелькнувшее за окном поезда, в ней равнозначны любовным свиданиям, революциям и религиозным откровениям. Со мной не соглашались.

"Второе рождение"

Я начал читать Пастернака раньше, вероятно, чем следовало, лет двенадцати, просто потому, что мне доставляло удовольствие произносить его стихи. Так как в этом возрасте способность к критическому мышлению обратно пропорциональна восприимчивости, мне никогда не казалась трудной собственно поэтика Пастернака, я ее "понимал", она заражала меня эмоционально, но зато значительно медленнее, чем к другим читателям поэта, приходила ко мне способность логического понимания. Еще годы и годы спустя, заново перечитывая или просто припоминая всю жизнь знакомые строки, я вдруг изумлялся: ах, вот что Б.Л. имел в предмете!

Разумеется, сплошь и рядом оказывалось, что мое озарение ни для кого не новость — я натыкался на него в заметках читателей, в статьях критиков и литературоведов. Каждая новая встреча с текстом Пастернака выливалась в очередную личную проблему понимания не только текста, но и собственных, всегда острых эмоциональных реакций на этот текст.

Самым большим переживанием в этой истории было чтение романа. Не потому, что "Доктор Живаго" казался мне лучше или хуже лирики, поэм или предшествующей ему прозы, а в силу самой амплитуды читательских переживаний: пассажи, привычно заражавшие меня пастернаковским лиризмом, сменялись другими, в которых надо было следовать за философствованием автора, отличным от философствования в "Охранной грамоте", и вдруг перебивались отрывками, столь стилистически диссонирующими с ними, что нужно было сделать большое над собой усилие, чтобы преодолеть стыд и растерянность и их прочесть. При первом чтении я не всегда на такое усилие был способен.

В силу счастливых обстоятельств я читал "Доктор Живаго" в 1958 году по одному из авторских экземпляров. Читал, уже зная о сдержанно или немного растерянном отношении к книге среди тех, кто прочитал ее до меня. У многих было впечатление если не обманутых, то не вполне сбывшихся ожиданий. По их мнению, книга была мешаниной из лучшего, старого Пастернака и скатываний на среднюю советскую прозу, которая всем обрыдла. При этом судили "Доктор Живаго" именно по законам, применимым к такой прозе. Основные критические претензии, многократно повторенные за последние тридцать лет, прозвучали уже тогда: Пастернак не показывает, а рассказывает, сюжет

неубедителен до наивности, характеры не проработаны, вместо подлинной народной речи — стилизация. Хотя среди моих ленинградских знакомых никто не скатывался до эстетического уровня советских писателей, которые в своем печально известном письме Пастернаку после доброй порции соцреалистических поучений восклицают на трактирный манер: "А пейзажи у вас хороши!"

Я завожу знакомства

Кажется, я обратил на него внимание в университетском коридоре, где мы отыскивали свои имена в списках принятых на журналистику. Он был щуплый юноша, примерно моего роста, с необычным и, как я сразу подумал, прекрасным лицом. Узкое лицо. Длинноватые, прямые, пепельные волосы. Большие, серые, немного навыкате глаза. Большой нос с горбинкой. Тонкие губы, он их не разжимал, когда смеялся. В России таких лиц нет, зато их часто можно увидеть в музеях на небольших, обычно профильных,

портретах бургундской знати и купцов. Он и был родом из Великого герцогства Бургундского. Его дед приехал в Россию из Эльзаса играть в оркестре Мариинского театра. В России у музыканта родилось четверо сыновей: Роберт, Леонид, Альфред и имени единственного из них, кого я встречал, я не помню. В 30-е годы, после ареста и ссылки в Среднюю Азию старшего брата, довольно известного литературного критика Роберта Куллэ, отец Сережи, Леонид, стал писать свою фамилию с "е" на конце. "Чтобы принимали за эстонца", — непонятно объяснил мне недавно Витя (Виктор Альфредович) Куллэ. Леонид Кулле погиб на войне. Мы столкнулись с Сережей в троллейбусе, когда ехали на собрание абитуриентов в университет. Вместе пришли на собрание, да так с тех пор и старались не расставаться еще лет десять. Я не могу сказать, что у меня не было друзей ближе Сережи. В прошлом я был счастлив друзьями. Та же степень любви, доверия, взаимопонимания была и с Иосифом, и с Юрой, и с Юзом. Виноградов, Уфлянд, Еремин, Герасимов стали мне как братья. Но тогда мне было только- только семнадцать лет, и это было ошеломительное открытие: как, оказывается, можно понимать мысли и чувства другого. Именно понимать, а не чувствовать и мыслить одинаково. Наверное, нас потому так и потянуло друг к другу, что мы были неодинаковы и друг другу интересны. Сережа-то, он точно поражал меня своими суждениями, но еще больше своими… И тут мне не хватает слова. Это очень важное слово отсутствует в русском языке: sensibilite, sensibility. "Чувствительность", прямой перевод, у нас обычно означает граничащую с плаксивостью сентиментальность. Между тем речь идет о том, что составляет существо эстетики, о том, что одно только и способно повысить ценность существования. Речь идет об усложнении эмоциональной шкалы, о том, что у "красиво" и "некрасиво" и между ними есть бесконечное множество тонов и

оттенков, что способность к их восприятию можно воспитывать (сентиментальное воспитание — воспитание чувств), что в меру своей талантливости человек способен их выразить в музыке, на холсте, в стихах, в прозе и в разговоре. Гуковский иронически писал о русских дворянах александровской эпохи, что они "выращивали нежные чувства, как ананасы в оранжереях". Нечего смеяться. Есть великий стих Карамзина "Послание к дамам":

.. он право мил и чудно переводит
Все темное в сердцах на внятный нам язык,
Слова для нежных чувств находит…

Вместо того чтобы посмеиваться или там умиляться, вчитайтесь: ничего более точного о конфликте культуры и бессознательного и о культурной миссии поэта по-русски не было сказано.

На собрании нас проинструктировали, что брать с собой, — нас отправляли на "абитуриентскую стройку". Что мы там строили, не помню. Работа была будто бы прямо из Древней Руси — тесать топором сосновые бревна. В ходу были глаголы "ошкуривать", "сучковать" и "сачковать". Сучковали (обрубали сучки) и ошкуривали (обдирали кору) девушки. "Сачковать" означало работать лениво, хитростью уклоняться от работы. Неумелые, несильные и не привыкшие к физическому труду, мы с Сережей тюкали топориками вкривь и вкось, боясь попасть себе по щиколотке, портили бревна. Я быстро уставал, пытался сачковать, для чего вовлекал товарищей в длинные разговоры. Сережа, с его железной волей, молчал, обливался потом и тюкал, тюкал. От позорной отправки к женщинам на сучкование — ошкуривание меня спасло умение запрягать лошадь. Должность возницы была почтенной. Правда, лошадь колхоз давал нам лишь время от времени, подвезти продукты или еще чего, но все-таки в роли ломового извозчика я получал передышку от ненавистного тесания.

В сентябре нам дали поучиться пару недель и опять отправили в колхоз, "на картошку". Копать картошку мне тоже не понравилось. Поначалу кажется нетрудно — подкопнул лопатой, выдернул куст, отряхнул, как мог, землю, оборвал клубни в ведро, продвинулся к следующему кусту. Как ведро наполнится, отнести его в конец борозды. Там свалены ящики из реек. Ссыпать картошку из ведра в ящик. Вернуться с пустым ведром туда, где оно наполнилось. Снова — копнуть, выдернуть, отряхнуть… Очень скоро заломило поясницу, а день еще был в самом начале. К середине дня, когда достаточно ящиков на краю поля

наполнилось картошкой, появилась лошадка с тележкой, ящики стали накладывать на тележку и увозить. Шевельнулась надежда. И правда, когда мы ужинали в большом темном сарае наш начальник вопросил из мрака: "С лошадьми обращаться кто-нибудь умеет, запрягать и вообще?" Изо всех сил стараясь не проявлять поспешность, я как бы нехотя признался, что умею. Начальник, лицо которого, за исключением выражения недоверия, остается в темноте, сказал: "Ладно. Грузчика себе подбери…" Полагался на каждую телегу возница и грузчик.

Во время этого разговора из темноты выдвинулся белобрысый мальчик в светло-голубом беретике. Мне показалось, что ему лет четырнадцать, но оказалось, что нет, как и мне, семнадцать, зовут Миша Еремин, поэт, занимался в поэтическом кружке во Дворце пионеров и не прочь поработать со мной грузчиком.

Вот и ездили мы с Мишей на тележке, не торопя пожилую лошадку, устраивая привалы у ручейка. Подъедем к полю, погрузим картошку, отвезем в амбар, разгрузим. Миша был неразговорчив, особенно поначалу. Кажется, сказал что-то о любви к Есенину и раннему Маяковскому. В один прекрасный момент я остановил лошадь и присел по нужде за кустом. Миша тоже присел из солидарности и именно тут сказал, что есть у него два друга, оба поэты-футуристы, Леонид Виноградов и Владимир Уфлянд, и он меня с ними познакомит, когда мы вернемся в Ленинград.

На филфаке по возвращении мы с Мишей не так уж часто встречались, так как учились на разных отделениях, но при каждой встрече я напоминал ему об обещании. Мне было любопытно познакомиться с футуристами. Вышедший из-под моего подчинения Миша сурово говорил: "Купи винегрет и булочку — познакомлю". Мы шли в убогий филфаковский буфет, и я покупал ему угощение: винегрет за 10 копеек, булочку за 5 копеек и стакан чаю за 3 копейки (Может быть, масштаб цен был другой, надо бы проверить, но даже и по тем временам цены были лилипутские; правда и то, что винегрет этот прозвали "десять копеек туда и обратно"). Наконец познакомил: "Вот они". По филфаковскому коридору шли ("хиляли", была такая развинченная походка у стиляг) двое — один длинный, другой короткий, у обоих кудри до плеч.

Как быстро воспламенялись дружбы! Еремин познакомил меня с Виноградовым и Уфляндом в октябре, а уже в ноябре я сижу, как среди старых близких друзей, в тесной комнатке у Уфлянда на Пестеля и все говорят: "Герасимов! Сейчас придет Володя Герасимов… А, вот звонок, это Герасимов." Я сижу так, что вижу входящего в профиль. Он очень красив, в черном пальто,

в черной шляпе, горло обмотано шарфом. "Штрафную Герасимову, штрафную!" Ему подносят граненый стакан, он, не снимая шляпы, запрокидывает красивый профиль, пьет до дна.

Одно время Герасимов был без ума влюблен в Лизу Берг. Это была типичная герасимовская влюбленность, всепоглощающая страсть, доходящая до суицидальных состояний. Объектом страсти, как мы все знали, всегда бывала девушка интеллигентная, остроумная, немножко ломака, как правило, существо субтильное, с милыми, но мелковатыми чертами, с двусложным именем. Согласные могли варьироваться, но гласные всегда были "и" и "а": Кира, Инна, Лиза. Так же как правило, эти декадентские создания эксплуатировали Володю, как только могли. Одной, например, еще в конце 50-х годов позарез нужно было новое пальтишко ("черевички, какие сама царица носит"). Отчаявшись заработать такие огромные деньги и за неимением черта, которому можно было бы заложить душу, Володя попытался совершить преступление, извиняемое только его ненормальным в тот момент душевным состоянием да еще нелепостью преступного акта: пришел в гости к знакомому библиофилу, попросил посмотреть главное сокровище коллекции — "Большую книгу маркизы" и, когда польщенный владелец декадентского шедевра вышел заварить чайку, Володя сунул фолиант под рубашку и ушел. Дело закончилось вскрыванием вен, глотанием тридцати таблеток люминала. Его откачали, и, когда я пришел к нему, откачанному, в больницу, он, хотя и ослабший и с белой накипью на губах, был, по сути дела, исцелен — о любви и о самоубийстве рассказывал весело.

Годы спустя я пристроил его в "Костер". Там была крошечная ставка или полставки вроде как экспедитора. Сначала на эту должность наняли по протекции семнадцатилетнюю девушку, кстати вполне в герасимовском вкусе. Весь свой незаурядный комплекс Электры это существо перенесло с мамы на сотрудников "Костра" коллективно. Сидеть-то она отсиживала положенные часы за столом в приемной, но не то чтобы попросить письмо на почту отнести, мы и проходить мимо нее боялись, с такой ярой ненавистью глядела она на нас сквозь клубы сигаретного дыма. Даже Юркан ее боялся и как-то обиняком устроил, что она из "Костра" ушла. Эта Лена Шварц потом стала писать талантливые стихи. За освободившийся столик мы и усадили Герасимова. Он тоже дымил вовсю, но смотрел на окружающих, напротив, крайне приветливо. На почту ходить не отказывался. Правда, не всегда возвращался. Всех развлекал остроумной беседой. Всем давал толковые энциклопедические консультации и дарил литературные идеи.

Подоспела новая миниатюрная и жестокая красавица. Володю в глубоком запое и с петлей из посылочного шпагата на шее прямо из "Костра" увезли на Пряжку. В ящиках стола у него Юркан нашел неотправленные письма авторам и читателям за два месяца. Марок для этих писем в столе не было. Денег, выдававшихся на марки, тоже. Тем не менее "из профсоюзных средств" было куплено кило апельсинов, и я пошел навещать Володю в сумасшедший дом.

Я никогда не бывал до того в скорбных домах. Мне было немножко не по себе, когда меня проводили через отсеки, отпирая и вновь запирая за мной лишенные ручек двери. По мере того как мы приближались к среднебуйному отделению, где содержался мой друг, нарастал шум, напоминающий шум прибоя. Наконец последняя дверь отворилась, из нее, уже не приглушенный, вырвался коллективный говор душевнобольных и кисловатый запах больничного отделения. В дверях стоял с любезной улыбкой Володя, прямо над головой у него на стене коридора висел большой старательно начертанный транспарант: ЛЕНИН С НАМИ!

На рукаве серого халата у Володи была кумачовая повязка, отчего у меня мелькнула мысль, что, может, он и вправду свихнулся. Оказалось, что, наоборот, как наиболее здравомыслящий, он назначен дежурным по отделению. Володя, приглушая голос, показывал мне среднебуйное отделение: парня с серым лицом, которого спокойная мать кормила из миски кашей — сунет ему ложку в рот, он выплюнет, сунет опять, он опять выплюнет; обмякшее существо в форме человека на койке, смиренное лошадиной дозой транквилизатора; почтенного вида гражданина в очках, которого изловили и привезли сюда, когда он отправился гулять по проспекту Майорова в чем мать родила (гражданин в очках был на отделении вторым по здравомыслию после Володи; он сидел за столом и клеил следующий номер стенгазеты под поразившим меня транспарантом; "Анна Сергеевна, можно ножницы?" — спросил он у сестры-надзирательницы, и та без колебаний доверила ему острый инструмент). Вел Володя эту экскурсию толково, весело и очень занимательно, как водил он меня по Эрмитажу или по Павловскому парку. О приведших его сюда обстоятельствах рассказывал легко и иронично. Был исцелен.

Лиза Берг, не любившая и мучившая Герасимова, была в тот период страстной балетоманкой, точнее барышниковоманкой. Она старалась не пропускать ни одного спектакля с гениальным молодым танцовщиком, словно бы предчувствуя, что скоро не будет возможности его видеть. К чести Лизы надо сказать, что

только в крайнюю минуту, когда никаких других возможностей достать билет на очередной барышниковский спектакль не было, она обратилась к нелюбимому Герасимову. И Володя достал-таки пару билетов. Как он был счастлив, что может провести вечер в обществе временно благосклонной возлюбленной. Он вдвойне наслаждался "Жизелью", потому что Лиза была рядом и потому что она испытывала блаженство. В блаженном состоянии вышли они на Крюков канал после представления. Делились восторгами. "Удивительно, — сказала Лиза, — который раз я смотрю "Жизель", и каждый раз Барышников в конце второго акта падает в другом месте сцены. Как вы думаете, почему?" — "Чего же тут удивительного, — сказал разнежившийся и потому потерявший бдительность Володя, — где его застанет конец музыки, там он и грохнется". У Лизы от гнева задрожали губы: "Как вы смеете… в таком тоне… говорить о человеке гениальном…" И, подавив рыдание, она отвернулась и убежала.

Красильников

Я знал двоих харизматиков с очень своеобразной манерой речи, не заразиться которой было трудно, по крайней мере в их присутствии, Голявкина и Красильникова. Со временем это прошло, а в университетские годы все в нашей компании говорили в меру своих имитационных возможностей, как Красильников. Я не умею описывать живую речь. Прежде всего, она неотделима от всего остального — манеры держаться, походки, мировоззрения. Красильников по меркам нашего низкорослого поколения был высок — примерно метр восемьдесят. Он ходил немного сутулясь, немного косолапо, немного пританцовывая. Потом, после тюрьмы и лагеря, прибавилась еще привычка при ходьбе держать руки за спиной. Он клонил голову набок, как бы пригорюнившись. Еще и подпирал щеку рукой. Голос у него был низкий и довольно гундосый. Вот я и подошел к необходимости описать его речь. Можно сказать, что интонационной основой она напоминала речь стариков-резонеров из народа, вернее, из советского кино — в ней была напевность и назидательность. Позднее, лет через двадцать, сходную манеру говорить культивировали в своей среде ленинградские художники- "митьки", но, мне кажется, у Красильникова это звучало помягче, не так откровенно пародийно. Да и лексика, фразеология Красильникова были, в основном, литературны с цитатными только вкраплениями "народных" речений. Кстати, он вообще был довольно немногословен по контрасту со своим ближайшим другом Юрой Михайловым. Юра говорил в той же манере, и кто из них от кого ее перенял, я не знаю. Но Юра был словоохотлив, голос у него, при корявом, но крепком телосложении, был тонкий и сипловатый, в обращении с людьми был он смолоду резок, да еще Юра не пил, не курил — так что особой притягательностью не обладал. Однако были они в 50-е годы неразделимым тандемом. Они были порядочно старше нас, на четыре года. Когда мы учились на первом курсе, они, восстановившись после перерыва, на третьем[43]. Бывшие однокурсники, я думаю, Миши и Юры как политически запятнанных немного побаивались и сторонились и уж точно не хотели больше с ними играть ни в какие футуристические игры, а мы хотели, да еще как!

Сейчас у историков ленинградской литературы вошло в обиход выражение "филологическая школа". Под этой рубрикой перечисляют Красильникова с Михайловым, Уфлянда, Еремина,

Виноградова, Кулле, а также Кондратова и меня. Это название условное, бессодержательное, оправданное только тем, что мы похаживали в литературное объединение филфака (в 1956–1957 годах я даже был его председателем). Но школа, учение действительно имели место. Помню, я сочинил стихотворение про строительство Петербурга. Очень им наутро после сочинения гордился и, увидев на филфаке Юру и Мишу, потащил их выслушивать мой опус. Мы нашли укромное местечко в том крыле здания, которое студенты филфака почему-то, но в данном случае уместно, называли "школой". Миша и Юра уселись на подоконник, а я им декламировал. Это было подражание романтическим стихам Антокольского. К тому же, соблазненный возможностями парономазии, я там заигрался со словом, ни смысла, ни даже правильного произношения которого я не знал, "прасол" (торговец скотом, а я смутно думал, что вообще купец, и полагал, что ударение на втором слоге). Как начиналось — не помню, а кончалось так: "Прасолы про соль толковали, про сало. / То в жар, то в ознобы эпоху бросало. / Эпоху трясло на [не помню, на чем], / Эпоху несло на косых парусах / Туда, где приснится Марии иль Магде / Тот русский матрос из трактира, туда, где / В оглохшее небо стучится заря, / Как красный кулак молодого царя". Я ждал похвалы, но Миша и Юра сказали, что не "прасолы", а "прасолы", что стих так себе, но что-то в нем есть и привести его в порядок можно. Тут же они стали, подсказывая друг другу, импровизировать, хохоча от удовольствия. Из моего сочинения им в результате понадобились только злополучные "прасолы" в "агде". Получилось у них нечто вроде:

Прасолы про соль да про сало — напраслина.
Если ясли в масле, так ясли на прясле — на!
А Магде к выгоде, эх, да по Вологде
Туда, где смарагде-ягоде долог день.

И еще пара строф в таком духе (я не помню, только попытался примерно воссоздать). Они похохатывали — Миша гулко и мотая головой, а Юра тонко и сипловато — и повторяли нараспев и назидательно: "Поучили маленько…"

Это и вправду было учение. И мне оно пошло впрок — я и без того писал немного, а вскоре перестал совсем, в значительной степени потому, что, когда мы собирались, пьянствовали и начинали читать стихи, я знал, что, если я прочту свое сочинение, Красильников не будет мотать головой от удовольствия, как он делает, слушая Уфлянда или Кулле, не будет повторять мою строку, как он повторяет вслед за Ереминым: "Мяч головы

покатится мечтать… " ("Мяч головы покатится… — и, сильно мотая головой, с напором на каждую согласную, —.. ме-ч-та-ть…"). Когда двадцать лет спустя я неожиданно для себя самого опять сочинил стихотворение, получилось так, что первым, кому я его показал, был Юра Михайлов. Хотя я это стихотворение похерил, никому больше не показывал, но неожиданное, хотя не безоговорочное, одобрение Юры как бы отпустило меня на волю. Но учение мое состояло не только в том, что меня научили строго относиться к тому, что пытается выйти из-под моего пера. "Будетлянство" Красильникова и Михайлова проникло в меня очень глубоко. Не в том смысле, чтобы я старался создавать футуристические пастиши, и даже не филологически, установки на "самовитое слово", как мне, по крайней мере, кажется, в моих стихах нет. Есть другое — глубоко укорененное отношение к поэзии как игре. Наверное, этот игровой императив действует на подсознательном уровне, а уже на полусознательном возникает необходимый баланс между игрой и сентиментальным, медитативным содержанием. Я никогда не встречался с покойным А.Д. Синявским, даже, наверное, по эмигрантским раскладам числился во враждебном ему лагере, но вот что мне рассказал Саша Генис. На вопрос: "Что вы думаете о стихах Лосева?" — Синявский ответил: "Лосев, он — последний футурист". Очень может быть, что покойный критик имел в виду что-то совершенно иное, но я — см. вышесказанное — поразился проницательности этого замечания, и мне захотелось тут же сообщить о нем Мише и Юре. Только ни Юры, ни Миши уже не было.

Впрочем, и в молодости однажды Красильникову сильно понравилось нечто мной сочиненное, и это необычное обстоятельство привело к тому, что я был обвинен в плагиате, притом юридически вполне основательно. А понравилось ему вот что. Мы в качестве застольной игры коллективно сочиняли поэму, полуподражая-полупародируя Заболоцкого.

Мы тогда обожали "Торжество земледелия". Мой вклад был такой: "Природы вид являл собой / довольно странную картину: / шахтер спускался в свой забой, / стоял на вахте часовой, / крестьянин мирно пас скотину.." И еще, в описании главного героя: "Лицом похожий на еврея, / он обижать не хотел никого, / но иногда в свободное от работы время / прыгал с парашютом Котельникова" (парашют системы Котельникова был нам знаком по плакатам на военной кафедре). Красильников так размотался головой, так развосхищался, что мне пришла на ум редкая по глупости идея. Я ему сказал: "Давай меняться — я тебе отдам авторство своей доли в поэме, а ты мне какого-нибудь стихотворения…" На что он, всегда склонный к игре, согласился,

а наши товарищи сделку одобрили и отметили очередным выпиванием. Стихотворение, выменянное мною у Красильникова, было такое:

В лесу погода аховая,
Но ветер сник.
Идет, ружьем помахивая,
Седой лесник.

Капканы на тропе сними,
Попался волк.
Лесник уходит с песнями
В далекий лог.

Мети, метель неистовая,
Набегом орд.
Старик идет, посвистывая,
По гребням гор.

Видимо, Мише "Лесника" этого не особенно было жалко, а мне было все равно какое стихотворение, мне нравилась игра. Но я заигрался — отдал приобретенный стих в филфаковскую стенгазету. Как только стенгазету вывесили, разыгрался скандал. Была на филфаке, на курс старше меня, такая пара приятелей-стихотворцев Борис Гусев и Валерий Шумилин. Валерий сочинял стихи для детей, а Борис бесконечную поэму "Дед". Из "Деда" помню четыре строки: "Шинкарка налила солдатам водки, / Привычным глазом точно рассчитав, / Чтоб на вокзал пришли такой походкой,/ Какой военный требует устав". Из детских стихов Шумилина помню две строки, поскольку их любил цитировать Герасимов, не упускавший случая инсинуировать эротику: "Всем мы классом Витю просим, / Очень просим: покажи!" (на самом деле просили показать щенка или ежика). Гусев и Шумилин отличались скандальностью. Все время они кого-то разоблачали, с кем-то публично ссорились, даже время от времени между собой. Однажды в коридоре филфака я увидел такую сцену: на скамеечке мирно сидел Валя Малахов, мастер спорта по вольной борьбе, тоже писавший стихи. Неожиданно к нему подбежал кругленький подслеповатый Шумилин и стал мелко и часто плевать ему в лицо: тьфу, тьфу, тьфу. На мою беду, Гусев и Шумилин были знакомы с творчеством Красильникова, и они бурно занялись уличением меня в плагиате. И тут-то я понял, в какую дурацкую историю попал: как объяснить комсомольским судьям наши литературные игры? Но пришлось объяснять. Видимо, именно крайняя нелепость объяснения спасла меня от

суровой кары.

Авторитет Красильникова и Михайлова был основан не только на разнице в возрасте между ними и нами, остальными, но, конечно, и на их легендарном прошлом. Их "неофутуристическая" легенда словно бы придавала глубину нашему культурному существованию, была нашей мифологической предысторией. Времени-то между их неофутуристическими подвигами и нашим знакомством прошло всего два года, но в моем и, думаю, моих сверстников сознании между концом 1952-го и концом 1954 года возвышалось два внушительных водораздела. Во-первых, когда они совершали свои неофутуристические деяния на филфаке, мы были еще детьми, школьниками. Во-вторых, произошла историческая смена эпох, время стало делиться на до и после смерти Сталина. Перемена цайтгайста ощущалась нами очень остро. Декабрь 1952 года помнился как самый темный и глухой момент перед наступлением перемен, и по контрасту деяния Красильникова и Михайлова воспринимались как особенно яркие и героические.

Я учился в девятом классе, когда прочитал в "Комсомольской правде" статью "До следующего пришествия..." (11 декабря 1952 года). "В аудиторию входят трое юношей. На них длинные, до колен, рубахи, посконные брюки, в руках лукошки. Стараясь привлечь всеобщее внимание, они усаживаются за стол и достают... гусиные перья. <.. > Ряженые, стараясь быть у всех на виду, пробираются поближе к кафедре, вынимают из лукошек деревянные плошки, разливают бутылку кваса и начинают попивать его, напевая "Лучинушку"". Насколько я припоминаю, начало статьи вызывало смешанные чувства. С одной стороны, описывалось нечто яркое, необычное, с другой стороны, не совсем понятно было официальное негодование — ведь всяческое русопятство в тот период поощрялось, было едва ли не в центре идеологической политики. Но дальше становилось понятнее и симпатии к героям статьи росли: ".. глумясь над священными для нас именами Пушкина и Гоголя, они всячески расхваливают гнилую, растленную поэзию символистов и прочих "истов". С чьей-то легкой руки шумливых недоучек стали называть "неофутуристами". Хлесткое словечко, видимо, пришлось им по вкусу". Я еще в детстве сочувствовал "зазнавшимся", "оторвавшимся от коллектива" героям советских пьес и кинофильмов. Они были куда интереснее правильных комсоргов с волнистыми чубами. А уж на шестнадцатом году и сам втайне считал себя оторванным от коллектива и к символистам и к футуристам испытывал большой интерес.

В 1991 году Миша сказал интервьюеру, что их акция была

чисто эстетической, никакой политики у них и в мыслях не было. По рассказам Юры, почти все студенты и преподаватель (не добрейшая ли В.Ф. Иванова? не могу припомнить) отнеслись ко всему как к веселой шутке в духе капустников. Но несколько комсомольских карьеристов стали раздувать "дело", придравшись поначалу к тому, что все произошло 1 декабря, траурная дата, день смерти С.М. Кирова. В комитет комсомола их стал тащить некий Иванов, который на вершине карьеры, четверть века спустя стал куратором изобразительных искусств в ЦК партии, куда к нему в трудную минуту Юра Михайлов обратился за помощью и тот помог, и вообще они подружились, вот как бывает. Но в декабре 1952-го Юра перепугался больше, чем Миша, потому что у него был эпизод с вызовом в госбезопасность еще в школе.

Миша, кажется, был напуган меньше, поскольку в политическом отношении за собой грехов не ведал. Отец его был военным политработником, и сам Миша, насколько я могу судить, в юности верил в "социализм с человеческим лицом", хотя само это выражение появилось позже. Про свою бабушку-дворянку он добродушно говорил, что она "сохранила верность кадетским идеалам", но в остальном семья была безупречна. Родители даже думали назвать сыновей в честь двух основных направлений политики партии — Индустриарий и Аграрий, но на Мише, к счастью, одумались. А вот его старший брат, пошедший по армейским стопам отца, таки стал Индустриарием. Правда, когда он приехал в Ленинград после ареста Миши и встречался со мной, чтобы расспросить о событиях 7 ноября, представился: Андрей.

7 ноября 1956 года мы сговорились встретиться у филфака, чтобы пойти на демонстрацию. Мы на все демонстрации ходили, потому что было весело идти в толпе по мостовой, отбегая время от времени в сторонку, чтобы выпить. А после демонстрации еще предстояла большая выпивка у кого-нибудь дома. У Уфлянда есть прелестное стихотворение об этом: "Сиденье дома в дни торжеств / есть отвратительный, позорный жест…" Двух демонстраций в год, 1 мая и 7 ноября, было мало, и мы иногда спонтанно устраивали свои, подогретые алкоголем, в прямом смысле слова демонстрации. Например, препятствуя движению прохожих, в густой толпе, где-нибудь между Фонтанкой и Литейным на Невском становились в круг, вытолкнув одного в центр, и начинали водить хоровод, играть в "Каравай" с приседаниями и вставанием на цыпочки: "Вот тако-ой вышины! Вот тако-ой нижины!" Летним днем вышли из жилья-мастерской Целкова на Гагаринской (Фурманова), неся перед собой главный на тот момент шедевр Олега, большой "Автопортрет в нижнем белье".

Рубаха и кальсоны на автопортрете были фиолетовые, но на самом деле пылающие напряженным, как над газовой горелкой, пламенем, в котором переливались все тона красного, то есть как бы сконцентрированные краски советского праздничного дня. Поощряемые художником, пронесли картину по Кутузовской набережной до спуска к воде, спустились и окунанием окрестили ее в Неве. Или просто маршировали по людным местам, распевая на популярные мелодии строчки из любимых стихов: на мотив песенки "Три танкиста" пели из Пастернака "Прорываясь к морю из-за почты, / Ветер прет на ощупь, как слепой, / К перекрестку, несмотря на то, что / Тотчас же сливается с толпой…", на мотив "Марша авиаторов", слегка приспособив, Хлебникова "Тулупы [тулупы, тулупы] мы,/ Земляные кроты, / Родились [родились] мы глупыми, / Но глупым родился и ты". Последнюю строку для пущего эпатажа выкрикивали в лицо какому- нибудь прохожему. Но, странное дело, я не помню, чтобы люди обижались, грозили нам. Миша еще любил на мелодию популярной американской песни "I love Paris in the moonlight…" петь "Это Лукас Арвареда, он идет сюда с ножом…" Строка повторялась множество раз, следуя вариациям тягучей мелодии."Арвареду" он вычитал из латиноамериканского романа, кажется, Жоржи Амаду. Тут сошлись два пристрастия, свойственные многим в его поколении, к американскому джазу и к вычитыванию из книг, особенно переводных, текстов и сведений, которые сами по себе в советское издание не попали бы. Часто пытался он петь на непонятно какую мелодию (слуха у него не было) "Мы писатели ножом, / Тай-тай, тара-рай!".

Между прочим, "писатели ножом" — это у Хлебникова из Ницше: "философствовать молотком". Я с благодарностью вспоминаю эти игры, потому что, для меня по крайней мере, они были больше, чем юношеские шалости. У Красильникова было очень развитое интуитивное понимание игровой природы искусства, в особенности авангардного искусства — русского футуризма, обэриутов. И нам он помог избежать ловушки осерьезнивания того, что по природе своей весело и легко. В середине 60-х, начитавшись "неообэриутских" сочинений авторов следующего за нами поколения, я спросил у Герасимова, почему это перечитывать Хлебникова и Введенского мне интересно, а читать этих ужасно скучно. Мыслящий, как всегда, трезво Герасимов ответил так: если бы можно было из футуристов и обэриутов устранить смешное, они тоже стали бы скучными.

Миша обожал праздничные шествия еще и потому, что ему нравилось орать во все горло. Уже после лагеря мы с ним ходили на футбол. Моя теща Анна Всеволодовна подрабатывала

контролером на Кировском стадионе и пропускала меня с приятелями без билетов. Перед началом матча мы, как и все нормальные болельщики, выпивали на травке по дороге к стадиону. Во время матча, всякий раз когда судья назначал штрафной в наши ("Зенита") ворота и болельщики начинали шуметь, Миша во всю свою зычную мощь самозабвенно вопил: "Су-у-ука!" Но к середине матча и тогда, когда штрафной назначался в сторону нашего противника, Миша, так же закатив глаза, вопил: "Су-у-ука!" — и соседи по трибуне поглядывали на него с удивлением и даже испугом: может, сумасшедший?

А он просто любил эти просветы воли — ходи где хочешь, ори что хочешь. В то утро нас всех разнесло в толпе и Красильникова я потерял из виду еще на подходе к Дворцовому мосту, но знал, что под вечер встретимся все у Уфлянда на Пантелеймоновской. Помню ожидание — что это его все нет? Разговоры о том, что, кажется, последний раз он мелькнул в компании своих рижских приятелей, Карла Лаува и "Китайца" (Китаенко). А уже позднее то ли пришел, то ли позвонил перепуганный Карл Лаува и сказал, что "Миху повязали".

Что он именно орал, проходя по Дворцовой площади, в точности неизвестно. Сам он на следствии и на суде говорил: "Был пьян, ничего не помню". Мне из тогдашних рассказов запомнилось "Свободу Венгрии!" и "Утопим крокодила Насера в Суэцком канале!". И Миша, и Юра обожали цитировать образцы всяческой политической риторики. Дело происходило в разгар подавления венгерского восстания и вскоре после суэцкого кризиса, так что недавно услышанное по "Голосу Америки" или прочитанное в советских газетах легко наворачивалось Мише на язык. Другие вспоминают и наоборот — "Утопим Бен-Гуриона в Суэцком канале!". Я не исключаю, что Миша мог кричать и то и другое, как он кричал "Сука!" независимо от того, в чью пользу судил футбольный судья. Вроде бы он еще и орал: "Долой кровавую клику Булганина и Хрущева!" Вроде бы на это намекает и вынесенный ему приговор: "Красильников выкрикивал антисоветские лозунги, направленные против Советского строя, — так, тавтологично говорится в приговоре, — и одного из руководителей Советского государства".

Если сравнивать с "Архипелагом ГУЛАГом" и с расправами брежневских времен, Миша отсидел четыре года без особенных страданий. Из мордовского лагеря он своим аккуратным почерком сообщал о книгах и журналах, которые там прочитал, просил прислать книги и журналы. Компания была хорошая — много молодых интеллигентных людей, писателей и художников. Попадались и люди иного круга. Вернувшись, Миша любил порой

похвастаться, что знаком с Гитлером "через одного": сидел в одном лагере с генералом вермахта Ферчем, осужденным за военные преступления, а тот лично знал фюрера. Но из всех Мишиных лагерных рассказов мне особенно запомнился такой. Сидел с ними один бывший военный летчик, чуть ли даже не Герой Советского Союза, который в конце войны попал в плен к немцам, а после войны был сразу посажен за то, что попал в плен, а при Хрущеве его не реабилитировали, потому что, отличаясь буйным характером, он успел чего-то уголовное натворить уже в лагере. И вот однажды его, опять наскандалившего, два надзирателя тащат в ШИЗО. Он вырывается, кричит: "Суки, фашисты! Немцы в Бухенвальде в карцер сажали, и вы сажаете!" На это пожилой надзиратель говорит ему укоризненно: "Значит, и там нарушал".

В интервью сотруднице "Мемориала" Миша говорит, что никогда не считал себя поэтом: "Я не ставил себе целью печататься, получить литературную известность, нет, такой цели у меня не было никогда"[44]. Да я и не помню, чтобы в нашем кругу, магнитным полюсом которого он был, он считался поэтом. Поэты — это Уфлянд, Еремин, Виноградов, Кулле, а Миша — это Миша. Если он сочинял что-то под Хлебникова и Заболоцкого, то нам всем это дружно нравилось, но, хотя вслух не говорили, мне кажется, подспудно все считали, что нравится не по поэтической категории, а по игровой, поведенческой. У него был изумительно ровный, четкий почерк, как у учительницы. Я не думаю, что такой почерк совместим с поэтическим дарованием. По отношению к поэзии он был скорее не писателем, а читателем. На определенной стадии опьянения он начинал экстатически читать стихи. Тут уж голова клонилась набок и моталась отчаянно. Его приводила в транс звуковая сторона стиха — аллитерации, ассонансы, парономазии. В первый период нашего знакомства главным текстом Мишиного экстатического репертуара был "Гость" Леонида Мартынова. С какими отчаянными завывами читал он:

Убедитесь: не к бездне ведет вас прохожий,
Скороходу подобный, на вас непохожий, —
Тот прохожий, который стеснялся в прихожей,
Тот приезжий, что пахнет коричневой кожей,
Неуклюжий, но дюжий, в тужурке медвежьей.

Каким же праздником было для него это скопление "ж"! Он их артикулировал даже с каким-то дополнительным фырком, хотя вообще шепеляв не был. Как он тянул губы на всех четырех "у-ю" в

последней строке!

Он и заинтересовал меня Мартыновым. Сначала я раздобыл книжечки, изданные во время войны, "Эрцынский лес" и "Лукоморье", а уж потом добрался до поэм, которые мне до сих пор здорово нравятся. Я листал в библиотеке комплекты журнала "Сибирские огни" 20-х годов, выискивая Мартынова. Взялся писать о нем курсовую работу. Нашел его в Москве по легко запоминающемуся адресу: 11-я Сокольническая, дом 11, квартира 11. Там, кстати, выяснилось, что Мартынов видел меня в детстве в Омске: "Сын Аси Генкиной…" — заулыбался он. Вернувшись в Ленинград, я рассказал маме, и она вспомнила: "В Омске однажды к нам приехал на велосипеде местный поэт Мартынов. На руле велосипеда висела связка баранок — пособие эвакуированной семье ленинградского писателя от омского Союза писателей". Узнав, что Мартынову исполняется пятьдесят лет, Миша, Юра и Леня послали на его однообразный адрес такую телеграмму:

ПРОХОЖЕМУ ПРОНИКШЕМУ ДВЕРЬ ВЕЛЕМИРА
КРАСИЛЬНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ МИХАЙЛОВ
ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

Я соглашался с ними, что Мартынов должен оценить сцепление имен, но про себя сомневался, что Леонид Николаевич догадается, что это за "дверь Велемира". Ведь он вряд ли был таким дотошным читателем всего, относящегося к футуризму, как Миша и Юра, а они намекали на строки о Хлебникове в поэме Асеева "Маяковский начинается": "Он был Маяковского лучший учитель, / Но дверь за собой затворил навсегда. / А вы в эту дверь напирайте, стучите, / Чтоб не потерять дорогого следа".

Мог Миша с таким же упоением, как Мартынова, Маяковского или Хлебникова, иногда декламировать и какую-нибудь советскую чушь, если расслышивал там столь его чарующие повторения звуков: "Сталинский солдат на пьедестале…" Потом, вернувшись из лагеря, он уже по пьяной лавочке больше пел, чем читал. Чаще всего — дикую песню без определенной мелодии с абсурдным набором слов, переходящим в глоссолалию, но с неожиданно бесхитростным концом:

Ты будешь лыс, седая борода,
Но ты свободы не увидишь никогда.

Пил Миша что до лагеря, что после, не зная меры, так же и мы все вслед за ним. Свою стипендию и присылаемые родителями

деньги пропивал быстро, но всегда находил охотников его угостить. Только один помню случай, когда достать денег было абсолютно негде, и Миша предложил пойти сдать кровь в институт переливания крови. Там у нас взяли кровь на анализ и выдали направление, чтобы прийти на донорскую процедуру в другой день. Слабым утешением Мише было то, что у него, из всех нас одного, оказалась кровь нулевой, арийской группы. Для меня, однако, дело на том не закончилось. Я по беспечности оставил скрепленный кровью договор с институтом на столе, где его увидела мать. Мое намерение торговать собственной кровью ее так потрясло, что она даже говорить со мной об этом не стала, а накатала ябеду папе в Москву: вот, мол, ваш сын попал в дурную компанию, уже и кровь продает на водку. Отец прислал мне очень обидное письмо. Дескать, это недостойно мужчины. Если нужны деньги, так иди разгружать вагоны, и тому подобные вполне справедливые вещи. А через день пришел от него и перевод на круглую сумму, сверх и без того приличного пособия, которое он мне присылал.

В пьяном виде Миша был склонен к буйству, как, впрочем, и второй Миша в нашей компании, Еремин. Буйство было всегда одного рода: Миши с невменяемой злодейской улыбкой пытались выбросить что-нибудь из окна — стул, пишущую машинку, любимую собачку хозяев, самих себя, но как-то так получалось, что в последнюю минуту их всегда удавалось удержать. Это было вроде ритуала и запечатлено в стихах. В альманахе, который друзья коллективно изготовили мне на день рождения в 1956 году, так описывается предстоящее веселье:

Выпьем кружку квасу
С уханьем да с гиканьем.
Расписную вазу,
Эх, в окно да выкинем!

Жизнь подвела под этими шалостями серьезную черту. Летом 61-го года оба Миши выпивали вдвоем. Когда первая бутылка опустошилась, Еремин решил сбегать за второй и, чтобы сократить путь, лихо прыгнул из окна. Квартира была в бельэтаже, но прыгнул он неудачно — сломал ногу, на открытом переломе началась гангрена, Еремин чуть не умер, остался навсегда инвалидом.

У напившегося, напевшегося, побуянившего Красильникова начинали краснеть и опускаться веки, и он засыпал на стуле. Потом его укладывали — на диван, на пол, куда придется. Чтобы он уходил или чтобы его уводили — я не помню. Да и то сказать,

жил он у черта на куличках и в престранном месте — в сумасшедшем доме. У дяди и тети, врачей-психиатров, на территории психбольницы в Удельной. Я там был только раз. Дядя и тетя были в отъезде, и Миша пригласил нас к себе — меня, Иру Цимбал, Олега Щелкова и кого-то еще. Кто-то еще довольно скоро высунулся в окно и наблевал в тетин ящик для цветов. Миша сказал: "Ничего, птички склюют". Похмельным утром шли на станцию. На территории больницы прогуливались пациентки. Головы у них были повязаны нечистыми вафельными полотенцами. Завидев нас, они кричали: "Иванов, дай закурить".

Миша был принципиально, сознательно ленив. Его почти всегда выручал врожденный шарм. Юра Михайлов вспоминал: идем на экзамен по зарубежной литературе, я чего-то подзубрил, кое-как доцент Вановская ставит мне четверку, а Миша пропьянствовал всю ночь, ничего не знает, сел, повздыхал и выходит с пятеркой. Отбывая срок, как он сам рассказывал, он предпочел пойти в штрафной лагерь, лишь бы не работать. Он даже немногословен был, как кажется, из лени. Зато у него получалось вкладывать много смысла и чувства в одну короткую фразу, иногда в одно слово, подкрепленное мотанием головы: "Па-а-р-шивец". Летом предотъездного 75-го года они с Эрной гостили у нас в Паланге. На отдыхе Миша свел количество производимых за день движений к абсолютному минимуму. Между завтраком и обедом, обедом и ужином лежал на пляже или на кровати положив на ухо приемничек, настроенный на "Свободу". Даже питье ограничивалось в большинство из дней парой бутылочек пива. За две недели мне запомнилось единственное его высказывание. Мы сидели под вечер у костерка, собирались делать шашлык. Неожиданно в вечернем деревенском беззвучии громко, низко, долго проблеяла коза. Миша помотал головой и сказал, растягивая гласные: "У-бе-ди-тельно".

Об импровизированном наезде к Мише в Ригу, когда мы столкнулись у него с Бродским, я уже рассказал (в воспоминаниях об Иосифе). При мне Иосиф там стихов не читал, а, видимо, перед нашим приездом читал в рижской компании, и, как вспоминают рижане, прослушав "Большую элегию Джону Донну", Миша сказал Иосифу неодобрительно: "Напестрил"[45].

Последнее наше веселое, как в юности, общение было в 1961 году, когда Миша приехал в Ленинград оканчивать прерванный арестом университетский курс. В мае или в июне мы прожили несколько дней вместе на дачке, которую родители Герасимова получили в Солнечном. Денег почти не было. Однажды на копейки купили копченых костей с остатками жира и мяса. На всех костей бы не хватило, и их отдали Красильникову: после

лагеря человек! Остальные ели кашу на воде без масла. Стараясь себя подбодрить, я сказал: "Хороша кашка". На это бестактный Миша с лоснящейся от копченого жира бородой, выламывая бычий сустав, зычно откликнулся: "Кости тоже хороши". Дошли до того, что, как бомжи, собирали пустые бутылки в кустах возле пляжа — не было денег на электричку обратно в Ленинград. У нас есть фотография: мы сидим на перроне в ожидании этой самой электрички. Миша держит на коленях узел с оставшимися бутылками — никому не доверяет. Вид у него тогда был и в самом деле бомжеватый, в вечной черной рубахе, скорее заношенной, чем застиранной.

Следующие лет пятнадцать до лета 75-го года в Паланге общались редко. Несколько раз виделись то в Риге, то в Ленинграде. Мишина жизнь наладилась. Он встретил Эрну. Эта милая женщина, увидев Мишу, оставила своего преуспевающего художника-мужа (по фамилии не более не менее как Барбаросса) и ушла на весь остаток своей, увы, не слишком долгой жизни заботиться о Мише. Пить он не бросил, но в какие-то рамки питье было введено. Он стал ухоженный, стала видна врожденная элегантность.

На иных фотографиях стареющий Миша похож на Роберта де Ниро.

Мы не переписывались, но несколько раз, когда мои американские знакомые ездили в Латвию, я направлял их к Мише и Эрне с подарками — виски и книги. Потом пришла печальная весть — Эрна умерла от рака. Потом, что Мишу хватил удар. Он умер 7 декабря 1996 года, на шесть лет пережив Юру, через сорок четыре года и шесть дней после неофутуристического действа на филфаке.

Повторяю, название для нашего кружка "филологическая школа" бессодержательно. Значительно точнее называет его Уфлянд: "Круг Михаила Красильникова". После Мишиной посадки "центр перестал удерживать". Миша был центральной звездой нашего маленького космоса. Или черной дырой, потому что я, в сущности, очень мало о нем знаю. Изо всех, чья дружба сильно на меня повлияла, о нем я знаю меньше всего. А может быть, и знать нечего? Я читаю подобранные в журнале "Даугава" нежные воспоминания его школьных товарищей, лагерных товарищей, рижских друзей в послеленинградский период, но загадка Мишиного обаяния не проясняется. Чем притягивал нас этот человек, в общем-то равнодушный к тем, кто к нему тянулся? Или не равнодушный, но как-то очень рано душевно уставший.

Немножко о юном Мише мне рассказывала в последние годы Татьяна Патера, коллега-славист из Монреаля, дочь известного

ядерного физика Шальникова. Насколько я понимаю, Миша за ней в юности ухаживал. Таня прислала мне ксерокопии нескольких десятков Мишиных писем из лагеря к ней. Они написаны так же ровно, тем же изумительно ровным почерком, что и письма ко мне: о прочитанных книгах, просмотренных фильмах. Я послал Тане воспоминания из "Даугавы". Она написала в ответ, что Мишин товарищ по лагерю ошибается — великий физик Ландау Мише посылок в лагерь не посылал. Но знакомы они были. Ландау отдыхал у Шальниковых на Рижском взморье. У Тани хранится фотография: Ландау сидит, поставив себе на голову ведро, а Миша сверху в это ведро плюет.

А вот что мне рассказал Виноградов. Миша, уже послелагерный усталый Миша, гостил у него в Москве, и они загуляли. Какими-то пьяными путями их свело в тот день с немного знакомым Виноградову фарцовщиком или режиссером, который тоже в этот день кутил и принялся их угощать. Из ресторана поехали к фарцовщику (или режиссеру) домой. К этому моменту Миша уже полностью отключился, опустил веки, и его от дверей до такси, от такси до дверей таскали как куль с мукой. Фарцовщик по пути подобрал на улице девчонку-пэтэушницу. При всей свободе нравов было что-то ниже черты дозволенного в том, чтобы трахать этих полуголодных, глупых полудетей, хотя именно они составляли в те годы едва ли не основу рынка сексуальных услуг. Режиссер-фарцовщик хихикал от предвкушаемого удовольствия и, потирая ладошки, все повторял: "Не-ет, весь я не умру". И вот, когда он произнес свою присказку в очередной раз, Миша, к изумлению Виноградова, медленно поднял веки и сказал своим гулким голосом непререкаемо: "Весь — умрешь".

29 января 1956 года

Я начал читать Пастернака раньше, вероятно, чем следовало бы, лет двенадцати, просто потому, что мне доставляло удовольствие произносить вслух его стихи. Нашел на полке книжку "Второе рождение" с "прикубленным", как говорили когда-то художники, роялем на обложке и декламировал во всю глотку, когда никого дома не было. Так как в этом возрасте способность к критическому мышлению обратно пропорциональна восприимчивости, мне никогда не казалась трудной собственно поэтика Пастернака, я ее понимал, она наполняла мое сознание волнующими образами, но зато медленнее, чем к другим читателям поэта, приходила способность логического понимания. Я читал, волнуясь чуть не до слез, "Весеннею порою льда…", но, если бы меня кто спросил, что это за "проводы, оттянутые в затоны", я не смог бы объяснить многоступенчатые пастернаковские метафоры. Но я видел из окна пригородного поезда желто-лимонные на закате пруды и торчащие из талой воды столбы с растяжками проводов, а Пастернак давал мне ритм и слова, чтобы все это выкрикнуть. Лет до двадцати Пастернак был для меня сама поэзия. Я любил и многих других поэтов, даже слишком многих, но их пробу определял по эталону Пастернака. У меня не было никаких сомнений в праве на свидание с предметом моей первой любви, но была робость. 29 января 1956 года я провел несколько часов с Пастернаком. Мне было восемнадцать лет, и я все время думал: "Сегодня самый значительный день моей жизни".

Сам я свою робость никогда бы не преодолел. Именно из-за того, что я рос в писательской среде, где посмеивались над назойливыми обожателями, я бы не решился появиться перед Пастернаком в этой комичной роли. Но у меня были друзья — Леонид Виноградов, Михаил Еремин, Владимир Уфлянд, талантливые юноши, они разделяли мое преклонение перед Пастернаком, но не страдали моим глупым комплексом. Дорогу проторил Еремин. Он был — бывал — у Пастернака неоднократно. Я про- сил его написать воспоминания для настоящего сборника. Это не получилось, но я, с разрешения автора, процитирую отрывок из недавнего письма Еремина, как мне кажется, очень выразительный.

То немногое, что сохранилось в памяти, — это все как бы вне его, около, рядом, снаружи.

Взгляд, обращаемый им на собеседника без поворота головы.

Узкая улыбка.

Жест сожаления локтем болевшей руки: "Подайте друг другу польта"[46].

Движение бедра, указывающее на сломанную в юности — упал с лошади — кость голени: неспроста вновь стала побаливать.

Недолгие слезы над клавиатурой, одно плечо чуть ниже другого.

Дом его, из тех строений, которые некрасивы только потому, что на одно из них ты обратил внимание. Бывал я там, пожалуй, во всякую погоду, но уютным (или теплым) это жилище ощущалось только после вечернего сырого мороза.

Участок для земледельческой гимнастики.

Соседнее владение с призраком, кажется, Тренева.

Наш путь в ту, памятную и тебе, зимнюю ночь.

Частый соучастник наших встреч — Лёня[47] — то восторженно трепетный, то участливо нервный.

Володя Прошкин[48], однажды сопровождавший меня и оставшийся на кухне, где наслаждался свежими в январе (полный таз на столе) помидорами (как сливы — без хлеба и соли) и расспрашивал домработницу, что "кушает" Пастернак.

Неясные, не теперь, а тогда, образы домочадцев, иногда гостей.

Более озабоченные, чем скорбные, лица на похоронах.

Замечательный (— удивительный) человек и автор замечательных (— прекрасных) стихов не совпали, не соединились и остаются для меня скорей клавиатурой и нотной страницей, чем струной и звуком. Вот ведь и машинопись "Доктора Живаго" (сколько было машинописных экземпляров?), данную

Борисом Леонидовичем нам с Леней (на все лето), я так и не прочитанной вернул осенью О. Ивинской.

Помнится быстрый случайный выбор одного из привезенных мной рисунков (быки)[49] и снисходительность к короткой — кому, дата, кто — надписи. Однако внимательность к стихам: "Будет куплена новая мебель" — конец категорически указан Пастернаком, отброшено несколько лишних строк[50]. Спрашивали меня в университете Лос-Анджелеса: как относился Пастернак к моим стихам?

Всегдашняя влюбленность его в Маяковского и тогдашняя моя: наше поочередное через строчку (через ступеньку, через пролет) громкое чтение (выкрикивание) из поэмы (Какой? "Человек"? "Про это"? "Флейта-позвоночник"? — Не помню)[51] — но в эти годы уже были написаны первые мои стихи, которые, ну,

хотя бы декламировать вдвоем сложно, несмотря на "двух- и трехголосие" многих. Словом, Борис Леонидович предугадал, как будет: считанные любят мои стихи и уважительно-холодно к тому, что я делаю, относится большинство моих немногочисленных читателей.

Но ведь все это не про Бориса Леонидовича, а про себя.

На зимние студенческие каникулы Виноградов и Еремин собрались в Москву, и я увязался за ними. Главной целью поездки был поход к Пастернаку. Отправлялись к Пастернаку, не испрашивая разрешения (которого никогда бы не получили), наудачу. Почему-то это в том возрасте не казалось нахальством.

Вечером, сидя на койке в общежитии МГУ на Воробьевых горах, где мы остановились, я попытался записать ошеломительные впечатления дня.

29.1.1956 г.

Примерно с 7.30 до 2 н. 30 м.

Как ни стараешься удержать в памяти это лицо, оно все время ускользает. Сегодня еще ясно представляешь себе то одно, то другое его движение, поворот, но завтра это забудется, это забывается уже сейчас. Описание лиц детально — вещь бесполезная, но все-таки две характернейшие детали: по обеим сторонам рта припухлости — желваки, которые с выдающимися скулами создают характернейшую линию его ан- фаса — что-то лошадиное, — говорит В. Вообще, как на портрете в издании 1936 года, только волосы не густые черные, а редкие серовато-седые; и еще: там ощущение коренастой сильной фигуры, там — это чуть ли не боксер, борец, а здесь все стало старческим; тело хилое, он невелик ростом — с меня или поменьше, руки все время непринужденно и красиво жестикулируют, но заметно дрожат.

Но главное, что поразило меня сначала, — это выражение его глаз. Собственно, все остальное, что он говорил, было предполагаемо, но глаза, по моим предположениям, такими быть не могли, и это меняло все дело, вкладывало в каждую фразу новый смысл, не тот, который я уловил бы в письме или в телефонном разговоре. Вместо ожидаемого, описанного Ереминым взгляда поверх, вместо тяжелого и мудрого взгляда моих предположений, это были веселые глаза, жизнерадостные глаза, даже с иронией веселой.

Мы шли к нему со станции долго. Было очень солнечно и очень морозно, градусов тридцать. От холода мы почти бежали, очки у меня совершенно запотели и замерзли, я ничего не видел, нос, уши, ноги — ныли нестерпимо. Может быть, поэтому мы не

долго топтались у калитки, а быстро кинули по морскому счету, кто идет первым (вышло Еремину), и пошли. Дача довольно большая, двухэтажная, с верандами одна над другой. Еремин постучал в дверь — приоткрыли.

К Б.Л. можно?

Сейчас посмотрю, — (женский голос) — они, кажется, собирались уходить, если не ушли…

Мы остались ждать на крыльце. Безусловно, он дома. Не хо-242тят пускать, сволочи. Мы совсем околевали от холода.

Неожиданно быстро маленькая домработница вернулась: "Проходите, пожалуйста". И еще что-то вроде: "Ваше счастье…" Мы быстро прошли через какую-то кухоньку, какую-то комнату и очутились в маленькой прихожей, куда он вышел нас встретить.

В первую минуту он казался совсем незнакомым, старым, главное, незнакомым. Он начал говорить с Ереминым и с нами: "А, это вы… Напрасно вы приехали… Черт вас побери, такой холод, вы так легко одеты". И растворил дверь в маленькую комнатку. Там две лежанки в противоположных углах, низкое дорогое зеркало, стол плетеный с плетеными креслами (я вспомнил вдруг — Ялта, Чехов, мемуары), еще один стол в углу, старинный. На стене большая увеличенная фотография улыбающегося красивого мальчика лет 11-ти.

Он усадил нас на стулья и сел сам на тахту, что ли, напротив. Он говорил, улыбаясь и беспорядочно. Мелькнули в голове слышанные фразы: "Впал в мистицизм, в религиозностью маразм". Действительно, в нем есть что-то от юродивого — это улыбка, сбивчивость (вначале), каша во рту (немного). Еремину:

Так это и есть те ваши друзья, преследуемые?

Да так, это некоторые из них[52].

Да, вы напрасно ко мне приехали. Я очень занят. Такой мороз. Работайте, пробивайтесь. Я страшно занят, это не как говорят, а действительно, приходится работать очень много, бывают минуты, когда я живу физически вне времени, это не может быть, но… Переводы, роман…

Я не старался и не мог запомнить последовательного хода разговора, собственно, разговора не было, как он сам сказал, он произносил короткие монологи. Время от времени Виноградов ставил такие общие вопросы, значительно реже говорил я, Еремин молчал. Он смотрел, в основном, на Виноградова, добродушно, на меня поглядывал, как мне показалось, иронически. Я изложу дальше основные его мысли.

…Работать приходится страшно много. Переводы, переводы. Вот молодые национальные поэты осаждают, просят перевести <…>

Последняя страничка моих записей начинается с фразы, которую он повторил, помнится, несколько раз: "Я противоположен вам, не поймете.."; дальше — конспект.

Пронумеровано девять "монологов". Это уже не что говорил нам Пастернак, а о чем он говорил. Расшифровываю конспект этих фрагментов по памяти (в кавычках — записанные выражения Пастернака).

1. Страшная занятость. Семья большая. Поэтому приходится много переводить. И много времени уходит на роман. (Что Пастернак пишет роман, было для нас новостью; естественно, мы спросили, "про что".) О "лишних людях, о рабочих, о лавочниках". Даст почитать, когда перепечатают. Там "больше, чем в Сестре…". (Понадеявшись на память, я записал только начало фразы, но чего в романе больше, чем в "Сестре моей жизни",увы, не помню.)

2. Malia[53], Хлебников, Маяковский, Есенин, Сурков, Щипачев, Сельвинский, Асеев.

На мою банальную просьбу назвать хороших поэтов Пастернак дежурно ответил первыми тремя именами. Потом вдруг назвал Суркова и Щипачева, сказав с жаром, что это тоже нужно, у меня записано: "идеализация тоже нужна". Мы спросили его о Сельвинском и Асееве, которых ценили высоко. Об одном он, судя по моей записи, сказал "исписался", о другом "<этот> хуже", но что о ком, не помню, да и как-то это не имеет значения.

На наши поползновения показать ему стихи, даже не свои, а отсутствующего Уфлянда, категорически замахал руками: "Я в этом ничего не понимаю… Мне присылают, но я все передаю Чуковским…"

3. Хвалил фильм "Чужая родня" — смотрел по телевизору. (Из колхозной жизни, сценарий Тендрякова, молодой Шукшин среди исполнителей.) "Нужно, чтобы жизнь была похожа". Вспомнил первый съезд писателей, а потом заговорил о своей поездке в Париж на конгресс деятелей культуры. "Я перед этим год не спал, был психически болен". 4.0 терроре. "Я думал, это право государства защищать себя"[54]. Но потом арест Тухачевского. Подпись. (Всем известную ныне историю, как он требовал снять свою подпись, подложно поставленную под письмом советских писателей с одобрением казни Тухачевского, Пастернак рассказал как-то невнятно, я не все тогда понял, во всяком случае, не оценил весь героизм его поступка.) Исчезали соседи, один за другим. Пильняк. Гибель грузинских поэтов (Табидзе и Яшвили) — страшный удар. "Повестка к прокурору" (не помню, к

чему относится эта фраза: то ли еще к тридцать седьмому году, то ли его вызывали к прокурору уже теперь, по поводу чьей-то реабилитации).

На вопрос об издательских делах: в литературном альманахе будет стихотворение "Рождественская звезда" (видимо, предполагалось напечатать в "Литературной Москве"). "Бог даст роман <прочитаете>". Готовится однотомник. Перевод (или постановка?) "Макбета".

На мой вопрос о том, кто особенно повлиял на него в юности, ответил, не задумываясь: "Отец". Потом назвал Гамсуна, Пшибышевского, Блока, Белого, Ван Гога ("была выставка")[55]. Прибавил к списку друзей — Асеева, Боброва.

Боброве еще сказал: "Хилое дарование".

С кем водится? С писателями мало. Друзья по большей части артисты, Ливанов, например.

На серию вопросов о любимых писателях и поэтах. "Вам сейчас нравится Хемингуэй, но у нас был Пильняк". Очень восторженно о Чехове. От него Дос-Пассос и все, "скажем, импрессионисты". Очень высоко отзывался о Джойсе. Виноградов вставил: "Моэм". Пастернак удивился: "Моэм? Но это совсем другое дело". Хвалил Кэтрин Мэнсфилд. О западных поэтах. "Лучше всех Оден"[56]. Парономастически объединил Элиота и Элюара и отозвался о них не совсем понятно — "вывески". (Впрочем, может быть, "вывески" относилось к тому, что я или кто-то другой употребил слово "сюрреализм"; помню в этой связи также, что он раздраженно говорил, что его сравнивают с западными модернистами, например, с Оденом и Спендером, и что это чепуха.)

Что его много переводят на Западе. Упомянул подстрочник (сделанный им самим?) к "О, если б знал, что так бывает…". На мое изумление, как же можно перевести его звукопись, сказал почти раздраженно: "Звучание, рифмы, ритм — вся эта моя тягомотина…"[57]

Снова о переводе "Макбета". "Куски вам понравятся, а куски у дивят".

В конце у меня записано: "Женщина в штанах. Ливанов. "Извините!4 Мы сидели у Пастернака уже два с лишним часа. Вполне отогрелись, заслушались, а он, казалось, все бы говорил, но за окном показались люди — знаменитый актер МХАТа Борис Ливанов и высокая женщина в спортивных штанах, видимо, его жена. Борис Леонидович сказал: "А вот идут Ливановы с коньяком!" Начал извиняться, что, мол, наше время истекло. Ливановы вошли, ужасаясь морозу, дама даже потрогала худые виноградовские ботинки — как это он ноги себе не отморозит.

Мы попрощались.

Что еще я запомнил, помимо записанного?

Помню, что в связи со своим психическим состоянием в 30-е годы Пастернак подробно рассказал нам то, что теперь все знают, а тогда мы слышали впервые, — о телефонном звонке Сталина ему по поводу Мандельштама. Покаюсь, что тогда я воспринял это совсем не так, как воспринимаю теперь. На меня произвел впечатление факт возможного, но несостоявшегося разговора "о жизни и смерти" между Пастернаком и Сталиным, чем повод к разговору, Мандельштам и его судьба, это казалось менее значительным. Я уже знал опубликованную поэзию и прозу Мандельштама, но мне было восемнадцать лет, и понадобилось еще пожить, чтобы на вершине моих представлений о новой русской поэзии навсегда укрепились Мандельштам и Ахматова, отодвинув милого московского гения чуть в сторону.

Помню момент в разговоре, когда Борис Леонидович, вспоминая о своих переживаниях в Париже в 35-м году, сказал: "Я чувствовал себя как тот, знаете, спартанский мальчик, который украл лисицу, спрятал ее под хитоном и на допросе молчал, пока лиса выедала ему внутренности". "Знаете" было, конечно, употреблено как междометие, но я, заслушавшись, неожиданно громко крикнул: "Знаю!" Пастернак весело взглянул на меня, и я сконфузился на манер какого-нибудь подростка у Достоевского.

Сельвинский

Отогретые Пастернаком, мы опять застыли по дороге на станцию и в электричке. На Киевском вокзале поели в ресторане горячей селянки. Теперь надо было покурить для полного кайфа. В табачном киоске продавали прежде невиданные желто-зеленые пачки половинного, на десять сигарет, размера — "Ароматные". Закурили "Ароматные" и подумали, что это как заграничные сигареты, которых нам до того куривать не приходилось. И тут за стеклом соседнего газетного киоска увидели большую обложку журнала с абстрактным изображением! Абстракционизм представлялся пределом творческой свободы. Неужели это уже и у нас возможно — ароматные сигареты, абстрактные картины? При ближайшем рассмотрении картина оказалась все же предметной. Просто мой еще не натренированный на очень условную графику глаз не сразу разглядел в этой сине-белой композиции изображение лыжника. То был самый первый номер журнала "Польша", издававшегося на русском для советских читателей.

Сигареты, отдающие дешевой парфюмерией, и скучный журнал я было принял за зарю свободы, но ненадолго.

На следующий день мы пошли в Лаврушинский переулок к Сельвинскому. Крепкий, коренастый Илья Львович нас охотно впустил и был очевидно доволен паломничеством молодежи. Попросил нас почитать стихи. Потом долго и охотно говорил. Его заинтересовала наша встреча с Пастернаком, о котором он выразился невнятно в том смысле, что Пастернак отгородился от жизни и ничего не понимает в нашей советской действительности. Вот он сам не только не отгородился, но чувствует прямо-таки физическую потребность быть в гуще жизни. Даже иногда специально в самый час пик спускается в метро, чтобы его давило и несло людским потоком. Мы затеяли наш обычный тогдашний разговор "Как вы относитесь к…". Помню только, что он сказал про Асеева: "До сих по разделяет мир на красных и белых" (в том смысле, что Асеев, конечно "наш", но цветущей сложности победившего социализма не понимает) И с неожиданной искренней злобой про Твардовского: "Подкулачник. Отец у него был кулак".

Почему мы пошли к Сельвинскому? (Сейчас, когда я пишу это, Сельвинского почти не вспоминают, даже в щедрых перечислениях поэтических талантов XX века я его имени не встречал.) А для нас золотым веком были "20-е годы". Не

"серебряный век" (само это понятие мы узнали позже), но при всем нашем знании и любви к символистам, "декадентам" и, конечно, футуристам, именно 20-е годы были для нас неотразимо привлекательны. И, как это бывает, когда любят не отдельных ее представителей, а самое эпоху, интересными и значительными представлялись даже те, кто катастрофически мельчал в большой перспективе. Для меня же с детства поэзия 20-х годов, а заодно и в целом 20-е годы представлялись в особо романтическом ореоле, поскольку именно там были источники постоянного маминого, не всегда точного, но всегда восторженного, цитирования — из Тихонова, Инбер, Антокольского, Багрицкого. Но особо восхищалась она Сельвинским. Особо ценила его затрепанные книжечки. У меня сохранилась только "Улялаевщина", второе издание, 1930 года. Самую интересную, "Записки поэта", с якобы кубистическим портретом выдуманного поэта Евгения Нея на бумажной обложке, я продал в минуту жизни трудную вместе с другими раритетами нью-йоркскому коллекционеру русского авангарда, букинисту и литератору-дилетанту Артуру Коэну. Внутри "Записок поэта" была "книжка в книжке" — стихи Евгения Нея. Спрятавшись за выдуманного богемного поэта, Сельвинский опубликовал серию авангардистских стихотворений. А еще в "книжке в книжке" была вклейка, которую можно было развернуть, она изображала дверь уборной в ресторане Дома Герцена, исписанную эпиграммами: "Маяковский, довольно спеси! Вас выдал химический фокус — от чистого золота песен на зубах не осядет окись" и т. п. К эпиграмме на Маяковского было примечание: "Основатель футуризма начинал заживо бронзоветь, этот процесс начался у него с зубов". Вот я и сейчас помню эти тексты, так же как и строки из "Улялаевщины" и стихов Евгения Нея. Нет, там на самом деле было много талантливой выдумки. Еще мама ценила книжечку "Ранний Сельвинский", довольно наглое издание. Такой важной литературной фигурой чувствовал себя Сельвинский в 20-е годы и так все с его статусом соглашались, что он составил сборник своих ювенильных стишков и его издали. Но в стихах 20-х годов у него интересно и весело открываются какие-то совсем нетронутые жилы русской версификации. По-настоящему то, что застолбил тогда Сельвинский, — "тактовый" стих, новые способы рифмовки освоил и разработал только Бродский полвека спустя. Еще в чем они схожи, это в склонности театрализовать стих: прятаться за экзотическими масками, выдумывать экзотические сюжеты. Потенциально Сельвинский мог стать чем-то вроде Брехта, но не стал ничем. Он думал, что его сдавливает и несет могучий поток истории, а его, как и многих других, просто придавили и

растерли кирзовым сапогом. То, что мы увидели, была плоская бледная тень амбициозного авангардиста 20-х годов.

Он был учителем Ахмадулиной в каком-то литобъединении. Ахмадулина тихо похвасталась: "Сельвинский прислал мне письмо. Он написал: "Я обвиняю Вас в гениальности"". Не отсюда ли высокопарность, которая так захлестнула с годами поэтессу. Кстати, о женских стихах Сельвинский нам сказал, как бы экспромтом, но очевидно довольный случаем процитировать давно придуманный афоризм: "Есть женские стихи, написанные кровью сердца, а есть написанные менструальной кровью". Выйдя из лаврушинского дома, мы сошлись во мнении, что Сельвинский неумен.

Мне было немного жаль соглашаться с тем, что Сельвинский неумный, потому что, оценивая наши стихи, он выделил мои, а это было крайней редкостью, собственно говоря, я вообще не помню, чтобы мои тогдашние стишки хвалили, если я решался читать вместе с Кулле, Ереминым, Уфляндом, Кондратовым, Рейном, Горбовским, Кушнером, Британишским, Агеевым. Виноградов или, скажем, Бобышев и я были как бы вторым рядом, за которым, правда, шли еще и третий, пятый и двадцать пятый. Обесцененная похвала Сельвинского ("Мне особенно понравились стихи Лифшица"), наряду с другими переживаниями и соображениями, помогла мне, как я теперь понимаю, прекратить соваться со своими стихами, а вскоре и перестать писать.

Каспийское море

Главная русская река течет не в океан, а в большое, соленое, загаженное нефтью озеро. Переплывешь озеро — упрешься в Персию, скучный тоталитарный ад. Я не бывал на каспийском берегу Дагестана и Азербайджана. В начале лета 196… года был в Астрахани, где даже водка отдает хлоркой, но все равно пьешь с опаской: не дремлет ли и там вибрион холеры? Главный исторический памятник — белая колокольня. Главное событие в истории города — с белой колокольни разбойники Стеньки Разина сбрасывали людей. Татары из обкома комсомола пригласили покататься на катере по дельте. Быстро приплыли на заросший остров, сели на мокрую траву и стали пить хлорную водку.

Опрокинув стакан, татарский комсомолец пошутил: "И как только ее татары пьют!" Под вечер прилетели в самый грязный город Земли — Гурьев. Убогий печальный закат. В меркнущем свете новые, грязные, кое-как покрашенные крупнопанельные общежития. Ужины в душных, темноватых, нечистых столовых. Всюду в меню главное блюдо — толстый кусок жирной осетрины с жареной картошкой. Окна открыты, но оттуда тянет не прохладой, а духотой и влетает толстое, коричневое, сантиметров двенадцать длины, наводит ужас на приезжих — тыкается в волосы. Местные говорят: "Жужелица". Похоже на летающую какашку. Совсем уже пустыня, восточный берег. Форт Шевченко — песок, из песка растет толстое дерево. Легенда: "Шевченко посадил". Завтракали в чайной жареной осетриной. За соседним столиком пили водку и негромко разговаривали средних лет русский и молодой казах. Казах вдруг заплакал, встал и ушел, всхлипывая. Русский остался сидеть, полуулыбаясь. Казах скоро вернулся с пустым реечным ящиком из-под водки. Подошел к русскому и с размаху ударил его ящиком по голове. Ящик разбился, из головы потекла кровь. Русский продолжал сидеть с полуулыбкой. После Форта Шевченко — город Шевченко на полуострове Мангышлак. Мираж, оазис — "спецснабжение": польское пиво, детские площадки с раскрашенными деревянными слонами. К этому времени мы уже совсем забыли, зачем сюда приехали. Единственное дело осталось — следить, чтобы наш третий товарищ, собственно говоря главный среди нас, не упился до смерти. Он запил еще с Астрахани — татары- комсомольцы попутали. В неопределенной попытке придать путешествию хоть какой-то смысл я приволок его ранним утром на автобазу. Моя

смутная идея была проехать через местную Долину смерти, впадину ниже уровня моря. Это могло потянуть на приключение, можно было описать. Местные сказали: "Подойдите с утра на автобазу, договоритесь с шоферами". Не знаю как, но мой невменямый товарищ раздобыл на автобазе бутылку бормотухи и, отойдя за цистерну с соляркой, выпил из горлышка, сел на скамейку и улыбался все лучезарнее по мере того, как его нагревало поднимавшееся над пустыней солнце. Шоферы смотрели на его улыбку и отказывались нас брать. Полетели в Красноводск. Сверху было видно, что воды в Мангышлакском заливе нет. Поблескивающее пятно грязноватой соли.

<Инфаркт>

Спасительная рана

Я лежал на детской кровати, и на уровне моих глаз была нижняя часть карты — североафриканская пустыня. И фельдшер неотложки, и затем докторша скорой помощи, и врачи в больнице, все спрашивали, насколько сильна боль. Я боялся, что они бросят спасать меня, но все же отвечал честно, что боли нет. Есть только сознание, что мне приходит конец. Я бы мог сказать им, что чувствую в груди сильную и уверенную руку. Рука взяла мое сердце в свою ладонь и сжимает его нежно и мощно. Вслух я этого не говорил, боясь недоверия медработников к метафорам.

Это сжимание началось на застуженной серо-декабрьской улице возле магазина-стекляшки и ни на миг не ослабевало, только порой задерживалось усиление, пока я кое-как добирался до дому.

Все же настоящий ужас — не тела, а сознания — пришел позже, в первые дни на больничной койке, с коей вставать не разрешалось. Мысль тыкалась, ища лазейки, но стена ужаса была со всех сторон.

С чего началось исцеление? Я сделал усилие вступить в диалог с самим собой. Что это там сделалось у тебя внутри? Ну, такая дырочка в задней стенке правого желудочка, а вокруг нее небольшое пространство омертвелой ткани, как всегда бывает вокруг раны. Слово "рана". Так, как если бы маленькая пуля пробила мне то же самое место в сердце. Ты ранен в заднюю стенку правого желудочка.

Подумав, что между моей болезнью и пулевым ранением нет разниц я перестал бояться.

Шрам

Не было только шрамов снаружи. Но они не замедлили появиться. Однажды вечером пришла ко мне моя докторша с целой коробкой пузырьков. Не знаю, практикуют ли это теперь при лечении инфарктов, но тогда делали новокаиновую блокаду. Собственно говоря, это было не лечение: грудь в области сердца обезболивали, чтобы на время убрать волнующие больного ложные сигналы. Что-то около двадцати уколов образовывали круг, центром которого был левый сосок.

Иосиф пришел навестить меня на следующий день, и этот круг произвел на него сильное впечатление. Он даже перед уходом попросил дать поглядеть еще раз. (Мои тогдашние шрамы

не шли ни в какое сравнение с тем, что ему предстояло показать мне на своей груди лет десять спустя.) Иосиф уезжал в Ялту. Он принес мне рождественский рисунок-коллаж — верблюды волхвов были вырезаны из пачек "Кемела".

Знание

Перед Новым годом стали возвращаться нормальные ощущения, прежде всего брезгливость. Меня угнетала немытость моего тела и мерзостность тюфяка под тонкой больничной простынкой. Мне все еще не разрешалось ходить, так что, к большому неудовольствию девяти соседей по палате, мне приносили суденышко. Все девять на время процедуры прерывали домино, чтение, разговоры и выходили в коридор. Санитарка открывала форточку и оставляла меня сидеть. Облегчившись, я вскарабкивался на койку. Судно уносили. Соседи благоразумно выжидали в коридоре минут десять-пятнадцать, прежде чем вернуться в палату.

Так я получал минут двадцать одиночества в сутки. Я лежал и смотрел в открытую форточку. Было видно немного серого неба — декабрьского, январского — и ветка, то черная, то в снегу. Иногда на ветку садилась синица. В голове было пусто, как будто санитарка в той же посуде вынесла и последние мысли. Однажды из пустоты вдруг взялось знание: все, что со мной случилось, есть результат накопившейся за тридцать три года лжи.

Хочу уточнить, что это было не раскаяние, не угрызения совести, вообще нечто внеэмоциональное — чистое знание. Даже удивления не примешивалось к этому ниоткуда взявшемуся, словно через открытую форточку влетевшему вместе с сырым и холодным воздухом, знанию. И драматизма не было, хотя бы потому, что никакой такой особенной лжи я за собой не припоминал. Так, маленькие хитрости из разряда простительных время от времени. Порой не полная искренность, да и то только чтобы не портить компанию или не обострять домашние отношения. Но частью пришедшего со стороны ветки и синицы знания было то, что все эти ничтожные лжи накопились, доросли до критической массы, и я чуть не умер. После этого мне некоторое время не хотелось лгать.

Народ в палате менялся, я постепенно пережил всех там. Все были люди простые, занятные. Запомнился гипертоник мясник Куров. Выдаваемые ему лекарства он разделял на две кучки: желтенькие считал витаминами и ел, а остальные выбрасывал. Тумбочка у него была набита жареным и вареным мясом, птицей-однофамилицей, все это он запивал молоком и заедал кислой капустой. Он оглушительно и разнообразно тарахтел по ночам, за

что его постоянно упрекали, но он лишь улыбался. Врачи говорили ему, чтобы ел поменьше: "Вам необходимо похудеть". Когда обход заканчивался, Куров злобно ворчал: "Подохнем, тогда похудаем", — и открывал свою пахучую тумбочку.

Был очень симпатичный веселый Смирнов, шофер заправочной цистерны из аэропорта. Он знал много фольклора. Когда кто-то выписывался, Смирнов напутствовал: "Ну, ты там передай нашим, что мы тут на хуях пашем, на твоем хотели, да хомута не нашли".

Будущее!

Теперь я могу сказать так: в те дни я на время утратил страх, желание лгать и будущее. Последнее было утрачено в каком-то неврологическом смысле, как иногда в результате травмы или болезни теряют чувство равновесия. Пока есть, его не замечаешь.

Утрату чувства будущего я обнаружил неожиданно. Я заметил, что, когда навещавшие меня говорят "завтра", "в пятницу", "через месяц", у меня нет внутренней реакции на эти слова. Словно бы мне ампутировали какой- то призрачный, но все-таки принадлежащий мне орган.

Потом мое будущее, как тень у Петера Шлемиеля, стало помаленьку отрастать. Но и сейчас мне кажется, что оно у меня не такое хорошее, как у других людей.

Улыбка

Убедившись в том, что то, что я думаю о своем физическом несчастье, важнее, чем само несчастье, я, как водится, стал интересоваться разными психотерапиями. Из популярной в то время книжки Владимира Леви я почерпнул много полезных советов. Например, Леви рекомендовал американское keep smiling: улыбаться, когда становится плохо. Дескать, если улыбка — мускульная реакция на положительные ощущения, то цепочка должна сработать и в обратном направлении. Иногда, просыпаясь ночью от стенокардии, я вспоминал про улыбку, и вроде бы легчало. Постепенно это стало у меня очень стойкой привычкой, хотя я не раз замечал, что людей раздражает моя ухмылка в неподходящие минуты.

Иосиф выполняет поручение

Папа с Ириной Николаевной в то время были в Ялте, в Доме творчества, и на отправлявшегося туда же Иосифа была возложена миссия как можно деликатнее сообщить отцу о моем инфаркте. Ирина Николаевна рассказывала потом, как это было.

Иосиф вошел к ним в комнату с видом не скорбным, а как бы

уже за пределом скорби, с тем выражением трагической резиньяции, которое иногда появляется у него на лице при чтении стихов, и рыдающим голосом сказал: "Владимир Александрович, Леша в больнице…"

Отъезд

В предотъездный год я впервые читал Чаадаева. В букинистическом магазине ко мне подошла бедно одетая дама и вполголоса предложила купить книгу. Дорого — за сорок рублей. Это был Чаадаев Шаховского. Я купил. (Надо ли напоминать, что Чаадаев в СССР уже десятилетия не издавался?) Около этого же времени в ЖЗЛ вышла книга Лебедева о Чаадаеве. Летом 1975 года в Ужканавесе я читал ее вслух отцу. И вот что мне в связи с отъездными размышлениями запало в память. Чаадаев говорит, что вообще-то путешествовать не стоит, но если уж путешествуешь, то, может быть, найдешь дыру, чтобы проникнуть в самого себя.

Он оказался прав. Дыра свободы, я в нее нырнул и нашел самого себя. Не бог весть какой Маргарит, но какое ни на есть я прояснилось.

В том же году осенью мы с Юрой Михайловым долго ходили мимо опустевших уже комаровских дач и он как всегда говорил, говорил. Его едва ли не больше, чем меня самого, волновал мой отъезд. И вот он сказал: "Куда бы ты по Земле ни передвигался, ты всегда останешься в капсуле себя самого, своих страхов и комплексов". То есть нечто противоположное Чаадаеву. Это звучало угрожающе и убедительно, но к моему частному случаю Чаадаев оказался более применим.

Отъезд требовал изрядной смелости и решительности, и я стал решительнее и смелее, чем был. Это были новые ощущения, приятные до головокружения. Отсюда веселый оттенок всего, что происходило в последние четыре месяца, иначе это могло бы стать тяжелыми мытарствами.

Смешнее всего было с военкоматом. Через несколько дней после того, как мы подали прошение об эмиграции, пришла повестка явиться в военкомат. В былые времена я просто не являлся. Если приходили на дом, то Нина говорила: "Он в командировке, вернется через месяц". Иногда, обнаглев, я и сам это говорил. Таким образом я ухитрился за шестнадцать лет после окончания университета ни разу не попасть на сборы. Но, объявив о намерении покинуть социалистическое отечество, человек становился отщепенцем, на которого обращен гневный взор государства, и играть в прежние игры было бы опасно. Надо было идти. Шел я туда с трепетом, ибо слышал истории о том, как собравшихся эмигрировать нарочно забирали в армию на три года. А после трех лет обязательной службы ты считался

причастным к военным секретам, и об эмиграции можно было забыть.

Пришел, ждал в темном коридоре, разглядывая молодцеватых солдат на плакатах и вспоминая свои два месяца службы в студенческие годы — вонь портянок и вкус гороховой каши со ржавой селедкой. Наконец позвали в кабинет военкома. Полковник встал из-за стола и сказал: "Поздравляю с присвоением очередного воинского звания — лейтенанта". До того я числился, как и все мужчины по окончании университета, младшим лейтенантом запаса. Я вспомнил, что надо сказать, и сказал: "Служу Советскому Союзу". Вроде бы я ему еще служил, еще не ушел со службы в "Костре", но уже дослуживал последние дни.

А через два месяца, когда разрешение на отъезд было получено, опять пришлось идти в военкомат — сдавать военный билет, сниматься с воинского учета. К окошечку, где ставили на учет и снимали с учета, стояла довольно длинная очередь разнокалиберных мужиков. Когда я добрался до окошечка и заглянул в него, то увидел там криволицую грымзу неопределенного возраста, но определенно злобного вида. Я протянул ей военный билет и написанное по форме заявление с просьбой о снятии с военного учета "в связи с выездом на постоянное жительство в Государство Израиль". Увидев мою бумажку, тетка тут же принялась пронзительно вопить: "Продажные! Государство на них деньги тратило, учило, а они бегут, как крысы!" В очереди за моей спиной прекратились разговоры — все прониклись напряженным вниманием. А из двери внутреннего помещения за спиной тетки вышел какой-то офицер. Вернее, не совсем вышел. Он был необыкновенно тучен, и мне показалось, что он застрял в дверном проеме. "Полюбуйтесь, — визжала злобная учетчица, — в Израиль собрался! Думает, его там златые горы ждут!" "Да, насмотрелся я на таких в Канаде, — меланхолично сказал толстяк, — никому не нужные, без роду, без племени…" И втиснулся обратно в свои внутренние покои.

Все это время я уговаривал себя: "Терпи, не говори ни слова, рано или поздно она оторется и сделает что надо, куда она денется?" Но она все не могла угомониться. Почему-то основной мотив ее воплей был: "Кому ты там нужен!" И вдруг как бы со стороны я услышал свой собственный голос: "Вы ошибаетесь, хорошо подготовленные, обученные офицеры в Израиле очень нужны". Я, теперь уже сам дрожа от злобы, четко выговаривал эти слова, но в то же время, совсем как Анна Каренина, думал: "Господи, что же я делаю!"

И вдруг повисла пауза. Тетка в окошке словно захлебнулась на крике. И уж совсем к моему изумлению быстро что-то зачиркала, протянула мне открепительную бумажку, изобразила подобие улыбки своим кривым ртом и сказала: "Пжжлста!" Я взял бумажку, повернулся на каблуках и под любопытными взорами очереди пошел к выходу едва ли не строевым шагом.

Только уже на улице я понял, что произошло. Услышав мои слова о необходимости присутствия хорошо обученного советского офицера в Израиле, она решила, что меня туда посылают. Вроде как ее тучного начальника посылали некогда в Канаду.

Перед отъездом меня не только повысили в воинском звании, но и наградили. Как-то вечером мы уже буквально сидели на чемоданах, а в углу верещал телевизор. И вдруг из угла донеслось: "…первой премией Ленинградского обкома комсомола отмечена "Песня ленинградских кораблестроителей"…" За несколько месяцев до того Саша Журбин, который тогда хватался за любую работу, попросил меня сочинить текст для песни на конкурс. Я сочинил, а потом за своими хлопотами и думать о том забыл. И вот как бы вдогонку уезжающему автору из угла неслось:

И по дорожке, лунным светом залитой,
Его проводит в путь кораблик золотой.
Из лунного света
Кораблик над шпилем.
Попутного ветра,
Шесть футов под килем
Желает всем кораблик, кораблик золотой.

(Мелодия была почему-то слегка кабацкая, но, может быть, потому и понравилась комсомольскому жюри.)

Помимо вышеупомянутых отличий, я еще на прощание получил фонарь под глазом. Для оформления виз, выездной из СССР, транзитной австрийской и израильской, полагалось явиться в МИД, австрийское и голландское посольство. Голландское потому, что дипломатических отношений у СССР с Израилем не было и интересы еврейской страны в Москве представляли Нидерланды. И вот в самом конце января 1976 года мы с Ниной должны были съездить в Москву. Вечером перед отъездом у нас был Миша Мейлах. Когда подошло время, мы с Мишей пошли на улицу ловить такси. Стратегически разделились — он остался на той стороне, где машины шли из центра, а я перешел на ту, где шли в центр. Мне повезло первому, с моей стороны показался зеленый огонек. Я замахал рукой, машина

остановилась, я стал открывать дверь, и тут меня окружили трое молодых парней. Вроде бы они тоже претендовали на это такси. Но почему-то удовлетворились тем, что один из них дал мне в глаз. Очки полетели в сторону, но не разбились. И таксист не уехал. И нападавшие скрылись в ночи.

Среди прочих обрезаемых связей с родиной полагалось еще и отключить телефон и получить справку о том, что по счетам телефонной станции уплачено и телефон отключен. Но как же без телефона в напряженные предотъездные дни? В исключительно толковой самиздатской "Памятке", распространявшейся среди эмигрантов, была инструкция и по этому поводу: дать взятку чиновнице на телефонной станции — духи, или колготки, или коробку конфет. До этого я никогда в жизни не давал взяток. Но делать было нечего, с портфелем, в котором лежала коробка дефицитного финского шоколада, пришел на телефонную станцию и, пролепетав: "Это вам", протянул шоколад соответствующей тетке. Она мгновенным манием руки смахнула подношение в ящик стола и ту же выдала мне справку. Отныне телефон считался у нас отключенным, но на самом деле исправно работал. 11 февраля мы улетели, оставив ключи от квартиры Наташе Шарымовой, чтобы она сдала их в правление нашего жилкооператива. Но, как нам потом рассказали, у нее их попросил находчивый Миша Мейлах. Еще несколько дней он наезжал в наше опустевшее жилье и вел оттуда долгие дорогостоящие разговоры со своими знакомыми в Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Как-то в журнале "Аврора" я прочитал в воспоминаниях литератора Ивана Сабило о Довлатове: "Собрался уезжать Лосев (Лифшиц) из "Костра". Перед отъездом купил красивый, весьма громоздкий финский мебельный гарнитур — повезет в Америку, там это значительно дороже". Это Сабило действительно подсобило мне перетаскивать новокупленную мебель. Я его почти не знал, я позвал Довлатова и поэта Охапкина, а это уж Довлатов привел заодно и Сабило. Пишет Сабило чушь. В 1972 году у меня и в мыслях отъезда не было. А перед отъездом мебель мы продали. С собой, кроме носильных вещей, увезли только книги. Книг было много, общим весом около тонны. Отправлять их надо было поездом до Триеста, а оттуда уж на корабле в Америку. На товарной станции специальная бригада заколачивала это добро в ящик, один огромный досчатый сакрофаг. Согласно "Памятке" тут тоже надо было дать взятку, но какую именно — не говорилось. Я понимал, что не конфеты, духи или колготки, и протянул бригадиру червонец. Он весело спросил: "Ты как хочешь, чтобы доехало до Триеста или чтоб тут развалилось?" Я сказал, что

хочу, чтобы доехало, и выгреб все, что у меня было, рублей восемьдесят. И надо сказать, что они свое дело сделали честно, сколотили эту домовину для книг на славу. Полгода спустя на лужайке у дверей издательства "Ардис" мы с Карлом Проффером изрядно попотели, раскурочивая ящик, чтобы освободить мои книги.

В то время правило, запрещающее вывоз старых книг из Советского Союза, еще не было введено, и я без всякого труда получил в Публичной библиотеке штампик на все книжки, изданные до 1945 года, "Разрешено к вывозу из СССР". В том числе и на свою небольшую коллекцию футуристических изданий. Этих футуристов (а не финский гарнитур) я в Америке продал, потому что иначе не на что было бы купить машину, без которой никак не обойтись. Расстался я с редкими книжками без особых сожалений: я книги читаю, а не коллекционирую.

Продал и два с лишним десятка акварелей Волошина. Их у меня купил Миша Барышников. А четверть века спустя он подарил их московскому Пушкинскому музею. Себе я оставил одну волошинскую акварельку с видом Карадага и несколько акварелей Лапшина, которые ценю значительно выше. Волошина, Лапшина, небольшой холст Лебедева со свойственной ей щедростью подарила нам И.Н. в тот наш последний, предотъездный приезд к ним в Москву. На эти вещи получать разрешение было уже некогда но папа позвонил соседу-приятелю, Льву Зиновьевичу Копелеву. Лев Зиновьевич был известный диссидент, с международными связями, он тут асе договорился с одним австрийским дипломатом, и на следующий день, получив в австрийском посольстве свои визы, мы поднялись на второй этаж и передали знакомому Копелева увесистый пакет с Волошиным и проч. Австрияк при этом нам подмигивал и почему-то приговаривал: "Коммунизм шагает по планете!"

За исключением военкоматской крысы и таможенника, который уже в последний момент в аэропорту с нескрываемым садистским удовольствием, глядя на наших кашляющих, чихающих, температурящих детей, отобрал у нас детские лекарства, никто в связи с отъездом нас не оскорблял и не обижал. Даже из тех же таможенников попался один очень славный тип. К нему мы должны были явиться за несколько дней до отъезда для досмотра отправляемых за границу книг и личного архива. Он напомнил нам симпатичного чеховского чиновника — очки, бородка, китель внакидку. Книги он просмотрел быстро, приговаривая: "О-хо-хо… Каждый везет, что надо по своей профессии. Вот вы — книги, сапожник…" Он задумался. Я подсказал: "Колодки". — "М-да, колодки…" Архив

наш состоял из груды фотографий. Насчет фотографий были свои идиотские запрещения: вывозить можно было только фото близкой родни. Симпатичный таможенник брал в руки очередную фотографию, и мы с Ниной говорили: "Брат… тетя… дядя… брат…". Эти фотографии он откладывал в разрешенные, налево. Но иметь по сотне дядь и теть было невероятно, и время от времени мы признавались: "Друг". Тогда он со вздохом откладывал снимок направо, в не разрешенные к вывозу. Постепенно слева выросла большая куча, но и справа порядочная. Тут наш таможенник потянулся и сказал, многозначительно взглянув на нас из-под очков: "Мне тут выйти надо на минуту…" И вышел. Нина быстро сгребла фотографии из правой кучи в левую, оставив справа полдюжины каких-то малосущественных знакомых. Вернувшись, таможенник еще поохал немного и сделал вид, что ничего не заметил.

Перед тем как уволиться из "Костра", я должен был явиться на собрание коллектива, а также получить характеристику. Коллектив собрался и угрюмо помолчал минут пять. Характеристику мне выдали нейтральную: работал с такого-то по такое-то, взысканий нет. Была там и такая фраза: "По характеру замкнут, близких друзей в коллективе не имеет". Но я эту необходимую перестраховку понимал и на своих многолетних приятелей- собутыльников не обиделся. А Нине, как нигде не служившей, полагалось явиться за характеристикой на заседание правления нашего жилкооператива. Эту характеристику мы написали сами, члены правления были милы и дружелюбны, а председатель, подполковник, военный летчик, подмахнув подпись, сказал: "Эх, если б мог, да я б отсюда по льду ушел, как Ленин". Перелет за рубеж на МИГе все-таки в его мечты не входил.

В тот последний приезд в Москву оба дня были заняты с утра до вечера разъездами по посольствам и еще какими-то делами, и поговорили мы с отцом в последний раз только уже вечером перед нашим отъездом. Я завел речь о каких-то слышанных мной случаях, когда эмигрантам и оставшейся в СССР родне удавалось устроить встречу на черноморском курорте в Болгарии или Румынии, но папа только головой покачал. Пришло время ехать на вокзал. Папа вышел на площадку. Мы вошли в лифт и поехали вниз, как в крематории, а лицо отца ушло вверх с таким выражением отчаяния, какого я никогда прежде не видел.

В предотъездный вечер, 10 февраля, к нам пришло много друзей и многие остались ночевать, прямо на полу в нашей опустевшей квартире, чтобы на рассвете поехать с нами в аэропорт. Спать долго не пришлось — несколько такси были

заказаны на пять утра. На углу Малой Садовой и Невского я попросил шофера остановиться. Вывел детей из машины и сказал им хорошенько посмотреть направо и налево. Дети были невыспавшиеся, простуженные и возбужденные предстоящим путешествием, так что они вряд ли запомнили этот момент. А я помню, как стянул с головы шапку и вглядывался в мглистую перспективу Невского.

Но как только мы приехали в аэропорт, перехват горла ослаб и исчез, задействовал какой-то мощный защитный механизм и наступило состояние эмоциональной анестезии. Я как бы извне наблюдал за происходящим со мной и спокойно управлял его (моими) действиями: внимательно выслушивал напутствия матери, И.В., Юры Михайлова, Лени Виноградова, о чем-то с ними договаривался.

Потом мы прошли через паспортный и таможенный контроль. Некоторое время до объявления посадки на Берлин мы сидели в зале, над которым было нечто вроде застекленной галереи. Там стояли наши провожающие. Я смотрел на них и думал, что вот так должен чувствовать себя покойник в открытом гробу, то есть смотреть вверх на заплаканные лица и не чувствовать ничего.

Мы выходим после паспортного контроля и сразу же видим Иосифа. Он нас обнимает, у него слезы в глазах. Что-то мы все пятеро говорим, выходя из терминала. Самое первое впечатление — страна великанов! Потому что один за другим проезжают автомобили двадцатиметровой длины (я еще никогда не видел растянутых лимузинов). Мы все еще часть группы. Нас сажают в автобус и везут в какой-то мотель, видимо, в Квинсе. Я держу в руках свой драгоценный американский портфельчик. В нем мои детские дневники, полное машинописное собрание сочинений Еремина, половина Кондратова (другая половина слишком плодовитого Кондратова в чемодане), несколько писем и старых документов, казавшихся мне по разным причинам ценными, и книга Вересаева "Пушкин в жизни". Иосиф где-то едет за нами на своей машине. В мотеле у нас на четверых одна кровать, но тоже великанская, а главное, в изголовье щелка. Опустишь четвертак — матрац начинает вибрировать, подбрасывать лежащих (ничего себе мотельчик!). 75 центов, с которыми мы приехали в Америку, дети тут же пропрыгивают на матраце. Тут подъезжает Иосиф, мы садимся в его рыже- красный спортивного вида форд "Матадор" (он говорил: "Матадорыч") и едем в Манхэттен.

Четырнадцать недель между 11 февраля и 3 июня 1976 года — кажется, единственный период в моей жизни, так отчетливо с двух сторон отчеркнутый: переходом через таможенный контроль в Пулкове, с одной стороны, и ранним утренним перелетом из Нью-Йорка в Детройт — с другой. Между этими датами, включая фантастический вечер 2 июня с Иосифом в Нью-Йорке, итальянское интермеццо, счастливая вымарка, временный выход за скобки жизни. А в ходе жизни мы ушли за таможенную перегородку в Пулкове и вышли из самолета в Детройте в американскую жизнь, которой нас встречали Карл и Эллендея Проффер. Первые год-полтора мы прожили — и тут я затрудняюсь найти верное выражение — под их патронажем? работая с ними? работая на них? постепенно освобождаясь от зависимости от них? В памяти остались и благодарность за помощь и науку, и изумление перед работоспособностью, и обида, а более всего, даже сейчас, много лет спустя, радость, что быстро удалось добиться самостояния.

Мы о Профферах много слышали еще в Ленинграде. Раз или два они приезжали в СССР между 72-м и 76-м годами, и те из наших знакомых, кто с ними встречался, пересказывали нам их

рассказы об Иосифе в Америке.

<Обрыв текста>

У эмигрантов были раскрасневшиеся лица людей, которые только что решились на крупную покупку: выражение опаски с лица еще не сошло, но уже расплывается довольная улыбка. Когда автобус тормозил у светофора, мужчины читали вслух черные цифры над бензозаправками, пытались сравнивать их с итальянскими, но запутывались в пересчете галлонов на литры и центов на лиры. Зато все объясняли друг дружке, какие американцы хитрые: не напишут шестьдесят центов, а пятьдесят девять и девять десятых. Меланхоличному директору мебельного магазина трейлер привез его приплывшее из Триеста имущество. Он попросил соседних мужчин о помощи. Часа два мы таскали все то лучшее, чем торговал его магазин в Ленинграде: полированные румынские серванты, "стенки", диван-крова- ти. Рояль "Красный октябрь". В бесплатной квартирке повернуться стало негде. По русскому обычаю помощников благодарили угощением. Адвокат Давид быстро напился. Как одинокому, квартиры ему не полагалось, а сняли ему комнату у одинокой старушки. Старушка уже успела настучать в общину, что Давид работу не ищет, почти все пособие тратит на водку, а питается кошачьими консервами.

Недели через три мне разрешили бросить учение в еврейском центре, я стал на два-три дня в неделю уезжать в Энн-Арбор приучаться к работе в "Ардисе". Ночевал там иногда у Иосифа, а чаще прямо у Профферов — комнат у них было не сосчитать. Нина с детьми иногда ездили тоже, но чаще оставались одни. В самый июльский зной Митя и Маша заболели ветрянкой, лежали, гноящиеся, в раскаленной квартирке, Нине приходилось оставлять их одних, чтобы сбегать, пересчитав гроши, в аптеку и за едой.

В августе мы отказались от детройтского иждивения и переселились в Энн-Арбор, чтобы жить самостоятельно. ХИАС прислал нам счет в несколько немыслимых тысяч долларов за перевоз нас в Америку. Я знаю, что многие иммигранты хиасовские счета просто игнорировали. Для иных и минимальная выплата по тридцать долларов в месяц была в тягость, а иные из соображения, что в суд за это никого еще не таскали, но я до сих пор наивно горжусь, что в ту пору жестокой нужды мы стали возвращать долг и выплатили до копеечки.

Нашим постоянным источником дохода стал "Ардис". Мы научились набору на "композере". Это была электрическая пишущая машинка, сделавшая первый шаг к компьютеру.

Перечитав напечатанную страницу, можно было поверх ошибок напечатать исправления, вложить чистую страничку, и "композер" уже сам перепечатывал начисто. Правда, как водится, в повторной корректуре обнаруживались еще ошибки, их исправляли уже вручную: на стеклянном столе с подсветкой мы бритвочкой вырезали неправильные слова, а иногда и буковки и аккуратно вклеивали на их место правильные. К концу дня голова трещала и в глазах шли круги от напряжения, но старались мы поработать подольше, поскольку платили нам сдельно — по три доллара за страницу. Через год я узнал, что стандартная такса в небольших издательствах — двенадцать долларов страница, а совсем отчаянные наемные наборщики соглашаются и на десять. Как мы ни вкалывали, ардисовских денег на житье не хватало. Выручали случайные заработки. Нине удалось на пару недель устроиться в университет — в начале сентября нанимали временных клерков регистрировать студентов. В октябре Кристина Райдел устроила меня заниматься русским языком со студентами-второкурсниками в ее колледже на западе Мичигана. Я ездил на автобусе поперек штата, проводил там три дня в неделю, делал с тремя парнями упражнения из учебника. Это была моя первая преподавательская работа в жизни. Возвращался, наверстывал наборную норму в "Ардисе". Раза два меня приглашали выступить в университете. Платили за выступление семьдесят пять долларов. Из "Континента" присылали гонорары — сто, двести долларов. Все эти наши скудные заработки вкупе держали нас ниже официального уровня бедности, но как-то мы уже в первые полгода американской жизни ухитрились жить на свои и даже сняли сносную квартиру в средней руки квартирном комплексе на Ланкашайр — две спальни, общая комната, под окном пруд с утками. И как раз в эти месяцы вернулось то, что началось было в Ленинграде года два назад, стали сочиняться стихи.

< Обрыв текста >

Невозвращенец

Позвонили из больницы. Один русский в Вермонте попал в автомобильную аварию, вроде бы его кое-как удалось склеить, привести в себя, но не совсем. Он ничего не соображает, и не согласимся ли мы прийти и попробовать поговорить с ним по-русски.

Лысоватый, но довольно молодой человек, физиономия в желтовато- синих пятнах, нога подвешена, капельница, мутный взор. У кровати сидели две женщины, молодая и немолодая. Молодая время от времени негромко умоляла: "Владимир… Ну, ты будешь говорить?" Ее довольно-таки накрашенная мать неодобрительно помалкивала.

Владимир этот, не Петров, но с такой же типовой фамилией, инженер из Ленинграда. Подженился на канадской француженке. Приехал в Монреаль. "Устроился". Все у него было в порядке. А тут и ленинградский дружок в Вермонте вынырнул, таким же манером приехал в Америку. Друг этот, высокой квалификации программист, "устроился" еще лучше: сто тысяч в год, большой дом на холме. В лесах безлюдного Вермонта прячутся такие компьютерные фирмочки, специализирующиеся на высокооплачиваемых трудных проектах. Созвонились, и Владимир приехал к приятелю на выходной. Как это происходит? Сначала обязательное хвастовство домом, бассейном, джакузи, сауной и бильярдом в подвале, тут же бар. "Хочешь дринк?" Показывают друг другу, что уже привыкли пить глоточками скотч со льдом. Тем временем американская жена накрыла к ужину. Свечи, невкусная индейка, хорошее французское вино. Коньяк. Воспоминания. Водка. Все больше мата и ругают — хозяин американцев, а гость канадцев, особенно французских. Еще коньяк. Еще водка. Что попало. Робкое вмешательство американской жены. "А иди ты…" Выходят в гараж. Попытки твердо стоять на ногах и обсуждать технические качества новенького "Олдсмобиля-88". Роковое решение смотаться за пивом. Слишком быстрое приближение сосен на повороте. Раздирающий мозг скрежет Вермонтский приятель мертвым и окровавленным лицом лежит на вдавленном в грудь руле.

Невропатолог объясняет мне ситуацию: опасности, физической уже нет, внутренние органы не повреждены, кости срастутся. Судя по всему мозг не пострадал, отек проходит, больной способен и говорить, и соображать. Единственное последствие шока — нарушен контакт с реальностью. Больному

надо просто-напросто вспомнить, что сейчас сентябрь, что он в американской больнице, что рядом его жена и теща. До аварии он сносно объяснялся на английском и чуть-чуть по-французски. Но это сравнительно недавние приобретения, а недавняя память при таких травмах страдает в первую очередь. Поэтому он не реагирует на то, что мы ему говорим. Надо вытащить его в реальность при помощи родного языка.

"Володя, ты знаешь, где ты находишься?" — спрашиваю я. И сразу же успех: "Конечно", — отвечает он и вроде бы усмехается. Я быстро шепчу невропатологу перевод. У жены на глазах слезы надежды. Теща по-прежнему неодобрительно невозмутима. "Где ты находишься?" Он смотрит на меня прямо и продолжает неприветливо усмехаться. "Это клиника.." — начинаю я, но он, уже с откровенной злобой, негромко говорит: "А ты сядь и не мешай вести собрание". И так на все мои замечания по поводу календаря, географии и данного медицинского учреждениями отвечает небольшими бессвязными монологами. Бессвязными, но не бессмысленными. Послушав достаточно долго, начинаешь улавливать сценарий длинного совещания с производственными страстями. То он не без сарказма докладывает о печатных схемах, с которыми что теперь делать — солить? То шепчет в невидимое, но явно дружеское ухо: "Ну Городецкий и гнида, ну гнида…"

Невропатолог говорит, что хватит. "Как скоро он очнется?" Трудно сказать, иногда на это требуется пара недель, иногда — месяц. Трудно сказать. Теща встает и решительно уводит дочь за руку в холл, к кофеварке.

Под вечер разговаривать пошла Нина. Вместо ответа на ее приветствия человек под капельницей твердо спросил: "Ты грудь вымыла?" На вопрос о его нынешнем местонахождении нехорошо улыбнулся и зашептал: "Пойдем в другую комнату".

Так продолжалось еще два дня, а на третий Владимира признали транспортабельным и на специальной машине увезли в Монреаль.

Года через четыре мы праздновали день рождения Парамонова в Миддлберри, в Вермонте. Кроме нас и Алешковских там был двоюродный брат именинника, тоже эмигрант, инженер из Канады. После выпивки мы вдруг решили ехать купаться на заброшенный мраморный карьер, и, садясь за руль, я упомянул разбившихся по пьянке в этих же краях ленинградцев. Оказалось, что парамоновский кузен отлично знает "Володьку".

Жена преданно выхаживала его два года, а затем получила развод и гражданский, и католический. Физически он совсем оправился, но вернулся только наполовину. То есть он не беспомощен — поесть, попить, сходить в уборную, постель

постелить он может. Живет почти самостоятельно. Жена продолжает навещать его через день, забирает белье в стирку, приносит продукты. После ее ухода он часами сидит у себя на втором этаже на подоконнике, глядя на тихую монреальскую улицу. Иногда, завидев проходящую женщину, высовывается и кричит: "Маня, ты куда, за молоком пошла?"

Упорядоченный мир

Нет худшего ругательства, чем "посредственность", но если увидеть в этом слове не узкое применение (оценка личных способностей), а его изначальное топологическое значение, то Пушкин — гений посредственности. Гений баланса, драматического напряжения между "с одной стороны / с другой стороны". В этом его соприродность. Я об этом догадался как-то над "Вакхической песнью", но оказалось, что ломился в давно открытые ворота. Эткинд составил целую книжку разборов, доказывающих

симметричность всех пушкинских композиций. Джим Райе рассказал мне о непонятной скрытой цитате из Вашингтона Ирвинга в "Пиковой даме": "la triste symetrie". Дьяконов открыл абсолютную симметричность "Евгения Онегина". И т. д. и т. п. Этим он и берет ребенка как автор первых наших в раннем детстве книжек: вброшенному в хаос новому сознанию он сразу предлагает простую симметрическую структуру упорядоченного мира. Не успел ты на свет родиться, а тебя кидают в бушующий океан. Но Пушкин тут же устанавливает Верх и Низ. Они разные, но и сходные, параллельные:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут.

А ребенок ровно посередине — не там и не там, не в небе и не в море, а в своей родимой бочке: не страшно, а уютно.

Так Пушкин лечит "травму рождения". Уютом же снимает он и страх смерти. Вот как все организовано в мире:

Там, за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора.
В той норе, во тьме печальной
Гроб качается хрустальный
На цепях среди столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места.
В том гробу твоя невеста.

Ветер — буйный, зато речка — тихоструйная. Нора — глубокая, но гора — высокая. Тьма — печальная, но гроб —

хрустальный. Невеста в гробу, но смерть не окончательна, ее можно победить "усильем воскресенья", как будет сказано позже. То же и во взрослой лирике Пушкина. В центре ее — убежище, цитадель уюта, собственный дом. "Буря мглою небо кроет", распухшие мертвецы, увешанные черными раками, стучатся в окно, все оковано морозом, бесы кружатся над заблудившейся кибиткой, но мы-то в безопасности в нашей ветхой лачужке, с кружкой, со старушкой, с ее песнями. Тем паче с Ниной, у камина, с часами на каминной полке.

(Эту пушкинскую тему очень хорошо чувствовал М. Булгаков, она у него главная. Да и все остальные — каждый по-своему.)

Пушкин помог модели правильного мира оформить сознание. Все остальные ее укрепляли. Даже слишком дидактическая сказка Шварца "Два брата" спасена очаровательной концентрической системой мира, придуманного Шварцем для маленького героя, сына лесника. Живет он в домике посреди леса. Когда отправляется в свое искупительное опасное путешествие, сначала доходит до домика лесника, с которым семья встречается раз в месяц, потом — до лесника, с семьей которого видятся раз в полгода, потом — раз в год, потом — раз в три года. Эта, по сути дантовская, схема мира спасительна: пусть идти надо очень далеко и путь опасен, но идешь от родимого центра по радиусу, на котором рано или поздно попадется очередной домик, где тебя приветят. (Сходная концентрическая география, с родимой Обломовкой в центре, у Гончарова; у него и во "Фрегате "Паллада"" для русских матросов корабль — деревня, путешествуют вокруг света в родной деревне с офицерами в качестве помещиков и управляющих, как сирота в сказке путешествует по страшному лесу, не слезая с печки-матушки.)

Когда мы поселились в Гановере, чувство заброшенности не успело укорениться за хлопотами устройства на новом месте, а ранней осенью появились Юз и Ира и предложили свою дружбу, и мир сразу надежно структурировался. Наш домик не на острове в непроглядном, как солярка, океане (см. фильм Тарковского), а в Божьем мире. Мимо проходит дорога. Поедешь прямо на юг — через два с половиной часа доедешь до Алешковских, и мы стали ездить к ним раз в три месяца. Поехать дальше — Нью-Йорк. Раз в полгода там можно было встретиться с Иосифом. За Нью-Йорком, только океан перелететь, посещаемый раз в год Париж. Там ты уже не отделен океаном от места рождения.

За столом Томаса Манна

Однажды в Голландии, нагулявшись с утра по Хаарлему, мы с Ниной поехали в Зандфоорт-ам-меер. Было очень ветрено, то и дело принимался нас обхлестывать холодный дождь, а мы шли и шли по белому песку. Северное море — слева, и легко можно себе представить проход по белой северной кромке Европы через Данию, по краю Германии, Польши, а там — Паланга, а там — Усть-Нарва и прочие наши дачные побережья. (Можно было пойти и в обратном направлении, так, чтобы волны были справа, дойти до Довилля, где я с Машей провел чудные три дня летом 84-го на даче у Марамзиных.) В начале "Иосифа и его братьев" Томас Манн пишет о тяге идти дальше и дальше, когда идешь по берегу моря. Это у него метафора погружения в историю. Он писал "Иосифа" в своем домике в Ниде на Куршской косе.

Впервые я побывал там в конце 60-х. ЦК комсомола устраивал совещание по журналам для детей младшего школьного возраста, но в Ленинграде для младшего школьного не было ничего, кроме четырех страничек приложения к "Костру" под названием "Уголек", которые я придумал и редактировал. Таким образом я стал участником этого типично халявного мероприятия. Комсомольцы брежневской эпохи умели превращать свои съезды, слеты и совещания в увеселительные прогулки с пьяным размахом (во время перестройки был такой фильм "ЧП районного масштаба", где это очень точно показано). Сначала мы, младшие школьные редакторы, писатели и художники, собрались в Москве. Оттуда на поезде отправились в Вильнюс. Ехали в "международном" вагоне, то есть первым классом, по два человека в купе, как мне обычно ездить не приходилось. Моей попутчицей оказалась преклонного возраста писательница Зоя Воскресенская, известная своими книгами для детей о Ленине. Сначала я от такого соседства приуныл, но зря. Старая ленинистка оказалась говорливой рассказчицей, и ей было чего порассказать[58]. Во время войны она была секретарем Александры Коллонтай, советского посла в нейтральной Швеции. Однажды пароход, на котором она ехала в Стокгольм, был торпедирован немцами, и Воскресенская долго плавала по Балтике, держась за какое-то бревно. Но самым интересным оказался как раз рассказ о ее лениноведческих изысканиях. "Я много лет занималась ленинской темой, жизнью Владимира Ильича, — рассказывала Воскресенская, — но вот только в прошлом году мне пришло в голову, что мы ведь не знаем с

абсолютной точностью того места на земле, где Ленин родился. Мы знаем дом Ульяновых в Симбирске, где он провел детство, но туда семья переехала, когда Володе был уже год. До того Илья Николаевич и Мария Александровна снимали флигель во дворе у купчихи Прибыловской. Флигель этот не сохранился. Примерно известно, где он стоял, но ведь мы должны знать именно ту точку на земном шаре, где родился величайший человек. Я поехала в Ульяновск, работала в архиве, изучала планы домовладений, а потом с помощью местных архитекторов определила это историческое место. И представьте себе, что оказалось! Это ведь самый центр города, и именно на этом месте стоит общественный туалет! Я тут же пошла к первому секретарю ульяновского обкома партии, объяснила ему ситуацию и думала, что он тут же распорядится снести туалет, отметить достойно историческое место. Но, к моему изумлению, этот партийный руководитель стал мяться, говорить, что-де в город приезжают туристы со всего света, а туалетов не хватает… Вот какие еще у нас есть партбюрократы!"

Утром мы приехали в Вильнюс, и я познакомился с другими участниками совещания. В основном это была приятная публика: культурные московские художники — покойный Сильвестров, интересный рисовальщик, и младший Шмаринов, а также интеллигентные литовцы, грузины, армяне. Была и номенклатурно-издательская шушера, вроде редактора "Мурзилки" Митина. Главным организатором увеселений стал украинский детский писатель Богдан Чалый.

Богдан представлял собой тип человека, расцветающего в командировке, и все его рассказы были о командировочных приключениях. Как он с украинскими комсомольцами целый месяц ездил по Тунису, укрывая от мусульман сало в тряпочке ("Я ж хохол, не могу без сала", — ив Литве он открывал чемодан, разворачивал чистую тряпочку и резал нам вкусный розовый шпик на закуску). Или как он загулял в Ленинграде со своим дружком, заведующим делами обкома комсомола Пашаевым, опаздывал на самолет, но Пашаев позвонил в аэропорт, и киевский рейс задержали. Более того, когда самолет поднялся в воздух, командир корабля по радио громко пригласил "Героя Советского Союза, летчика-испытателя Чалого" пройти в кабину пилота, а в кабине предлагал смущенному Богдану сесть за руль авиалайнера. Вот как разыграл его Пашаев!

Меня Чалый обнимал и сообщал растроганно: "Я твоего батьки, Владимира Лифшица, поэму на украинский перевел — "Сабля Чапаева"". Приглашал в Киев. Он был секретарем киевской парторганизации Союза писателей. Через несколько лет я узнал,

что по своей партийной должности этот весельчак сживал со свету Виктора Платоновича Некрасова, наверное, самого порядочного человека в тогдашнем Киеве. Но тогда в Литве и через год, когда я приехал на несколько дней в Киев, я этого не знал. Я позвонил ему, он повел меня обедать в хороший, по его словам, ресторан. Дома Богдан был потише, даже погрустнее. Когда перерыв между борщом и шашлыком затянулся даже по всем советским меркам, минут за сорок, он продолжал терпеливо ждать, а когда я вякнул что-то о неторопливости официантов, Богдан печально согласился: "Наша национальная черта". После обеда он также невесело повел меня в киевский кукольный театр и оживился лишь на минуту в фойе. Указал на восточный орнамент на стенах и объяснил: "Здесь раньше была синагога". В кукольный театр он меня привел, поскольку взялся пристроить мою первую пьесу "Неизвестные подвиги Геракла" (дело потом заглохло). Принимая у меня рукопись, он сказал проникновенно: "Какое оригинальное, высокоталантливое произведение!" Я удивился: "Богдан, вы же еще не читали…" — "А флюиды, — сказал Богдан, — флюиды…"

Но в Вильнюсе, в командировке, Богдан был весел и предприимчив.

Тут я сделаю небольшое отступление. Как-то на эмигрантских посиделках в Вермонте разговор свернул на советские гостиницы и рестораны. И все необычайно оживились. Блестя глазами и едва не перебивая друг друга, мы рассказывали о победах над швейцарами и гостиничными администраторами. Я подумал: все здесь люди, немалого добившиеся в жизни, именитые ученые, известные писатели. Но вот их самые яркие и приятные воспоминания — это как удалось пройти в ресторан или получить койку в гостинице.

В Вильнюсе Богдан повел нас в ресторан-кабаре. Каких таких неизъяснимых наслаждений мы ждали от этого гибрида эстрады и общепита, я не помню, но попасть туда всем очень хотелось. Двери ресторана-кабаре осаждала толпа местных и командировочных. Богдан велел нам всем молчать и уверенно прошел сквозь толпу к охранявшему дверь верзиле. Махнув перед его носом красным билетом Союза писателей, он сказал: "Сопровождаю группу глухонемых из Австралии". Через пять минут мы сидели за сдвинутыми для нас столиками, пили клюквенную настойку, закусывали жирным копченым утрем. То же самое есть и пить мы могли и в другом, менее неприступном месте, тем более что там нам не пришлось бы мычать и делать знаки пальцами. Но столики были самые лучшие, возле эстрады, на которой немолодые литовки танцевали вроде бы канкан, но не

слишком.

Из Вильнюса наше веселое совещание переехало в Каунас, там погрузилось на зафрахтованный литовским ЦК комсомола теплоход и поплыло вниз по Неману к морю. Водки литовский комсомол загрузил на теплоход немерено, и через полчаса после отплытия я понял, что надо попридержать коней, а то и никакой Литвы не увидишь. Я оставил веселую компанию в ресторане, выбрался на палубу. Но долго любоваться берегами Немана не пришлось. Ко мне подошел вдребезги пьяный литовец, инструктор ЦК комсомола, и на мое вежливое замечание о красотах пейзажа начал орать, что земля была, да, хорошая, пока вы, то есть я, ее не оккупировали. В знак протеста против оккупации он схватил ящик с пустыми бутылками и швырнул за борт.

Плавание закончилось вечером в Ниде на Куршской косе. Наутро сильно похмельная компания стала наконец совещаться. И тут я сообразил, что не приготовил выступления. Я собирался написать свой текст в дороге, но, как я рассказал, не до того было. Так что, когда дошла до меня очередь, я стал импровизировать. Рассказал про свой "Уголек", а потом начал жаловаться на полиграфическую базу, не позволяющую выпускать по- настоящему интересный журнал для детей. Я сравнивал наш "Костер" с гэдээровским детским журналом (название не помню). В немецком журнале были всякие pop-up (как они называются по-русски?) затеи: откроешь страницу, а из разворота поднимается целый замок, даже с окошечками из цветного целлофана и т. п. К нам в "Костер" приезжали немцы из этого журнала. Я спросил у них, как же они делают все эти бумажные чудеса. Немцы сказали, что вклеиванием занимаются заключенные. "Почему мы не можем такого делать? — говорил я с похмельным энтузиазмом. — Что у нас заключенных, что ли, мало?" После этого неосторожного высказывания проводившая совещание секретарь ЦК комсомола Тамара Куценко перестала меня замечать. (Странным образом эта ситуация повторилась год или два спустя: водка, плавсредство, неприязнь товарища Куценко. Меня послали освещать какой-то пионерский фестиваль в Измаил. В Измаиле, после песен и плясок, пионеров посадили на теплоход, чтобы повезти в Одессу. Я никогда в Одессе не был и решил тоже прокатиться. Куценко стояла у трапа и лично наблюдала за погрузкой. Когда я попытался подняться на борт, она меня было отстранила, а потом брезгливо махнула рукой: проходите. Теплоход отчалил от измаильской пристани и поплыл вниз по Дунаю. Ночевать мне предстояло на палубе, и поэтому я решил подольше посидеть в ресторане. Там за сдвинутыми столами пировало комсомольское

начальство, а несколько журналистов, вроде меня, сидели поодиночке. Но потом ко мне подсел какой-то возбужденный молодой человек. Заказал и выпил залпом полстакана водки и сразу принялся мне жаловаться на свою обиду. Он секретарь пушкинского, под Ленинградом, райкома комсомола, а его не позвали пировать с начальством. Я принялся его утешать и в результате выпил куда больше, чем собирался. Потом мы вышли на палубу, и, к моему изумлению, пушкинский секретарь точно так же, как литовец в Каунасе, принялся метать в воду ящики с пустыми бутылками. Я зашел за спасательную шлюпку, чтобы не так дуло, положил голову на канат и заснул.)

Моя внезапно приобретенная крамольная репутация сблизила меня с литовским детским писателем Витасом П. С этим великаном мы пошли на следующее утро в Дом-музей Томаса Манна. С собой Витас прихватил две бутылки коньяка. Вообще-то было закрыто, но Витасу служитель открыл и ушел, оставив нас одних. Мы побродили по комнатам, о которых я ничего не помню, кроме дюн и Балтики за окнами. Потом мы уселись в кабинете нобелевского лауреата, поставили на стол, на котором был написан роман "Иосиф и его братья", свой коньяк и страшно напились (шутка ли — по пол-литра на брата).

Очень пьяный Витас рассказывал очень пьяному мне про свою юность. Почему он в пятнадцать лет обманул советское начальство огромным ростом и в качестве восемнадцатилетнего был принят в карательный отряд, не помню — потонуло в пьяном тумане. Кажется, отца-коммуниста убили враги, но, может быть, и что-то совсем другое. Отряд вылавливал "лесных братьев", но главное, что помнил о боевой молодости мой собеседник, — это расстрелы. После расстрелов плохо спал, мучили кошмары. Особенно страшный был такой: на рассвете или в сумерках он расстреливает пожилого мужчину в нижнем белье, расстреливает, а тот не падает. И вот однажды взвод Витаса получает очередной расстрельный наряд. Серый рассвет, залпы, все падают, только пожилой в нижнем белье продолжает стоять. Витас говорил, а я уставился пьяным взглядом на его неправдоподобно большие руки, крепко сцепившиеся пальцами на столе Томаса Манна, и ужасался: руки палача.

Еще один украинский писатель

Зимой 73-го года в Ялте я познакомился и подружился с Казисом Сая и Эдиком Успенским. Но была там еще одна, короткая, на один месяц, дружба с веселым парнем, драматургом из Западной Украины, Ярославом Верещаком. (Между прочим, было что-то географически антисоветское в самих топонимах "Литва" и "Западная Украина", особенно когда рядом.) В отличие от большинства участников театрального семинара он действительно ежедневно писал свою пьесу и почти ежедневно читал написанное мне и Успенскому. Сюжет был необычайно сложен. Начиналась пьеса с того, что режиссер собирает труппу для читки новой пьесы. В пьесе — это уже пьеса в пьесе — действие начинается с того, что в маленький карпатский город приезжает бродячий театр. Театр представляет пьесу — а это пьеса в пьесе в пьесе, — в которой… Но тут у него еще было не дописано. Из-за крайней запутанности композиции непонятно было — советская пьеса или антисоветская. Вроде бы на что-то этакое намекалось, но, с другой стороны, писалось так, чтобы пьесу поставить было можно. Наломав голову над своим головоломным сюжетом, под вечер Ярослав прихорашивался и отправлялся на набережную клеить девушек. Делал он это очень необычно. Например, однажды он заорал на всю набережную паре приглянувшихся молодок: "Девочки, идите к нам, мы — шпионы!"

Жить в Ялте зимой оказалось очень приятно. Плавать в подогретом открытом бассейне, поглядывая на заснеженные горы. Пить херес у киоска. По вечерам сочинять новую кукольную пьесу с героями, позаимствованными из любимой с детства книги Рабле.

В ялтинском Доме творчества зимой, кроме третьесортных писателей, вроде нас, отдыхали по путевкам донецкие шахтеры. В отличие от писателей, которые бухали и днем, шахтеры выпивали по вечерам и шумно возвращались в Дом творчества около полуночи. Один раз я заподозрил этих подземных работников в сверхъестественных способностях. Я сидел поздно вечером за столом в своей комнате высоко на третьем этаже, задумавшись над тем, как бы завернуть сюжет в пьеске, и при этом рука автоматически рисовала рожи на рукописи. Внизу послышался гомон нетрезвых шахтеров. И вдруг один голос снизу с крайним презрением произнес: "Пишут они, рисуют!"

3

Тулупы мы

Неправильно думать, что все началось в 1953 или даже в 1956 году. Развитие русской культуры, в том числе жизнь русской поэзии, не прекращалось никогда, даже в самые глухие годы сталинской империи нищих. Самиздат — и явление, и само слово — появился в 40-е годы. Всегда находились поэты и художники достаточно молодые, пьющие или сумасшедшие (или все это вместе), чтобы пренебрегать опасностью и резвиться у лагерной бездны на краю. Слабые, кривые, а все это были ветки еще живого древа русской культуры, а не отрезанный прутик, "сохраненный" в эмигрантской банке.

Унизив и изничтожив Маяковского, большевики назвали его "лучшим, талантливейшим": было бы лучше для них, если бы они этого не делали. Ибо Владимир Владимирович, хотя и служил исправной пропагандистской завитушкой на ихнем железобетоне, но также прикрывал и не замеченный товарищами пролом в стене, через который можно было проникнуть к футуризму, к Хлебникову, к главному стволу. В 47-м или в 50-м году школьники читали не только "Стихи о советском паспорте", но и "Человек", и "Облако в штанах" (в 1956 году именно ранний Маяковский стал нашим паролем, пропуском к Пастернаку) и вслед за этим отправлялись в рискованное путешествие по недочищенным библиотекам, по лавкам букинистов, по барахолкам, где невероятные книжки Бурлюка и Кручёныха считались в те времена копеечным хламом. Это, в общем, удачно сложилось, что тов. Сталин назвал Маяковского "лучшим, талантливейшим…". Если бы в 1930 году застрелилась Ахматова, и к власти затем пришел бы Бухарин, и А.А. была бы названа "лучшей, талантливейшей поэтессой нашей советской эпохи": станция метро "Ахматовская" (мозаика с сероглазыми королями), танкер "Ахматова", переиздания вплоть до "Библиотеки пионера и школьника" — это был бы более трудный путь для выживания культуры: лучше через будетлянство и кубофутуризм добраться до Ахматовой и Мандельштама и всего остального, чем любой другой путь. Русский футуризм заражал приобщавшихся воинственностью, установкой на эпатаж, то есть необходимыми душевными качествами, а русский формализм (как теоретический сектор футуризма) обеспечивал универсальный подход, метод, систему. Итак, от Маяковского шли к Хлебникову и Кручёныху, а затем назад уже через Заболоцкого и обэриутов, то есть приобщаясь к наивысшей иронии и философичности, какая только существовала в русской культуре.

Вот почему могло случиться совершенно невероятное по газетным масштабам 1951 года событие: футуристическая демонстрация на филологическом факультете Ленинградского государственного ордена В.И. Ленина университета им. А. А. Жданова. Несколько восемнадцатилетних первокурсников — Эдуард Кондратов, Михаил Красильников и Юрий Михайлов, наряженные в сапоги и рубахи навыпуск, 1 декабря 1951 года пришли в университет и, усевшись на пол в кружок в перерыве между лекциями, хлебали квасную тюрю из общей миски деревянными ложками, распевая подходящие к случаю стихи Хлебникова и как бы осуществляя панславянскую хлебниковскую утопию. Конечно, их разогнали, их свели в партком, их допрашивали, кто подучил, их призывали к раскаянию и выдаче зачинщиков (увы, и то и другое частично имело место), их шельмовали на открытых комсомольских собраниях и в закрытых докладах, наконец, Красильникова и Михайлова выгнали из комсомола и из университета; в рабочей среде, на заводе, они должны были завоевать право продолжать изучать старославянский язык и основы марксизма-ленинизма. По меркам эпохи они отделались легко, и тому были две причины: во-первых, внешне русофильский характер хеппенинга (главное, что не жидовские космополиты), во-вторых, они, сами того не подозревая, своей эскападой удружили массе молодых прохвостов, которым требовался трамплин для карьеры, — появилось кого шельмовать, демонстрируя собственную идейность и бдительность, на каком основании подсиживать — не проявившее достаточной бдительности — начальство и т. д. и т. п. Добрый десяток карьер начался в тот декабрьский денек: один напечатал статью в "Комсомолке", приобрел репутацию "боевитого журналиста", а один даже, начав с того, что волочил славянофилов за шиворот в партбюро, дошел в конце концов до службы в ЦК.

Во время шельмований и бичеваний всплыло еще одно обстоятельство, ранее, именно в силу своей невероятности, проскользнувшее незамеченным. Неофутуристы успели выпустить осенью 1952 года несколько рукописных альманахов. Надо сказать, что до окончательного разгрома в декабре неофутуристы уже успели разделиться на две непримиримо враждующие фракции, одна выпустила альманах под названием "Брынза", на выход которого другая откликнулась экстренным выпуском альманаха "Съедим брынзу!". Видимо, сами альманашники в глубине души считали свое дело не более чем игрой, но божественная то была игра, раздвигавшая горизонты слова и смысла, невероятные в эпоху, когда вершиной поэзии считалось

"Я вышел на трибуну в зал, / Мне зал напоминал войну…" или "Позвольте мне сказать Вам это слово, / Простое слово сердца моего…". Блестящее жонглирование метрами, аллитерациями, рифмами ставило сюжет (содержание) в небывало ироническое, гротескное наклонение. К сожалению, в памяти только обрывочные, вероятно, не лучшие строчки (как помнится, это из совместных опусов Красильникова-Михайлова).

Из экзотической любовной поэмы "Чаанэ":

Чаанэ застенчива,
Чаанэ отчаянна,
Чаанэ изменчива
Чрезвычайно.
Чересчур черна,
Вычурна.
……..
Умчи
В Урумчи,
Доскачи
До Маныча.
Не мычи,
Не кричи,
Я хочу
Сама начать…

Из революционной поэмы об Индонезии:

Несем дары и зло мы,
Дар-уль исламы,
Носам дыры изломы
Да руль осла мы.

В 1953 году авторов пустили обратно в университет. Сталин мертв. Берия низвержен. На радостях они пишут поэму в строк 150 палиндромов. Помню только два, посвященных бериевским сатрапам:

Ездил гоголем смело Гоглидзе.
Волю Кремля мял Меркулов.

Эта акробатика говорила нашему сердцу и воображению куда больше, чем сочиненное по тому же поводу "официальными" поэтами университетского литобъединения Гусевым и Шумилиным "Цветет в Тбилиси алыча / Не для Лаврентий

Палыча, / А для Климент Ефремыча / И Вячеслав Михалыча…". НОСАМ ДЫРЫ ИЗЛОМЫ! — как дверь ударом ноги распахнуть.

Я говорю "нашему сердцу", потому что в 1954 году появились в университете мы — Уфлянд, Ерёмин, Виноградов, Кулле и я, а потом и Кондратов-младший — и сразу безоговорочно взяли Михайлова и Красильникова в наставники. То есть, разумеется, "нас" было больше. Но, во-первых, здесь идет речь лишь о сочинявших стихи, а во-вторых, некоторые были не совсем "мы". Не на сто процентов.

Для всех знаком принадлежности к клану остались характерные красильниковско-михайловские интонации — утрированный распев "а-ля рюсс", лукавая манера речи, в которой смешаны хрестоматийно-простонародные (в общем-то, малоупотребительные сейчас) выражения с советскими фразеологизмами, произносимыми не без восторга ("А хороша нынче статья в "Правде" — "Дадим по шапке литературным двурушникам!" — Да, недурна. Крепко пишет, паршивец". Так мы вели разговоры, и называние вещей своими именами казалось нам плоским)[59].

Не менее важным элементом творчества, чем писание стихов, была для всей нашей группы своего рода жизнь напоказ, непрерывная цепь хеппенингов. Мы пили фантастически много, за исключением Михайлова, который не пил ничего спиртного. Но наши выходки не были буршеством или российским пьяным куражом. Всем хорошим во мне я обязан водке. Водка была катализатором духовного раскрепощения, открывала дверцы в интересные подвалы подсознания, а заодно приучала не бояться — людей, властей.

Даже удивительно, что при такой-то внимательной любви к водке лишь один-два человека из нас по-настоящему спились. Здоровье-то, не говоря уж о карьерах, мы себе пьянством попортили, но это другое дело, небольшая, в общем-то, цена за свободу, за понимание, за прекрасные стихи.

С Виноградовым и Ерёминым мы шли под вечер по Невскому. Толпа была тороплива по случаю мороза. Я сказал: "Хотелось бы прилечь". "Хорошо бы", — сказали спутники и стали укладываться. Мы легли навзничь на тротуар у входа в здание бывшей масонской ложи, где позднее разместилась редакция журнала "Нева". Как всегда, прохожие не знали, как реагировать. Некоторые почтительно останавливались и спрашивали, в чем дело. Мы дружелюбно отвечали, что прилегли отдохнуть. От этого простого ответа на стандартных лицах вдруг возникало отражение мучительной работы мысли, словно бы невыносимой для рядового советского прохожего; и люди торопились уйти. Мы

смотрели на звезды, обычно не замечаемые над Невским, и говорили что-то приличествующее разглядыванию звезд: о Кантовом моральном императиве и, модная в ту пору тема, о Федоре Михайловиче на весах Кантовых антиномий. Два лица, рябое голое и обожженное бородатое, склонились над нами, поэтов Дудина и Орлова. Мы пожелали им доброго вечера. Поэты почему-то испугались и ушли. Видимо, пить водку.

Мы купались в Неве среди весеннего ледохода.

Устраивали соревнования по выпиванию киселя в университетской столовой. Победил Красильников, выпивший 24 стакана этого мутно-розового клейстера.

Когда наш живописец Олег Целков закончил наконец свой "Автопортрет в нижнем белье", мы устроили шумные крестины автопортрета на спуске к Неве у Гагаринской: автопортрет окунули в реку и с пением понесли по набережной.

Однажды Виноградов и Уфлянд плелись за своей широкоплечей красавицей, в которую были оба влюблены, через Троицкий мост. "А я для тебя в реку прыгну", — неожиданно сказал Виноградов и прыгнул (в ледяную весеннюю Неву, с высоты примерно двадцати метров). Маленький Уфлянд тут же полетел вслед за ним в развевающемся пиджачке, крича: "Леха, подожди меня…" Наталья вышла за прыгнувшего первым.

Мы пели обычно Хлебникова или Пастернака, посадив их на мелодию какого-нибудь советского марша: "Тулупы мы / земляные кроты / родились мы глупыми / но глупым родился и ты" — с небольшими изменениями это пелось на мотив марша авиации "Все выше, и выше, и выше…", последняя строчка всегда адресовывалась какому-нибудь разглазевшемуся прохожему, на "Три танкиста" хорошо пелся "Лейтенант Шмидт" — "Прорываясь к морю из-за почты, / Ветер прет на ощупь, как слепой…".

Мы никогда не упускали случая порадовать публику хороводом, игрой в "Каравай" на оживленном перекрестке.

Просто удивительно, как многое нам сходило с рук до поры до времени. Где-то к концу 50-х начались столкновения с милицией. Несчастные случаи.

Один славный мальчик из театрального института, задумав повторить подвиг Безухова, сорвался с карниза пятого этажа и убился. Через некоторое время тот же полет повторил Володя Королев, по прозвищу Парагвай. Но приземление было удачнее: хотя Парагвай переломал себе абсолютно все кости и пролежал в гипсе чуть ли не год, как-то его так выгодно встряхнуло, что он за этот год выучил два языка, стал специалистом по кино (потом без труда поступил в аспирантуру) и написал несколько забавных стихов. А раньше звезд с неба не хватал.

Уфлянда и молодого пианиста Юру Цветкова четыре месяца продержали в тюрьме за то, что они крутились на табуретках в пивном баре под Думой.

Не буду перечислять всех наших неприятностей, но первой из них, означившей начало конца, был арест Красильникова 7 ноября 1956 года. Он больше всех нас любил улицу, площадь, толпу, возможность подрать глотку. Он шел среди знамен и портретов и вопил: "Свободу Венгрии!" и "Утопить Насера в Суэцком канале!" и еще что-то в этом роде. Его повязали, дали четыре года, которые он и просидел в Мордовии от звонка до звонка. Миху судили за политическую демонстрацию — и кому мы могли объяснить, что для этого обаятельнейшего и безобиднейшего человека его демонстрация была — эстетической.

Ниже следует материал на:

ВИНОГРАДОВА Леонида Аркадьевича, 1936–2004, м. р. г. Ленинград, русского; отец — журналист, еврей; мать — проводница, полуукраинка, полуцыганка; образование высшее — юридический факультет ЛГУ; дважды женат, два сына;

ЕРЁМИНА Михаила Федоровича, 1936 г. р., м. р. г. Орджоникидзе, русского; отец — погиб во время войны; от матери отделился рано; образование высшее, филологическое; женат, имеет сына и дочь;

КОНДРАТОВА Александра Михайловича, 1937–1993, м. р. г. Белгород, русского (полубелорус); отец — летчик, репрессирован, потом погиб; мать — пенсионерка; образование: Ленинградская областная школа милиции — специальность мл. лейтенант. Ленинградский ин-т физкультуры им. Лесгафта — специальность бег на 100 м, лучший результат 10,9 сек.; кандидат филологических наук, диссертация "Расшифровка письменности острова Пасхи с помощью ЭВМ"; женат, имеет сына;

КУЛЛЕ Сергея Леонидовича, 1936–1984, м. р. г. Ленинград, русского; родители умерли рано, отец был из эльзасских французов, с примесью польской крови, мать частью немка, частью шведка; образование высшее — филолог; вдова умерла в 1999 году;

УФЛЯНДА Владимира Иосифовича, 1937 г. р., м. р. г. Ленинград, русского; отец — инженер, еврей; мать, Елена Измаиловна Сумарокова-Эльстон, — преподаватель черчения; образование — начатое высшее, 2 курса исторического факультета университета; женат, имеет сына.

(Коли уж список, то нельзя не добавить ГЕРАСИМОВА Владимира Васильевича, 1935 г. р., м. р. село Тупицыно, Коми

АССР, русского; отец — милиционер, чуваш, умер рано; мать — русская, чиновник на Главпочтамте; образование — незаконченный филологический факультет. Герасимов никогда стихов не писал, разве что в шутку пару раз, да и вообще писательство не было его сильной стороной, но кажется, что без этого замечательного остроумца, вдохновенного энциклопедиста, последнего великого петербуржца все в нашем кругу было бы иначе, и стихи писались бы иначе, и другие.)

Виноградов писал мало и коротко (я имею в виду его поэзию, а не драматургию). Он словно бы заместил Красильникова как лидер, когда Красильников исчез.

Речь идет, конечно, о совершенно неформальном лидерстве, просто доброты, привлекательности и дружелюбия было в Лёне побольше, чем во всех нас остальных. Его знаменитые "эпиграфы" запоминались и становились вроде как фольклором:

Мы фанатики, мы фонетики,
Не боимся мы кибернетики.

"В государстве Гана / Есть своя богема?.." и т. п. Виноградов серьезный, последовательный и лиричный абсурдист.

Одинаково серьезно
Вам предложат снять тулуп
И при входе в клуб колхозный
И в любой английский клуб —

заканчивает он одно стихотворение. Перебравшись в Москву, он в один прекрасный день стал основателем самой многочисленной последователями философской школы — стеноизма. Первый постулат стеноизма гласит: два стеноиста не могут смотреть с двух сторон друг на друга в одну подзорную трубу. Для того чтобы стать стеноистом (причем стать стеноистом можно, но перестать им быть нельзя), надо ответить на один вопрос: "Кто ночью спит, а днем работает?", при этом ответ на вопрос: "Люди" — сразу дается. Если вы ответили на вопрос правильно или неправильно, или промолчали, или сказали "Не знаю" или еще что-нибудь, вы становитесь пожизненным стеноистом. Вот почему стеноистов так много, в том числе, с данной минуты, и ты, читатель.

Присоединяясь к этой иронической, абсурдистской по существу, школе, каждый приносил с собой опыт своих юношеских пристрастий, знаний. Вкладом Сергея Кулле были Кузмин и — практически вся европейская литература:

Античность, Ренессанс, XVIII век, XIX век, новые поэты. Кулле не знал иностранных языков, но он прочел и сравнил такое количество переводов, что приобрел познания, достойные выдающегося компаративиста. Однажды он взял в университетской библиотеке перевод "Лузиад" Камоэнса, изданный в Москве в 1765 году. Эту книгу на протяжении двухсот лет обязаны были читать все студенты-филологи нашего университета и отвечать на экзаменах. И все ее страницы оказались неразрезанными. Сережа, не торопясь, вдумчиво читая, разрезал по мере надобности страницу за страницей… Он начал со стихов, которые и не снились таким позднейшим экспериментаторам верлибра, как Солоухин или Винокуров. Правда, в отличие от последних философические верлибры семнадцатилетнего Кулле не напечатали в "Литературной газете", а грязно обругали в университетской многотиражке. На мой взгляд, он единственный, кто в полной мере (после Кузмина) овладел у нас верлибром, у кого русский верлибр достиг силы лучших американских образцов. Как и американские поэты, Кулле пишет не метрами и строфами, а образами действительности, деталями бытия, "психологическое наклонение" стиха не опосредствовано метрикой. Но есть и очаровательное своеобразие в стихах Кулле — алогизм, сочетание несочетаемого. Если более традиционные поэты из более традиционных для русской поэзии компонентов: строфа, метрика, рифмы и т. д. — выстраивают модели мира — каждый свою, Кулле делает совершенно другое — он просто перестраивает мир по своей личной мировоззренческой парадигме. Его мир получается лучше и забавнее настоящего.

Уфлянд — самый известный из этих поэтов. Его всегда вспоминал как одного из своих учителей Бродский. Несколько раз он попадал в заграничные антологии. Уфлянд — человек, умеющий все. Он соткал гобелен. Однажды мы ночевали зимой в лесу в избе, надо было не проспать поезд очень рано, а будильника не было. Уфлянд что-то такое посчитал в уме, набрал в кастрюлю какое-то определенное количество воды, вморозил в нее большой гвоздь, укрепил кастрюлю над тазом. В требуемые пять часов утра гвоздь вытаял и загремел в таз. Уфлянд в стихах, как Зощенко в прозе, но лиричнее, слит со своим простоватым героем:

Тишина. Пахнет луком поджаренным.
Это рай в представленьи моем.

На высшем уровне стихи безотносительны к языку, на

котором написаны. В языке — один слой для делового разговора, другой — для лирического излияния. Когда прозаик, хотя бы и тот же Зощенко, хочет посмеяться над неумением персонажа изливать свои чувства, он заставляет его вставлять неуместные суконные обороты в монолог. Что в стихах все по-другому, первый почувствовал Пушкин и намекнул на это своим "прозаизм — организм". Никто как Уфлянд не умеет извлекать лиризм из "прозаизма — организма".

Набрав воды для умывания
в колодце, сгорбленном от ветхости,
рабочий обратил внимание
на странный цвет ее поверхности…

Уже давным-давно замечено,
как некрасив в скафандре водолаз…

"Набрав воды для умывания, обратил внимание на цвет ее поверхности" — это протокол, "уже давным-давно замечено" — начало научной статьи. Подлинность поэзии Уфлянда в том, что он не встает на табуретку, чтобы петь стихами, а лишь слегка модулирует звучащую вокруг речь — то контрастными сочетаниями, то метрической паузой, то мягким рифмоидом вместо назойливой рифмы. (Кстати, если Бродский чему-то и научился у Уфлянда, как он любит говорить, то, скорее всего, этой свободе обращения с обыденной речью.)

Мальчиком Ерёмин писал те обязательные стихи, какие пишут в его возрасте все грамотные русские: о смерти, о непонимании окружающих, о непринятой жертве и т. п. Эту трогательную недопоэзию портила кратковременная выучка, которую Миша получил в поэтическом кружке Дворца пионеров, — там, например, учили эффектным концовкам, каламбурным по своей структуре, и Миша старательно писал об обязательном Джордано Бруно:

И носила земля обгорелый труп
вокруг золотого солнца.

"Вокруг" считалось поэтической "находкой", как тогда говорили. Все это было лишь окукливание. Заемный кокон вскоре был отброшен, и появился тот совершенно небывалый поэт, каким Ерёмин остается, меняясь очень медленно, вот уже больше сорока лет. Поэзия Ерёмина предельно недемократична. Ерёмин — это Фет. Но там, где Фет видел лист, ветку, траву, небо и слышал

слово, Ерёмин видит ген, клетку, молекулу, атом, слышит индоевропейский корень. Если вы не знаете всего этого или хотя бы не догадываетесь об этих существенных штучках, стихи Ерёмина для вас бессмысленны, даже такие, где, казалось бы, все эти сложности и не поминаются.

Над сквером дом — букет вечерних окон.
Собор от мира сквером огражден.
Лист золотой намотан словно локон
На ту же ветвь, которой был рожден.
Осенний день, на грех и слезы падкий,
Молчанье и раскаянье поймет.
Оставив пепел от письма в лампадке
И в медальоне дьявола помет.

В сущности не о насекомых и химических реакциях, не о филогенезе и архитектуре, а о храме и грехе, Боге и дьяволе Ерёмин пишет всегда.

Рейн, Бобышев, Найман были нашими знакомыми, а Рейн, самый живой и талантливый, — другом. Но они любили, чтобы было красиво, как у акмеистов, любили поминать Господа и ангелов, Сезанна и Ван Гога, а то и французскую строчку ввернуть. Да и стиль жизни у них был другой. Они острили каламбурами (что у нас считалось дурным тоном), их принимали в хороших домах — у Люды Штерн. Они вились вокруг Ахматовой. Меньше пили. Не матерились. Не участвовали в ресторанных драках. Не имели приводов. Не слышали шума времени. Кроме Рейна. Когда подрос и возник Бродский, он покрутился и у нас, и у них, и у горняков и ушел сам по себе.

В Москве мы считали близкими себе Красовицкого, Черткова, Хромова, потом Сапгира и Холина. И Сережу Чудакова. Ерёмин познакомился с ним на пароходе на Азовском море, и Чудаков стал приезжать к нам и загащиваться подолгу. Он восхищался стихами Ерёмина, Уфлянда, всеми, и сам писал похоже:

Шли конвойцы вчетвером,
бравые молодчики.
А в такси мосье Харон
ставил ноль на счетчике.

Весной 1955 года, поглядывая через Неву, из окна большой и душной 31-й аудитории, под жужжание лектора, я разрисовал обложку тонкой тетради, написал на ней бордовым карандашом: "Весенняя Антология, 1955". Вписал какую-то свою чепуху:

"Апрель. И шлепает по лужам / под солнцем согнутый костяк, / и медные глаза полушек / из луж пристыженно блестят.." Потом несколько стихов вписал Кулле. Потом еще кто-то. А потом мне один благожелатель шепнул: "Уничтожь свою антологию. Ею в парткоме интересуются…" Я не уничтожил, я ее потерял в Нью-Йорке двадцать один год спустя. Бог с ней. Поэты дождались типографии. Да и не в печати дело. Годы непечатания не назовем выморочными: все это время помянутые здесь мои друзья много брали у родного языка, щедрой сторицей возвращая ему.

Крестный отец самиздата

Мужик всплескивает крылами и, с восторгом в очах, с криком: "Летю- уу!" — рушится вниз. Это начало фильма "Андрей Рублев", и мужика-эпиграф там сыграл Николай Иванович Глазков.

Он был очень хороший поэт. Кроме того, он обогатил мировой словарь одним словом, что само по себе немало. Слово это — самиздат.

Глазков прожил жизнь московским юродивым. В годы, когда печататься не было совсем уж никакой возможности, он отстукивал свои стихи на машинке, скреплял стопочку кое-как и на титуле пониже названия писал: самсебяиздат или самиздат.

Среди стихов были замечательные, такие, что запоминаются навсегда, образуют в душе жгучий мотивчик — музыкальное сопровождение нашей жизни:

Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый, век необычайный,
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.

Литературные начальники, читая такое, иногда похохатывали, иногда клеймили в своей газете, но в общем ненормального не трогали.

Его таким манером и в армию не взяли. Он в 1941 году был в Туле и уже стоял в голой очереди к военкому. Военком был брав и краток. Каждому новобранцу он задавал один лишь вопрос:

Котелок варит?

Многие смущались:

Да вроде… ничего…

Отлично, — отрубал военком. — Годен. Следующий!

Иные пытались словчить:

Не… не особенно… И этим военком отрубал:

Отлично. Солдату много думать не надо. Дошла очередь до Коли.

Котелок варит? — выкрикнул свое военком.

Получше, чем у тебя, — ответил поэт.

Шизофреник, не годен, — сказал военком, подумав. Я дружил с Глазковым несколько недель: летом 1958 года оказались соседями по койкам в общем номере сочинской гостиницы.

По утрам Глазков работал на балконе.

С восьми до двенадцати я перевожу двести строк с ненецкого или каракалпакского. Из них сто выкинут, а сто напечатают. Если взять минимум: сто строк по пять рублей…

Расчеты были убедительные, но по всем признакам ежедневных пятисот не получалось. Впрочем, на свою коечку и ежедневную бутылку любимого молдавского три звездочки коньяка Коля зарабатывал.

Я люблю три вещи: коньяк, жару и женщин. Я ненавижу три вещи: селедку, холод и ССП.

Он был необычайно рассудителен. На редкость здравая интонация звучит даже в его известных вольных стишках.

На небе солнышко смеется.
Зазеленела вся трава.
А Нина мне не отдается,
И в этом Нина не права.
Чему ее учили в школе? и т. д.

В самом деле — чему?

Резоны его всегда были просты и потому неотразимы.

Лет десять назад отец рассказывал мне о перевыборном собрании в Союзе писателей.

Выдвигали кандидатов. Все как обычно. Предлагают Ошанина. "Отводы есть?" И вдруг встает какой-то человек с готическим лицом: "Есть". Председатель закипает: "Глазков, у вас должны быть основания для отвода". — "У меня есть основания. Я отвожу кандидатуру Льва Ивановича на том основании, что Лев Иванович человек подлый". И сел. Шум. Ошанина прокатили.

Для поэта он был чудовищно силен физически. Любил заприметить в ресторанной публике подгулявшего богатыря, шахтера или штангиста, косолапо подходил и молча протягивал свою медвежью лапу для мужской забавы. Он всех пережимал. Он однажды меня спас. Мы с ним лазали над Агурским водопадом, я поскользнулся и предвосхитил будущий крик "ле- тю-уу!". Коля, сам стоя на карнизе шириной в ступню, зацепил меня за шиворот и вытянул.

Однажды утром он сказал:

— Приснилось четверостишие —

Была у деда борода
Седа, как зимний лес.
И величава, как вода
На Куйбышевской ГЭС.

Когда времена полегчали, он так и стал издаваться, издеваясь. В самой глазковской продуктивности было что-то шутовское (двести строк с восьми до двенадцати, сто выкинут…). Из оставшихся ста добрая половина приходилась на "паровозики" (ура-стишки, чтобы протолкнуть книжку). Но глазковские "паровозики" были написаны от лица идиота, зазубрившего лозунги начальства. Эффект получался неожиданный. Например, о Владивостоке:

— Этот город далекий, но нашенский! —
Гениально сказал о нем Ленин.

Поколение читателей, пришедшее в 60-е годы, уже не понимало такого гротеска. Оно привыкло к поэзии эзоповского заушательства. Евтушенко, Вознесенский проклинали франкистскую цензуру — ух, какой намек! Те же слезливо хвалили Ильича, читатель — эх! — шарахался за ними…

Глазков ни на что не намекал. В книжке за книжкой он создавал своего соц сюрреалистического Лебядкина, который дисциплинированно восхищался чем положено, негодовал по поводу разрешенных для негодования отдельных недостатков, шутил на таком уровне, чтобы даже Грибачеву было понятно. За это поэту разрешали быть. (Швейк славил Франца-Иосифа и орал "На Белград!" из инвалидной коляски. Нет лучшего способа окарикатурить милитаристский пафос, чем орать "На Белград!" из инвалидной коляски.)

Но в конечном счете эта игра дорого обходится. Нельзя годами катать богатырское здоровое тело в коляске инвалида.

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где б московский иль горьковский житель
В долгой очереди не стоял!

Среди глазковских шуточек, которым мы привыкли ухмыляться, есть одна, мрачность которой сравнима лишь с эпохой, когда она была сочинена. Это еще один русский парафраз "Ворона":

…Я сказал: — Невзгоды часты.
Неудачник я всегда.
Но друзья добьются счастья?
Он ответил: — Никогда!

И на все мои вопросы,
Где возможны "нет" и "да",
Отвечал вещатель грозный
Безутешным НИКОГДА!..

Я спросил: — Какие в Чили
Существуют города?
Он ответил: — Никогда!
И его разоблачили.

Homo ludens умер

I

Пришло письмо от Еремина. Как всегда напечатанное крупным шрифтом через три интервала, оно занимает полстранички. (Лапидарный стиль Еремина не лишен чувства, даже страсти; вернувшись несколько лет тому назад из Москвы в Ленинград, он охарактеризовал родной город следующим образом: "Развалины некрополя, населенные шпаной и ворьем".) На этот раз среди пятнадцати строк письма была такая: "Сэнди Кондратова похоронили, прободение, перитонит". Я сообщил печальную новость по телефону двум-трем общим знакомым. Знакомые пожелали покойному царствия небесного, подивились, что умер не старый и такой, казалось, здоровяк, и перешли к обсуждению дел, живо пока еще трепещущих.

Лет сорок тому назад мы открыли Розанова. Розановские фразы вспыхивали то и дело в сыром хворосте нашей собственной юношеской невнятицы. Кондратов с особым удовольствием выговаривал: "Родила червяшка, червяшку, червяшка поползала и умерла". И добавляло легким вздохом изображая очаровательное розановское лицемерие: "Такова и жизнь наша. Синие чернила на белой бумаге я вспоминаю в первую очередь, вспоминая Кондратова. Вначале он исписывал кипы общих тетрадей стихами — своими и выуженными в Публичке из старых книг и журналов, прозой, математическими выкладками. Позднее, обзаведясь машинкой, Саша стал выделывать игрушечные книжечки в четвертушку листа. По складу своего характера и таланта Саша имел великого предшественника в русской литературе — Андрея Белого. Будто бы синеглазый мистик, экзальтированный структуралист, насмешник-"гоголек" вдруг возродился в нашу дурную эпоху и воплотился в рыжевато-белокурого мальчика из Белгорода, одетого в чернильно-синюю милицейскую форму. Отец погиб на фронте, Сашу опекал дядя, милицейский начальник. Он и пристроил племянника после школы в ленинградскую школу милиции. Школа помещалась в здании Главного штаба. Однажды Сашу послали красить крышу, и он говорил, что той же рыжей кровельной краской решил написать свое имя на чугунных мошонках коней, несущих колесницу русской Славы, — по букве на яйцо. Для САША КОНДРАТОВ яйца не хватало, и это будто бы дало ему идею псевдонима: СЭНДИКОНРАД! (с восклицательным знаком).

Возможно, на крыше построенного зодчим Росси здания таким образом был заключен завет с богом гармонии и Саше передалась плодотворная мощь божественных коней.

Только популярных книг — про Атлантиду, внеземное происхождение земных цивилизаций, древние загадочные письмена и т. п. — он издал пятьдесят, в науке выступал с оригинальными идеями и открытиями как стиховед, лингвист, религиовед, востоковед, в литературе он автор сотен, если не тысяч экспериментальных текстов.

При этом Александр Михайлович Кондратов был человек абсолютно несерьезный. Может быть, он и умер так внезапно, потому что вместо консультаций у профессоров, раздобывания заграничных лекарств (я бы ему прислал!) он лечил язву голоданием, медитацией, тибетскими вещами, отдающими игрой и шарлатанством. Если бы по-русски это можно было сказать не пренебрежительно, а с любовью и грустью, я бы сказал "доигрался". Я не виню наших общих друзей в черствости. Это, в конце концов, удача Кондратова, что все до конца приняли правила его игры и даже к смерти его отнеслись как бы не вполне всерьез. Редко кому удавалось вот так и пройти до конца, играючи. Американский поэт только мечтал о труде, неотличимом от игры, а у Кондратова получалось.

Он действительно был широко известен как ученый. В 1976 году, провожая меня из Ленинграда навсегда в Америку, Саша сказал: "Передай привет Роману Осиповичу Якобсону". Я воспринял это как обычную несерьезную, игровую реплику: то великий филолог Якобсон, а то Сэнди Конрад! Да и вообще — как же! Будет мне, бесштанному эмигранту, на каждом шагу встречаться Роман Якобсон. Но вот не прошло и года, и я оказался на лекции Якобсона в Мичиганском университете. По окончании я пробился сквозь толпу аспирантов и добросовестно сказал: "Роман Осипович, Кондратов из Ленинграда просил передать вам привет". "Александр Михайлович? — бойко откликнулся восьмидесятилетний Якобсон, и сразу же какое-то реле сработало в гениальной голове лингвиста-семиотика, и он выпалил библиографию работ Кондратова по стиховедению. — Что он сейчас делает?" Я хотел сказать: "Исчезновение из лотоса — цирковой номер", но на секунду задумался. А знает ли Якобсон, что, оставив применение математических методов к анализу стиха, Саша защитил диссертацию по дешифровке "кохау ронго-ронго" — табличек острова Пасхи? Что в последние годы он занимается буддологией, тибетским ламаизмом? Пока я думал, аспиранты, каждому из которых одной двадцатой кондратовских трудов хватило бы на пожизненную академическую карьеру,

оттеснили меня от Якобсона.

Да, как ученый Кондратов известен широко, но тоже как-то не совсем всерьез. Например, на работу в академические учреждения ему никогда не удавалось толком устроиться. Можно понять научных администраторов, посмеивавшихся над его анкетой. Ну что это такое, кандидат наук, а образование — школа милиции и институт физкультуры! Но не только администраторы, но и сами ученые, которые ценили и цитировали труды Кондратова, относились к нему с усмешкой. Их настораживал его несолидный и непрофессиональный энтузиазм, а главное то, что Кондратов, кроме статей и диссертаций, чего-то еще пописывает, то ли антисоветское, то ли похабное. А главное, они чувствовали, что эта несолидная и непрофессиональная писанина и есть для него самое важное. Так что получалось, что их важное и серьезное дело для Кондратова как бы вроде игра. И это обижало ученых, и они отвечали Кондратову тем, что не принимали его всерьез. Кроме самых лучших ученых, которые знали тайну: наука — тоже игра.

(В одной из своих машинописных книжечек Кондратов описывает новую науку — "удологию". В ней, идя дальше теории четырех элементов Марра, он сводит происхождение человеческих языков к одному элементу, и этот элемент — "уд". Там имелся и этимологический-удологический словарь: труд — от "тру уд", удача — от "дача уда", ОРУД — то есть уд, который орет, и т. п. Очень заразительное, между прочим, развлечение. Одно время мы только тем и занимались, что удологизировали. Помню, как-то по Эрмитажу проходил почтенный старец в черном мундире при орденах, Шарымов сказал ему вслед: "Удмирал удёт". В Америке ученик Якобсона профессор Матейка рассказал мне, что Якобсон считает слова "мудрость" и "муде" однокоренными и делает из этого далеко идущие семантические выводы. Это как-то даже слишком зарифмовалось с Кондратовым. С его игровой "удологией" и чугунными причиндалами коней Славы.)

И без того не слишком хорошо сложенный, Саша в институте Лесгафта был спринтером. У спринтеров мощные нижние конечности и неказистый верх. Увлекшись буддизмом, Саша занялся йогой. Еще у меня на глазах началось его преображение, а на фотографии, которую он прислал мне в Америку, у него мощнейший торс в форме идеального перевернутого треугольника. Он приписал, что, разглядывая такие фотографии, люди обычно приговаривают: ".. с достаточно тупой физиономией". Это он написал из застенчивости, и физиономия у него на снимке, при богатырской позе, застенчивая, и вообще он

был застенчив. Заплетал ли он ноги за уши в невероятных упражнениях, повествовал ли о филологических открытиях, декламировал ли свои поэтические тексты — он делал это, как бы пародируя кого-то, как бы не совсем всерьез. Так ведут себя застенчивые подростки, когда хотят, преодолевая смущение, показать вам, какую увлекательную игру они придумали.

Стало быть, однажды он сообщил мне, что пытается устроиться на работу в цирк. "Я предложил такой номер. В центре арены — огромный раскрытый лотос. В луче прожектора из-под купола на канате опускаюсь я, причем держусь за канат исключительно зубами. Делаю несколько упражнений, раскалываю ребром ладони поленья и кирпичи и все такое прочее Потом сажусь в лотос в позу лотоса. Снова беру конец каната в зубы. Лепестки закрываются. Цветок со мной внутри начинает подниматься в воздух, одновременно раскручиваясь под музыку. Музыка становится все быстрее и быстрее, а потом все медленнее и медленнее, пока цветок снова не опускается в центр арены. Лепестки раскрываются. А меня там нет". Номер, по словам Саши, поразил видавшее виды московское цирковое начальство, но Сашу в цирк не взяли. На обязательном медосмотре дантист сказал, что с такими зубами булку нельзя есть, а не то что на канате висеть. И, хотя Саша висел, не взяли.

Ему всегда была нужна служба, хотя писал он много и печатали его везде. Целое издательство, "Гидрометеоиздат", выполняло план за счет его книжек про атлантиды — единственная их продукция, которая приносила верный доход. Но смелость, с которой Саша брался за любую литературную работу, и ловкость, с какой он ее исполнял, сводились на нет житейской робостью. Вечно платили ему по низшим ставкам, а то и вовсе не платили. Он уже давно был известным ученым и писателем, когда наконец сумел наскрести денег на плохонькую кооперативную квартиру в новостройке. Я пришел поглядеть на его первое в жизни собственное жилье. Саша принес из ларька бидончик пива. Утварь составляли книжные полки и какие-то ящики. На книжных полках стояли издания Сашиных сочинений на двадцати пяти языках. На ящике валялось письмо от Тура Хейердала. Скоро простодушный Саша стал жертвой незамысловатой рокировки, и квартиру у него оттяпали.

Однажды летом журнал "Костер" послал в командировку в Псков и Пушкинские Горы художника Ковенчука, Юру Михайлова и меня. Кондратов поехал с нами за компанию. У Саши как научного обозревателя "Недели" было постоянное удостоверение сотрудника "Известий", и эта красная книжечка обеспечивала нам всем четверым вечно дефицитные номера в гостиницах. При этом

именно на Сашу администраторы и коридорные косились подозрительно. В гостиницу или в ресторан его пропускали явно нехотя, только потому что "с нами". Мы трое в их глазах выглядели более или менее солидно, а у него, в неизменных тренировочных штанах, заношенной желтой футболке с надписью KARHU и в солдатской пилотке, подобранной с псковской мостовой, был вид беспризорника средних лет.

Служба ему была всегда нужна, и он обрадовался, когда его наняли в Музей истории религии и атеизма в Казанском соборе заведовать отделом буддизма. Как положено, он начал с инвентаризации. Коллекции, по его словам, были огромны, так как в 30-е годы, когда позакрывали почти все калмыцкие и бурятские дацаны, их имущество велено было свезти в Ленинград, в музей. Практически чуть не вся "материальная часть" российского буддизма оказалась в Казанском соборе. Итак, Саша лазал со старыми сопроводительными листами по запасникам музея, чтобы составить по крайней мере предварительное представление о коллекциях. И очень скоро он наткнулся на одну недостачу. Не хватало одного Будды. Это был такой Будда, что затеряться он никак не мог, даже в Казанском соборе, самый большой Будда на территории Российской империи. Саша нашел в архивах всю документацию, начиная с прошения на имя Государя с просьбой позволить верующим бурятам собрать средства на воздвижение бронзового бурхана. Все относящееся к его изготовлению и воздвижению в начале века и к демонтажу и транспортировке в Ленинград в начале 30-х годов. Протоколы заседаний ученого совета, на которых обсуждалось, куда Будду ставить. Вопрос, кстати сказать, не из легких, ибо Будда был действительно очень большой. Если установить в самом соборе, то православный собор сразу превратится в тибетское капище. Поставить перед собором — тогда Кутузов и Барклай де Толли будут выглядеть как два карапуза по бокам бронзовой няни. Статуя прибыла в Ленинград, о приемке сохранился соответствующий акт и решение временно положить в запасник в разобранном виде. И так как на этом документация, относящаяся к самому большому Будде, заканчивалась, естественно было предположить, что где- то в утробе собора он и продолжает лежать в виде больших бронзовых частей. Но ни на чердаке, ни в подвалах, нигде в Казанском соборе Саша не нашел никаких следов. Взволнованный, он доложил об этом директору музея. И получил совет заняться другими делами, не обращать внимания. Почему-то эта история его потрясла. Я понимал его изумление — действительно, ведь не иголка. Я бы на его месте успокоился на мысли, что за тридцать

лет все сменявшие друг друга завхозы музея сдавали ценную бронзу кусками в утиль, а деньги пропивали. Но, в отличие от меня, у Саши была на-297 стоящая исследовательская жилка и более, что ли, сакральное отношение к таким вещам. Он все искал ниточку, за которую можно было бы ухватиться, всем рассказывал историю загадочной пропажи.

Я тогда заведовал в "Костре" отделом спорта, и у меня пописывал тренер Б. Как-то Б. рассказал такую историю. Один его приятель, тоже из спортяг, продвинулся по комсомольской части, и его назначили директором Казанского собора. Вчера Б. встретился с ним и приобщился на денек ко всем номенклатурным радостям: сауна, бассейн, шашлык, коньяк. Потом с легкой душой и блестящими проборами вернулись в кабинет директора атеизма, и тот сказал: "Погоди, сейчас еще чего-то будет". Он позвонил секретарше. Через несколько минут секретарша ввела в кабинет уморительного типа. Директор с напряженными от сдерживаемого смеха скулами спросил у него что-то насчет Будды. Тот с места в карьер давай кипятиться и чуть ли не со слезами на глазах доказывать, что "был Будда, был". Вот действительно была потеха!

По учению о метемпсихозе за грехи тебя в следующем воплощении понизят в должности по шкале эволюции, например, предстанешь перед людьми в виде навозной мухи. Не сомневаюсь, что директору Казанского собора суждено жужжать над помойкой.

II

Я собирался сказать несколько слов о Кондратове в своем еженедельном выступлении по "Голосу Америки". Пришлось на 25 мая, что как раз было сороковым днем после его смерти. О числе 40 у Кондратова есть по крайней мере четыре произведения: "Сорок музыкантов", "Али-Баба и сорок разбойников", "Сорок о сорокаградусной" и "Сорок о сорокалетии". Последнее написано на случай собственного сорокалетия:

40 зим заткну за пояс —
40 бед.
40 дней начну с запоя в
40 лет.

Там же он пообещал: "40 дней буду парить".

Мистику чисел, нумерологию, он, как и все, что он знал, знал хорошо и описал исчерпывающе. Кроме четырех произведений о

любимом в русском фольклоре числе сорок у него есть отдельные произведения о семи (несколько), о семидесяти семи (одно), о двенадцати, о тридцати трех, о четырех, о двадцати шести, но особенно много текстов о тройке:

3. Суть Троицы. Бессилен трижды разум.
3 попытки. 3 броска. 3 раза.
3 наследника, 3 брата… Тройка.
3-х головый змей. 3 карты и 3 тролля.
3 дороги. 3 богатыря.
3 волхва. 3 чуда. 3 царя.
3 медведя. 3 танкиста. 3 сестры.
3 семерки (3 бутылки). 3 звезды.
3 субстанции. 3 мира. 3 судьбы.

Свой литературный автопортрет он назвал "Мои "троицы"":

Три творческих лика:
Писатель — Ученый — Журналист

Три писательских лика:
Прозаик — Поэт — Драматург

Три прозаических лика:
Детектив-фельетон ("Нагановиана") — "я-литература" (автобиографические романы) — "просто проза" (рассказы повести)

Три поэтических лика:
поэзия лирическая ("Лам" — Путь) — поэзия сатирическая (Скирли) — поэзия экспериментальная ("Пузыри" + "Конкреции" и "Программы")

Три драматургических лика:
"Пьесны" (пьесы в стихах) — Игры и решения (экспериментальные пьесы и игры) — "Прикладная драматургия" (для цирка и т. д.)

Три великих поэта:
Миларепа (йог-поэт Тибета, XI век) — Данте — Хлебников

Три ступени генеалогии:
1) Хлебников и русский кубофутуризм ("деды")
2) ранний Заболоцкий и обэриуты ("отцы")

3) "неофутуристы" начала 50-х годов ("старшие братья")

Три учителя в прозе:
Генри Миллер — Джойс — Достоевский

Три учителя в драматургии:
Ионеско — обэриуты — Антонен Арто.

При этом он не только писал о числах, но и писал числами. Вслед за теми, кого он называл "отцами", за обэриутами, он экспериментировал на границах семантических возможностей русской речи и стиха. Так он пользуется числами в одной из своих вариаций на "Евгения Онегина". Он называет эту вариацию "Рыба", что на жаргоне литературных поденщиков означает бессмысленную языковую болванку, которую композитор составляет для поэта-песенника. Например, задание — написать песню о советских пограничниках. Композитор наигрывает сочиненную мелодию и напевает что-нибудь вроде: "Подлетали бабушки к забору, занесли беднягу за барак. Привыкали дедушки к запору, но привыкнуть не могли никак". Поэт ухватывает ритм и выдает текст на заданную тему: "Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой…" Кондратов проделывает обратную операцию:

Мой дядя 89
6000,-70 имел
Держа 5 — 99
11 хранил в уме.

130 — 219
500 — 413
17/71/
+200/901/.
Друзья! 16 и 12,13,40,50
и суммой в 250,
12,218.

4х4 — я
16, как и вы, друзья!

Кондратовская "рыба" только притворяется бессмыслицей. Не правда ли, здесь онегинская строфа вовсе не обессмысливается, напротив, освобожденная от сюжетной нагрузки, она

демонстрирует осмысленность самого синтаксического, интонационного и ритмического каркаса пушкинского стиха? Да и числа здесь выбраны не просто какие по размеру подходят. Строчка "17/71", например, иллюстрирует столь важную для Пушкина, как и для зодчего Росси, идею симметрии. Можно было бы прокомментировать и всю остальную "арифметику" этого текста, но характерно и то, какие слова-поплавки Кондратов оставляет среди комбинаций чисел — "я", "вы", "друзья", обнажая задушевную суть пушкинского диалога с читателем.

Другой текст он пишет не числами, а суффиксами. Это произведение и называется словом без корня: "-Атенькое".

А он такой — оватенький,
весь из себя — еватенький…

И дальше:

Не — ующий, не — еющий,
пускай слегка стареющий,
пирующий, да — ующий
кукующе ликующий.

— Ующий… Радехоньки?
Вдруг — крохотный да махонький.
Ахти, ахти, ох, охоньки!
Бабаханьки — не хаханьки!

Читатель, наверное, заметил, что до сих пор я избегал называть поэтические тексты Кондратова стихотворениями. Стихотворения, как я понимаю этот жанр, Кондратов писал лишь в самом начале. Его ранние иронические вещи вполне оригинальны, в них уже просматривается будущий Кондратов, но в то же время каждой своей гранью эти стихи соприкасаются с поэтическими веяниями 50-х годов. Они отблескивают то Слуцким, то новооткрытыми обэриутами, то Глазковым, то Коржавиным. Ранние вещи Кондратов были очень популярны среди московской и ленинградской молодежи:

Везде настало воскресенье,
настойчиво мочился дождь,
и лопоухий мальчик Сеня
сказал несмело: "Мир хорош".

Был мир, действительно, хорош.

Сидели в камерах бандиты,
и колосилась в поле рожь,
и добывались апатиты.

В чащобах каменных трущоб
хлобыстнул быстрый выстрел.
Сказали люди, что еще
одно самоубийство…

Удача молодого поэта определяется строчками, которые начинают повторять. У восемнадцати-двадцатилетнего Кондратова таких было немало: "Был мир действительно хорош" ("хорош" произносится понятно с какой интонацией), "Персонально каждый сходит с ума…", "Мечтаешь ты увидеть кактус, / засеять луком огород — / но в жизни все выходит как-то / совсем-совсем наоборот", "Скажи, куда летишь ты, кречет? / Маршрут мой строго засекречен, / и не скажу, куда лечу я, — / ответил он, подвох по- чуя…", "Много есть хороших служб / для простых советских душ. / Но особенно, особо / хорошо служить в "особом"…", "Задавили на улице гадину, / а она ведь любила родину…"

Предоставляем право муравьям
глазеть газеты и клозеты строить!
Планету оставляем муравьям —
из нас не вышли громкие герои.
И мы уйдем с навязчивой земли,
чтоб никогда опять не повториться…
Пускай придут худые муравьи в рабочих
неуклюжих
рукавицах!

Это были оригинальные и, повторяю, характерные для того времени стихотворения. Однако очень скоро Кондратов перестал писать стихотворениями. Он стал писать сериями.

Окончательность текста — это, с точки зрения поэта, очень непростая проблема. Кондратов в последнем письме вспоминал Блока, который записывал в дневнике: "Сегодня я гений". "А вчера?" — спрашивал Кондратов. Кем был Блок накануне, когда написал первый вариант той же поэмы? По- том он вспоминал Лермонтова, который всю жизнь переписывал поэму "Демон". Я не успел ответить на это письмо, а если бы ответил, то вспомнил бы Мандельштама, который со второй половины 20-х годов стал писать стихи нередко в двух-трех вариантах. Можно

предположить, что и многочисленные разночтения в "Поэме без героя" Ахматовой — это не "исправления", а равноправные варианты — можно так, а можно и этак. Тонкий знаток Ахматовой Татьяна Цивьян даже как-то говорила, что идеальным изданием ахматовского текста было бы факсимиле рукописи со всеми зачеркнутыми и незачеркнутыми вариантами на каждой странице. Кондратов, у которого одна половинка мозга была поэтическая, другая научная, а третья мистическая, полагал, что для каждой темы есть некое конечное число возможных вариантов исполнения. Иногда он брал готовые формальные наборы — например, все стиховые формы арабской поэзии или провансальской. Иногда наборы индивидуальных стилей, скажем, поэтов, принадлежащих к русскому классическому канону: Пушкин, Лермонтов, Некрасов… Иногда рамки серии диктовались внепоэтическими факторами. Например, поэма "Кащей" построена так, чтобы исчерпывающе проиллюстрировать все функции фольклорного текста, описанные Проппом. Серийным свой творческий метод назвал сам Саша и сравнил его с додекафонической серийной музыкой.

Собственно говоря, серийными были и наши отношения, подчиненные таинственному для меня ритму Сашиных жизненных циклов. Возникнув, Саша общался очень интенсивно — приходил чуть ли не каждый день, часто оставался ночевать, возился с детьми, норовил помочь по хозяйству и внезапно исчезал, на год-два.

Однажды он предложил мне еще одно наглядное объяснение самого себя. "Моя жизнь представляется мне вроде карточки лото или шахматной доски, или, может быть, доски для стоклеточных шашек. Прожить ее — значит заполнить все клеточки. Например, в научном ряду я заполняю клеточки "лингвистика","этнография", "математика", а клеточка "биология" пока не заполнена. Но это неважно, неважно в каком порядке. Есть ряд поэзии, ряд театра, ряд спорта… Не все ряды мне пока видны. Может быть, есть и ряд музыки, я только пока не знаю, и, может быть, мне еще предстоит научиться играть на флейте…"

Самое точное здесь то, что собственная жизнь представлялась ему игровым полем, игральной доской.

III

"Здравствуй, ад!" Роман этот Саша написал, прочитав Генри Миллера. Как и всякий настоящий писатель, он подзаряжался не от так называемой жизни, а от литературы. Подслушать что-то и "выдать, шутя, за свое" — эта формула к нему особенно подходит,

потому что главное — "шутя". Сначала Кондратов принялся "Тропик Рака" переводить (позднее он переводил "1984", и не забудем, что и за то, и за другое легко можно было схлопотать срок), но, кажется, бросил, а свой длинный роман написал. Получилось веселее, чем в довольно занудном, на мой вкус, американском оригинале. Подобно Миллеру, Кондратов построил свой текст как сексуальную (отчасти гомо) одиссею, но изменил по сравнению с оригиналом тональность, избавился от идиотской серьезности в описании совокуплений, не имитировал, а сыграл Генри Миллера. При переводе мочеполовой мифологии на язык буффонады поприбавилось искусства, а претенциозности поуменьшилось. В кондратовском "Здравствуй, ад!" было что-то от народного театра, вертепа. В первую очередь именно то, что место действия, СССР, изображалось как бурлескный ад. Делалось это без потуг на тонкость, впрямую. Например, города, описанные Кондратовым, получили шифрованные названия: Ленинград — Котлоград, Москва — Главный Котел, а в Куйбышеве он просто заменил первую букву на "икс". (Интересно, что "котлом" называет родной Карфаген бл. Августин в "Исповеди"; наверняка феноменально эрудированный Саша и это имел в виду.)

Получилось, что Кондратов задолго, лет за двадцать, до появления бестселлеров Лимонова и других подобных текстов, где авторы режут свою однообразную правду, mirabile dictu, матку, разыграл и спародировал их. Вообще значительная часть его текстов — пародии, и нередко эти пародии были написаны до появления объектов пародирования. Есть, например, теперь такой прозаик Владимир Сорокин, пишущий в жанре иронического садизма. Кондратов написал серию рассказов в этом духе, когда учился в институте физкультуры. Там были представлены все возможные психопатологические сюжеты. Но Кондратову вовсе неинтересно было просто написать рассказы и пустить их по кругу обычных читателей. Его игра была в другом. Он положил по рассказу в конверт, присовокупил к каждому письмо, в котором рассказал о своих успехах в учебе и спорте и просил оценить его литературные опыты, и аккуратно разослал эти сюрреалистические и по тем временам совершенно нецензурные рассказы по редакциям журналов. Рассказ "про собачку" под названием "Иди сюда, Максик", например, был послан в редакцию "Советской женщины". Редакции откликнулись по-разному. Из софроновского "Огонька" Сашину рукопись переслали в партбюро института Лесгафта с советом принять меры к подонку. Из "Нового мира" пришло письмо, насколько я помню, следующего содержания: "Ваш рассказ изображает грязные, отвратительные стороны жизни, в нем чувствуется болезненное смакование

сексопатологии. Разумеется, о публикации его в нашем журнале не может быть и речи". А заключалось фразой: "Было бы интересно познакомиться и с другими Вашими произведениями"."

Мер никаких не приняли, так как Саша "выбегал" на стометровке из одиннадцати секунд, что в те времена не часто встречалось. Его в наказание загрузили общественной работой. Поручили написать стихи, под которые спортсмены-лесгафтовцы будут выступать на физкультурном параде в Москве. Саша охотно взялся не только написать, но и лично декламировать в микрофон (тем более что это избавляло его от участия в нудных репетициях). В день парада он звонким голосом зачитывал:

Мы идем, отбивая шаг.
Стадион звенит под ногами.
Голос родины в наших ушах.
Верность партии — наше знамя!

Никита Сергеевич Хрущев и другие члены политбюро аплодировали. Стихи эти Кондратов позаимствовал из одного старого советского фильма про фашистов. Только заменил "верность фюреру" на "верность партии".

Йохан Хейзинга в своем широкоизвестном трактате "Homo ludens" ("Человек играющий") доказывает, что в основе всей человеческой культуры, то есть в основе самой человечности человека, лежит игровое начало. Он пишет также о том, что игровой характер искусства, науки, спорта, всей общественной жизни в наше время повышается. Первым существенным условием любой игры Хейзинга считает игровое пространство, некий умышленно ограниченный круг, внутри которого протекает действие и "имеют силу особенные, собственные правила". В скучном мире "худых муравьев" Александр Михайлович Кондратов был совершенным образцом homo ludens. Игровым полем была для него собственная жизнь, и играл он по своим правилам до конца. В рядах клеточек судьбы под конец открылся и ряд политический. Он писал мне в последнем письме, что вспомнил о своем казачьем происхождении, записался в петербургские казаки: "Если мои предки, люди темные, разгоняли в Питере "стюдентов и жидов", то почему бы мне, казаку просвещенному, не разгонять черносотенцев…"

Его хоронили поэты, филологи, художники, казачий эскадрон и епископ коптской церкви. Когда ему будут ставить памятник, пусть изобразят на нем — посреди арены лотос, лепестки которого начинают раскрываться.

Русский писатель Сергей Довлатов

Утром 24 августа в Нью-Йорке умер русский писатель Сергей Донатович Довлатов. Умер от особо яростного приступа неизлечимой болезни, которая терзала его всю жизнь. Десять дней не дожил до своего сорок девятого дня рождения. Довлатов был огромный человек, и его уход — это огромная брешь в ткани нашей, его друзей и читателей, жизни. Она затянется, время затягивает все, но жизни вокруг все равно будет меньше, потому что жизни нужно, чтобы ее проявляли, делали видимой, ощутимой. На это способны лишь немногие обладатели особенного художественного дара, и одного из них больше нет.

У Довлатова была гениальность, если использовать это слово не в дурацком смысле литературной табели о рангах, а в прямом значении, — способность к творчеству не благоприобретенная, а врожденная, закодированная в генах. Потому-то эта способность и называется дар, а не добыча. По существу, литературный дар — это дар воображения. Когда о ком-то говорят: "У него богатое воображение" — то обычно имеют в виду способность выдумывать, фантазировать. Но воображение писателя — другого рода: писатель воображает, то есть превращает в образы впечатления жизни, которой он живет.

Знакомы мы были лет двадцать пять, хотя должны были бы знать друг друга с детства — мы были "двоюродными молочными братьями". Моя мать и тетка Довлатова, Мара, были приятельницами. Детей, то есть меня и многократно описанного Сергеем кузена Бориса, они произвели на свет почти одновременно. Но у Мары пропало молоко, а у моей мамы оно было в избытке, и она какое-то время подкармливала сына подруги. Поскольку Боб, в отличие от меня, вырос силачом и красавцем, я ревниво подозревал, что он тогда, в начале жизни, оттеснял меня от материнской груди. Но так получилось, что с Сергеем мы познакомились, только когда ему было за двадцать. Я был на четыре года старше, разница в этом возрасте ощутимая но он ее еще и усугублял, относясь ко мне подчеркнуто как к старшему. Он вообще мифологизировал своих знакомых, так ему было интереснее, и мне отвел роль вроде как кентавра Харона (в этих тонах и описал меня в "Невидимой книге"). Это не мешало ему делать иногда смешные и довольно кол- кие замечания. Мы встретились как-то на улице в Нью-Йорке, и он сразу сказал с неодобрением: "Почему это вы кепку не надеваете, а кладете себе на голову?" Кстати сказать, мы с ним всегда были на "вы". Это

петербургская неприязнь к амикошонству.

В Америке мы виделись не часто, чаще разговаривали по телефону. Довлатов звонил всегда по делу. С хорошей старинной вежливостью извинившись за беспокойство, он излагал дело ясно и немногословно, что заставляло и собеседника избегать словесной расхлябанности в ответе. Дальше, как правило, следовало нечто вроде примечания, разговорной сноски по поводу упомянутого в деловой части человека или события. В красивом голосе Довлатова появлялась интонация удивления и восторга, сдержанного удивления и сдержанного восторга. Передавая чьи-то слова, чей-то поступок, Сережа поражался и восхищался: вот ведь как неожиданно может высказаться или повести себя человек! Чудо творилось в телефонной трубке: информация преображалась в рассказ. Все стертые персонажи заурядного телефонного разговора, агенты деловых и житейских передряг превращались в героев саги, неповторимых и непредсказуемых. Даже мелкие люди, даже пошлые слова становились занимательными: вот ведь как необыкновенно мелок может быть человек, вот ведь как неожиданно пошл! Есть такое английское выражение "larger than life", "крупнее, чем в жизни". Люди, их слова и поступки в рассказе Довлатова становились "larger than life" — живее, чем в жизни. Получалось, что жизнь не такая уж однообразная рутина, что она забавнее, интереснее, драматичнее, чем кажется. Значит, наши дела еще не так плохи.

Я радовался, слушая Довлатова, и мне всегда хотелось ответить ему тем же, и тут проявлялось еще одно Сережино качество. Как ни редки талантливые рассказчики, но хорошие слушатели среди них еще реже. Сколько раз было замечено, как у только что пылавшего монологиста стекленеют глаза во время вашей реплики, вы сбиваетесь, торопитесь закончить, досадуя на себя и на собеседника, который, по сути дела, обманывал вас: ведь выясняется, он просто хотел поговорить, покрасоваться, а не сообщить вам что-то. Довлатов слушал всерьез и похохатывал от удовольствия в ударных местах вашего не такого уж умелого рассказа. Он был не просто благодарный слушатель. Он умел поистине художественно слушать и создал книгу небывалого жанра — "Соло на ундервуде", превратив в словесность, подлинно изящную, милый словесный сор застольных разговоров, случайных, мимоходом, обменов репликами, квартирных перепалок. Эфемерные конструкции нашей болтовни, языковой воздух, мимолетный пар остроумия — все это не испарилось, не умерло, а стало под его пером литературой.

Говорят, что "поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке". Но поэзия — это скорее новые слова или, по крайней мере,

старые слова в новом порядке. "Лучшие слова в лучшем порядке" — это проза, это довлатовское искусство рассказа. Довлатов был абсолютно профессиональный литератор, то есть он знал, как мучительно добываются лучшие слова и каких трудов стоит найти для них лучший порядок. В одном интервью он говорил: "Десятки раз я слышал от умных и серьезных людей один и тот же довольно глупый и бесполезный совет: "Запиши точно, слово за словом, свои устные рассказы, и у тебя будет готовая проза" Только сами рассказчики знают, какое это глубокое заблуждение". И Довлатов называет имена двух прославленных писателей, каждый слыл в своем кругу непревзойденным рассказчиком, и каждый до болезненности трудно писал свою безупречную прозу — Шервуд Андерсон и Евгений Шварц. Довлатов, когда не болел, работал неустанно, а в годы эмиграции выпускал чуть не по книжке в год, но это маленькие книжки, внешне напоминающие сборнички стихов. Когда прозу Довлатова издадут под одной обложкой, это будет одна книга страниц на четыреста-пятьсот.

Писать трудно всем, кроме халтурщиков и графоманов. Почему же одни талантливые писатели пишут из года в год толстые тома, а у других талантливых писателей за всю жизнь на толстый том не накопится? Разница, главным образом, не в личных обстоятельствах, а в личностных. Обильно пишут те, для кого художество есть средство поиска и утверждение истины — в обществе, в истории, в самом себе. Те же, для кого цель художества — художество, пишут скупо. Первый — достоевско-толстовский тип писателя — основной в русской литературе, второй — флоберовский — довольно редок. Много лет тому назад, в пасмурный день, мы встретились на Фонтанке, и Довлатов благоговейно вручил мне потертую книжку, сокровище его скромной библиотеки, роман Добычина: "Город Н.". Читая эту удивительную книгу мало написавшего и рано погибшего автора, я понял одну простую вещь: так называемая эстетская позиция обрекает писателя на значительно более мучительные отношения с жизнью, чем любая иная. Если писатель — художник и только, тогда ни вера, ни знания, ни интеллектуальные способности не приходят ему на помощь. Все, что имеется в его распоряжении, — это жизнь, которой он живет, и слова. Довлатов принадлежал к этой относительно редкой породе писателей. Он эстетизировал жизнь, о чем бы ни писал, в том числе и о пьяной солдатне, о лагерных паханах и петухах или о подоночных журналистах. Довлатов выстраивал лучшие слова в лучшем порядке, рассказывая о том, как солдаты идут в ларек за бутылкой или как провинциальный журналист интервьюирует передовую доярку, и

все эти случайные, слабые, заурядные человеческие отношения, "вся эта паутина земли", по выражению одного из любимых Довлатовым американских прозаиков, становилась сущностной, значительной и необыкновенно интересной.

Довлатов знал секрет, как писать интересно. То есть он не был авангардистом. После многих лет приглядывания к литературному авангарду я понял его главный секрет: авангардисты — это те, кто не умеет писать интересно. Чуя за собой этот недостаток и понимая, что никакими манифестами и теоретизированиями читателя, которому скучно, не заставишь поверить, что ему интересно, авангардисты прибегают к трюкам. Те, кто попроще, сдабривают свои сочинения эксгибиционизмом и прочими нарушениями налагаемых цивилизацией запретов. Рассчитывают на общечеловеческий интерес к непристойности. Те, кто поначитанней, посмышленее, натягивают собственную прозу на каркас древнего мифа или превращают фабулу в головоломку. Расчет тут на то, что читателя увлечет распознавание знакомого мифа в незнакомой одежке, разгадывание головоломки. И этот расчет часто оправдывается. Чужое и общедоступное, не свое, не созданное литературным трудом и талантом, подсовывается читателю в качестве подлинного творения. Это можно сравнить с тем, как если бы вас пригласили на выступление канатоходца, а циркач вместо того, чтобы крутить сальто на проволоке, разделся догола и предложил вам полюбоваться своими интимными местами. Или вместо того, чтобы ходить по проволоке, прошелся бы по половице, но при этом показывая картинки с изображениями знаменитых канатоходцев.

Со всем поверхностным мифотворчеством современной прозы Довлатов разделывается одной строчкой в "Соло на ундервуде": "Две хулиганки — Сцилла Абрамовна и Харибда Моисеевна". Сюжеты его просты, "как в жизни". Он говорил: "Я особенно горжусь, когда меня спрашивают: "А это правда было?" — или когда мои знакомые и родственники добавляют свои пояснения к моим рассказам, уточняют факты по своим воспоминаниям — это значит, что они принимают мои измышления за реальность". Парадоксальным образом в отношении к сюжетосложению "эстет" Довлатов совпадает с писателем достоевско-толстовского типа, Солженицыным, которого тоже постоянно заботит, чтобы в прозе было "как на самом деле". При этом Довлатов отнюдь не плоский натуралист. Проза его часто откровенна, но никогда не похабна. Он рассказывает, "как на самом деле" было, но в нашей памяти создаваемые им образы людей и животных становятся фигурами мифологических пропорций. Деды, отец и мать, жена, брат —

реальные люди, о чьих реальных делах идет речь в книге под названием "Наши". Но в то же время эта книжка производит впечатление мифологического цикла, начинаемого с рассказов о сокрушенных Кроносом гигантах прошлого до рассказов о верных пенелопах и неунывающих улиссах недавнего времени.

"Здравствуй, брат, писать очень трудно", — приветствовали друг друга петроградские писатели, называвшие себя "Серапионовыми братьями". Евгений Шварц пишет в мемуарах о Борисе Житкове: ""Офицер в белом кителе!!" "Офицер в белом кителе!" — повторяет Борис, отчаянно и уничтожающе улыбаясь. — Так легко писать: "… Офицер в белом кителе"". И Шварц, той же школы мастер, поясняет: "Эта чеховская фраза, видимо, возмущала Бориса тем, что используется уже готовое представление. Писатель обращается к уже существующему опыту, к читательскому опыту". Это петроградская литературная школа писательства, требующая постоянного поиска единственных слов для выражения единственного видения и при этом внешней простоты, такой отделанности, чтобы казалось, что не сделано вовсе — само получилось; эта проза сродни акмеистической поэзии.

Это проза Житкова, Шварца, Добычина, Василия Андреева, в другом жанре — Тынянова; это — самая затоптанная хамской советчиной литературная школа (потому что если уж хам благодушен и попустительствует, так уж скорей чему-нибудь позаковыристей, "чтобы видать было, что красиво"). А все же не вытоптали совсем, что-то всегда пробивалось, как пробивалась трава сквозь петроградские мостовые в 20-м или 42-м году.

Одну из своих последних газетных статей Довлатов посвятил памяти людей, "достойных любви, внимания и благодарности", тех, кто в крутые времена сохранил человеческое достоинство и литературную традицию, что, по существу, одно и то же, когда мы говорим о петроградской литературной традиции. Вера Федоровна Панова, Леонид Николаевич Рахманов, Юрий Павлович Герман, Геннадий Самойлович Гор, Виктор Семенович Бакинский, Израиль Моисеевич Меттер, Кирилл Владимирович Успенский, Давид Яковлевич Дар, Глеб Сергеевич Семенов; Довлатову, так же как его однокашникам Битову, Бахтину, Вольфу, Голявкину, Грачеву, Ефимову, Марамзину, Нечаеву, Попову, повезло с наставниками. В этом смысле их литературная судьба началась куда счастливее, чем у москвичей, где главным патроном молодых был Катаев, чей гремучий стиль вполне соответствовал рептильной морали стилиста. В петроградской школе не учили писать плохо (катаевский "мовизм"), учили писать хорошо. Здесь не учили, взявшись за руки, дружной

ватагой отвоевывать "литплощадки". По словам Довлатова, Меттер говорил ему: "Жизненные неурядицы не имеют абсолютно никакого значения… Литература — лучшее дело, которому может и должен посвятить себя всякий нормальный человек". За то и выпало на долю этого не старого еще поколения.

Умерли старший из "горожан", как их иногда называли, Борис Бахтин, и младший, Сергей Довлатов. Жизнь была недолгой, но литературная судьба Довлатова сложилась счастливо. До тридцати семи лет он жил на родине, где его как писателя подвергали бесконечным унижениям. Он об этом весело рассказал в своей "Невидимой книге". Он много работал, но практически ничего так и не смог напечатать в своей стране. Но вот что он пишет за три месяца до смерти: "Оглядываясь на свое безрадостное вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться". Это очень характерное для Довлатова высказывание; характерно и то, что он вставляет "так сказать" в упоминание своего литературного дебюта, и то, что он стыдится своих ранних сочинений, то есть тех самых, которые сразу прославили его в Ленинграде как необычайно одаренного молодого писателя. Довлатов всегда был слишком профессионален, чтобы гениальничать. Даже когда ему предложили назвать классика, который служит ему ориентиром, он назвал Куприна. Назвать Толстого или Чехова, с его точки зрения, было бы нехорошо, неловко.

Двенадцать лет его второй жизни, на Западе, — это взрыв литературной известности. Один за другим выходят циклы новелл, повести: "Компромисс", "Зона", "Заповедник" (моя любимая вещь у Довлатова), "Наши", "Иностранка", "Филиал". Навык изящного и точного письма помогает Довлатову стать одним из самых продуктивных и популярных эссеистов эмиграции. Его имя стало знакомо огромной аудитории на родине благодаря регулярным выступлениям по радио "Свобода". В англоязычном мире Довлатов из русских писателей, пожалуй, по известности стоит непосредственно вслед за нобелевскими лауреатами Бродским и Солженицыным. Только американцы знают, какая это мера литературного успеха — напечататься в журнале "Ньюйоркер". До Довлатова только одного русского прозаика признал журнал "Ньюйоркер" своим постоянным автором — Набокова. Успех Довлатова в переводах на английский интересен. Конечно, и сам Сергей охотно признавал, что есть писатели не менее, чем он, заслуживающие читательского

интереса на Западе. Но, увы, непереводимы. То есть перевести-то можно, если постараться, и соответствующие идиоматические выражения подобрать, и найти правильный стиль. Но сама природа русского литературного художества слишком уж основана на взаимопонимании между писателем и читателем. Писатель и читатель уже и забывают порой, что говорят на языке намеков в третьей и четвертой степени, что словами они пользуются не для выражения идей, а вроде как междометиями. Попробуй переведи этакое. А Довлатов с его исключительно точным и красивым русским языком прекрасно переводится. Ибо та литературная школа, к которой он принадлежит, требует поиска точных выражений для точных смыслов, отдает предпочтение недосказанности перед лирическим излиянием, иронии перед патетикой. Такая литературная идиома, такая художническая ментальность, знакома читателям Генри Джеймса, Фолкнера или Чивера и Апдайка. Всякий специалист знает, что, несмотря на колоссальную роль, которую сыграла русская классика прошлого века в западной интеллектуальной жизни, английских текстов Гоголя, Достоевского и Толстого, по-настоящему адекватных оригиналам, нет. А вот Тургенев и Чехов на английский переводятся со всеми нюансами текста и подтекста. И Довлатов.

Можно сколько угодно объяснять иностранцу российские реалии, но они все равно до конца не уложатся в иностранной голове. Однажды, в качестве реального комментария к рассказу Трифонова, я долго рассказывал американским студентам, что такое коммунальная квартира, и даже чертил на доске план ленинградской коммуналки, где прошло мое детство. На следующей неделе читал их сочинения. Одна девушка решила написать художественно, воображая себя русской. Ее сочинение начиналось так: "С папой, мамой и братьями мы ютимся в коммунальной квартире. Гостиная и кухня у нас на первом этаже, а наши спальни на втором…" Довлатов по- английски читается так, как будто это не экзотический автор пишет об экзотической жизни, а свой писатель, какой-нибудь Джон Апдайк или Филип Рот, который знает, как рассказать американцам про коммуналки, фарцовщиков, дембелей, зэка в законе, чтобы они все поняли.

Наши последние разговоры крутились, главным образом, вокруг публикаций. В России Довлатова "открыли" и государственные, и "неформальные" издатели. Пожалуй, он отдавал предпочтение первым. Вторые его напугали. "Звонит мне один, говорит: издам в течение двух месяцев, тираж триста тысяч. Я спрашиваю, а продавать-то как будешь? А он говорит: а что продавать (в голосе Довлатова звенит восторженная

интонация) — дам глухонемым по трешке, поставлю возле метро, и будут продавать". Довлатов и в нищих эмигрантских издательствах старался придать своим книгам привлекательный книжный вид: литературное изделие должно быть доведено до конца, отделано. Но главное — он был счастлив: его читают, будут читать. Он и моими публикациями в России занимался охотно и предусмотрительно: очень уж ему хотелось, чтобы была у нас нормальная литературная жизнь.

Как и все настоящие писатели, Довлатов немало писал о смерти. В "Соло на ундервуде" он с удовольствием цитирует заметку из нью-йоркской газеты "Новое русское слово": "В Гондурасе разбился пассажирский самолет. К счастью, из трехсот находившихся в нем пассажиров погибло только девять…" Там же из того же издания похоронное извещение: "Преждевременная кончина Марика Либмана". Одна из лучших новелл Довлатова первоначально называлась "Чья-то смерть и другие заботы", фабула ее основана на анекдоте: устроили официально пышные похороны партийного работника, но перепутали гробы в больнице. Автору — герою рассказа — в порядке общественной нагрузки надо выступить над могилой вдвойне неизвестного ему человека. И вот, когда он начинает свою бессмысленную речь, незаметно для читателя происходит перевоплощение, автор становится мертвецом: "Могилу окружали незнакомые люди в темных пальто. Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне плечи. Опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки. Над моим изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звучал далекий, окрашенный самолюбованием голос…" Он хотел, чтобы о смерти писали с юмором и грамотно, избегая самолюбования и прочей стилистической безвкусицы.

Юз!

Вот уж кто награжден каким-то вечным детством! Старость — замедление, а Юз быстр. Легок на подъем. Поехали! В Вермонт за водой из водопада, в русскую лавочку за килькой, в Москву на презентацию книги, в Чикаго на день рождения подруги знакомого зубного врача. Смена настроений стремительна. Ну его… Московские тусовки омерзительны. Чудовищно скучная баба. Разве ж это килька?.. А может, все-таки?.. Поехали! В Нью-Йорк к четырем утра — на рыбный рынок. Во Флориду — купаться. В Италию с заездом в Португалию… Реакции, как у летчика-испытателя. В июне 1983 года мы были вместе на одной конференции в Милане, а потом наметили несколько дней полного отдыха в Венеции. Утром сели в поезд, болтали, поглядывали в окно на скучные ломбардские пейзажи, слегка выпивали, закусывали. В Вероне поезд остановился на втором пути, а по первому пути, прямо по шпалам, набычившись, таща в каждой руке по чемодану, шел поэт Наум (Эма) Коржавин. Очень плохо видящий, он в этот момент целеустремления, видимо, и не слышал ничего — а навстречу ему быстро шел поезд. От ужаса я обомлел. А Юз рванул вниз окно и зычно крикнул: "Эма, ты куда?" Не удивившийся Коржавин мотнул головой и крикнул в ответ: "В Верону". Дикие русские возгласы привлекли внимание железнодорожника на первом перроне. Он спрыгнул на рельсы и оттолкнул вбок Коржавина с чемоданами. Через секунду промчался встречный. Юз плюхнулся на свое место и сказал: "Эмма Каренина…"

Острый интерес к игрушкам — магнитофонам, приемникам, апельсиновыжималкам, электрическим зубным щеткам с переключением скоростей. Картинкам, пластинкам, машинкам. Иногда он даже краснеет, так ему хочется. И по-детски быстро интерес к новой игрушке пропадает. Было бы разорительно, если бы не блошиные рынки и "гаражные распродажи". Как-то мы ехали к морю и Юз, конечно, тормознул, завидев кучу хлама, выставленную у крыльца одного дома и в открытых дверях гаража. Среди ломаных ламп и щербатых тарелок он приглядел небольшое сооружение, изделие художника-любителя — чучело птички сидит на домике — и приобрел вещицу за один доллар. Мы отъехали, завернули за угол, Юз опять остановил машину, вылез и аккуратно положил уже опротивевшую покупку на обочину дороги.

Я подозреваю, что для него не существует неодушевленных

предметов. Он вступает в сложные и противоречивые отношения с вещами по всему диапазону изменчивых чувств, от любви до ненависти. У него в романе "Смерть в Москве" есть причудливый андерсеновский мотив — милые живые вещи томятся в плену у заживо мертвого коммуниста.

Я привез к Юзу в гости своего петербургского друга Владимира Васильевича Герасимова, несравненного эрудита. Был теплый апрельский вечер, мы пошли погулять по университетскому городку, Герасимов, впервые приехавший в Америку, рассказывал нам разные любопытные вещи об американской провинциальной архитектуре. Юз заинтересованно слушал. Но вот его внимание привлек сучок, валявшийся на асфальте. Юз поднял сучок и вставил себе в ширинку. Потом заменил прутиком. Потом сосновой шишкой. Потом одуванчиком. Флора продолжала подбрасывать ему фаллосы вплоть до конца прогулки, когда Юз проворно вскарабкался на старую яблоню, сел верхом на толстенный сук, торчавший почти параллельно земле, сидел там, болтая ногами и хохоча, и яблоневый сук с белым цветением на конце действительно казался нам продолжением Юза.

Карнавализация, оппозиция верх-низ, веселая бахтинщина 60-х годов идет в дело, когда критики берутся за Юза. Сам он когда-то сказал со вздохом:

А низ материально телесный
У ней был ужасно прелестный.

Говорят, Бахтину Юзов экспромт очень понравился. Экспромты рождаются у него легко и непрерывно, как пузырьки на шампанском. Они так органичны, что кажутся ничьими, фольклором, например, каламбурный тост "За пир духа!". Или двустишие с рифмой исключительной точности и глубины:

Пора, пора, е… мать,
Умом Россию понимать.

Впервые я увидал этот текст в 78-м году пришпиленным на дверях конференц-зала, где собрались советологи, в Вашингтоне. На протяжении последующих двадцати с лишним лет его цитировали то как народную частушку, то как "гарик" Губермана, разве что к тезисам Лютера на дверях виттенбергского собора не относили этот стишок.

Я бы раз и навсегда дисквалифицировал критиков за употребление словосочетания "Алешковский и Лимонов".

Лимонов — даровитый человек, но дело не в этом. Дело в том, что их объединяют как авторов "неприличного". Это все равно как сравнивать кошку с табуреткой по признаку четвероногости. Неприличие Юза лингвистическое — из небогатства основного русского табуированного словаря (дюжина сексуальных и скатологических терминов) русская грамматика позволяет и народная фантазия творит принципиально неограниченное множество насыщенных эмоциональными оттенками речений. Юз не инкрустирует свою прозу вульгаризмами, как это делали писатели прошлого для создания речевых портретов простонародных персонажей, а оседлывает могучую стихию просторечия. Впрочем, почему же "оседлывает"? Ненормативная речь крайне редко употребляется у него для описания сексуальных моментов, она скорее океанический эрос, из которого возникают мифы. Он мчится по этим волнам, как гениальный серфер или как мальчик на дельфине. А точка назначения у него всегда высока — тайна бытия, тайна божества.

Неприличие Лимонова — вовсе другого рода, в прямом смысле слова порнографического: выставляются напоказ подсознательные перверсивные импульсы. Ненормативной лексики у Лимонова очень мало — "попки" и "письки" куда похабнее.

Потрясающий художественный эффект возникает, когда "последние вопросы" задаются не осторожным нормативным языком, а живой речью, которая сама в процессе непрерывного становления. Дело тут не в травестии, не в том, что получается смешно. Впервые я слышал "Николая Николаевича" от своего друга художника Ковенчука. Сам обладая редким чувством слова, он прочитал где-то самиздатского "Николая Николаевича" и запомнил наизусть большими кусками. Он декламировал мне фрагменты фантастического текста, и мы беспрерывно хохотали. Можно было бы сказать: "И его декламация сопровождалась взрывами смеха". Артиллерийский обстрел тоже неизбежно сопровождается взрывами, однако не шума ради стрельба ведется, а на поражение. Язык волен, автор мудр, читатель весел. Творчество веселое, вольное и мудрое — нетрудно проследить его русскую родословную: Зощенко, Достоевский, письма Пушкина.

И не гнушался добрый мир общинный
Матриархальной лексикой обсценной.

Тот же Герасимов рассказывал мне, как в послевоенный год маленьким мальчиком он был привезен на лето в глухую деревню. Там его сразу принялась задразнивать стая оголтелых

сверстниц.

Затравленное городское дитя, он заорал на хулиганок: "Идите к черту!" Появилась бабушка, суровый матриарх, и не без испуга в голосе попеняла ему: "Нехорошо так ругаться, его поминать". — "А они пристают…" — "А ты им скажи: "Идите на х…!", а его не поминай".

Сейчас многие стали благочестивы и вспомнили о средневековом запрете на матерную речь как проявление язычества. Один уважаемый Алешковским философ сказал мне: "Я вашего Алешковского читать не буду, потому что матерщина оскорбляет Божью Матерь". Здесь, я думаю, проявилось искреннее религиозное чувство и полное отсутствие чувства языка. Если правило веры не прочувствовано в живом опыте, а применяется априорно, оно есть суеверие. Значение любых, без исключения, слов контекстуально. В трогательной старинной легенде статуя Богородицы улыбнулась бродячему клоуну, который по незнанию молитв от души по- жонглировал перед Ней. Можно представить себе и продолжение легенды — набежали ханжи, завизжали: "Перед святыней какие-то палки кидать в воздух — на костер поганца!"

"А некоторых Господь простит за то, что хорошо писали", — говорил Бродский, ссылаясь на английского поэта.

Собственно говоря, у Одена в качестве прощающей инстанции назван не Бог, а Время: "Время, которое нетерпимо к храбрым и невинным и уже через неделю равнодушно к прекрасной внешности, поклоняется языку и помилует всех тех, кем он [язык] живет; прощает им трусость, высокомерие, слагает почести к их ногам. Время, которое таким странным образом извинило и помиловало Киплинга с его взглядами, которое помилует и Поля Клоделя, прощает и его [Йейтса] за то, что хорошо писал".

Некоторая логическая запинка в подстрочнике объясняется тем, что оригинал написан подпрыгивающим шаманским размером, четырехстопным хореем со сплошными мужскими окончаниями и парными рифмами, размером, воспроизведенным Бродским в третьей части стихов "На смерть Т.С. Элиота".

Стихи "На смерть Т. С. Элиота", как известно, лишь отчасти написаны как отклик на смерть Элиота, а более как отклик на то близкое к откровению душевное потрясение, которое испытал Бродский, когда, листая английскую книжку в темной ссыльной избе, наткнулся на вышеприведенные строки Одена. В первой части триптиха Бродский заставляет Время представительствовать Бога, выполнять ангельскую (посланническую) миссию: "Уже не Бог, а только Время, Время зовет его". Отсюда и подстановка в высказывании "Некоторых

Господь простит за то, что хорошо писали", которое стало для Бродского личным Символом веры.

Нет ничего удивительного в том, что Бродский любил Юза. Кто Юза не любит! Интересно то, что, подыскивая определение для таланта Алешковского, он назвал Моцарта, то есть в своей иерархии поместил Юза на высший уровень.

Моцартианское начало Бродский увидел только в двух современниках — Алешковском и Барышникове. "В этом безумии есть система": с точки зрения Бродского, эти художники, подобно Моцарту, не выражают себя в формах времени, а живут формами времени, то есть ритмом ("Время — источник ритма", — напоминает Бродский). Ритмы времени проявляются в музыке, движении, языке, которые, говоря словами Одена, "живут людьми".

Те, кто интуициям поэта предпочитает основательную философию, найдут сходные представления о единстве Времени и Языка у Хайдеггера.

По поводу украинского философа, чью работу о Хайдеггере он с интересом читал, Юз все же сказал: "Нехайдеггер!"

Больше всего я люблю "Синенький скромный платочек" (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух — невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике. И написал автору: "Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка… exuberance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verve и тон удивительны". Нет, это не я написал Алешковскому, это мой тезка, Лев Николаевич Толстой, написал Николаю Семеновичу Лескову. Цитату я выбрал из статьи Эйхенбаума о Лескове (""Чрезмерный" писатель"). В этой статье развивается важный тезис о неотделимости литературного процесса от общеинтеллектуального, в первую очередь от развития философской и филологической мысли. Новое знание о природе языка и мышления открывает новые перспективы воображению художника, а по ходу дела создаются и новые правила игры. В середине XX века распространилось учение о диалогизме, иерархии "чужого слова" у Алешковского становятся чистой поэзией. В "Платочке" смешиваются экзистенциальное отчаяние и бытовой фарс, и результат реакции — взрыв. Подобным образом в трагическом Прологе к "Поэме без героя" проступает "чужое слово" самой смешной русской комедии:

…а так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.

И вот чужое слово проступает…

Сравните:

АННА АНДРЕЕВНА Что тут пишет он мне в записке? (Читает.) Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное; но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек… (Останавливается.) Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

ДОБЧИНСКИЙ А, это Антон Антонович писали по черновой бумаге, по скорости: там какой-то счет был прописан.

Буквально на приеме проступающего чужого слова и написан "Платочек". Одноногий ветеран, пациент дурдома Вдовушкин, пишет "крик чистосердечного признания" на обороте истории болезни маньяка, вообразившего себя "молодым Марксом", а когда Вдовушкин уходит в туалет покурить, свое вписывают то "молодой Маркс", то другой несчастный, вообразивший себя Лениным: "А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человечьему, по ленинскому, огромному лбу". Но и Маркс, и Ленин, и Вдовушкин пишут поверх некоего вечного текста. Какого — становится ясно в середине книги, когда судьба заносит героя в послевоенный колхоз. Вдовушкин живет там, как библейский патриарх, окруженный женами, детьми и стадами: "Вскоре и детишки начали вслед за мулятами-жеребятами появляться. Мальчики все один к одному, пятеро пацанов… Благодаря моей хозяйственной жиле, имели мы трех неучтенных коров для ребятни".

…И дети мои — вокруг меня;
когда во млеке омывались мои шаги…
(Книга Иова, глава 29; перевод С. Аверинцева)

Вся жизнь Иова-Вдовушкина — цепь мучительных потерь. Он теряет родителей, друга, ногу, имя, жену, нерожденного ребенка, возлюбленную, собаку, свободу, зрение, голос. Жизнь сострогивается с этого человека, так что остается одна перемученная и возопившая к небу душа:

Если бы взвесить скорбь мою
и боль положить на весы!
Тяжелее она, чем песок морей;

оттого и дики слова мои!
(Там же, глава 6)

А еще спрашивают: отчего Алешковский пользуется диким русским языком? "Оттого…", от скорби тяжелой.

Великий Гоголь говорил о смехе сквозь слезы, но это не было его собственным forte. Пушкин смеялся, а потом загрустил, слушая "Мертвые души", но не плакал же. И никогда никто не хохотал над "Шинелью". (Плакал от умиления дружбой Чичикова и Манилова только наивный мальчик в повести Добычина.) После Шекспира единственный трагический писатель, который умел смешить до слез (и после слёз), — это Достоевский. Радужные переливы ужасного-смешного в монологах Мармеладова, Лебедева, Лебядкина, Кириллова и Дмитрия Карамазова никаким мастерством не объяснишь — только вдохновением. А вдохновение не объяснишь в терминах психологии, оно загадочно.

Как-то раз я был свидетелем вдохновенного наития. Ни воспроизвести, ни объяснить увиденное я не берусь. Рассказываю только, чтобы свидетельствовать непонятность, необъяснимость явления.

Лет десять-двенадцать назад мы оказались с Юзом в одно время в Нью- Йорке, ночевали в квартире Бродского, который уехал надолго в Европу. Наутро мы собирались разъезжаться по домам, и, пока мы собирались, подъехал грузовик с вещами более долгосрочного постояльца: на все время отсутствия Иосифа к нему вселялся его друг Дерек Уолкотт (тогда еще не нобелевский лауреат, но что замечательный поэт, я уже знал, так как читал роман в стихах "Омерос", эпос карибского захолустья, написанный "поверх" "Одиссеи" Гомера). Мы вручили Уолкотту переходящие ключи и задержались немного поболтать, пока грузчики таскали коробки с книгами и чемоданы. Кстати, грузчики переговаривались между собой по-русски, мрачные биндюжники с Брайтон-Бич.

Юз по-английски говорил плоховато, так что я еще и переводил туда-сюда. Не помню почему, но в разговоре выскочило имя Пабло Неруды. Я сказал, что это поэт с непомерно раздутой репутацией, Уолкотт согласился, а Юз неожиданно завитийствовал: "Фотографы, вахтеры, операторы подъемных кранов, соскребательницы гуано… Дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои…" Нет, я предупредил, что не смогу передать, как это было смешно, и объяснить, отчего это было смешно! Оттого, что крепкий, подтянутый Юз вдруг сделался похожим на пухлого лауреата международной ленинской

премии? Оттого, что что-то от блатного "раскидывания чернухи" было в бессмысленно напыщенных руладах (почти точных, между прочим, цитатах)? Ну что там я мог перевести, с ходу и давясь от смеха, но — и это было само необъяснимое — Уолкотт все понимал и так же, как и я, хохотал до слез.

Грузчики между тем перекуривали и поглядывали на нас с тяжелым презрением. Видимо, мы в их глазах были расовыми предателями и наше веселье усугубляло их горечь от необходимости прислуживать чернокожему.

Есть у Алешковского повесть "Маскировка". Выдумана она так: убогая советская действительность на одной шестой земной поверхности оказывается маскировкой, скрывающей подлинную, подземную жизнь: "Как спутник американский пролетает над Старопорховым, так у наших гастрономов очереди выстраиваются, вроде бы мясо, масло и колбасу дают, автобус переваливается по колдоебинам, пионерчики маршируют, поют песни про вечно живого Ильича, грузины гвоздику продают, бляди куда-то бегут за дубленками, в парках драки, в баньках парятся, театры, конечно, танцульки — одним словом, видимость жизни заделывается, маскировка…" И т. д. и т. п. — полсотни страниц повести Алешковского, "бедной, жестокой, скотской и краткой", как жизнь проглоченного гоббсовым левиафаном человека. Как старомодный читатель, я не могу не сопереживать эту жизнь с пьяными, глупыми, добрыми, жалкими персонажами "Маскировки". До слез жалко Дуську, которой не досталось трескового филе.

Исключительность Юза — не просто в дивной энергии его поэтической речи, а в добродушии, душевной доброте, Доброте Души.

Упорная жизнь Джемса Клиффорда: возвращение одной мистификации

Мой дядя — мне всегда хотелось написать текст, который начинался бы словами "мой дядя", — итак, мой дядя попытался скрыть от моего отца начало Великой Отечественной войны. Утром в воскресенье, 22 июня, он должен был заехать за зятем. Потом они собирались вместе поехать на стадион на исключительной важности футбольный матч между ленинградским "Динамо" и московским "Спартаком". С утра дядя услышал по радио роковое сообщение, но рассчитал, что мой отец, любитель поспать, наверняка проспит и авось как-нибудь удастся не разрушать так приятно запланированный денек. Дяде было тридцать лет, отцу двадцать семь. Оба в этот выходной были полностью свободны — отец за неделю до того отправил жену с сыном на дачу под Москву, а дядя был в промежутке между очередными романами. Хорошо выспавшийся отец неторопливо умылся, побрился, напился чаю, и они вышли на улицу, не спеша прошли по набережной канала Грибоедова квартал, что отделяет наш дом от Невского. Там отец и увидел толпы перед громкоговорителями и узнал, что случилось. Он развернулся, побежал домой за документами, а потом в военкомат записываться добровольцем. Дядя, тезка своего любимого героя Иозефа Швейка, поехал все-таки на стадион и не без скандала добился, чтобы ему вернули деньги за два билета на отмененный по случаю войны матч.

Моему отцу, ленинградскому поэту Владимиру Лифшицу, было не впервой надевать военную форму. В качестве фронтового журналиста он участвовал в так называемом "освобождении" Западной Белоруссии в 1939 году, а потом и в настоящей войне — финской кампании 1939–1940 годов. Отечественную он начал политруком батальона. После разгрома народного ополчения под Ленинградом отец вывел, лесами и болотами, остатки своего батальона из немецкого окружения. Потом он снова стал фронтовым журналистом. До начала 44-го года служил на Ленинградском фронте, был дважды награжден за храбрость, однажды ранен. Не столько по его рассказам (он был человек сдержанный), сколько по рассказам его друга, художника Б.Ф. Семенова, я знаю, что его невзлюбили в политуправлении фронта как "заносчивого еврея" — это известный факт, что расцветший после войны государственный антисемитизм зарождался еще в

военные годы. От отца избавились, как только представился случай. Случай был такой. Судьба свела на один вечер вместе отца с несколькими приятелями, тоже фронтовыми журналистами. В том числе с его близким другом и ментором, поэтом Александром Гитовичем. Крепко выпив, Гитович начал по-гусарски палить из пистолета то ли в бубнового туза, то ли по пустым бутылкам, о каковом буйстве на следующий день кто-то донес начальству. Преступление было невелико, никто всерьез не пострадал. Гитович, опохмелившись, вернулся в свою редакцию, а вот моего отца за недонесение перевели из армии, с которой он за три года сроднился, на Третий Украинский фронт. Последним материалом, который он сдал в свою газету перед отъездом, был агитационный стишок, каких он за годы войны написал немало. Вот этот;

Амбразуры переднего края,
Разметав пред собою снега,
Многотрудные дни вспоминая,
Исподлобья глядят на врага.
Ясный месяц укрылся за тучей,
Подремать, как солдат в блиндаже.
Обжигает нас ветер колючий.
Мы стоим на своем рубеже.
Ночь ракеты, как звезды, швыряет,
И гудит, и крадется, как тать.
Огоньками во мраке шныряет,
Свистнет, грохнет — и стихнет опять…
Всё, чем полнится сердце солдата,
Он расскажет теперь земляку.
Есть жена у него и ребята,
Мать на дальнем живет берегу… —
Поскорей бы ударить, товарищ!
Оглушить пруссака — и под лед!.. —
Это пепел далеких пожарищ
Тлеет в сердце и к мести зовет.
Если грянет приказ — "В наступленье!" —
Лес каленых заблещет штыков,
И дрожат в боевом нетерпенье
Флаги доблестных наших полков.
Шевельнутся солдаты во мраке
И шагнут через пламя и дым.
Цель такая у нас, что в атаке,
Если надо, — и жизнь отдадим!

Надо полагать, отцу здорово повезло, что военные цензоры были людьми не искушенными в верификационных играх. Потому что это стихотворение — акростих. Инициалы строк складываются во фразу: АРМИЯ ПОМНИ О СВОЕМ ПОЭТЕ ЛИФШИЦЕ.

Ничего подрывного в этой фразе, конечно, нет, но сам по себе факт помещения закодированного послания во фронтовой газете в военное время мог бы привести к очень тяжелым последствиям, если бы его раскрыли.

Четыре года самой страшной войны XX века были самым лучшим временем в сознательной жизни моего отца. До войны были 30-е годы, шизофреническое время для начинающего жизнь интеллигента. Страх уживался с беззаботностью. За ночь мог исчезнуть приятель-сверстник или чтимый старший товарищ, как Николай Алексеевич Заболоцкий. Поверить в то, что они были прежде затаившимися шпионами и саботажниками, было невозможно, но не умещалось в сознании и то, что СССР может быть чем-то иным, нежели страной социальной справедливости, готовой прийти на помощь униженным и оскорбленным всего мира. В литературе устанавливался бюрократический режим, которым верховодили неумные, недобрые, неталантливые люди. Но можно было весело дразнить их пародиями и эпиграммами, правда, все меньше в печати, все больше в домашних альбомах. Война, казалось, покончила с этим двусмысленным существованием. Когда 13 декабря 1943 года отцу и его ближайшим друзьям-поэтам, Вадиму Шефнеру, Анатолию Чивилихину и Александру Гитовичу, приехавшим с разных фронтов, удалось встретиться в осажденном Ленинграде в гостинице "Астория", они составили там "Асторийскую декларацию", где, в частности, писали:

3. Наша дружба, подвергавшаяся гонениям в предвоенные годы, оказалась одной из тех сил, которые помогли нам в труднейшие дни войны и блокады служить своему Отечеству.

4. Наши творческие принципы продолжают быть простыми и ясными: писать правду ("Не лги самому себе, и ты не будешь лгать другим"). В 1940 году Юрий Николаевич Тынянов сказал нам: "Я знаю, за что вы боретесь: вы боретесь за то, чтобы вернуть поэзии утраченную цену слова". Мы отнюдь не желаем, чтобы на поэзию наших лет распространилась оценка: "… многое исчезло: совесть, чувство, такт, мера, ум, растет словесный блуд". 5. Пользуясь милостью судьбы, которая свела нас в третий год войны здесь, в 124 неотапливаемом номере "Астории", мы подтверждаем крепость нашей дружбы и нашу решимость бороться за правдивое и

высокое советское искусство[60].

Вскоре после войны авторам "Асторийской декларации" пришлось убедиться в том, что "правдивое и высокое" в искусстве несовместимы с "советским". Гитович, Лифшиц и Шефнер стали объектами антисемитской травли в годы так называемой борьбы с космополитизмом (1948–1953) (причем Шефнера подвела нерусская фамилия — он не еврей, а потомок обруселых шведов). Анатолия Тимофеевича Чивилихина как человека исконно русского и с правильной фамилией, а в поэзии склонного к архаизму, казалось бы, не тронули. Более того, в 50-е годы его стали выдвигать на номенклатурные должности в Союзе писателей, даже перевели в Москву, где он и покончил с собой в 1957 году, в возрасте сорока двух лет. Из петли его пришлось вынимать моему отцу, для которого уход Чивилихина был страшным потрясением — они были особенно близки и откровенны друг с другом. Именно в разговоре с Чивилихиным отец впервые в жизни сказал вслух, другу и самому себе, что же на самом деле происходит в стране. В начале 50-х, еще при Сталине, они поехали в командировку в Псков. Вечером, валяясь на койках в двухместном гостиничном номере, разговорились с непривычной для обоих откровенностью о том, что видят в стране, — о нищете и бесправии народа, о полицейском терроре, о тотальном подавлении свободы мысли и слова. "Володя, ну что же делать-то?" — спросил по-вологодски окающий Чивилихин. И отец, удивляясь самому себе, сказал: "Реставрировать капитализм". Лет двадцать пять спустя, когда он мне это рассказывал, он сам посмеивался над тем, что у него не нашлось других слов, кроме формулы агитпропа, чтобы обозначить мечту о свободе, о нормальном человеческом существовании. К слову сказать, до "реставрации капитализма" в России из авторов "Асторийской декларации" дожил только Вадим Шефнер. Он умер в 2002 году, без недели восьмидесяти семи лет. Через девять лет после Чивилихина, в 1966 году, умер Александр Гитович, чьи последние годы были отмечены дружбой с А. А. Ахматовой, а мой отец умер осенью 1978 года[61].

"Асторийская декларация" была документом надежды на лучшее будущее, но, как это обычно бывает в жизни, лучшее будущее оказывается довольно поганым настоящим, а момент надежды — лучшим прошлым. В 1970 году в стихотворении "Астория" отец вспоминал об утре после составления "Асторийской декларации":

Еще придется лихо нам…

Прощаемся с утра.
За Толей Чивилихиным
Гитовичу пора.

А там и я под Колпино
В сугробах побреду,
Что бомбами раздолбано
И замерло во льду.

Но как легко нам дышится
Средь белых этих вьюг,
Как дружится, как пишется,
Как чисто все вокруг!

Мотив ностальгии по чистым временам войны постоянно возвращается в позднюю лирику Владимира Лифшица; одно стихотворение 69-го года начинается просто вскриком: "Дайте вновь оказаться / В сорок первом году.." С другой стороны, в стихах военного времени, довольно многочисленных, — в годы войны отец подготовил и издал пять сборников, — только раз встречается сходная тема очищающего, освобождающего эффекта войны, в стихотворении 1941 года об одном из первых дней в армии, еще до отправки на фронт:

Сегодня ротный в час побудки,
Хоть я о том и не радел,
Мне увольнение на сутки
Дал для устройства личных дел…

Крутом скользили пешеходы,
Нева сверкала, как металл.
Такой неслыханной свободы
Я с детских лет не обретал!

Как будто все, чем жил доселе,
Чему и был, и не был рад,
Я, удостоенный шинели,
Сдал, с пиджаком своим, на склад.

Остальные военные стихотворения, которые он считал достойными перепечатки в позднейших сборниках, — о тоске по дому, о постоянной близости смерти, о войне как повседневном труде. Но большинство, те, что он после войны не перепечатывал, — стихотворения агитационные. Впрочем, одно из

них все же переиздавалось — очень в свое время популярная, вошедшая в антологии "Баллада о черством куске" (1942).

Я уже сказал, что мой отец был по характеру человек сдержанный — а это создает немалые трудности для лирического поэта, ибо лирика по определению откровенный вид искусства, излияние интимных чувств. Правда, он обладал разносторонним дарованием — был успешным и очень плодовитым детским писателем (комик Геннадий Хазанов рассказывал по телевидению, как в детские годы попался на плагиате — представил на конкурс как свое стихотворение Владимира Лифшица), сочинял отец и тексты песен (его "Пять минут, пять минут…" неслось из каждого окна), был драматургом, издал несколько книг прозы, всю жизнь писал юмористику. В особенности ему удавались литературные пародии. Как говорил известный московский острослов Иосиф Прут: "Сейчас модно пародироваться у Лифшица". Позднее в книге о пародии Вл. Новиков писал о творческой установке Лифшица-пародиста: "Четко и внятно выявить кредо пародируемого автора и вместе с читателем прислушаться к голосу персонажа.."[62]

Юмористику и детскую литературу от лирической поэзии отличает возможность игровой, карнавальной позиции автора, а уж автор пародии по определению личность в маске. Маскарадной персоне пародиста приличествует не имя, а псевдоним. До войны отец обычно подписывал свои пародии "Мелкий завистник". В финскую кампанию вместе с другими поэтами фронтовой газеты подписывался "Вася Тёркин" (позднее этот коллективный псевдоним, имя, позаимствованное у дореволюционного беллетриста Боборыкина, сделал именем главного героя своей знаменитой поэмы Твардовский). В 60-е годы отец помогал обеспечивать поэтическое творчество коллективно созданного на юмористической странице "Литературной газеты" "писателя-людоведа" Евгения Сазонова. Водя пером моего отца, этот потомок Козьмы Пруткова сочинял полные идиотского глубокомыслия восьмистишия, которые он называл "философемсы". Например, такое, под названием "Коробка":

Моя черепная коробка
Полна всевозможных чудес.
Сейчас, например, эфиопка
Там пляшет в одеждах и без.

Бывает, газету листаю,
Беседую мирно с женой,

А сам средь галактик летаю
В коробке своей черепной.

Что-то, однако, происходило в иных "философемсах" — из-за придурковатой маски иногда доносились очень чистые лирические размышления:

Не ждите от поэта откровений,
Когда ему уже за пятьдесят,
Конечно, если только он не гений —
Те до конца сдаваться не хотят.
А тут ни мудрость не спасет, ни опыт,
Поэт давно перегорел дотла.
Другим горючим боги топку топят
Таинственного этого котла.

Или:

Позабывать не надо никогда нам
Про вечный мировой круговорот.
Великим или Тихим океаном
Передо мною вечность предстает.

И, этот мир покинув многоликий,
Сквозь времени таинственный туман
Мы все уйдем: великие — в Великий,
А остальные — в Тихий океан.

Внимательный читатель мог задуматься, почему, собственно, эта грустная лирика приписывается "писателю-людоведу" Сазонову, уж не потому ли, что ее устойчивый пессимизм иначе насторожил бы редакторов-цензоров, натренированных не допускать "упадочнических" настроений, сосредоточенности на теме смерти. А Евгению Сазонову это сходило с рук, и он продолжал:

Когда-нибудь, надеюсь, что не скоро,
Возможно, в полночь, может, поутру,
Я, с музой не закончив разговора,
Вдруг вытянусь на койке и умру.

Да, я умру. Двух быть не может мнений.
Умру, и мой портрет на стенку ты повесь.
"Нет, весь я не умру!" — сказал когда-то гений.

Но я не гений. И умру я весь.

Я не сумел бы (да, думаю, и сам поэт не сумел бы) объяснить психологическую подоплеку превращения веселенькой пародии в угрюмую лирику. Легче всего предположить, что это было способом протащить в печать "упадочную" лирику. Но дело, мне кажется, не только в советской цензуре, но и в неких психологических оковах — мужественная сдержанность характера не позволяет откровенно тосковать. Дело и в литературных оковах — лирическое напряжение, которое возникает от столкновения шутливо-просторечной дикции и мрачной тематики, не предусматривалось той "серьезной" литературной школой, в которой Лифшиц был воспитан как поэт. Но интуитивно он, видимо, почувствовал, что маска удобна не только для потехи, но и для откровенного лирического высказывания.

Однако тематика такого высказывания в маске Евгения Сазонова была все же ограничена. Невозможно, например, было заставить Евгения Сазонова писать ностальгические стихи о войне, а именно эта тема упорно продолжала требовать выражения. И тут Владимиру Лифшицу повезло. Он наткнулся на поэтическое наследие своего погодка, англичанина Джемса Клиффорда. Погибший на фронте в 1944 году Клиффорд с большой точностью и с недоступной советскому поэту свободой выразил в своих стихах как раз те переживания, которые всё не находили адекватного выхода в творчестве моего отца. Он мастерски перевел двадцать стихотворений Джемса Клиффорда. Ключевым было, несомненно, стихотворение "Отступление в Арденнах":

Ах, как нам было весело,
Когда швырять нас начало!
Жизнь ничего не весила,
Смерть ничего не значила.
Нас оставалось пятеро
В промозглом блиндаже.
Командованье спятило
И драпало уже.
Мы из консервной банки
По кругу пили виски,
Уничтожали бланки,
Приказы, карты, списки,
И, отдаленный слыша бой,
Я — жалкий раб господен —

Впервые был самим собой,
Впервые был свободен!
Я был свободен, видит бог,
От всех сомнений и тревог,
Меня поймавших в сети.
Я был свободен, черт возьми,
От вашей суетной возни
И от всего на свете!..
Я позабуду мокрый лес,
И тот рассвет, — он был белес, —
И как средь призрачных стволов
Текло людское месиво,
Но не забуду никогда,
Как мы срывали провода,
Как в блиндаже приказы жгли,
Как всё крушили, что могли,
И как нам было весело!

Понятно, почему Лифшицу так удалось проникнуться лирической темой Клиффорда: ведь он и сам, как мы помним, в 1941 году писал: "Такой неслыханной свободы я с детских лет не обретал!" Но ясно и то, что в стихах англичанина больше страсти, что в них эта свобода не просто декларирована, но присутствует в самой ткани стихотворения — ив его сюжете (героической пьянке под бомбами), и в дикции — советский поэт не мог бы увидеть в печати такие, например, строки: "Командованье спятило и драпало уже".

Впрочем, советский поэт не мог бы увидеть в печати и то, что Джемс Клиффорд писал не только о войне, но и о мирной жизни. Другое дело, что натренированный на эзоповский модус чтения интеллигентный советский читатель и переводное стихотворение мог переадресовать родной действительности. Критик Юрий Колкер вспоминал про книгу, где было напечатано стихотворение Джемса Клиффорда "Квадраты" в переводе Владимира Лифшица: ".. с торжествующей репликой: "В Советском Союзе можно издать все!" — мне впервые показала ее одна немолодая женщина"[63]. Было отчего прийти в возбуждение читательнице. "Квадраты" начинались так:

И все же порядок вещей нелеп.
Люди, плавящие металл,
Ткущие ткани, пекущие хлеб, —
Кто-то бессовестно вас обокрал.

Не только ваш труд, любовь, досуг —
Украли пытливость открытых глаз;
Набором истин кормя из рук,
Уменье мыслить украли у вас.

На каждый вопрос вручили ответ.
Все видя, не видите вы ни зги.
Стали матрицами газет
Ваши безропотные мозги.

Вручили ответ на каждый вопрос…
Одетых серенько и пестро,
Утром и вечером, как пылесос,
Вас засасывает метро.

А кончались так:

Ты взбунтовался. Кричишь: — Крадут!
Ты не желаешь себя отдать.
И тут сначала к тебе придут
Люди, умеющие убеждать.

Будут значительны их слова,
Будут возвышенны и добры.
Они докажут, как дважды два,
Что нельзя выходить из этой игры.

И ты раскаешься, бедный брат.
Заблудший брат, ты будешь прощен.
Под песнопения в свой квадрат
Ты будешь бережно возвращен.

А если упорствовать станешь ты: —
Не дамся!.. Прежнему не бывать!.. —
Неслышно явятся из темноты
Люди, умеющие убивать.

Ты будешь, как хину, глотать тоску,
И на квадраты, словно во сне,
Будет расчерчен синий лоскут
Черной решеткой в твоем окне.

Первая публикация переводов из Джемса Клиффорда состоялась далеко от Москвы, в батумской городской газете,

редактором которой был приятель моего отца, а затем появилась подборка в московском журнале "Наш современник" (1964. № 7), который тогда еще был не оплотом шовинистов, а обыкновенным серым советским изданием.

Как всегда в ту пору, публикация перевода, который так легко переадресовывался, привлекла к себе немалое общественное внимание.

Практика эзоповского перевода была достаточно распространена. Вероятно, самый яркий пример — пассажи в шекспировском "Макбете", в пастернаковском переводе. Американская исследовательница Анна Кей Франс показала, как изменял Пастернак, по сравнению с оригиналом, смысловые акценты, делая шекспировский текст актуальным для читателей, переживших сталинский террор[64]. Джемс Клиффорд, при всей его одаренности, был, конечно, не Шекспир. От Шекспира его отличало еще одно обстоятельство. Если о личности Барда ведутся споры, то о Джемсе Клиффорде мы теперь знаем наверняка — его никогда не существовало. Владимир Лифшиц выдумал английского поэта, родившегося в один год с ним, 1913-й, как alter ego, как способ освободиться и от цензурно-редакторских, и от привычных стилистических ограничений. (Я с самого начала полагал, что достаточно распространенное в странах английского языка сочетание James Clifford отец выбрал только из-за созвучия: Клиффорд — Лифшиц; позднее я узнал, что некий британский профессор с точно таким именем приезжал в начале 60-х годов в Москву навестить К.И. Чуковского.)

Литературный прием псевдоперевода был довольно широко распространен в русской поэзии, но обычно стилизацией предусматривался не выдуманный иностранный автор, а лишь подзаголовок — "с французского", "с немецкого", "с персидского" и т. п. Идею придумать автора с биографией отец, скорее всего, позаимствовал у своего друга А.И. Гитовича, который в 1943 году придумал французского поэта Анри Лякоста, сочинил ему краткую биографию и от его лица несколько стихотворений[65]. Вспоминаются и другие стилизации — песенки выдуманного певца Пата Виллоугби в романе Б. Лапина "Подвиг" (1933) или "Злые песни Гийома дю Вентре", сочиненные узниками ГУЛАГа Ю.Н. Вейнертом и Я.Е. Хароном[66]. Но, кажется, Джемс Клиффорд — единственный фантомный поэт, которому удалось на какое-то время обрести статус реально существующего автора в официальной советской печати. О том, что это мистификация, поначалу знали только жена моего отца, я и два-три близких друга. 6 октября 1964 года, то есть через два месяца после выхода "Нашего современника" с подборкой Клиффорда, отец писал мне

из Москвы в Ленинград: "О Клиффорде тут много и очень хорошо говорят. Евг. Евтушенко даже хочет написать о нем статью — на тему о поколениях и т. п. Он же [рассказал мне, что] говорил о нем с Элиотом, и тот подтвердил, что Клиффорд — отличный поэт, известный в Англии. <… > Поэты меня поздравляют с прекрасными переводами. В общем, Клиффорд материализуется на всех парах. Не вздумай кому-нибудь открыть мою маленькую красивую тайну!.."

Маленькая красивая тайна оставалась тайной почти десять лет. В 1974 году, готовя к печати сборник избранных стихов, отец решил, что в случае разоблачения мистификации может пострадать не он, а ни в чем не повинный редактор, и к предваряющей "Стихи Джемса Клиффорда" биографической справке прибавил всего одну фразу: "Такой могла бы быть биография этого английского поэта, возникшего в моем воображении и материализовавшегося в стихах…" Так Джемс Клиффорд из реального поэта превратился в литературного персонажа, а потом и вовсе перестал существовать — времена менялись, и в последний выпущенный отцом сборник, 1977 года, Клиффорда редакторы уже не допустили…

Но ровно через двадцать лет упорный англичанин ожил!

Весной 1997 года я получил факс из Москвы — беседу с замечательным писателем В.П. Астафьевым, напечатанную в газете "Вечерний клуб" (1997. 13 марта. № 10). Астафьев жалуется на убогое состояние современной поэзии, а потом говорит:

Когда-то, не так уж и давно — годов двадцать-тридцать назад, завел я объемистый блокнот и переписывал в него стихи, редко встречающиеся, забытые или не печатающиеся по причине их "крамольности" — Гумилев, Клюев, Набоков, Вяч. Иванов, лагерные стихи Смелякова, "Жидовка" и "Голубой Дунай" его же, Корнилова, Ручьева, Португалова, "Памяти Есенина" Евтушенко, "Журавли" Полторацкого. Стихи Прасолова, Рубцова и многие, многие другие угодили в мой блокнот, который я всегда возил с собою, читал, и не только сам себе, но и друзьям и компаниям близких людей, чувствующих слово и жаждущих услышать то, что от них спрятано и почему-то запрещено. Многие из поэтов и стихов, мною перечисленных, ныне напечатаны, изданы, и нет надобности их повторять, но "осели" в моем блокноте те поэты и стихи, о которых ни слуху ни духу. И я решил начать печатать в "Красноярском рабочем" стихи из моего блокнота, с рассказами об их авторах, о поразительных обстоятельствах возникновения того или иного поэтического шедевра. Нельзя, нехорошо, чтобы такое богатство принадлежало только мне и я наслаждался в

тихом уединении редчайшими ценностями.

Начал я публикацию с совсем в миру затерянного англичанина Джеймса Клиффорда, молодая жизнь которого оборвалась на Второй мировой в 1944 году под Арденнами. Стихи он писал в основном в солдатской казарме и на фронте (нам-то запрещалось писать на фронте все, кроме писем, да и письма- то наши вымарывались самой бдительной на свете цензурой). Джеймс же Клиффорд писал все, что в его бесшабашную голову взбредет. В богатой нашей военной поэзии нет столь "вольных" личных поэтических откровений. Для того чтобы писать стихи, как Джеймс Клиффорд, надо свободным родиться и служить и воевать в другой армии. Кстати, его стихи до сих пор злободневны и своевременны, прошу обратить особое внимание на стихотворение "Зазывалы".

Несколько лет спустя после войны, в отличие от нас, не забывшие про Бога французы и англичане убирали мертвых с полей сражений Второй мировой войны, и в Арденнах (внимание: нижеследующего в "биографии", сочиненной моим отцом, не было, здесь Астафьев начинает излагать свой вариант судьбы Джемса Клиффорда и его поэтического наследия, то есть мы имеем редчайшую возможность наблюдать, как рождаются легенды, как поэтическое воображение одного автора развивается поэтическим воображением другого, причем последний верит в то, что он не выдумывает, а помнит! — Л.Л.) на полуистлевшем трупе безвестного английского солдата обнаружили ранец, а в ранце — тоже полуистлевшую толстую тетрадь, заполненную стихами. Им суждена была короткая шумная слава на родине поэта и затем почти полное забвение — война, погибшие на ней солдаты и поэты повсеместно забываются…

Может, так и должно быть для сытого умиротворения, для ожиревшей памяти, может быть. Но только я с этим не согласен, не по Божьему это Завету. Потому и предлагаю стихи Джеймса Клиффорда, солдатика с Британских островов, русскому читателю. Джеймс был моим одногодком. Красноярск. Февраль 1997.

Далее в газете следует подборка Клиффорда.

Месяц спустя та же газета, в ответ на письма читателей, поправивших ошибку Астафьева, поместила материал под шапкой "Джемс Клиффорд: Владимир Лифшиц?" (почему-то с вопросительным знаком). Но по большому счету Астафьев все правильно сказал: Джемс Клиффорд писал о войне и о мире с той свободой, которая была недоступна подсоветским поэтам. Астафьев ошибся только в одном — Клиффорд не был его

погодком. Настоящий Джемс Клиффорд / Владимир Лившиц был на одиннадцать лет старше.

P.S. Узнав, что эта статья принята "Звездой", я припомнил рассказ отца, относящийся к короткому периоду, когда он служил в "Звезде" литконсультантом отдела поэзии. Заведовал отделом Н.С. Тихонов. В обязанности литконсультанта входило выуживать из потока самотека достойные рассмотрения стихи, а остальным авторам вежливо рекомендовать читать побольше классиков и т. п. И вот в один прекрасный день он открывает письмо с воронежским обратным адресом и в следующую минуту бежит к кабинету Тихонова с воплем: "Николай Семеныч, нам Мандельштам стихи прислал!" И Тихонов на эту вспышку юного восторга отвечает: "Тихо! Тихо!" — быстро забирает письмо и закрывает за собой дверь кабинета.

Как можно заключить из опубликованных теперь писем Мандельштама в редакцию "Звезды" и Тихонову[67] (особенно душераздирающее второе, в марте 1937-го), стихи были присланы в ноябре-декабре 1936 года. Отцу моему только что исполнилось двадцать три. И он не понимал, почему старший и, в ту пору, уважаемый им поэт не разделяет его восторга: нам — Мандельштам — стихи — прислал! Не задумался: а что, собственно, делает Мандельштам в Воронеже? Начать догадываться о происходящем он мог бы в следующем году, но для него как раз следующие два года были наполнены важными личными событиями — рождением сына, выходом книжек. Из родных и близких никого не забрали. А в 39-м началась первая из его войн, и понадобилось еще десять лет, чтобы он понял, под какой властью живет, чтобы с пониманием пришло отвращение и презрение.

Это так — штрих не столько к истории "Звезды", сколько к психологической истории самого несчастного поколения.

Как, однако, ткется ткань жизни! Письма Мандельштама в "Звезду" и к Тихонову были каким-то образом сохранены покойной С.В. Поляковой, доставлены в американское издательство "Ардис" при посредстве ее ученика, тоже уже покойного, Г.Г. Шмакова, и впервые опубликованы в ардисовском альманахе "Глагол". Я служил в "Ардисе" чем-то вроде литконсультанта.

Гениальные обмолвки

Пришло электронное послание от Еремина: "Наш Леня умер". На календаре стояло "первое апреля", и у меня мелькнула мысль, что кто-то из них — Миша или Леня — так безумно пошутил. Но оказалось, что и вправду Леонид Виноградов внезапно заболел и сгорел в несколько дней.

Леня был очень близким другом моей молодости, а еще он был тем русским человеком, который посмотрит на меня острым глазком и все поймет. Хотя глазок был отчасти цыганский, отчасти еврейский, карий и чуть косил.

Мы познакомились без малого полвека тому назад, осенью 1954 года, первокурсниками. Познакомились, стихи читали, пьянствовали — все в компаниях. А однажды в весенний день 1955 года столкнулись на выходе из филфака один на один и пошли, разговаривая, через мост, через площадь, по Гороховой, до моего дома на Можайской, зашли ко мне да так и продолжали разговаривать до вечера и потом еще лет двадцать. О Розанове, Фрейде, Пастернаке и всем остальном.

Конечно, дружить с Виноградовым один на один было невозможно, потому что в те годы нельзя было сказать "Виноградов", не прибавив "Еремин и Уфлянд". Эти трое были неразлучны с школьных лет — невероятная синергия дарований! Только стихи они писали не сообща и совсем не похоже друг на друга, да и ни на кого не похоже. Все остальное делали втроем или, на худой конец, по двое. Даже когда Виноградов, чтобы доказать девушке свою любовь, сиганул в Неву с Троицкого моста, Уфлянд прыгнул за ним и летел вниз с криком: "Леха, погоди, я с тобой!"

И все же литературные судьбы у них оказались разные. Уфлянд и Еремин рано нашли свой стиль, а Виноградов все пробовал то одно, то другое, то в поэзии, то в драматургии. Мне одно время казалось, что его талант уходит в быт. У Лени был дар создавать вокруг себя атмосферу необыкновенного душевного уюта в бедных комнатах ленинградских и московских коммуналок. Да что там комнаты! Однажды Виноградов и Еремин пригласили меня на просмотр своей инсценировки "Слова о полку Игореве" в одном московском театре. Когда погас свет и на сцене начались режиссерские выкрутасы, Леня поманил нас, мы на цыпочках вышли из зала — я, Еремин и почему-то там оказавшийся очаровательный старик, еврейский поэт Овсей Дриз, — прокрались вслед за Леней в мужскую уборную, и там, в

умывальной передней, он достал бутылку водки, и так это мы уютно выпивали, как будто на даче в беседке.

Мне кажется, я знаю, почему у него не ладилось в молодости со стихами, Он очень близко к сердцу принимал слова своего обожаемого Пастернака: "И чем случайней, тем вернее…" — и доверял себе, только когда у него получалось что-то случайно, спонтанно, импровизированно. Он и правда то и дело оговаривался милыми экспромтами. У моей трехлетней дочки спросил: "Марусь, ты любишь Русь?" На завывание по радио народного хора сказал: "На диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой, и, не имея ни гроша, располагал огромной суммой". Его "Мы фанатики, мы фонетики, не боимся мы кибернетики!" вошло в поговорку. Но дальше этих милых, чаще всего в абсурдистском духе, Ьоп mots дело не шло, и к тому времени, когда мы расстались — я уехал в Америку, и мы думали, что расстаемся навсегда, — я полагал, что так оно и останется: для посторонних Леня будет остроумцем и честным литературным поденщиком (пьесы, детская литература), для своих — гением дружелюбия.

Я ошибся. Шли годы, Леня продолжал ловить случайные соединения слов и поверять их на слух, словно бы фильтровать, так что на бумаге оставались только самые чистые, и вот в 1999 году в Москве вышла квадратная книга — с черным квадратом в белом квадрате на обложке: "Чистые стихи".

Об источнике своего вдохновения поэт сказал — с поклоном сразу и Пушкину, и Лермонтову — так:

На небесной книжной полке,
в недоступной вышине
гениальные обмолвки
попадаются одне.

Стихи Виноградова почти никогда не распространяются за пределы восьми строк, чаще они еще короче, вплоть до моностиха:

Тропинкаприлиплакботинку.

Для этого рода поэзии есть название — минимализм. Но всякая подлинная поэзия стремится к минимальному пространству, к самому сжатому способу выражения. Свести стих к минимуму физического пространства, к минимуму черных печатных знаков на белой бумаге и сделать так, чтобы эта игра была больше, чем игра, чтобы она волновала и трогала, редкое

искусство, В Японии это когда-то получалось. В России почти ни у кого никогда, часто — только у Виноградова.

Трава, ветер.
Трава, ветер.
Трава, ветер.
Тургенев, сеттер.

Эти четыре строчки, восемь слов я бы печатал по строке на странице, по низу страницы, чтобы усилить ощущение громады воздушного пространства над шевелящейся травой, над охотником и собакой. Для эксперимента я перевел это стихотворение на английский язык, благо английский позволяет передать мягкий звуковой повтор слова "трава" в имени "Тургенев" (turf — Turgenev), замешал его в подборку русских, французских, английских и других стихов о природе, людях и животных, и мои американские студенты постоянно выбирали стихотворение Виноградова как самое эвокативное (вызывающее в читателе мысли и чувства).

Таким же квадратом, как "Чистые стихи", вышел в прошлом году роман Виноградова "Утро Фауста", 99 квадратных страничек. В "Утре Фауста" есть то, что почти исчезло из современной русской прозы, — ритм. Фразы, периоды, главы чередуются с естественностью размеренного дыхания. Так же естественно там сплетаются вариации на темы из легенды о Фаусте и евангельской мистерии. Автор, вслед за своим любимым Пастернаком, хочет доказать, что тайная струя страдания согревает холод бытия. Что есть возможность уюта в трагической Вселенной. Господь разверзает небеса винным дождем в конце романа, и герои подставляют стаканы под пьянящие струи.

В "Утре Фауста" всего 99 страниц, но в стихе Виноградов сказал все то же самое еще короче:

Ну, каменная башня. Ну, балкон.
Ну, мятая кровать под балдахином.
Ну, ржет в конюшне твой любимый конь.
Ну, рейнского бокал. Ну, со стрихнином.

Вообще его чистые стихи не всегда безмятежны. У него получалось в кристаллик своего четверостишия загнать и ужас века сего:

Одинокая рябина
Распласталась вдоль стены,

Как под дулом карабина,
Как под взглядом сатаны.

Незадолго до болезни Леня прислал мне рукопись неизданной книги стихов. Там были и прощальные ноты, но теперь мне кажется, что я прочел их невсерьез.

Пока, поколение,
В земле по колени я.

И еще:

Закопали эн глубоко.
Не окно теперь, а око.

И еще:

Что за гробом?
Рай микроба.

И:

И Ной — в мир иной.

В моем настольном календаре на первое апреля было записано: "Ответить Лене". И вот я отвечаю. И он отвечает мне:

В будильнике, как на дрожжах
поднявшись, время настоялось,
взорвалось, и на всех вещах
хоть малой каплей, да осталось.

Отсутствие писателя

Ровно сорок лет назад, летом 1964 года, Виктора Голявкина, Владимира Марамзина и меня принимали в пионеры. Мне было двадцать семь лет, Марамзину тридцать, а Голявкину тридцать пять. С нами путешествовал еще Саша Сколозубов, дивный художник, но он от почетной церемонии уклонился под предлогом, что не может одновременно приниматься в пионеры и зарисовывать торжество.

Дело было в большом пионерском лагере к северу от Красноярска, километрах в ста ниже по течению Енисея. Лагерь называли "Сибирским Артеком", и в тот день там было действительно жарко, как в Крыму. Очень хотелось купаться. Но нас еще долго водили по лагерю, показывали корпуса, плац-парад и музей героя Гражданской войны, красного партизана товарища Щетинкина. Лагерное начальство хотело, чтобы мы все это описали в журнале "Костер". Мы были в коллективной командировке — журналистском путешествии по Енисею, к истокам великой реки.

Наконец пошли к реке. Поперек тропы лежала большая неподвижная свинья. "А вот и товарищ Щетинкин", — сказал Голявкин.

Мы прошли сквозь прибрежные кусты к речному пляжу и изумились — прямо перед нами, на другом берегу широкой реки в знойном мареве дрожали и струились большие белые дома большого города. Что такое? По картам ничего подобного здесь быть не должно. Добро бы деревенька, а то город — многоэтажные дома.

— Это "девятка", — пионервожатый обрадовался случаю выболтать стратегические секреты, — город засекреченный, "Красноярск-9", водородные бомбы делают. У нас тут Енисей зимой не замерзает.

Мне, Марамзину и Сколозубову купаться сразу расхотелось. Голявкину было трудно отказаться от телесного удовольствия. Он колебался, спрашивал пионервожатого: "Тут вообще ("вапше") купаются?"

— Так где ж еще? — радовался пионервожатый. — Весь лагерь тут купаем.

Наконец Голявкин решился. Он разделся и робко пошел в воду, но при этом не отрывал сложенных лодочкой ладоней от причинного места. Прикрывался от радиации.

Скорее всего это не так, но мне кажется, что знаменитую

фразу "Какое счастье людям дано между ног! И что они с ним делают! Как обращаются!" Марамзин придумал в тот самый знойный сибирский пионерский день. И уже потом из нее выросла повесть "История женитьбы Ивана Петровича".

Тогда Марамзин еще полностью находился под влиянием Голявкина. Не он один, конечно. Едва ли не целое поколение молодых ленинградских писателей говорили голосом Голявкина и писали, под Голявкина, коротенькие абсурдистские рассказы, притворявшиеся детской литературой. Освободиться от чар этого сильного дарования было нелегко. Помню, каким поразительным образом это сделал Андрей Битов. Я по каким-то нетрезвым обстоятельствам оказался у Горбовского в воспетой им коммуналке на Васильевском острове. Пошел в уборную. Там на гвозде висела толстая, страниц сто, пачка рассказиков Битова, написанных под Голявкина. Битов сказал, что сам повесил. Борьба за стиль!

Марамзин — человек артистичный, и он лучше других говорил голосом Голявкина. В этом выговоре была одна доминирующая интонация. Как бы ее охарактеризовать? Одновременно недоуменная и агрессивная: "Что ж это вы таких простых вещей не понимаете?" Собственно говоря, это ведь не просто манера определенным образом распределять интонационные ударения. Это интонация таланта, врожденного умения видеть и не принимать привычные условности человеческого поведения, разоблачать их как абсурдные. Мы раз шли где-то зимой, Голявкин приложил палец к своему боксерскому носу и прицельно высморкался в сугроб. "Что ж ты так некультурно сморкаешься?" — попенял ему Ковенчук. "А что вообще ("вапше") лучше завернуть это в платочек и целый день в кармане таскать?" — удивился Голявкин. Прозвучало убедительно. Мы тогда не знали, что есть империя бумажных носовых утиралок "Клинекс", основанная на той же философии.

Сейчас, когда мне это вспомнилось, я подумал, как уместно тут упоминание культуры: что "культурно" и что "некультурно"? Я всей душой люблю культуру, но ее надо постоянно тормошить, чтоб не лишалась смысла. На смену носовому платку должен прийти "Клинекс", более гигиеничный и экологически оправданный. В завершение назальной темы мне припомнилось из "Войны и мира", как старуха Ростова плачет, потому что ей надо просморкаться. Когда Ленин говорил о срывании масок как основной толстовской стратегии, он, наверное, имел в виду что-то другое, но это верно, что у Толстого руки чесались срывать культурные маски, открывать под ними не-культурное, природное, физиологическое. Толстой издевался над

культурными масками, но лицо культуры — это лицо Толстого.

Толстой проникал под поверхность человеческого поведения, а другой русский гений, Андрей Платонов, делал открытым то, что таится под поверхностью человеческого мышления, под поверхностью стандартных речевых форм. Открытие Платонова нашим поколением тоже пришлось на начало 60-х годов, и волна этого влияния накрыла и понесла с собой Марамзина еще мощнее, чем голявкинская.

Влияние, подражание — так мне казалось тогда. Марамзин сначала писал под Голявкина, а теперь пишет под Платонова. Получается хорошо, похоже, но у Платонова все равно лучше. Как-то Марамзин пожаловался: "Я стою в Лавке писателей, разглядываю книги. Подходит Рейн с большим портфелем и, не говоря ни слова, со всей силы ударяет меня этим портфелем по голове. "Женя, — говорю, — за что?" Он говорит: "За то, что плохо пишешь"". В те времена обижать сильного и задиристого Марамзина было рискованно. Но он безропотно снес портфель Рейна. Видимо, он принял его как удар мечом при посвящении в рыцари. Примерно в то время и начался Марамзин, тот удивительный, ни на кого не похожий писатель, которого мы знаем.

Я написал "мы знаем" и понял, что поторопился. Мы, люди моего немолодого поколения, так или иначе связанные с литературой, знаем прозу Марамзина. Но откуда знать ее тем, кто моложе? В период бурного перестроечного печатания всего прежде не напечатанного среди возвращенных читателю писателей Марамзина не было. Отсутствие Марамзина в литературе было и остается настолько полным, что гипотетического молодого читателя этих строк впору отсылать к справочнику.

Марамзина схватили, заперли в одиночной камере и принялись мучить, едва он успел закончить повесть "Блондин обеего цвета". Это один из самых страстных текстов русской литературы прошлого века. Я даже не знаю, что бы взять для сравнения. Отдельные куски в "Лолите". Кое-что из прозы Алешковского, в особенности повесть "Синенький скромный платочек". Пожалуй, более всего несколько поэтических монологов Бродского, написанных примерно в тот же период, — "Речь о пролитом молоке", "Разговор с небожителем", "Любовь".

С каждым из упомянутых писателей Марамзин состоит в избирательном сродстве. Не стилистическом — стилистически каждый из них ни на кого не похож, и Марамзин не похож ни на одного из них, — но в сродстве поэтического темперамента, невероятного напора воображения. Это поистине игра на разрыв

аорты. Нет, я бы употребил другое кардиологическое сравнение. Как при инфаркте кровь движется в обход прерванных путей по новым, коллатеральным капиллярам, так опыт писателя заставляет русский язык двигаться в обход омертвелых речевых стереотипов новыми, прежде русскому языку неизвестными путями.

В августе 1973 года Марамзин знал, что скоро за ним придут. "Блондин" написан с веселым отчаянием. Ни последующей осенью, ни зимой 1974-го за ним не приходили. К нему пришли 1 апреля, перерыли вещи, забрали все рукописи. Автора оставили. Арестовали его приятеля, Михаила Хейфеца человека прямодушного и доброжелательного почти до святости. И тогда Карамзин передал для опубликования на Западе заявление, где писал:

У меня есть смутное ощущение вины, которое коренится, вероятно, в исконном для нас отсутствии правосознания. Мой друг, ленинградский писатель и историк Михаил Хейфец, уже более месяца находится в следственной тюрьме. По дошедшим до нас отголоскам, он арестован за издание в Самиздате пятитомника Иосифа Бродского и за свою статью о его стихах. Следователь прекрасно знает, что Самиздат — не издательство, знает он также, что Хейфец непричастен к собиранию стихов Бродского.

Всем известно, что в течение 3 лет стихи собирал я, потому что Бродский, как всякий большой мастер, никогда не хранил, щедро раздаривал свои стихи. Я хотел собрать их, чтобы сохранить для русской культуры все, что сделано этим великим поэтом. Те люди, которые сейчас причастны к гонениям на Бродского, еще при своей жизни будут им гордиться. Я же предпринял еще один шаг, чтобы сохранить с таким трудом собранные тексты, — отправил их за границу, где сейчас живет и автор. Может быть, это кому-то не понравится, но мною двигала лишь забота о русской культуре.

Я вовсе не герой. Но не был героем и мой дед, деревенский священник, который почему-то не сложил сана и предпочел в 1931 году умереть на Соловках. Вероятно, не был героем и мой отец, рабочий, еврей, ушедший добровольцем на фронт и убитый в 1942 году под Ленинградом. Приходит время каждому сделать что-то свое. При обыске 1 апреля у меня были отняты все мои рукописи. Не мне судить, хороши они или нет, но я уверен, что все, написанное нами, не случайно и писатель имеет обязательство перед своими рукописями. Поэтому я собрал их вновь (люди сохранили) и вновь послал за рубеж. Если какие-либо издательства или журналы заинтересуются моими рассказами или повестями,

пусть знают — мое согласие на печатание теперь вполне обдуманно.

Это был смелый вызов неправедной власти, но еще и презрительный. Марамзин не опускался до того, чтобы объяснять незаконность преследований с точки зрения советской конституции. Едва ли не он же пересказывал мне слова Леонида Андреева: "В России все возможно — и революция, и конституция, и демократия, но только с приставкой "хамо-": хамореволюция, хамоконституция…" Взывать к хамоконституции?

За всю жизнь я был в советском суде три раза. Первый раз, когда судили поэта Михаила Еремина за то, что вытянул костылем "народного дружинника". Второй раз, когда судили Марамзина за то, что запустил чернильницей в морду директору издательства "Советский писатель". В обоих случаях дело кончилось легкими условными приговорами, и в обоих случаях мне показалось, что судьи, заседатели и даже обвинители втайне солидарны с подсудимыми — уж больно гнусно вели себя дружинники и директор издательства. В третий раз это был опять суд над Марамзиным. К этому времени мы уже знали, что все восемь месяцев Марамзин вел себя мужественно — "вину" (за то, что перепечатывал стихи Бродского, за то, что читал сам и давал читать другим Набокова!) брал на себя, имен не называл. Ходили слухи, что после жестокой расправы с Хейфецем начальство решило спустить дело Марамзина на тормозах. Разгорался новый международный скандал. Владимир Набоков писал в "Нью-Йорк Ревью оф Букс" (6 марта 1975 года): "Я потрясен вестью о том, что еще из одного писателя делают мученика за то, что он писатель. Только немедленное освобождение Марамзина предотвратит новое злодеяние". Властям, чтобы сохранить лицо, нужно было, чтобы Марамзин хоть как-то покаялся. Он этого не сделал. Я был в зале, когда Марамзину предоставили последнее слово. Он не признавался ни в каких преступлениях. Он только сказал, очень тихо: "Писать больше не буду".

Срок ему снова дали условный, а через год вытолкнули в эмиграцию.

У Марамзина были замечательные друзья, цвет петербургской интеллигенции, те, кто помогал ему собрать и составить уникальное собрание сочинений Бродского, кто поддерживал его, не страшась почти открытой слежки, до ареста, потом во время заключения и в последние месяцы на родине. Но были и мелкие, трусливые люди, которые с некоторым даже ликованием сообщали друг другу: "Марамзин сломался!" Если их вызывали на допрос в КГБ по делу Марамзина или даже если они просто

думали, что их могут вызвать в страшное место, их злоба обращалась на смелого писателя: из-за него такие неприятности! Такой же мелкотравчатой вакханалией сопровождался арест и суд, несколько лет спустя, другого смелого и благородного литератора — Михаила Мейлаха.

Есть английская поговорка: "Лучшая месть — жить хорошо". Я всегда это вспоминал, навещая Марамзина в Париже в 80-е годы. Ленинградский литературный поденщик в потертых джинсах превратился в элегантного европейца. "Мерседес", квартира в Шестнадцатом "арондисмане", шелковые рубашки, коллекция галстуков и, что особенно важно во Франции, серьезное понимание гастрономии и вина. Я несколько раз останавливался у него и поэтому знал, откуда вся эта роскошь, — от сверхъестественной работоспособности. Мы возвращались за полночь после долгого и вдумчивого ужина в каком-нибудь "Реле да Пирене",у меня слипались глаза, я брел на отведенный мне диван и, засыпая, слышал, как Володя в соседней комнате уже скандирует специальным для диктофона, неестественным голосом: "…ша-ро-ва-я о-се-ва-я опора выведена… нет, вынесена в специальный шпиндель, присоединяемый к нижней секции… имеются также ра-ди-аль-ны-е опоры…" Техническим переводом много не заработаешь, если только не работать как проклятый. Что он и делал. Не от жадности, от характера.

Глядя на Марамзина, как он успевает зарабатывать кучу денег, тратить еще больше, отвозить в школу сына от третьего брака, тетешкать внука от первого брака, болтать с завсегдатаями углового кафе о погоде и о политике так, как будто ему абсолютно некуда спешить, я убеждался в том, что всегда подозревал: нет специального литературного таланта — есть талант жить, который порой проявляется в литературе. А порой питает другие занятия.

Иногда поздним вечером, ночью он мчался к заказчику или машинистке, и я присоединялся, чтобы прокатиться по ночному Парижу. На обратном пути мы останавливались выпить пива в ночном кафе. Раз я спросил его: "А прозу писать не тянет?" Он сказал: "Если бы ты знал, какие рассказы сочиняются у меня в голове, когда вот сидишь в ночном кафе…" Но какие именно — рассказывать не стал.

Он, слава богу, в конце концов нарушил обещание — данное кому? советской власти? самому себе? своим читателям? — больше не писать. Его новая проза, недавно собранная в книжке "Сын Отечества", и узнаваема, и нова. Это тот же Марамзин, которого мы знали тридцать лет назад, но потише, поделикатнее. Помимо того, что мне эта проза пришлась по душе, я ничего не

могу сказать. С некоторых пор я стал сомневаться в правомочности литературной критики судить о большой литературе. Как может меньшее судить о большем? Что могут мои слова прибавить к той нежной музыке человеческого существования, которую я слышу, читая книжку Марамзина? Что я могу сказать о писателе, если, несмотря на нашу многолетнюю дружбу, я не могу разгадать его главную загадку?

Довлатов страстно хотел печататься в России. Бродский не возражал. Ему было в конечном счете все равно, для него было важно написать стихотворение, а не увидеть его опубликованным. Иные живущие на Западе литераторы, в том числе и автор этих строк, относятся к этому прагматически: если публиковать свои сочинения, то для кого же еще, как не для русского читателя? Марамзин страстно отказывается печататься на родине.

Почему — я не знаю. Его объяснения мало что проясняют. Вряд ли дело в политике. Тот факт, что в стране сейчас заправляют господа из той конторы, которая занималась преследованием писателей и изломала жизнь Марамзину, — не основание отказываться от своего читателя. Можно сказать, что дело в метафизической обиде. Но это все равно что сказать: "Не знаю".

Интересный этот глагол — "отсутствовать". Существовать от. Большой писатель существует, но отдельно, оттолкнувшись, отмежевавшись, отказавшись. Что теряет родная литература "при наличии отсутствия"?

Герасимов в первую очередь

Герасимов не просто знает много, может быть, все о домах Петербурга. Он обладает изумительной способностью превращать прошлое в настоящее Он говорит то почтительно, то с усмешкой, то разводя руками — "Ну, кто бы мог ожидать!" — об архитекторах, великих князьях, писателях, коммерсантах, которые ходили по этим улицам, строили эти дома, сдавали и снимали в них квартиры сто, полтораста, двести лет тому назад. Но он не какой- нибудь краевед-любитель, предающийся пассеизму как тайному греху. Просто у него свои отношения со временем. Я это понял давным-давно. Мне было лет восемнадцать, и, как свойственно этому возрасту, меня угнетали меланхолические размышления о тщетности человеческих устремлений перед неминуемой пропастью смерти. Этими унылыми мыслями я поделился с Герасимовым. "Смерти нет", — сказал он мне с неожиданной твердостью. "Как так?" — "А так, пока я жив, моей смерти не существует, а когда я умру, меня для нее не будет существовать". Я этого софизма прежде не слышал. Он меня озадачил. Но я с тех пор начал в какой-то степени понимать своего необыкновенного друга. Как сказал наш с ним любимый поэт: "Время создано смертью…" Коли нет смерти, то нет и неумолимо к ней ведущего Времени. Есть время как культурное измерение, в котором можно расположиться, изучить его до самых темных углов и закоулков.

Однажды мы жили вместе в Солнечном и я предложил Герасимову пойти по грибы. "Я по грибы не хожу, — высокомерно сказал Герасимов, надо все время смотреть себе под ноги, а я привык смотреть на небо". Он действительно человек широкого взгляда — на историю, на искусство, на людей. Недаром, когда обычным местом службы для питерских свободных интеллигентов была темная подземная кочегарка, Герасимов устроился сторожить недостроенную дамбу в Финском заливе. Там в его распоряжении было и небо, и Балтийское море, и полная панорама Петербурга.

Однажды он выпил лишнего в гостях у поэта Уфлянда и за разговорами забыл, что ночью ему надо было заступать на дежурство, дамбу сторожить. Спохватился на рассвете, выбежал на улицу, сел в трамвай и, подъезжая к Неве, увидел, что река вышла из берегов. "Первая мысль, — рассказывал он, — у меня была, что это моя вина — дамбу не уберег!" В этой типичной герасимовской истории реконституированы элементы

петербургского мифа. Тут тебе и дамба как очередное проявление имперского вызова богам, и наводнение, и виноватый во всем Евгений бедный.

Бродский посвятил Герасимову стихотворение "Стрельна". Герасимов сказал, что это не потому, что они когда-то вместе гуляли в Стрельне, а по каким-то другим соображениям. Да и Стрельна в стихотворении имеет не много общего с настоящей. Я добавлю, что для Бродского Герасимов был петербургский genius loci. Где же его поместить, как не в парке единственного в городской черте дворца, который смотрит прямо на воды залива.

Город состоит из зданий, инфраструктур, населения и разговоров. Бродский в "Стрельне" не только изображает парк со статуями, но и перечисляет "красавиц тогдашних", "европеянок нежных". Это женщины, о которых в нашей молодости много говорили, и интереснее всех говорил Герасимов. Жаль, что в русском языке нет варианта слова "сплетня", в котором отсутствовало бы злое содержание, но присутствовало бы музыкальное. Я бы тогда сказал, что я заслушивался сплетнями Герасимова, переплетенными с экскурсами в историю живописи, музыки и архитектуры. Говорил он взволнованно, потому что был влюбчив, влюблялся во всех женщин, перечисленных Бродским, и в некоторых других, и немало принял от них надсады и горя. Я даже дважды навещал его в больницах, куда он попадал от страданий любви, правда ненадолго. Второй раз это был скорбный дом на Пряжке. Я не без волнения прислушивался к шуму голосов умалишенных, пока сестричка открывала для меня дверь отделения. Наконец дверь открылась. Первое, что я увидел, был большой транспарант на стене против двери: "ЛЕНИН С НАМИ!" Под транспарантом стоял Герасимов. На рукаве у него была красная повязка, и я подумал: "А может, он и правда тронулся?" Но нет, как раз за здравомыслие его назначили дежурным.

Единственный здравомыслящий в сумасшедшем доме — это неплохая аллегория той роли, которую играл Герасимов в Ленинграде второй половины двадцатого века. Он не кончил курса в университете, главным образом потому, что ему там стало неинтересно. Вместо этого он сам стал нашим университетом. Во всяком случае меня он просветил больше, чем пять лет лекций и семинаров на филфаке. Одаренный феноменальной памятью, он помнил все, что знал, а знал он невероятно много и постоянно пополнял свои знания. Задолго до эры компьютеров к нему можно было постоянно обращаться как к поисковой системе с той разницей, что отвечал он на вопрос мгновенно и по существу. Когда он приехал ко мне в гости в Нью-

Гемпшир, я узнал от него немало интересного о новоанглийской архитектуре, в то время как моя жена вела с ним горячие дискуссии о местной флоре и фауне.

Разница между Герасимовым и компьютером, конечно, не только в том, что Герасимов больше помнит и быстрее соображает. Я думаю, что я и мои друзья чаще всего задавали Герасимову вопросы не только для того, чтобы получить информацию, но больше для того, чтобы получить заряд здравомыслия, доброжелательства и делового, уважительного отношения к культуре. И тут я уступаю слово Бродскому.

Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди, никто в России не умел писать лучше, чем они, никто глубже не презирал наше время. Для них цивилизация означала больше, чем ежедневный хлеб и еженощное объятие. Это не было, как может показаться, еще одно потерянное поколение. Это было единственное поколение русских, нашедших себя, для кого Джотто и Мандельштам были императивами в большей степени, чем личное будущее. Бедно одетые, но все же как-то элегантные, тасуемые глупыми лапами своих непосредственных хозяев, бегающие, как кролики, от вездесущих псов Государства и от его еще более вездесущих ищеек, сломленные, стареющие, они все-таки сохраняли любовь к несуществующей (или существующей лишь в их лысеющих головах) вещи под названием "цивилизация". Безнадежно отрезанные от остального мира, они думали, что по крайней мере этот остальной мир похож на них; теперь они знают, что и остальной мир таков же, только лучше одет. Когда я пишу это, я закрываю глаза и почти вижу их, стоящих посреди обшарпанной кухни со стаканом в руке, с иронической гримасой поперек лица. "Да, да… — ухмыляются они. — Liberte,Egalite, Fraternite… Почему только никто не прибавит: Культура?"

Двадцать пять лет назад я переводил это эссе ("Меньше самого себя") на русский. По поводу приведенного пассажа я спросил у Бродского, не Герасимова ли он тут вспоминает, и получил ответ, что да, конечно, Герасимова в первую очередь.

Конечно, в этом взволнованном гимне есть черты и несвойственные Герасимову. Он не лысеет. Он всегда был немножко больше патриотом, чем космополитом. Наконец, он мог бы прекрасно писать, но, создатель великолепных устных текстов, он всю жизнь страдал аграфией. Но недавно случилось чудо: Герасимова нашел собеседник, сумевший превратить его дивные разговоры в литературный текст. И это дает надежду на то, что петербургский голос Герасимова услышат и через много лет

после нас.

Яблоко Рейна

Есть слова Мальро, которые не становятся менее верными от зацитированности: "Художник рисует дерево не потому, что увидел дерево, а потому, что видел, как другой художник нарисовал дерево".

Рейн ходил к художникам, и я таскался за ним на невидимом поводке. Весной 1956 года таинственным и многообещающим было имя — Фальк. По темной лестнице мы поднялись на третий этаж. Фальк был смуглый, подсохший, старый человек с непонятно что означавшей улыбкой. Мы попросили посмотреть его "работы". Он провел нас в мастерскую.

Холсты стояли, прислоненные к стенам, подрамниками наружу. Рейн попытался повернуть один, но Фальк, неопределенно улыбаясь, не разрешил. Оказалось, что смотреть можно только неоконченную картину на мольберте. Это было тусклое изображение женщины, собственно не картина еще, а подмалевок. Мне показалось, что он покрыт пылью, хотя в темноватой комнате трудно было сказать наверняка. Палитра лежала на стуле рядом с мольбертом. Краски на ней окаменели. Вошла женщина, такая же сухая и смуглая, как муж. Она принесла художнику кушанье — коричневые комья на тарелке. Почему-то сочла нужным нам объяснить: "Рис с грецкими орехами". Мы уже начали понимать, что художник просто боится случайных посетителей, и пошли прочь.

Спускаясь по лестнице, увидели, что дверь в мастерскую этажом ниже открыта и другой старик, не в пример Фальку плотный и румяный, стоит в передней. По табличке на дверях поняли, что это Павел Варфоломеевич Кузнецов, и попросили разрешения войти. Павел Варфоломеевич собирался уходить, но остался и охотно стал показывать, одно за другим, свои среднеазиатские полотна. Пустыня у Кузнецова была не раскаленным адом, а пространством, где горизонтально жили легкие свежие краски — желтое и голубое главным образом.

В ту пору желтое и голубое не ассоциировалось у меня ни со Швецией, ни с Украиной, а только с Рейном. Я не переставал дивиться тому, что цвет можно воспроизвести словами.

…я помню яблоко на голубой холстине,
просторное, покатое, как лодка,
оно пробило строй сосновых досок,
замедлясь здесь, оно было желто.

И не только цвет, но и форму — округлость яблока. Пробивая строку регулярного пятистопного ямба, как сосновый частокол, ядро яблока подтверждало свою округлость тремя ударными "о": "оно было желто". Когда Рейн читал эти стихи, он произносил "было желто" с окончательной, непререкаемой интонацией.

"Было" научило меня ценить поэзию смысла еще до того, как я вчитался в Мандельштама. В то время как иные мои приятели, да и я сам баловались заумью, Рейн работал со смыслами слов. У меня язык не повернется назвать Рейна "орудием языка", как определял впоследствии поэтов наш с Рейном общий гениальный друг. Какое уж тут орудие! Рейн казался мне деревенским кузнецом. Он раскалял слова и речевые обороты докрасна и сгибал, и закручивал их так, как ему было нужно для получения смысла, не достижимого средствами обычной речи. Собственно, все то давнее стихотворение, "Яблоко", об этом процессе, о том, как возникает лирический текст. Начало там такое:

Пока я уходил от переулка
на площадь, становилось все теплее.
Стихи нас настигают. Перед этим
охладевая. Впереди металлов
распалась ртуть.

Чтобы добыть гармонию из хаоса городских площадей и броунова движения человеческих толп, нужно дать распасться логическим связям, грамматическим нормам, как распадаются элементарные частицы при термоядерной реакции. (Термоядерная образность еще вернется в конце стихотворения.)

И вот, когда душа стесняется лирическим волнением, мысли твои выбились из назначенной бороздки и заскрежетали поперек пластинки, тогда вспоминается написанное другим художником:

…Я шел по переулку,

И мне подумалось о стенах и судьбе.
Потом о стенах просто. Я представил
какие-то отличные полотна,
раскрашенную известь, крен дождей
и множество небывших ситуаций.

Тут пора сказать, что вообще-то в этом стихотворении стандартная лирическая фабула: шел по улице, встретил красавицу. Но мы-то знаем, что бог не в фабуле, а в деталях.

Но площадь огорошила меня,
происходило лютое движенье,
сюда заброшенное от ствола Садовой,
грузовики стремились в представленье,
свергая предыдущее строенье,
и, прислоняясь к алтарю Главпива,
я бросился хоть что-нибудь спасти.
Я встретился с тобой. Гораздо раньше
я тебя увидел, но,
подсчитав глаза, ресницы, бедра,
смолчал.

Площадь — воплощение адского городского хаоса с лютыми грузовиками, не спокойная Сенная или вовсе тихая Покровка на Садовой в Ленинграде, а от ствола бесчеловечно широких московских Садовых; но наш герой находится уже не только в этом, но и в другом измерении, в другом городе, в другой эпохе. Не то чтобы в Париже 1913 года, но в локусе, созданном лирическим воображением Утрилло, с разводами дождя на крашеной штукатурке стен. Или Писсарро. Или Добужинского, в конце концов.

Книги, о которых Рейн чаще всего говорил в то время, клялся дать мне почитать и не давал, были "От Монмартра до Латинского квартала" Франсиса Карко и "Пикассо и окрестности" Ивана Аксенова.

Лет семь спустя Бродский напишет свое первое настоящее стихотворение — "Я обнял эти плечи и взглянул…". Странное дело: обнимает возлюбленную и при этом внимательно рассматривает "то, что оказалось за спиною", используя тот же поворот сюжета в "Яблоке":

…А за тобой

я помню яблоко на голубой холстине,
просторное, покатое, как лодка,
оно пробило строй сосновых досок,
замедлясь здесь, оно было желто.
Я наблюдал чешуйчатую кладку цвета,
и абажур округло поднимался
над яблоком, как шелк под сквозняком,
и над теплом большой открытой пищи.
Да-да, конечно, наконец-то снова —
там в яблоке — творилось мирозданье,

материя переходила в цвет.

Остановленное, но тем не менее уходящее мгновение, кубистическое вторжение яблока в портрет девушки на городской площади, переход материи в цвет и времени в текст — это и есть смысл лирического стихотворения, содержание понятия лиризм, его основы по крайней мере.

Желтое яблоко на голубом фоне — это, скорее всего, из эрмитажного натюрморта Сезанна. Рейн пишет "Яблоко" не потому, что увидел яблоко, а потому, что видел, как Сезанн написал яблоко.

Так вот костяк дикарского лиризма,
фигура и условие расцвета
до крика исступленной желтизны.

"Материя переходила в цвет". За цветом, добытым таким образом, устанавливается новое постоянное значение: "желтое — исступленное". Об агонии забросившего поэзию Рембо Рейн, примерно в то же время, говорит так: "Итог, что груб и желт".

У меня отец был поэт. Я с детства знал много пишущих стихи людей. Но от первой встречи с Рейном у меня на всю жизнь осталось ощущение первой встречи с Поэтом. Наверное, оттого, что с ним я познакомился не в силу семейных связей, а сам по себе, потому что он был моим сверстником (ну, на полтора года старше), что он громовым голосом, сверканием очей, патетическими каденциями почти до неприличия соответствовал романтическим представлениям о поэте.

Мне было пятнадцать лет, я учился в девятом классе, а Рейн в десятом. В другой школе, хотя моя школа была прямо напротив Технологического института, на территории которого жил Рейн с матерью. Общий знакомый передал мне приглашение Рейна зайти. Были морозные зимние сумерки. Было интересно отыскивать жилье Рейна — меня всегда интриговали эти города внутри города, вроде городка Техноложки, куда просто так, без приглашения, не зайдешь. Рейн встретил меня в полосатой пижаме и принялся реветь стихи. Свои? Багрицкого? Тихонова? Не помню. Помню, что первоначальное смущение сменилось восторгом. Помню, что, уйдя от Рейна, я, несмотря на уже вовсе сильный мороз, пошел не сразу домой, а в сторону Фонтанки. На другой стороне улицы стыл странный петербургский монумент — периодическая таблица элементов во всю стену Палаты мер и весов

Все это было въявь, и даже
у основания оно схватилось
кольцом из цвета — жидким и густым.
В нем яблоко плескаться начинало,
колебля воздух и вращая стол.

Народный поэт

Бродский когда-то подхватил ласковое семейное имя Уфлянда, Волосик. Месяца за два до смерти, позвонив мне, чтобы прочитать очередную уфляндовскую эпистолу в стихах, он потом спросил по-экзаменаторски: "А что у Волосика самое главное?" Ну, по этому предмету я и сам бы мог его проэкзаменовать: "Рифма, конечно!" За свой ответ я заслужил у Иосифа пятерку. (Кстати сказать, я сейчас ясно вспомнил, как за несколько лет до того мы говорили о рифме и согласились, что у Мандельштама и Ахматовой рифмы слабоваты.)

Отсутствие талантливой рифмы может компенсироваться другими элементами стиха, но неповторимо естественная лирическая интонация Уфлянда прежде всего определяется музыкой созвучных строчных окончаний. Что такое талантливая рифма, прекрасно объяснил американский поэт Миллер Виллиамс. Как ни странно, поскольку рифмованных стихов в Америке теперь почти не пишут. А может быть, ностальгия по рифме и помогла ему найти точное определение. Он сказал примерно следующее: лучшая рифма — это оригинально и глубоко рифмующиеся слова, но при этом именно те слова, которые в данном контексте были бы самыми лучшими, если бы и не было необходимости рифмовать.

Слова "семья" и "земля", "занял" и "глазами" — качественные, фонетически крепкие и, я бы даже сказал, фонологически оправданные рифмы. Но поразительную естественность и красоту они придают финалу лирической поэмы Уфлянда, потому что они были бы лучшими здесь словами, Даже если бы рифмы были не нужны:

Когда накрыта спящими земля.
Когда я сплю.
Когда я угол занял.
Когда трамваи спят.
Трамваем спит семья.
Трамваи спят с открытыми глазами.

Однажды Уфлянд рассказывал, как он написал эту поэму. Проснулся после веселой ночки у приятеля. Особенность приятельской квартиры (мне тоже приходилось там ночевывать) состояла в том, что она была докторская и находилась на территории психиатрической больницы на Удельной. Станция

Удельная, северная питерская окраина, вторая остановка от Финляндского вокзала. Надо было возвращаться в город, но оказалось, что после вчерашних безумств денег на электричку ни у Уфлянда, ни у собутыльников не осталось. Просить взаймы у обитателей скорбного дома было бы странно. Уфлянд пошел в город по шпалам. Поэма стала сочиняться на Удельной, а закончилась при подходе к Финляндскому вокзалу. Всякий, кто ходил по шпалам, знает тайну шпалоукладочного алгоритма — расстояние между шпалами всегда меньше размаха шага, а расстояние через шпалу всегда больше, какого бы размаха ни были шаги пешехода. Нервный, то и дело сбивающийся с ровного ритм звучит в сложенных по дороге стихах.

Одними
лишь облаками день тогда грозил,
что много сил у них отнимет.
Тревожны были эти облака
от верха белого до низа медного
от солнца.
И усердно, как блоха,
в них суетилось что-то незаметное.
Антон подумал: "Это вертолет".
А возвращаясь, передумал: "Лебедь"…

И утренние облака над Выборгской стороной, и еще не проснувшийся трамвайный парк, и легкое юношеское похмелье, и мысли о любви, вся живая жизнь непосредственно превращалась в чистейшую лирику. Будничное ленинградское утро, имевшее место сорок лет тому назад, будет жить в русской поэзии так же долго, как полное мороза и солнца утро Пушкина, как темно-синее утро в заиндевевшей раме Бродского.

В начале перестройки Уфлянду как-то пришлось читать стихи перед митингующей молодежью на Владимирской площади в Ленинграде. Рядом с митингом дежурили милицейские автобусы. Увидев, что молодежь хохочет, милиционеры стали высовываться из окон автобусов, и смех милиции слился со смехом прогрессивной молодежи. Действительно, Уфлянд один из самых смешных авторов и юмор его прост, то есть самой чистой пробы, такой, что веселит и нобелевского лауреата, и постового милиционера. Сергей Довлатов назвал когда-то свой очерк об Уфлянде "Рыжий". Это верно почувствовано, юмор Уфлянда — гениальная словесная клоунада.

Не совсем удачно только название, потому что Чаплин не был рыжим, не носил рыжего парика. А талант Уфлянда именно

чаплинский — его тексты интегрируют смешное, философичное и лирику.

Кстати сказать, никто в русской поэзии не использовал образ интеграла так лирично, забавно и мудро, как Уфлянд. (У Блока дышащий в стальных машинах интеграл — вычурный и безжизненный образ.) Уфлянд пишет:

Народ есть некий интеграл
Отдельных личностей, Которых
Бог не зря собрал
В таком количестве.

Это четверостишие является кратким прологом к большой стихотворной драме "Народ". "Народ" — совершенно уникальное полифоническое произведение, где голоса улицы звучат с такой же естественностью, как у Блока в "Двенадцати" ("Эх, распустилась молодежь. Куда, Россия, ты идешь!" — "Она идет вперед, папаша, Россия дорогая наша").

Я не знаю, дадут ли по нынешним временам какую-то награду или звание Уфлянду по поводу его 70-летия, но, по-моему, он и так, по самой сути своей, подобно Блоку или Бродскому, чьи имена сами собой возникали в этом тексте, народный поэт России.

P.S. Солженицын сочувственно пишет о неизвестном ему молодом поэте Уфлянде в конце второго тома "Двести лет вместе" как выразителе еврейского отношения к России. ""Россия отражается в стекле пивного ларька"… И ведь верно!., вот ужас". Он читал пересказ "Прасковьи" Уфлянда в самиздатском документе и не знал, что у Уфлянда все наоборот. Уфлянд не обличает распад русских нравов извне, он сам из тех, кто терпеливо выстаивает очередь к пивному ларьку, и его строки о пивном ларьке ("Но отражается Россия, как в зеркале в его стекле…") хотя и куда забавнее и лиричнее, но странно напоминают патриотические стихи народного любимца Твардовского из поэмы "За далью даль".

Живое тепло

Осознав, что нуждаюсь в напоминании о неумолимом ходе времени, я решил воспользоваться компьютером. Там для этой цели предлагается большой выбор бубнов, тимпанов и человеческих голосов. Я наугад выбрал ка- кой-то голос и погрузился в работу. И вдруг вздрогнул: из компьютера заговорил Уфлянд. "It's eleven thirty-y-y", — сказал он, причем тем особым голосом, которым говорил, будучи слегка навеселе, — немножко медленнее, басовитее и насмешливее, чем в трезвом состоянии. Прошло почти шесть недель со дня смерти Уфлянда, и вдруг время в моем компьютере заговорило его голосом.

Это было удивительно еще и потому, что одно из моих ярких ранних воспоминаний об Уфлянде тоже связывает его с отсчетом времени. Мне уже случалось об этом рассказывать. Всей нашей компанией мы ночевали на чьей-то зимней даче. Наташе Лебзак, в которую были влюблены Леня Виноградов и Володя Уфлянд, надо было с первой электричкой вернуться в город, чтобы поспеть на репетицию в театральный институт. Будильника у нас не было, и вот Уфлянд с Мишей Ереминым, произведя на бумажке какие-то расчеты, положили булыжник в кастрюлю с водой, вынесли ее на мороз, а когда промерзло до дна, внесли в кухню и укрепили кверху дном над пустым тазом. Расчеты их оказались не совсем точными, и страшный грохот разбудил нас всех не в пять тридцать, а в три часа ночи, но какова смекалка.

Уфлянд вообще был на редкость сообразительным и умелым. Столяр, монтер, художник, поэт, слесарь, водопроводчик — во всех этих областях он был не дилетантом, а профессионалом. Люди этих профессий в России известны склонностью к выпивке, и в этом отношении Уфлянд от них не отличался. Мы воспринимаем слова "веселие Руси" как иронические, но пьянство Уфлянда действительно было веселым занятием и таким же веселым состоянием.

На заключительных страницах своего трактата "Двести лет вместе" Солженицын делает попытку взглянуть на Россию глазами интеллигентного еврея. К этому его подтолкнул известный в свое время самиздатский документ — донос группы литераторов властям по поводу творческого вечера в ленинградском Доме писателей, на котором выступали Бродский, Уфлянд, Довлатов и другие. Солженицын с презрением отзывается о доносчиках и симпатизирует участникам вечера — как ему кажется, "молодежи предпочтительно еврейской". "А меня

как ударила, — пишет он, — ведь и верность этих просквозивших на том вечере еврейских настроений. "Россия отражается в стекле пивного ларька", — будто бы сказал там поэт Уфлянд. — И ведь верно! вот ужас. — Похоже, что выступавшие прямо — не прямо, может, в разрывах слов и фраз, но обвиняли русских, что они ползают под прилавками пивных и жены выволакивают их из грязи; что они пьют водку до потери сознания… "[68]

Вот как опасно цитировать, не зная контекста! В стихотворении Уфлянда "Прасковья" (1967) герой натыкается в лесу на пивную будку:

Не слышно возле воплей комариных.
Не видно ног из-под нее куриных.
Там в будке кто-то рукоять качает
и щедро пиво расточает.

Виденье в современном стиле
на древней и святой земле?
Нет!
Отражается Россия,
как в зеркале, в ее стекле.

Ни отвращения, ни презрения Уфлянд к завсегдатаям пивного ларька не испытывает. Он — один из них. Его ирония искренне добродушна. Мы имеем дело не с сатирой, а с идиллией.

Смех, пенье, дружеские шутки
всегда звучат у этой Будки.
Свои благословенья дивной Бочке
шлют Жены Русские и Дочки.
Она ввиду таинственных причин
влечет к Себе лишь Истинных Мужчин.

Более того, для Уфлянда веселие Руси — коммунальный обряд. Если угодно, даже соборное причащение.

Каждый Богу помогает,
соблюдая свой обряд.
Люди сена избегают.
Кони мяса не едят.
Гости пьют вино с закуской.
(Тот под лавку загудел.
Тот — еврей. Тот, вроде, — русский.

(Кто какой избрал удел)).
("Внешне бодр…", 1966)

И чуть дальше в том же стихотворении:

Там
сомненье появляется:
может статься, я — в раю?

Я не знаю ни одного поэта со времен Данте, который бы видел Рай столь отчетливо, как Уфлянд. Вознесение в горние сферы начинается для него с дружеской попойки. Он пишет в "Песне о моем друге" (1968):

Я становлюсь готов к любому подвигу, желаю страстно жизнь отдать в боях, когда ко мне с женой своею под руку мой лучший друг шагает на бровях; то ногами рисует круги, то за пазуху руку засунет. Знать, гостинец несет на груди в запечатан-
354ном круглом сосуде.

Получка жжет карман ему и премия. А вкус закуски, как всегда, претит.

И Небеса услышат наше пение. И Бог на нас вниманье обратит. Он скажет нам:

— Спокойнее, родимые. Я вас и так, сирот моих, люблю. Берите все с собой необходимое и отправляйтесь отдохнуть в Раю. Вскрикнут матери, жены и тетки. Их на время охватит тоска. Выдаст нам Господь путевки и оформит отпуска.

Тишь. Теплынь. Пахнет луком поджаренным. Это — Рай в представленье моем. Встретив Кеннеди с Гагариным, слезами обольем.

Я вспоминаю, как однажды мы сидели у Уфлянда в тесной, но изумительно им оборудованной квартире, он читал стихи, и я увидел, как у моего друга, пожилого художника Бориса Федоровича Семенова, при словах "Знать, гостинец несет на груди в запечатанном круглом сосуде" глаза наполнились слезами умиления. Эмоциональное воздействие этого перифраза, этого "приема остранения" на Б.Ф. было тем более удивительно, что смолоду он был дружен с Хармсом, его поэтический вкус воспитывался в обэриутском кругу, а Уфлянд — поэт принципиально другой, чем обэриуты.

Хотя сам он порой и возводил генеалогию своих стихов именно к их поэтике, все-таки между ними не было внутреннего сходства. "Звезда бессмыслицы", радикальные семантические

эксперименты, жесткий абсурдизм Хармса и Введенского были Уфлянду чужды. Что-то в его стихах напоминает Заболоцкого периода "Столбцов", но есть принципиальное различие: гротеск Уфлянда никогда не становится сюрреалистическим, как у Заболоцкого. Уфлянд мог бы написать: "один — язык себе откусит, / другой кричит: я — иисусик, / молитесь мне — я на кресте, / под мышкой гвозди и везде..", но не мог бы — предшествующих строк: ".. по потолкам они качали / бедлам с цветами пополам"[69]. Как раз в тех случаях, когда он сознательно имитирует обэриутскую поэтику, его стих начинает разваливаться и юмор казаться несколько нарочитым. Пример тому — "Ингерманландское чудо" и еще несколько стихотворений начала 1990-х годов. Впрочем, нельзя назвать неудачами тексты, если в них встречаются такие прелестные уфляндизмы, как, например, строки, в которых он говорит, что НЛО удаляется,

…Для зренья становясь тарелкой.
Сперва глубокой. После мелкой.

Инопланетяне впервые появились в стихах Уфлянда в 1958 году:

В глухом
заброшенном селе меж туч увидели сиянье.
Никто не думал на земле,
что прилетели марсиане.
Они спросили, сев на поле:
— А далеко ли до земли?
Крестьяне, окружив толпою,
в милицию их повели.
Худых и несколько обросших.
В рубахах радужной расцветки.
Ведь это, может быть, заброшены
агенты чьей-нибудь разведки.

В этом стихотворении, как и в других, Уфлянда увлекают не марсиане, а земляне — крестьяне, которые, допросив пришельцев "на трех наречиях: / мордовском, русском и на коми", быстро приходят к выводу, что "прилетевшие [—] веселые / и неопасные ребята". Видимо, сразу же за пределами стихотворения марсианам предложат присоединиться к веселию Руси.

Помня, что ирония Уфлянда не обязательно означает отрицание, взглянем на еще одно стихотворение о крестьянах:

Крестьянин крепок костями.
Он принципиален и прост.
Мне хочется стать крестьянином.
Вступив, если надо, в колхоз.
Судьба у крестьянина древняя.
Жать. В землю зерна бросать.
Да изредка время от времени
Россию ходить спасать.
От немцев, варяг или греков.
Ему помогает Мороз.
Я тоже сделаюсь крепок,
принципиален и прост.
(1958)

Уфлянд родился на свет с выдающимся запасом добродушия. Перед сеансами в советских кинотеатрах показывали официальную кинохронику. Все терпеливо скучали, а Уфлянд вглядывался в сановных стариков и умилялся. Вот какую пару портретов можно найти у него:

Люблю особенно те кадры кинохроники,
где снят товарищ Ворошилов.
Седой.
В дипломатическом костюме.
Усы.
В больших и черных мало проку.
Я думаю —
пусть он на время умер —
в Союзе станет очень плохо.
Кто стал вручать бы ордена?
Старушкам руки целовать при этом?
Насколько б хорошо решал дела
Президиум Верховного Совета?
Его большая нужность в этой роли
не сразу умещается в мозгу.

Мне, посмотрев такую кинохронику,
обычно хочется в Москву.
("Исповедь любителя кино"
("Хотя в кино нередко плачут дети…"), 1957)

И о другом номинальном главе государства:

Ах! Лучше б умерла Елизавета,

бельгийская старушка-королева.
Бабуся мне не сделала худого.
Но также и не сделала добра.
Мне с нею было б даже неудобно
под ручку выйти со двора.
Тем более на танцы, на каток.
Морщинистая, седенькая, хроменькая.
Ее бы сразу свел с ума поток
прохожих у кинотеатра "Хроника".
А в королевской форменной скуфейке,
в фамильных старомодных украшениях
от пирожка за сорок три копейки
старушка б отказалась с отвращением.
("Смерть любимой", 1959)

Возможно, я перенасыщаю этот небольшой текст цитатами, но в том-то и дело, что, вспоминая стихи Уфлянда, трудно остановиться. Вот уж plaisir du texte так plaisir! Тридцать лет тому назад в Энн-Арборе мы сидели втроем у меня — я, Бродский и один наш тамошний знакомец, тоже недавний эмигрант, инженер на фордовском заводе. Я сказал, что собираюсь под эгидой "Ардиса" издать книжку Уфлянда. Иосиф тут же прочитал свое любимое:

Мир человеческий изменчив
по замыслу его когда-то сделавших.
Сто лет тому назад любили женщин.
А в наше время больше любят девушек.
Сто лет назад ходили оборванцами,
неграмотными,
в шкурах покоробленных.
Сто лет тому назад любили Францию.
А в наши дни сильнее любят Родину.
Сто лет назад в особняке помещичьем
при сальных, оплывающих свечах
всю жизнь прожить чужим посмешищем
легко могли б вы.
Но сейчас,
сейчас не любят нравственных калек.
Веселых любят.
Полных смелости.
Таких, как я,
веселый человек,
типичный представитель современности.

И мы уже не могли остановиться, и по очереди читали и читали на память Уфлянда, испытывая артикуляционное наслаждение от его изумительно остроумных рифм. Инженер смотрел на нас недоуменно и даже с огорчением

и наконец неуверенно сказал: "Но ведь это же… как в любой стенгазете…" И ведь правда, Уфлянд вовсю пользуется словарем советской газеты: "типичный представитель современности", "готов к любому подвигу", "выдаст путевки и оформит отпуска", "заброшены / агенты вражеской разведки". Так как в этой ситуации Бродский и я представляли собой писателей (хотя и разнокалиберных), а инженер — народ, мне стало обидно, что Уфлянд непонятен народу, и я попытался объяснить: "Это как Зощенко, только в стихах".

Это была мимолетная и неправильная обида, потому что я знаю, что стихи, по определению, — всегда для немногих. Только в утопическом будущем возможно всеобщее воспитание чувств, в результате которого возможно сказать: "Вот стихи, а все понятно, / Все на русском языке!" Ан нет, либо только кажется, что понятно, либо не стихи, а неумело зарифмованные байки. Но при этом невозможно не назвать Уфлянда народным поэтом. Уфлянд легко, непринужденно озвучивает то, что смутно чувствует, но не может высказать "простой человек" — его современник. В смутное время конца 1980-х он сочинял намеренно незавершаемую драму "Народ", составленную из монологов фольклорных персонажей и просто голосов улицы, как в поэме другого смутного времени, "Двенадцати" Блока:

Эх, распустилась молодежь.
Куда, Россия, ты идешь?
Она идет вперед, папаша,
Россия дорогая наша.

В "Народе" находили отражение как злободневные темы, так и лексические новинки перестроечных времен:

Вострозубая гёрла,
Не пей ночью кровь из моего горла.
Во-первых, получишь СПИД,
А во-вторых, надо же иметь и девичий стыд.

Фольклорными персонажами в этой поэме выступали не только Змей Горыныч и песенные девицы, но и Горбачев с Ельциным, и Толстой с Достоевским (вроде анекдотических

"Пушкина и Лермонтова"):

Ехал Федор Достоевский
По дороге столбовой.
А потом свернул на Невский.
Вдруг навстречу Лев Толстой.
А куда спешишь ты, Федя,
Мимо ресторан-Медведя,
Быстро едя, быстро едя,
Горяча коня кнутом?
Я спешу в игорный дом.
— Ну а я конец недели
Провести хочу в борделе.

И так далее. Четверостишие, данное как пролог к "Народу", является изумительно емким определением понятия "народ":

Народ есть некий интеграл
отдельных личностей, которых
Бог не зря собрал
в таком количестве.

Вот чего не понимают народолюбцы, говорящие от имени народа, встающие на его защиту и требующие от искусства служения народу: не сумма отдельных личностей, а интеграл. Ни защищать интеграл, ни служить ему нельзя. Впрочем, поэт может его персонифицировать, и в последней ремарке неоконченной драмы читаем: "Народ ложится в тракторную колею и засыпает. Россия, пригорюнившись, садится на свернутый трактором электрический столб и ждет, когда народ проснется".

Я все не могу остановиться цитировать Уфлянда и в то же время все сильнее чувствую, что мне не удается сказать, каким он был. Словно можно словами вернуть человека к жизни. Но, может быть, я беспокоюсь зря. Может быть, живой Уфлянд как раз и закодирован в его стихах, а мне остается только припоминать о нем милые пустяки. Как, гостя у нас, он уходил после завтрака смотреть детские мультики по телевизору и до нас доносился из телевизионной комнаты его счастливый хохот. Как навеселе он любил изображать контрабас. Не музыканта, а самый инструмент — чуть наклонялся, чуть покачивался и издавал густые назальные звуки: дынн-дынн-дынн… Как дома у него кошки дожидались, пока он ляжет, чтобы запрыгнуть ему на грудь…

Ты умер, а мы ишачим,

но, впрочем, дело за малым.
Ты спал под живым кошачьим
мурлыкающим покрывалом.
Всё, что намурлыкано за ночь,
ты днем заносил на бумагу.
А низколобая сволочь
уже покидала общагу.
Ты легко раздаривал милость
растениям, детям, собакам.
А сволочь уже притаилась
в подъезде за мусорным баком.
Не слишком поэту живется
в краю кистеней и заточек.
А кошкам не спится, неймется,
всё ждут, когда же вернется
живого тепла источник.

4

Москвы от Лосеффа

1 апреля среда

Из самолета прошли по обычным переходам, по дороге смешались с еще одной прилетевшей толпой и оказались в помещении перед будками паспортного контроля. Здесь почти все вокруг сразу закурили и стали говорить в сотовые телефоны. Из дюжины будок работали только три, очереди к ним не выстроились, а просто толпа разделилась на три толпы, и я оказался в задних рядах. Стоял гул, дым лез в ноздри, было темновато — потолок в помещении устроен из красновато-коричневых, черными отверстиями вниз направленных цилиндров, а между ними редкие тусклые светильники. Через пятьдесят пять минут и я протянул паспорт в окошечко контроля и сказал пограничнице по-русски: "Здравствуйте".

Дальше пошло быстро: выкатился мой чемодан на карусель, таможенник помахал: "Проходите", — я попал в объятия Денниса, познакомился с Ксенией, мы вышли в пасмурный зябкий день, паркинг был тут же, машины были оставлены без видимого порядка — кто как сумел приткнуться, выехали из паркинга и через двадцать метров были остановлены ГАИ.

Впрочем, сразу же, без последствий, отпущены.

Показались девятиэтажки на Ленинградском шоссе — те же, что и двадцать два года назад, только на торце одной красовался во все девять этажей Марлборо Мэн, которого в Америке с тех пор, как, по злорадным сообщениям прессы, он умер от рака легких, не увидишь.

Я ехал и дивился тому, что не волнуюсь (то ли за две предотъездные недели наволновался, то ли от усталости после длинного, с двумя пересадками, перелета). Первое впечатление было — мгновенного, спокойного Узнавания: промозглый день, шоссе в колдобинах, грязные автомобили, панельные дома. Почти все прежнее, а что нового? На первом перекрестке, где притормозили, узнал подзабытый шрифт вывески "ПРОДУКТЫ", но под этим простодушным словом игривым курсивом теперь было добавлю но: "*для вашего стола*".

Деннис сказал, что ему надо заехать на оптовый рынок купить воронку Свернули с Ленинградского проспекта. В шестом часу оптовый рынок был пуст и замусорен, как всякий рынок в конце дня. Между киосками бегали собаки с поджатыми хвостами. Воронок не было, но удачно попалась особо дешевая

туалетная бумага. Уже было темновато, когда приехали в Серый Дом.

В отличие от Иосифа я полагал, что рано или поздно поеду в Россию, хотя 11 февраля 1976 года в пять утра по дороге в аэропорт попросил таксиста остановиться на углу Невского и Садовой, вышел, вывел из машины Митю и Машу, посмотрел в темную мглу Невского налево и направо, шапку снял — попрощался навсегда. Но в Америке стали сами собой сочиняться возвращения в стихах — "Чудесный десант", "Се возвращается блудливый сукин сын" и "Разговор с нью-йоркским поэтом", тоже своего рода возвращение, придуманное под впечатлением злодеяния советских ВВС:

РАЗГОВОР С НЬЮ-ЙОРКСКИМ ПОЭТОМ

"Вы куда поедете летом?"
Только вам, как поэт поэту.
Я в родной свой город поеду.
Там источник родимой речи.
Он построен на месте встречи
Элефанта с собакой Моськой.
Туда дамы ездят на грязи.
Он прекрасно описан в рассказе
А.П. Чехова "Дама с авоськой".
Я возьму свой паспорт еврейский.
Сяду я в самолет корейский.
Осеню себя знаком креста
и с размаху в родные места.

(Садясь в ноябре прошлого года в самолет, вылетавший в Сеул, я этот стишок припомнил, но пророческим он не оказался.) Когда поездки в Россию вдруг стали возможны, на вопрос, почему я не еду, всегда отвечал, что не зарекался, надо, мол, будет — и поеду, хотя какая это может быть надобность, представлялось до поры до времени туманно. Только в самое последнее время, когда начал составлять комментарии к сочинениям Иосифа для "Библиотеки поэта", стала прорисовываться конкретная необходимость: поработать в архивах, посоветоваться со знатоками и т. п. Я решил, когда дело дойдет до поездки, подготовиться как можно тщательнее, чтобы никакие бытовые и физиологические помехи не мешали прочувствовать возвращение на родину. Я долечу до Хельсинки. Проведу там пару дней в гостинице, чтобы избыть jet lag, поеду в Петербург на поезде или

на пароме. Остановлюсь в "Европейской" гостинице. Наплевать, что она в три раза дороже, чем гостиницы, которые мне по карману, она часть моего прошлого — в ее номерах я провел столько милых часов, когда папа приезжал в Ленинград. Собственно говоря, она — мой первый дом: когда я родился, Союз писателей поселил нас в номере "Европейской", пока не нашли для молодой семьи комнату в коммуналке. Канал Грибоедова, Малый оперный, Михайловский сад и садик Елены Павловны — в общей-то сложности я прожил в этой окрестности всего лет пять, но именно те пять лет, от которых начинается отсчет других мест. Представлялось, что я приеду в конце сентября. Номер будет окном на площадь. Утром в форточку будет доноситься запах мокрых листьев, как осенью сорок четвертого года, когда я, семилетний, шаркал по листве и, маленькая еврейская свинья под вековыми русскими дубами, собирал желуди. Из "Европейской" буду ходить работать в Публичку. Так же пешком в гости к Уфлянду, к Еремину, к Герасимову, в редакцию "Звезды", в университет. А на машине мы съездим на кладбища — к Сереже, к Юре, а теперь еще и к Гере. В Москву мне никогда не хотелось, но там придется побывать — повидать И.Н., съездить в Переделкино на могилу отца.

А вот как вышло: сигнал тревоги заставил меня сорваться безо всякой подготовки, 31 марта полететь прямиком в Москву, поселиться у Денниса в нанятой квартире в Сером Доме.

В последний раз я говорил с И.Н. по телефону 10 января. Наши длинные, по часу, телефонные разговоры обычно имели место раз в два месяца. Я выслушивал краткие римские соображения о мудрости самоубийства, после чего шли интересные новеллы — из прошлой жизни на разные темы, а из современной только на одну — о необыкновенном уме кошки Гаси. У И.Н. всегда был дар увлекательного устного рассказа. Таким рассказчикам редко удается сохранить живость изложения на бумаге, но ей, в мемуарной книжке "Прости меня за то, что я живу", как мне кажется, удалось. (Патетическое название — строчка из папиного стихотворения, обращенного к убитому рядом с ним на войне товарищу.) За все эти годы было только два момента, когда мне пришлось подряд названивать И.Н. — когда ей делали операцию глаза и потом, когда она, прооперированная московским умельцем, окончательно ослепла и однажды, начав со мной разговор, вдруг вскрикнула: "Я умираю!" — и связь оборвалась. Глядя в окно на новоанглийские клены, я лихорадочно набирал московские номера, все подряд, первым, до кого я дозвонился, был Алеша Алешковский, он вызвал скорую,

потом поехал к И.Н. Оказалось, что, разговаривая со мной, она пошла с трубкой от стола к тахте, зацепилась за провод и упала. Ничего страшного не произошло — просто сильный ушиб ребер.

Шесть-семь лет назад появилась в наших разговорах и деловая часть. До 91-го года о материальном положении И.Н. заботиться не приходилось. Папа был литератор на редкость работящий, после него у И.Н. остались полностью "выплаченная" трехкомнатная квартира, машина, гараж, сто тысяч рублей — большие по советским временам деньги! — сбережений, да еще кое-какой "валютный счет" в Управлении по охране авторских прав из гонораров за зарубежные постановки детских пьес. В последние годы, перед смертью, он писал пьесы вместе с И.Н. Говорил, что она здорово выдумывает сюжетные ходы и т. д., но, как я догадывался, исподволь готовил ее к жизни без него, зная, что владение пером может спасти от отчаяния и самоубийства. Благодаря собственным литературным заработкам у нее и пенсия получилась по высшей ставке — сколько это было? Сто двадцать что ли, рублей, уже не помню. Так что денег после папиной смерти у нее было довольно — она путешествовала, нанимала шофера, дарила, с обычной своей щедростью, подарки встречным и поперечным. Я из Америки присылал ей только "чего было трудно достать" — то сапоги, то тренировочный костюм, то косметику, а главным образом наборы фломастеров. Всю жизнь она работала больше всего гуашью, а на старости лет стала фломастерами.

(Гуашь грубовата по сравнению с акварелью, ее используют для эскизов театральные художники — профессия И.Н. в молодости. Портреты и натюрморты гуашью ей иногда удавались, иногда не очень, но интерьеры, сценки в интерьере всегда получались очаровательные. Несколько лет назад она мне прислала картинку величиной с открытку, где густые красные, синие, желтые тона создают впечатление интенсивного тепла и уюта: комната со стенами, увешанными картинами и гравюрами, старинный стол красного дерева, зимний вечер в Михайловском за окном. За столом слева сидит хозяин, Гейченко. Напротив него сама И.Н. в валенках и теплом платке на плечах. Прямо в центре за столом — папа. Гейченко держит на коленях искалеченную руку, а И.Н. — кошку. У папы его самое характерное выражение лица — слегка растерянное. Как это передано, мне непонятно. Так же непонятно и почему все трое так узнаются — ведь лиц, собственно говоря, нет, только небольшие, величиной с гривенник, розовые пятна.)

После 91-го года фломастеров, сапог, духов и тренировочных костюмов в Москве стало сколько угодно, но денежки в сберкассе

превратились в прах, как в сказке про заколдованный клад. И.Н. стала сдавать гараж за сто пятьдесят долларов в месяц, тем более что ее "Жигули" бесповоротно состарились и были подарены знакомому автомеханику на запчасти, а я начал посылать ей сначала по сотне, потом, вслед за инфляцией и повышением собственной зарплаты, по полтораста, а последние три года по двести долларов в месяц. Так возник в ритуале наших телефонных сеансов экономический мотив: я спрашивал, хватает ли, не надо ли еще подослать, а она в ответ складывала 200 + 150 + 90 (девяносто долларов — пенсия) и говорила, что хватает. Даже накопилось на книжке пять тысяч "зеленых", по поводу которых мне давались инструкции: после ее смерти послать тысячу в Крым одному парню, ослепшему в Афганистане, столько-то дать лифтерше Марии Сергеевне. С парнем И.Н. подружилась во время своих последних поездок в Крым, а Мария Сергеевна, верный друг, пристроила в "хорошие руки", к собственной дочери, драгоценную кошку Гасю.

В 92-м году И.Н. мне прислала завещание — все оставляла мне. Это было трогательно и ужасно приятно. Вот почему. Собственно, оценить "все", наверное, можно было тысяч в сто — сто двадцать, главным образом стоимость квартиры. Деньги, по моим меркам, большие, но не такие уж, чтобы радикально изменилось мое материальное положение. К тому же, зная кое-что о собственной генетике, я далеко не был уверен, что переживу И.Н. Приятно было испытать редкое для российского человека ощущение, что восстанавливается нормальный ход жизни: построенное И.Н. и моим отцом жилье перейдет к моим детям. С жилищем этим связаны у меня сентиментальные воспоминания. Отец с И.Н., бросив большую квартиру на канале Грибоедова, бежали в Москву из Ленинграда в 1950 году. Над отцом тогда нависла опасность. В Ленинграде его сделали одной из главных мишеней местной кампании против "безродных космополитов", то есть почти верным кандидатом на арест. В Москве же были свои космополиты, в проскрипции московской охранки он не был занесен и таким образом спасся. Шесть лет снимали они комнаты в разных концах Москвы, одежду, книги и папины рукописи хранили в картонных коробках, которые И.Н. разрисовывала гуашью. Дождаться не могли, когда же достроят аэропортовский кооперативный дом, въехали едва ли не первые. Это было весной 56-го (или 57-го?) года. Я помогал им перевозить разрисованные картонки с их последнего временного пристанища в Лиховом переулке, а когда все это добро было внесено в новенькую квартиру на четвертом этаже, И.Н. послала меня в хозяйственный магазин к "Соколу" покупать ведро: воду в доме еще не

подключили, надо было ходить за водой к колонке во дворе. Новый семиэтажный дом, примыкающий к станции метро "Аэропорт", стоял одиноко среди потемнелых бревенчатых строений. Когда воду пустили, в квартиру напротив въехал Виктор Борисович Шкловский и сразу же рассказал, что избы — остатки села Трехсвятского (или Всесвятского?), упоминаемого еще в документах времен Ивана Грозного. Что-то дурное было связано с этим селом: то ли там селились опричники, то ли разбойники. В квартире между моими и Шкловскими поселился элегантный джентльмен, деятель цирка Арнольд Арнольди. О нем говорили, что он был бильярдным партнером Маяковского, принадлежал к легендарной компании московской золотой молодежи 20-30-х годов, в центре которой были футболисты братья Старостины. Юрий Карлович Олеша когда-то, в свои лучшие времена, с надеждой описывал их, суперменов свежего социалистического общества. Олеша, по-родственному навещая Шкловского, женатого на его бывшей жене, постепенно привык заходить и к И.Н. с папой. Мне ни разу не случилось с ним встретиться, но Шкловского и других друзей-соседей я видел у них много раз — А.А. Галича, О.В. Ивинскую, Л.З. Копелева. И.Н., чей вкус был воспитан ее учителем и вторым мужем художником Владимиром Васильевичем Лебедевым, устроила свое жилье просто и красиво. Когда стали появляться деньги, она не накупила комиссионного барахла (а уж тем более модной тогда финской и югославской полированной фанеры), а завела несколько благородных вещей — чиппендейлский обеденный стол и стулья, просторный письменный стол красного дерева для отцовской комнаты. Остального было — простые крашеные книжные полки и тахты для спанья. Хорошо мне жилось наездами в этом доме — много там было говорено, пито, а в последние предотъездные годы я, бывало, там и работал — выправлял, переписывал свои пьески на отцовской машинке, за его столом. Потому так славно было подумать, что мой внук, может быть, будет сидеть за письменным столом прадеда и т. п. Мне представлялось, что если квартира перейдет ко мне, то так и останется московским pied-terreyом для нашего семейства. Итак, минут десять нашего очередного разговора мы с И.Н. каждый раз посвящали денежным делам, и, хотя повторялось одно и то же, я чувствовал, что ей приятно и напомнить мне о завещании, и сказать, что ей всего хватает.

Тревожным в наших разговорах был другой мотив. И.Н. все больше и больше нуждалась в уходе. "После падения" она совсем перестала выходить из дому, да и дома ей становилось обходиться все трудней. Я несколько раз через своих московских

знакомых устраивал, чтобы кто-то приходил за ней ухаживать. Но помощницы эти вскоре изгонялись, ибо характер И.Н. оставался, что называется, сложным. О ее характере пишет в "Телефонной книге" Шварц: "Я при миролюбии своем ни с кем так часто не вступал в столь темные и враждебные отношения, как с Ириной. Но вот облака рассеиваются, и при дневном свете кажется мне, что Ирина человек как человек, что все просто, что силы, играющие в ней, обыкновенные, человеческие, только немножко слишком богатые. А тут она еще со свойственной ей точностью памяти и наблюдательностью расскажет что-ни- будь, и совсем все станет как днем. Но где-то на дне души остается настороженность. Не забыть судорожных, темных метаний этого сильного, слишком сильного, и недоброго, по чужой и собственной вине, существа". Это написано в 1955 году. Потом было еще двадцать три неразлучных года с моим отцом, поутихли метания И.Н., и перешло к ней от его доброты, но страстность и резкость, от которых рвутся человеческие отношения, остались. Ей скоро начинало казаться, что нанятые или просто по доброте душевной приходящие женщины делают все не так, да еще и нарочно не так, и она их с возмущением прогоняла. Только о лифтерше Марии Сергеевне отзывалась с неизменной теплотой, но та была и сама старенькая и постоянно ухаживать за И.Н. не могла. Соответственно, и меня это заботило все сильней: как бы найти для И.Н. подходящую компаньонку. Или перевезти ее в Америку? Но тут у меня мама, которой под девяносто. По понятным причинам эти две женщины всю жизнь терпеть друг друга не могли. А народу в нашем городке меньше, чем в московском многоквартирном доме, так что жить им пришлось бы рядом. Да и удастся ли мне устроить переезд? Да и выдержит ли она его? Года два назад в разговорах стало возникать имя — Наташа. Наташа, соседка сверху, стала забегать к И.Н., предлагая помощь. Однажды, когда я позвонил, И.Н. сказала, что хочет со мной посоветоваться. Наташа предложила ей такую сделку: будет она не забегать время от времени, а изо дня в день ухаживать за И.Н. — ходить в магазин и в аптеку, готовить, кормить, выполнять поручения. И.Н. останется жить в своей квартире, но после ее смерти произойдет обмен — трехкомнатная квартира И.Н. перейдет к Наташе, а Наташина двухкомнатная — по завещанию мне. "Это твоя квартира, — сказала И.Н., — и поэтому я хочу знать твое мнение". Облачко московского pied-terre а мгновенно растаяло, бог с ним! Зато куда более насущная забота сваливалась с души. Правда, припомнились мне газетные истории про обманутых, даже угробленных из-за квартир старушек, но тут — давняя соседка по писательскому дому. "Прекрасная, — сказал

я, — идея. Человек-то она, Наташа, порядочный?" Ах, обратить бы мне внимание на то, как замялась И.Н. с ответом на вопрос, вспомнить бы, что нравы аэропортовского дома уже раз были описаны в замечательной "Иванькиаде", — своими же руками я набирал ее, когда служил в "Ардисе", — и, может быть, не случилось бы дальнейшего ужаса. Да нет, все равно бы язык не повернулся из-за страха: а вдруг И.Н. подумает, что я не хочу, чтобы мое наследство уменьшилось на одну комнату.

Когда я отправлялся в Москву, Петя Вайль напомнил мне притчу из записной книжки Ильфа: летчик, герой-полярник, переживший невероятные приключения, оказался втянутым в московскую квартирную тяжбу и потом до конца дней своих именовал себя не иначе как "потерпевшая сторона". Переиначивая смешной юридический термин, я уговаривал себя, как в детстве перед походом к зубному врачу: "Потерплю". Надо было потерпеть, потому что попала моя И.Н. в скверный переплет. Уже вскоре после того, как было заключено соглашение с Наташей, стала она жаловаться, что обещанной беззаботной жизни не получилось: "Раза три в месяц забежит, молока принесет или в аптеку сходит, а так я все по-прежнему одна. Если Мария Сергеевна или Эмиль не зайдут, так и сижу по нескольку дней без нормальной еды". (Эмиль — преподаватель математики в Бауманском училище, коллекционер; он помогал И.Н. разобрать домашний архив, готовил выставку ее живописи и графики; по законам нашего тесного мира он оказался другом моего доброго знакомого, известного филолога Александра Жолковского.) Поначалу я воспринимал сетования И.Н. как, может быть, ее обычные "превратности характера", тем более что, объективности ради, она всегда добавляла: "Вот, правда, с оплатой счетов Наташа все заботы с меня сняла и, когда надо, деньги мне из банка приносит по доверенности". Однако к осени И.Н. заговорила уже резче: что, де, чувствует себя обманутой и хочет сделку с Наташей расторгнуть. Я дипломатично молчал.

В ноябре И.Н. попросила Эмиля привести ей адвоката и нотариуса, оформила назначение Эмиля своим доверенным лицом и уполномочила его возбудить иск о расторжении сделки с Наташей. Когда мы говорили 11 января, она была очень расстроена и возмущена. Произошло вот что. На обычном месте, в ящичке бюро, не оказалось "валютной" сберкнижки. Позвонила Наташе. Наташа сказала, что, ах да, книжку она взяла, потому что И.Н. получала слишком низкие проценты на свои пять тысяч долларов, Наташа перевела ее деньги в другой банк, где проценты будут выше, но, конечно, если И.Н, хочет, она все сейчас же вернет. Не только то сильно расстроило И.Н., что ее

главными сбережениями манипулировали без спроса, но и открытие, что вообще Наташа могла производить такие манипуляции от ее имени. Об этом И.Н. не подозревала. Я успокоил ее, как мог, сказал, что раз Наташа деньги сразу же обещала вернуть, то не стоит и расстраиваться задним числом. А через неделю позвонил мне Эмиль и сказал, что у И.Н. случился микроинсульт. Состояние ее, впрочем, улучшается, Эмиль нанял круглосуточную сиделку, денег пока хватает, если надо будет еще, он мне сообщит. Прошло еще два месяца. Эмиль рассказывал мне по телефону о состоянии И.Н. — улучшающемся. Он приходил ежедневно, читал ей вслух ее любимые пьесы Островского, романы Франса и стихи. Стихи она и сама читала ему — память на стихи у нее всегда была прекрасная и от болезни не пострадала. Видимо, микроинсульт ударил по другому участку мозга — в текущей реальности И.Н. стала немного путаться. Тем временем приближалось время разбирательства в суде, назначена была предварительная встреча сторон с судьей, и вот после этой-то встречи все и случилось. По рассказу Эмиля, своих антипатий к нему как "лицу кавказской национальности" (он из московских армян) судья не скрывала, равно как и своих симпатий к его оппонентке. Но главное — другое. Наташа, выкладывая один за другим нотариально заверенные документы, рассказала судье, что И.Н., оказывается, вовсе не обменяла свою трехкомнатную квартиру на двухкомнатную "за уход". И.Н., оказывается, произвела целый ряд значительно более сложных сделок с Наташей, а вернее, с сыном Наташи, чьим доверенным лицом Наташа выступает. И.Н. продала свою трехкомнатную квартиру и купила у Наташиного сына двухкомнатную. При этом рыночную разницу в цене, более тридцати тысяч долларов, И.Н. решила не принимать в расчет, а согласилась на доплату всего в восемь тысяч. Тот факт, что и эти восемь тысяч к И.Н. ни в каком виде не попали, И.Н., очевидно, не беспокоил. Вероятно, потому, что все равно она тут же "подарила обратно" двухкомнатную квартиру сыну Наташи (еще один нотариально заверенный документ). Нет, не совсем подарила — отдала в обмен на ежемесячное пособие в 250 тысяч рублей (40 долларов). Вот сколько благодеяний, оказывается, успела И.Н. сделать Наташе и ее сыну (о котором она мне говорила: "Тупой малый, вечно ввязывается в пьяные драки"). Правда, все эти сложные трансакции проделала не сама И.Н., а Наташа по полученной от И.Н. генеральной доверенности, но с точки зрения суда — какая разница, юридическое-то лицо одно! Вот как просто облапошили И.Н., пользуясь ее слепотой: она-то думала, что подписывает доверенность, чтобы ей денег на мелкие

дополнительные расходы приносили, а подписала — отдать все, что имела. Гнусная, но банальная по нынешним временам история. Впрочем, по нынешним ли только — о том, что "квартирный вопрос" испортил московские нравы, сказано было еще шестьдесят лет назад. Да и не сто шестьдесят ли? Остроумный поэт Лев Рубинштейн сказал, что моя ситуация напоминает ему "Дубровского" — оставшемуся без родового имения, мне следует сколотить банду из обиженных Наташей и пошаливать в окрестностях метро "Аэропорт". Страшным в звонке Эмиля было вот что: после встречи у судьи Наташа пришла в отсутствие Эмиля к И.Н., сменила на дверях замок и под угрозой милиции запретила Эмилю туда являться. И.Н., которая является единственной помехой окончательному Наташиному вступлению во владение обеими квартирами, оказалась полностью в ее распоряжении.

"Дом на набережной", "дом, где кино "Ударник"", но чаще всего эту цитадель наискосок через реку от Кремля называют Серым Домом. Кроме кино, в него встроены еще супермаркет "Седьмой континент" и Театр эстрады. Наш, десятый, подъезд как раз близко к театру. Кабаре своим темно- серым, угрожающим видом, милицейским патрулем и угрюмыми охранниками у дверей напоминает штаб-квартиру гестапо. Лестница хотя и обшарпанная, но, по здешним понятиям, чистая — мочой не пахнет. В квартире пять комнат — три большие и две поменьше. Очень высокие потолки. Очень большие окна. Что-то нежилое в пропорциях. Ощущение канцелярии усиливается от желтоватых дубовых косяков и филенок дверей с их непрозрачным, в выпуклом узорчике стеклом. На таких дверях, по детским воспоминаниям, должны быть синие стеклянные таблички с золотыми буквами: ДИРЕКТОР, ГЛ. БУХГАЛТЕР, БЕЗ СТУКА НЕ ВХОДИТЬ. Неожиданно тесная, даже крошечная по масштабам квартиры кухня. (Кто только мне не говорил по этому поводу: "Им еду привозили из кремлевской столовой".) Нынче квартира принадлежит афганскому министру из последнего просоветского правительства. Живет афганец в Лондоне, а квартиру сдает американскому юристу, практикующему в Москве, моему другу Деннису. Частью огромные окна выходят во двор, наполовину занятый темно-серой апсидой Театра эстрады. По наледи, побаиваясь упасть, я ходил через этот двор в "Седьмой континент" прикупить выпивки и закуски и в другую сторону — выносить мусор. Супермаркет, смысл названия которого от меня ускользает, точно такой же, как средней руки супермаркеты во Франции или в Германии, отличается от европейских только несуразно огромным кондитерским отделом — целая стена

гигантских коробок шоколада. Зато фруктово-овощной отдел довольно ничтожный. В остальном продукты и цены примерно такие же, как в нашем "коопе" в Гановере, разве что, дань русским вкусам, есть нормальный, неподслащенный кефир и кое-какой выбор селедки и рыбы горячего копчения. Кефир из Иллинойса, севрюга и осетрина из Нью-Джерси! Вообще российских товаров крайне мало. Даже очень свежий на вид (и на вкус) торт с ягодами оказался привезенным из Италии. Только присев на корточки, в темном углу на нижней полке я нашел коробку любимых с детства пряников. Как на Западе, предлагают пробовать сыр, вино, подходят вежливые женщины с вопросниками для покупателей, суют какие-то купоны. А вот местная особенность — два или три охранника в униформе при входе. Один из этих парней при мне нарушил вежливый европейский декорум.

Наблюдая, как пожилой господин безуспешно возится с дверцей локера (полагается там оставлять сумки и портфели при входе), юный страж, вместо того чтобы ринуться на помощь покупателю, как сделал бы его западный коллега, заорал по-простому: "Дергайте, дергайте сильней! Что у вас силы нет, что ли?" Магазин считается дорогим. В основном, как мне показалось, туда ходят за покупками красивые молодые женщины в длинных шубах. Вынос мусора связан с некоторым этическим напряжением в мусорных контейнерах всегда копаются деловитые молчаливые люди.

2 апреля, четверг

С первого самостоятельного выхода (и до конца московской жизни) чувство настоящего, с выбросом в кровь адреналина, страха при переходе через улицу. От "Седьмого континента" к Каменному мосту переход "зебра", то есть по международным правилам автомобилисты должны останавливаться, пропускать пешеходов. Какой там! Осатанелый поток обгоняющих друг друга машин. Выжидаешь редкий просвет в движении и бросаешься сломя голову. По правде сказать, я почти никогда не решался один, ждал, когда собьется группка смельчаков. Запомнилось небывалое происшествие: я в компании трех мальчишек побежал по "зебре" от Каменного моста к "Седьмому континенту". Справа приближалась машина, "вольво". И вдруг — она затормозила! Подождала, пока мы прошли! "Не иначе как иностранец, впервые в Москве", — говорили мне все, кому я рассказывал о странном случае. Когда несколько дней спустя мне объясняли, как попасть в здание Савеловского межмуниципального суда на Бутырском

Валу, трудность объяснения состояла в том, что перейти без смертельного риска улицу от выхода из метро к этому месту можно только одним, довольно сложным маршрутом. Не в состоянии запомнить относительно безопасный маршрут, я на метро не поехал, меня подвез левак. Вот с этим в Москве сейчас просто. Всякий раз, когда я останавливался на обочине тротуара и поднимал руку, ждать приходилось не более минуты. Цена стандартная и, по сравнению с западными столицами, низкая — за неполные пять долларов (тридцать новых рублей) куда угодно.

Я никогда не водил машину в Европе и сел бы за руль, скажем, в Париже только в случае крайней необходимости, а в Москве бы вообще никогда— бессмысленно, я бы и ста метров не проехал. Я впервые стал водить машину тридцати девяти лет от роду в Америке. Для большинства американцев нарушать правила движения так же неестественно, как, скажем, гулять по улице в исподнем. Они бы не расслышали ничего комичного в знаменитой фразе из "Золотого теленка": "Автомобиль не роскошь, а средство передвижения". Они любят свои машины, но только для впервые получивших права мальчишек автомобиль становится средством самоутверждения, компенсацией подростковых комплексов. По статистике, большинство автомобильных катастроф в США случается, когда за рулем подростки или старички и старушки (в последнем случае дело, конечно, не в комплексах, а в слабеющем зрении, внимании). Такое впечатление, что на дорогах Европы непропорционально много подростков, причем в Германии больше, чем во Франции или Италии. Глядя, как дрожат от нетерпения "ауди" и "мерседесы" перед светофором в Дюссельдорфе, трудно удержаться от фаллических интерпретаций. Сексуальная агрессивность за рулем, мужественность, искусственно амплифицированная лошадиными силами мотора, приводит к автомобильному хаосу в Сеуле и Тель-Авиве, спазматическому движению от пробки к пробке, тогда как при спокойной езде по правилам все добрались бы до места назначения куда скорее. Те же еврейско-корейские конвульсии и на московских улицах. Тем более что большинство москвичей только недавно дорвались до руля. "Моя страна — подросток", — как заметил поэт, в виду статуи которого я простаивал в пробках минут по двадцать, дурея от выхлопных газов, — московские машины ходят на скверном бензине. Разумеется, по Москве ездят не только охренелые от обладания мощью, скоростью, кожей, металлом комплексанты, но они создают смертельно опасный хаос московских улиц, и ты тем более начинаешь ценить мастерство и выдержку водителей, которые умеют относительно быстро и безопасно пилотировать

свои машины в этом хаосе. Так внимательно и решительно возила меня по Москве Ксения, то пропуская безумцев, мчащихся, скорее всего, к гибели, то, наоборот, ловко протискиваясь вперед в щелочки и лазейки на мышастом "саабе". При этом она продолжала инструктировать меня относительно юридических аспектов моего дела. Мы, стремительно лавируя, неслись по Тверскому бульвару. "Даже если считать Наташину сделку с И.Н. действительной, закон не признает фактического вступления во владение до…" — говорила она, а я видел, как в блаженном забвении очень пьяный человечек двинулся наперерез нашей машине к тротуару; траектория его покачивающейся скорости и наша стремительная траектория пересекались в на секунду отдаленном будущем в растекающейся кровавой луже с расплеснутыми по мостовой мозгами; но тормознули мы относительно мягко, в миллиметре от неторопливого пьянчуги; высунувшись по пояс из окна, "Что, яйца тебе оторвать, козел ебатый?" — крикнула Ксения, в то же мгновение снова срываясь с места и продолжая: ".. извините, до фактического вселения на эту жилплощадь, прописки и т. д."

План действий у нас был такой. Мы приходим. Меняем Наташину сиделку на свою и Наташин замок на свой. Вот и все. А уж потом, обезопасив И.Н., будем ждать суда. В осуществимость нашего плана я не верил. Как это мы приходим, если даже, чтобы войти в парадную, нужно, чтобы кто-то нас впустил? Если и войдем в парадную, то впустят ли нас в квартиру? Если и впустят, то что же, мы будем выволакивать оттуда оккупантку силой, что ли? Если она вдруг не окажет сопротивления, то откуда мы возьмем сиделку? Замок? Слесаря? Каждое из препятствий представлялось мне непреодолимым, тем более нагроможденные одно на другое. Примерно через час после того, как мы подъехали к аэропортовскому дому, наш план был осуществлен.

Уже проходя под аркой во двор (что я так часто проделывал в своих снах о возвращении), я почувствовал, как у меня сжалось от волнения горло, и, как всегда бывало в таких ситуациях, включился некий автопилот, я стал действовать, как бы наблюдая за собой со стороны. Впрочем, от меня и не требовалось особой активности, как и от встретившего нас в аэропортовском доме Эмиля, действовала Ксения.

Старушенция так и сидела на табуретке у дверей, где ее оставила моя память двадцать два года назад. Я сказал: "Здравствуйте". Она не ответила, слишком была увлечена разглядыванием меня и моих спутников. Мы втиснулись в междверье и не успели набрать номер в домофоне, как за нами

втиснулся парень в вязаной шапочке. "Черт, неужели опять оставила ключ в машине! — сказала, роясь в сумочке, хитрая Ксения и обернулась к парню: — У вас ваш под рукой?" Парень, не отвечая, открыл дверь своим ключом. Мы все вместе вошли в лифт. (А вот на подстилке под лифтом старушка теперь другая.) "Вам какой?" — спросил я. "Седьмой", — сказал угрюмый парень. Сознание зарегистрировало водевильность ситуации: нас впустил в дом не кто иной, как Наташин сын.

Вышли к папиной двери. Рука моя поднялась и нажала кнопку. И тотчас из-за двери раздался сильный голос И.Н.: "Звонят! Открывай!" Потом чье- то бормотание. Потом опять И.Н.: "Иди открывай! Звонят же!" Опять бормотание. "Открывай! Я кому сказала!" Копошение за дверью и бормотание. "Пожалуйста, откройте, к И.Н. приехал пасынок из Америки", — внушала копошению и бормотанию Ксения. Крики И.Н. становились все громче. По лестнице в затрапезе спускалась Наташа. Лицо у нее шло красными пятнами, чего-то она лепетала. Пятна были от неожиданности, от испуга, а лепетание, как выяснилось, ее обычная манера: она обо всем лепечет с жалобной интонацией. Наташа открыла дверь, мы вошли.

И.Н. сидела в столовой на краю тахты в ночной рубахе, спустив на пол босые варикозные ноги. Волосы, по-мальчишески подстриженные, как на довоенном портрете Лебедева, который висит у нас, стали совсем реденькими, а цветом — сероватые, как и лицо. Она слепо глядела перед собой, продолжая выкрикивать приказания. Я обнял ее, назвался и сел рядом, держа ее за руку. "Милый, зачем же ты приехал? Здесь ведь так ужасно", — сказала И.Н. Она удивилась и обрадовалась моему приезду, но ее удивление и радость, как и другие чувства, не связанные непосредственно с физиологией, как будто бы приходят из отдаления, из-под воды, как во сне.

Потом я вышел на кухню, представил Наташе Ксению, и Ксения юридическим тоном попросила Наташу передать мне ключи от квартиры. "Это моя квартира", — пролепетала Наташа. "Это решит суд, а пока передайте, пожалуйста, ключи", — сказала Ксения. Наташа с неожиданной покорностью отдала ключи и ушла. Появился умелец, осмотрел дверь, попросил сто рублей и уехал покупать новый замок. Через час он вернулся, и почти бесшумно новый замок был врезан. Смущенной сиделке Тоне я сказал, что ей придется переждать недельку, пока мы тут разберемся, не приходить. Она, похоже, была славная женщина — старательная, добрая. Нанял-то ее Эмиль, только вот, когда Наташа захватила квартиру, Тоня сробела и стала служить новой хозяйке. Я узнал о ней больше на следующий день, когда сидел у

И.Н. и мне позвонили. Звонившая назвала не только себя, но еще полдюжины филологических имен возможных общих знакомых, вплоть до Веры Федоровны Ивановой, преподававшей мне русскую грамматику сорок два года тому назад. Установив таким образом нашу принадлежность к одному кругу, она стала просить, чтобы я не выгонял Тоню. "Тоня — золото. Она с Украины, дочь директора сельской школы. В войну немцы убили моих родных, а я, семнадцатилетняя, убежала. Тонины родители два года меня прятали, сами рисковали жизнью, укрывая еврейку. Тоня-то уже после войны родилась. Очень верующая. По образованию инженер, но там, на Украине, работы нет, вот приехала в Москву". Я пообещал вернуть Тоню. Видно было, что Тоня работала не за страх, а за совесть. Я, подготовленный рассказами навещавших И.Н. друзей, ожидал застать в квартире грязь, вонь, на кухне плиту под слоем горелого жира, паутину в углах. Но квартира встретила меня ободранная, нищая и чистая. Чистая, насколько может быть чистым давно запущенное жилье. Потемнелая от старости краска на растресканных стенах и потолках, ржавые трубы, облупленные раковины. Пустовато. Остались, еще из довоенного моего младенчества, папино бюро и овальный стол. Исчезли старые стулья и любимые папой и И.Н. за красоту и мягкий звон английские каминные часы, исчезли старинные фаянсовые тарелки с кухонной стены, сильно поредели книги на полках, и, главное, исчез папин письменный стол, большая благородная вещь красного дерева, который стоял в середине средней комнаты и был средоточием жилья. По словам Эмиля, Наташа волокла из квартиры вещи под конец уже и при нем и даже раз ему дружелюбно предложила: "Да вы берите, чего нужно, не стесняйтесь". Оставалась обветшалая рухлядь — несколько стульев, стол и лежанка в задней комнате, а в бывшей столовой лежанка И.Н.

"Как тебя встретила сегодня Зандка? — спрашивает И.Н. — Небось, все лицо облизала? Это она может!" Боксер Занда умерла в 50-м году, еще до их отъезда из Ленинграда. Теперь она для И.Н. где-то тут, в квартире, так же как и отданная дочери лифтерши кошка Гася. Рационализирующие участки сознания подыскивают животным место, чтобы объяснить их отсутствие здесь, в этой комнате, рядом с И.Н. "На балконе прячутся. И Занда, и Гася, и это, ну, как его, помесь лошади с этим…" — "Кентавром?" — пытается отозваться, как на шутку, Эмиль. "Да, кентавром", — неуверенно соглашается И.Н. Я тороплюсь спросить о старых знакомых. И.Н. соскальзывает на привычный монолог, как в наших телефонных разговорах, как в былые времена, — рассказывает живо, артистично, с ироническими

наблюдениями. "Надо бы отметить твой приезд, ты чего-нибудь выпить не принес? — спрашивает она уж совсем нормально. — А то у меня ничего нет". Это не так. На кухне на подоконнике я заметил бутылку дешевого коньяка и еще початую бутылочку какой-то дряни, какого-то "бальзама" — "крепость 40°". Эмиль говорит, что время от времени она просила

у него выпить, он давал ей воды, говоря, что это водка, она сердилась, но не очень. Не стали ли ее подпаивать после изгнания Эмиля? Стихи она по-прежнему помнит лучше, чем я, цитирует большими кусками. Но в какой-то момент мысль ее снова забредает в затененную область, и она спрашивает: "Леша, а ты можешь связаться с Володей?" Мне уже не хочется придумывать уловки, и я отвечаю: "Могу". — "Передай ему, чтобы он приехал, потому что мне очень плохо". Она явно рада моему присутствию и ласкова со мной, но, если я выхожу из комнаты, она словно бы забывает обо мне.

Вечером возвращался в Серый Дом с мелким, тревожным чувством успеха.

3 апреля, пятница

Короткое слово "jet lag" англо-русский словарь переводит так: "нарушение суточного ритма организма, расстройство биоритмов в связи с перелетом через несколько часовых поясов". Это не все. Еще в скобках и почему-то курсивом добавлено: "(нареактивном самолете)". Джетлаг достал меня на вторую ночь: я почти не спал, а потом провел вялое утро в телефонных звонках. Из дому вышел порядком за полдень. Трусливо перебежал улицу, и, когда пошел по Каменному мосту, захотелось есть. В кармане куртки была шоколадка с мятной начинкой. Я шел, жевал мятный шоколад, поглядывал, где тут урна, чтобы выбросить обертку. Урны на мосту не было. Справа был Кремль, слева невзрачная река, за ней огромный рахит новостроенного собора. Я поймал себя на том, что стараюсь не глядеть в сторону Волхонки, как будто сентиментальные впечатления нужно приберечь для другого, настоящего возвращения. Урну я заприметил на подходе к Знаменке, но она была занята — в ней рылась старушка.

И.Н., когда я пришел, спала. Мы с Эмилем дожидались прихода новой сиделки, Наталии Ивановны, и он рассказывал вполголоса о том, как разбирал по просьбе И.Н. папины рукописи, ее работы. Немолодой московский армянин, мне кажется, что я давно его знаю, потому что он похож сразу на двух моих покойных знакомых — внешне, хмурой серьезностью,

сосредоточенно сведенными на переносице восточными бровями на Яшу Виньковецкого, а повадками — на Юру Михайлова. Целеустремленность, выработанная десятилетиями коллекционерских поисков. Цель и стремление — найти и сберечь все. Он говорит, что коллекционирует литературу о музыке. Но также пластинки. Картины и графику. Стариков с их бесценными воспоминаниями; без него они потонули бы в хламе времени, как матрацы со спрятанными сокровищами на городской свалке. И Юра, как вагановский персонаж, коллекционировал все. И ему была свойственна, как Эмилю, неожиданная скорость походки, проворство движений. Многолетний опыт научил — надо поспевать. О коллекционерах стереотипно думаешь, что их страсть делает их безнравственными — хитрыми, непроницаемо лживыми, нечистыми на руку, равнодушными ко всему, кроме своих собраний. Близкая дружба с Юрой научила меня понимать, что это не всегда так. У него были достаточно строгие моральные правила, которыми он не поступался даже ради вожделенных сокровищ, а кроме того, он бывал и простодушен, и щедр. Его альтруизм иногда даже пугал своим напором. Заботился о ближних он с такой же сосредоточенной самоотдачей, с какой в иные дни гонялся за пополнением коллекции, — забывая о сне и еде, изобретая бесконечно множащиеся варианты действий, проворно поспевая повсюду. Чуждый моей ленивой и рассеянной натуре, но знакомый по Юре ритм существования я уловил уже в телефонных разговорах с Эмилем, когда он все норовил, помимо сообщений об И.Н., дать мне скрупулезный отчет о рукописях, картинах и книгах с автографами. Некоторые он отнес к себе домой, чтобы сделать из них выставку в коллекционерском клубе "Ковчег", посвященную жизни и работе И.Н. Все остальное тщательно рассортировал и теперь, пока И.Н. спала, показывал мне. Я рассматривал папки с машинописями папиных законченных вещей (черновики папа, как и я, выбрасывал), стопочки книжек от знакомых с надписями, гуаши и рисунки И.Н. Эмиль говорил: "Все это, слава богу, продажной ценности не имеет и Наташу не интересует. Книги некоторые исчезли, притом какой-то странный выбор — несколько старых популярных руководств по йоге (их теперь переиздают полным-полно), отдельные тома Анатоля Франса. Как-то И.Н. попросила подать ей Библию. Ей когда-то подарил свою Библию Шкловский, стандартное издание, но интересное пометками Шкловского на полях. Библии нигде не было. И.Н. позвонила Наташе, и Наташа тут же принесла ее. А теперь, я смотрю, опять нет".

Проснулась И.Н. Проснулась она на этот раз в больничной

палате и громко потребовала: "Принесите судно, доктор велел мне сдать мочу на анализ". Эмиль стал ее уговаривать пройти в уборную. Но она была в суровом настроении и твердо намерена выполнить предписание врача. Требования становились все громче. Я был в смятении, и в это время зазвонил домофон — пришла новая сиделка, Наталия Ивановна. Накануне вечером, договариваясь с ней по телефону, я нажимал на мирный нрав и тихое поведение И.Н. Вошла Наталия Ивановна под гневный вопль: "Немедленно дайте хоть банку! Вы что, издеваетесь, сволочи!" Не слушая меня, Наталия Ивановна, на ходу скидывая пальто, метнулась на кухню, мгновенно, в незнакомой квартире, нашла какой-то сосуд, кинулась к И.Н. Через минуту все было тихо. Успокаивающаяся И.Н. жаловалась хорошей санитарке на ее плохих предшественниц. Я сильно зауважал Наталию Ивановну. Я вошел к И.Н. и был принят смущенно: "Видишь, я какая — вонючая". Но я этого не расслышал, я, видите ли, только что пришел, целый день ходил по издательствам. "Мне тоже надо было сходить в комитет драматургов", — сказала И.Н. Мы заговорили о "Телефонной книге" Шварца, и И.Н. выразила несогласие с характеристикой, которую дает ей Шварц в своих записках.

Адвокат Л.Г. живет у Чистых прудов, на Покровке. Четырехэтажный дом в стиле скромного модерна, новенький из ремонта, как и все дома вокруг, был построен в начале века так, чтобы в первом этаже была лавка или контора, а на трех остальных — три большие барские квартиры. Так оно и есть теперь: верхний этаж занимает Л.Г. с мужем и сыном. Она провела нас по квартире, отделка которой закончена, но меблировка еще не вполне. От этого пустынная гостиная, пока украшенная только массивной люстрой и шпалерой на задней стене, выглядит огромной, как Георгиевский зал Кремля. Я никогда в жизни не бывал в городских квартирах таких масштабов. В Георгиевском зале я тоже никогда не был, использую его для сравнения потому, что, как рассказала Л.Г., лепнину на потолке восстанавливали те же мастера, что работали в Георгиевском зале. Лепнина, конечно, пострадала в советские годы, когда эта комната, как и все остальные, была поделена на клетушки большой коммуналки. Потолок так высок, что разглядеть тонкую работу кремлевских мастеров трудновато. Видно только, что гипсовые затеи подкрашены бледными красочками — желтенькой, голубой, розовой, — что вызвало в памяти дворец эмира бухарского. Пока Деннис и Ксения разглядывали другие палаты, я подошел к огромному окну. Новостроек было не видно отсюда, только невысокие здания под

старыми черными вязами, особняки и малоквартирные дома, свежевыкрашенные — розовые, желтые, белые. Розовая церковь с золотым куполком. Рядом кафе, чья неоновая вывеска светится в сизых сгущающихся сумерках все розовее. Смутные фигуры нечастых неторопливых прохожих. В гостиной у окна я поджидаю адвоката. Я приехал в Москву по делу о наследстве. 1913 год, если не думать о том, что этот островок окружен океаном огромных коробок, сформованных из скверного цемента, в которых продолжаются "пошедшие на улучшение" жизни коммунальных жильцов.

Вечер в Чертанове у Виноградовых. По обледенелым тропкам, как зимние муравьи, люди текут от метро и растекаются по гигантским бетонным муравейникам. Все это выглядит не так убого, как наш Тихорецкий или Светлановский в Ленинграде, а скорее как Гило в Иерусалиме или La Defense в Париже, и если мне от вида словно на космос спроецированных кварталов не по себе, так это просто оттого, что я сильно отвык от крупномасштабной роевой жизни.

Леня приезжал ко мне в Америку восемь лет назад, а Лизу я не видел все двадцать два года. Собственно, ее лицо было последним, на что я взглянул утром 11 февраля 76-го года, прежде чем уйти в дверь, за которой начинался таможенный досмотр и откуда выйти обратно было нельзя. Все, кто нас провожал в аэропорту, стояли на какой-то галерейке. Я увидел, снизу вверх, опухшее от слез лицо Лизы и подумал, что примерно то же видит покои- ник из гроба. В тот момент уже включился таинственный анестезирующий механизм, и это наблюдение, как и прочие впечатления прощального утра> я зарегистрировал равнодушно (потом оно всплыло в стихотворении).

И вот мы встретились, заговорили о сердечных снадобьях, о диетах, и все сразу пошло нормально. А Леня краснел, волновался, торопился. Пришел их мальчик, названный, как наш, Митя. Он родился, когда мы уже были в Америке, и вырос, и вот уже кончает Институт физкультуры, профессиональный теннисист, пойдет в аспирантуру. И больше отца зарабатывает как тренер, и с компьютерами в ладах. Высокий, красивый, приветливый, он немного смутил меня совсем уж непривычным обращением: "Дядя Леша".

Не все Ленины минималистские стихи мне одинаково нравятся, но одно из недавних очень, "Трава и ветер". Это — книга. На обложке:

Трава и ветер

На первой странице внизу одна строка:

Трава и ветер.

На второй странице внизу:

Трава и ветер.

На третьей странице:

Трава и ветер.

А на последней странице:

Тургенев и сеттер.

Как ловко сделано! Волна за волной, нам дано прочувствовать фонетическое сходство травы и ветра, пока из-за третьей волны травы и ветра не возникают мягко из сочетания почти тех же звуков сотворенные фигуры писателя и его собаки. В молодости Леня сочинил ставшее расхожей цитатой двустишие: "Мы фанатики, мы фонетики, не боимся мы кибернетики!" В ту пору кибернетика ему непосредственно не угрожала, а теперь, показывая компьютер в каморке сына, он сказал, что сам к компьютеру не притрагивается, и произнес какой-то каламбур, в котором слову "Интернет" противопоставлялось гордое "Нет!". Свой роман о Фаусте Леня переписывает наново на большой старой пишущей машинке. Тот вариант первой части, что он мне прислал несколько лет назад, был написан в немного Дурашливой манере, подтрунивающим стилем, с шутками, нарочито незамысловатыми. В молодости Леня с Уфляндом и Ереминым, а за ними и я, пытались так писать пьесы. Режиссерам провинциальных детских театров, особенно кукольных, нравилось, но для настоящего театра не годилось.

Нельзя рассчитывать на успех, подтрунивая над зрителем, успех в настоящем театре имеют драматурги, которые всерьез поверяют зрителю свои заветные сантименты, как Булгаков или Вампилов, умеют по-настоящему смешить, как Зощенко или Эрдман, Теперь Леня начал переписывать свою прозу именно как прозу, то есть заботясь прежде всего о ритме. Он говорит, что будет еще переписывать, что не собирается расставаться со своим сочинением никогда. Читая обреченный текст, я вспомнил фаустианский эпизод из Лениного прошлого. Они с Ереминым сильно бедствовали, когда вместе с большой компанией

неприкаянных молодых людей из Ленинграда околачивались на высших сценарных курсах (Рейн там был, Битов, кого только там не было, а киношником стал в конце концов только один — покойный Илья Авербах). Однажды, вконец оголодав и прикинув, что у всех знакомых, у кого можно было взять взаймы, уже взято, они решили попробовать занять у незнакомых, у кого-нибудь из больших писателей. По их вычислениям, таким писателем — богатый, но не продажная советская сволочь, настоящий художник, при этом склонный к психологизму, то есть способный оценить их душевные муки, — таким писателем был Леонид Максимович Леонов. К Леонову они явились, и, по тогдашнему рассказу Лени, маститый классик поразил его своей живостью, острым по отношению к ним любопытством. Энергично и въедливо он расспросил Мишу и Леню, почему именно к нему решили они прийти за вспомоществованием. Сами ли решили или кто надоумил? И как они живут? И чем занимаются на своих курсах? И что на самом деле пишут? И сказал, что денег не даст. И, уже выпроваживая, добавил: "Вот если бы вы мне отдали свою молодость, я бы дал, я бы вам много за это дал, а?" "И, — ужасаясь, рассказывал мне Леня, — он мне так в глаза заглянул, что точно было видно — он думает: а вдруг?!"

4 апреля, суббота

Папа умер почти двадцать лет назад, и, хотя диабет в течение нескольких лет разрушал его тело и он знал, что болезнь неостановима, и готовил И.Н. к жизни без себя, его смерть, 9 октября 1978 года, так ее ошеломила, что она слегка помешалась — в обычном равнодушии и хамстве, с которыми она столкнулась, когда он умирал в советской больнице, усмотрела заговор. "Как убивали Володю", она много раз рассказывала мне по телефону и всем моим посланцам. Всерьез собиралась наложить на себя руки. Спасла ее тогда Сарра Бабенышева, опытный литератор-редактор. Уговорила не уходить из жизни, не изложив на бумаге свою историю. И рассказать все, с самого начала. Так И.Н. написала свои мемуары. Вскоре Бабенышева уехала в Америку, привезла с собой рукопись И.Н. и отдала в издательство Чалидзе. Рассказывала мне И.Н., как ей удалось похоронить отца в Переделкине, на хорошем месте, возле могилы Пастернака, над обрывом. Никаких необходимых справок, разрешений, ходатайств она на переговоры с директоршей кладбища не привезла, и та ей объясняла, что похоронить московского писателя на переделкинском кладбище без предписаний какого-то уж вовсе недосягаемого начальства ни в

коем случае нельзя. Объясняла, не отрывая при этом глаз от новой, дорогой, долгополой дубленки И.Н. И.Н. молча скинула шубу и протянула кладбищенской директрисе. Отца похоронили там, где он хотел. Когда советская власть кончилась, первым из близких людей ко мне в Америку приехал Юра Михайлов и привез мне ивовую ветку с отцовской могилы.

Я никогда не понимал пушкинского утверждения, что самостоянье человека основано на любви к родному пепелищу и отеческим гробам, хотя ничего не ценю выше, чем самостоянье ("одиночество и свобода"). Люблю ли я родное пепелище и родные могилы? Меня смущает здесь глагол "люблю". Во всяком случае, ничто не возвращалось в мои сны так тоскливо и настойчиво, как залы сгоревшего в Ленинграде писательского дома и русские кладбища. В нищенском китче русских кладбищ, с их бетонными бадейками надгробий и ржавеющими оградками, есть настоящий ужас смерти, бобок. Здесь, в Новой Англии, овеществляя метафору смерти-сна, тонкие, шершавые и замшелые от времени мраморные плиты торчат из травы вертикально, словно бы спинки ушедших под землю узких кроватей.

Гандлевский вызвался съездить со мной в Переделкино. Он зашел около полудня и принес увесистый, как чугунная болванка, том "Самиздат века". Мне причитался экземпляр, поскольку, оказывается, там пара страничек — мои.

В последний (и первый) раз я ездил с Киевского вокзала в Переделкино 31 января 1956 года — наше с Виноградовым и Ереминым паломничество к Пастернаку. Я бывал Переделкине раза два потом, навещая отца в Доме творчества. Но ездил тогда на машинах. Последний раз был в 75-м году, с ночевкой, с длинным разговором, в результате которого отец благословил меня на отъезд. Возвращаясь, голоснул и был подобран такси, в котором в Москву ехала древняя Мариэтта Шагинян с дочерью Мирелью. Они сидели на заднем сиденье, я сел с шофером. Старухе сразу же не понравилась моя внешность, и она бурчала сзади: "Не понимаю, зачем теперь портят свои молодые лица этой растительностью" и т. п., пока дочь не прервала ее: "А твой Ленин?" Шагинян замолчала километра на полтора, но, видимо, мысль старухи продолжала блуждать вокруг смутно ее беспокоившей темы, пока она не вспомнила и не сказала дочери громким шепотом: "Ты же меня утром так и не побрила!" Годы спустя я, стоя меж библиотечных полок, перелистывал ее роман "Первая всероссийская", думал найти сведения о сомнительном дедушке Ленина. Кое-какие забавные истории из жизни доктора Бланка там действительно нашлись, но подивился я другому: Мариэтта Шагинян ухитрилась в своем агиографическом

сочинении изобразить не только рождение, младенчество и школьные годы Ильича, но и его зачатие! Там в начале есть главка, в которой описывается, как Илья Николаевич и Мария Александровна Ульяновы принимают гостя, чувашского просветителя. Сначала все идет нормально, ведутся беседы о просвещении, но потом хозяева начинают переглядываться: что-то гость засиделся. Наконец чуваш уходит, и, пишет Шагинян, какая-то сила бросила молодых супругов друг к другу. Конец главы. Следующая глава начинается: "В колыбельке гукал трехмесячный Володя…" — или что-то в этом роде, не идти же проверять в библиотеку.

По электричке от Москвы до Переделкина непрерывно шли коробейники. Молодой мужчина торговал двухтомным романом. Встав в начале вагона, он декламировал зазывной текст, составитель которого старался использовать любую возможность сказать два или три слова вместо одного. Вместо "Предлагаю вашему вниманию двухтомный роман…" — "Предлагаю вам и вашему вниманию книгу первую и книгу вторую двухтомного романа…". Но книгоноше и этого было мало. Чтобы еще растянуть свое сообщение, он вставлял между согласными полугласный звук вроде древнерусского ера: ".. вьниманию кънигу перъвыю и кънигу въторую… повесътъвует об инътимъной жизъни царицы Египъта Кълеопатъры с целым рядом мужъчин…" Другие продавали фломастеры, жевательную резинку, краску для пасхальных яиц, газету "СПИД-Инфо". Газета под таким здравоохранительным названием, объяснил мне Гандлевский, на самом деле только и старается, чтобы ее читатели подцепили гнусную болезнь, ибо вся заполнена возбуждающими текстами и рекламой блядских услуг.

Я уговорился с Наташей Ивановой, что она встретит нас на перроне и проводит на кладбище. Она видела могилу моего отца — ее отец похоронен неподалеку. Но Наташи не было (только назавтра я вспомнил, что она велела выходить не в Переделкине, а на следующей станции). Мы пошли на кладбище. Как только кончилась ограда патриаршей резиденции, кончилась и сносная дорога. Дальше нужно было чапать по глубокой рыжей грязи или пробираться по обледенелой кромке. Пошли по кромке, и я сразу же поскользнулся и шлепнулся в размокшую глину. Кое-как оттер штаны, куртку. Пришли к задним воротам кладбища. Почти рядом с ними туристский объект — могила Пастернака, три американские девицы шли к ней с другой стороны, звонко переговариваясь. У задних ворот устроена небольшая свалка, а также тут начинается другое, отдельное кладбище — для старых большевиков. На одинаковых столбиках не по две, а по три даты.

Третья дата (посредине) — год вступления в партию. Иные, наверное, переехали сюда из Серого Дома. Узкие проходы между огражденными могилами представляли собой облизанные оттепелью ледяные бугры.

Гандлевский в туристских ботинках на рифленых подошвах кое-как продвигаться мог, а в моих ходить было невозможно, хотя я и хвастался, что они, как сапоги наполеоновского солдата, прошли и по пескам Палестины, и по московским снегам. Я приспособился карабкаться, цепляясь за прутья оград. Так мы обошли окрестность пастернаковской могилы. Папиной не было. Тогда мы решили прочесать всю эту часть кладбища, разделив ее между собой на два участка: мой — от забора до средней тропы, а Сергея — от средней тропы до обрыва. Ползал я, стараясь не пропустить ни одного надгробия. Большинство могил выглядели заброшенными, да оно и понятно, зимой и весной сюда не походишь, но на некоторых были следы недавнего посещения — аккуратно разложенные куцые цветы. Стебли оторваны, чтобы сделать цветы непригодными для мародеров, для перепродажи. Изредка попадались полузнакомые фамилии, перекочевавшие сюда подписи из давних номеров "Литературки". Больше часа ушло у нас на прочесывание задней половины переделкинского кладбища, а могилы моего отца мы не нашли. Тогда побрели мы к главным воротам, исследуя на всякий случай могилы и в той стороне. В сторожке никого не было. Но неподалеку стоял тощий, нездорового вида парень и держал за веревочку салазки, груженные песком. Возле него топталась тетка. "А вы кого ищете?" — спросила она. Я сказал, что отца. "А вы давно у него на могилке-то были?" Я сказал, что его похоронили двадцать лет назад. "И-и, что ж вы хотите! Двадцать лет на могилку к отцу не приходили. Ой-ёй. Ее уж, небось, и нет давно". Я сказал, что должна быть, прошлым еще летом люди видели. Спросил, нет ли плана или списка. "Это — сельское кладбище", — вдруг грустно сказал парень от салазок с песком. "А вы помогите, видите, не сдвинуть ему", — приказала тетка Гандлевскому. Гандлевский потянул салазки за бечевку на кладбище, парень, как мог, ему помогал. "А фамилия как?" — спросила тетка, как бы что-то припоминая, и тут мне показалось, что она выпивши. Я сказал: "Лифшиц". — "Лифчик? Черный такой камушек? Возле Пастернака?" Она повторяла в своих вопросах то, что я ей успел сообщить, но шевельнулась во мне надежда. Но тут она сказала: "К нему еще сына подхоронили прошлое лето?" И все же мы опять поплелись, куда она указала, в ту сторону, где мы уже все излазили.

Тощий парень стоял с салазками там, докуда довез их

Гандлевский. Немного песочку на лед вокруг себя он побросал. Когда мы проходили мимо, он повторил свою элегическую фразу: "Это ведь — сельское кладбище". Обойдя еще раз уже ставшие знакомыми могилы, пошли мы обратно на станцию. Возле патриаршего забора сидели на ящиках и беседовали две пожилые дамы. Когда мы поравнялись с ними, одна сказала: "Будьте добры, подайте, пожалуйста". Поблагодарив за подаяние, они продолжили беседу. Еще одна нищенка на нас не обратила внимания. Она разговаривала с мальчиком в шинели: "Сколько ж тебе еще служить-то?" — "Год". "Русская картина, — объяснил Гандлевский мне, как иностранцу, — "старуха и солдат"". Я сел у окна, электричка набрала скорость. Мы разговаривали, я поглядывал в окно. Вдруг, я не успел испугаться, окно превратилось в стеклянную мякоть с круглой дырой посредине. Сидевшие через проход мужики загомонили: "Ну, повезло вам… В трех сантиметрах… А вы так это спокойно". А я просто не успел понять, что произошло: окно, возле которого я сидел, было пробито камнем, запущенным то ли из рогатки, то ли меткой рукой. Один из пассажиров еще немного прошел с нами по перрону, когда мы вылезли на Киевском вокзале, продолжая радоваться за меня: "Ну, вам сегодня надо бутылку поставить… Ну, у вас сегодня счастливый день…"

С вокзала зашли к Гандлевскому. Белый боксер-лоботряс пришел в восторг от нашего появления, повосторгался, повосторгался и опять отправился валяться на кровати, как гоголевский слуга. Как давно этого не было в моей жизни — зайти к знакомому днем, когда дети в школе, жена на работе. Гандлевский меня покормил, и выпил я три рюмки водки. Во дворе у них небольшая мечеть, подарок царя верноподданным татарам за участие в Отечественной войне. Однажды, рассказал Сергей, воевать во дворе у мечети принялись представители йеменской диаспоры в Москве. Южные и северные йемениты шли стенка на стенку с ножами и топорами, пока не прикатил ОМОН. Когда переулками и проходными дворами идешь к Гандлевскому, вспоминаешь татарскую этимологию этих небрежных московских названий — Якиманка, Ордынка. Мы сделали небольшую петлю, он показал мне дом, где жили на Ордынке Ардовы. Я там никогда прежде не был. Оказывается, вылезая из такси у ардовского подъезда, Ахматова, взглянув налево, видела Кремль. Орда и Кремль. "В Кремле не нужно жить, преображенец прав; там древней ярости еще кишат микробы…" Эта часть Замоскворечья тоже, как и вчерашние кварталы у Чистых прудов, мало обезображена советскими постройками, а старое все почищено, подновлено. Здесь притом живее: магазины, кафе, контора

частного нотариуса под золотым двуглавым орлом, "Немецкая булочная". Я уж совсем умилился, представил себе хлебника-немца в колпаке у васисдаса, но Гандлевский сказал, что хлебом в "Немецкой булочной" торгуют только австралийским. Немец под колпаком превратился в кенгуру и растаял.

Гандлевский непринужденно приветлив, естественно вежлив. Эти якобы петербургские качества редко в ком на моей памяти так отчетливо проявились, как в нем, природном москвиче. Мы по опыту (да еще и какому обширному!) знаем, что талантливость и воспитанность — редкое сочетание, вот и хочется найти общий знаменатель, единое свойство его благородной лирики и достойной манеры поведения. Кое-чем он мне напоминает Довлатова. Надо ли спросить дорогу у прохожего или выяснить у девушки на почте условия отправки бандеролей в Америку, он спрашивает отчетливо, вежливо, слушает внимательно, уточняет почти педантично. И не остается неясности относительно того, где повернуть или как долго будет идти бандероль. К тому же еще и зовут его Сергей, и жена у него Лена, и к запою он был склонен, но, в отличие от Довлатова, от этого недуга, слава богу, избавился. На стене у него висит, среди прочего, старая фотография священника в очках, деда по матери. Я знаю по крайней мере еще один случай, когда поповна, выйдя за еврея, произвела на свет высокоодаренного и очень хорошего человека — В. Марамзина. Благодаря этим несущественным чертам сходства с моими старыми приятелями мне кажется, что я знаком с Гандлевским давно, хотя на самом деле до приезда в Москву видел его только раз — он заезжал ко мне на один день в Дартмут в прошлом году.

5 апреля воскресенье

Днем навещал Бориса. Он живет в "Царском Селе", той части Новых Черемушек, где строили дома для номенклатурной знати. Лет двадцать тому назад, огорченный очередным неправедным советским судилищем, я сочинил плакатное стихотворение:

Длиннорукая самка, московский примат.
По бокам заседают Диамат и Истмат.
Суд закрыт и заплечен.

В гальванической ванне кремлевский кадавр
поедает на завтрак дефицитный кавьяр,
растворимую печень.

В исторический данный текущий момент
весь на пломбы охране истрачен цемент.
Прикупить нету денег.

Оттого и застыл этот башенный кран.
Недостройка. Плакат: "Пролетарий всех стран,
не вставай с четвереньек!"

Строительство дома из зубоврачебного цемента — это реминисценция из рассказов Боба. С той поры, когда нас вместе терзали за чтение на картошке Ницше, после его скандальных приключений из-за несчастной любви и после моего отъезда на Сахалин наши социальные, так сказать, дороги стали расходиться. Когда я вернулся с Сахалина и больше года никуда не мог устроиться, Боб служил в официозной "Ленинградской правде", в скучном отделе промышленности. Он иногда подбрасывал мне задания для мелкого заработка. Помню эту работу обобщенно — обходил боком станки, задавал усталым людям бессмысленные вопросы, смущался и хотел, чтобы поскорее кончилось. Потом мне на тринадцать лет досталась смешная и уютная синекура — заведовать спортом и юмором в детском журнале "Костер", а Боб служил уже в Москве в ТАССе и дослужился до заведования протокольным отделом. Наверное, подрастают люди, которым не понять, что было общего между нашими службами. В грандиозной системе советского печатного ведомства я занимал место в одном из наипериферийнейших отростков, а он в самом центре системы, но и мне, и ему положение позволяло не пачкать руки пропагандой. По крайней мере, активно не участвовать в растлении населения. Я готовил к печати советы юным спортсменам, ребусы и анекдоты из жизни великих людей, он — тексты формульные, как сводки погоды: "Вчера в Москву с официальным визитом прибыл… На аэродроме высокого гостя встречали…" В этом было скрытое, но взаимно понимаемое сходство наших положений. Различия же были очевидны. Как детский литератор, я мог строчить и порой публиковать что-то забавное — то стишки, то пьески. Он, от природы одаренный зощенковским ощущением абсурда бытия, мог реализовать свой дар только в устных рассказах. Многолетняя близость к советским правителям в избытке снабжала его сюжетами.

"Брежнев летит за границу. У самолета по протоколу выставлены провожающие: сначала политбюро, потом министры, потом журналисты. Он с трудом двигается вдоль шеренги, с одними целуется, другим пожимает руку, и видно, что

постепенно все меньше соображает, что происходит. Доходит до журналистов и неожиданно останавливается напротив меня и мягко берет меня за ухо, забирает в свою ладонь мое левое ухо. Небольно, мягко. И стоит. И его холуи стоят, не знают, чего делать. Это продолжается долго, чуть ли не минуту. Потом он отпускает мое ухо, поворачивается и уходит, его ведут по трапу, самолет улетает. И тогда меня окружает толпа коллег, министров, референтов. Хлопают по плечу, улыбаются, всячески выражают дружеские ко мне чувства. Меня Леонид Ильич отметил!"

"Прилетел в Москву африканский президент Х. Я поручил молодому сотруднику готовить информацию о визите. По правилам полагается всюду сопровождать, а парень схалтурил, пошел вечером к бабе, а в информации списал из мидовского расписания, что, де, вечером президент и сопровождающие лица присутствовали в Большом театре на балете "Лебединое озеро". А на самом-то деле африканец отказался идти в Большой театр, сказал, что он уже в прошлый раз там был, что он лучше сходит в цирк, а утром, сволочь этакая, первым делом смотрит в "Правде", что про него написано.

А там написано, что он был на "Лебедином озере". Он полез в бутылку: мол, его за человека не считают и т. д. И в тот же день нажаловался Брежневу. Брежнев говорит: "Разобраться и наказать". Ну, молодого дурака жалко, я взял на себя, мне объявили строгий выговор по партийной линии с занесением в личное дело. Полагается прийти в райком расписаться в получении выговора. Прихожу к первому секретарю в кабинет, расписываюсь, потом спрашиваю: "А как его снять можно, выговор этот?" А секретарь мне говорит: "А я бы на твоем месте, Борис, не рвался бы этот выговор снимать". — "Как так?" — "А ты рассуди. Пойдешь ты на повышение, на другую работу или еще что, первым делом кадровики будут рассматривать твое личное дело. И в нем прочтут: "строгий выговор по личному указанию генерального секретаря ЦК КПСС". И что они подумают? Они подумают: мужику генсек лично дает выговор, но оставляет на должности. Значит, близкий генсеку мужик. Да такой выговор дороже десяти благодарностей!"

"Приехали в Болгарию. Загородная резиденция Тодора Живкова. Брежнев с Живковым уединились, мне делать абсолютно нечего. Тут какие-то болгары зазывают выпить с ними маленько. Пьем коньяк. Жарко. Одуряющий запах роз. В общем, дальше ничего не помню до того момента, когда просыпаюсь, как Степа Лиходеев, в прохладной постели, входит официант, вносит завтрак, томатный сок, графинчик для опохмелки. Что

произошло" узнал по рассказу брежневских охранников. Брежнев пошел гулять по саду и наткнулся на меня, лежащего поперек дорожки. Остановился. Говорит, а говорил он уже с большим трудом: "Это же надо, это же надо как напился…" А тут все его шестерки: "Леонид Ильич, да мы его, гада, сейчас… Да мы его с первым же самолетом в Москву… Да он больше за рубеж никогда". Брежнев досадливо отмахивается, ему не дали закончить мысль: "Это же надо как напился. И нихто, — заканчивает он почти со слезой, — нихто ему не помох!""

Боб рассказывал, какого исключительного качества у них дом в "Царском Селе". Поскольку много квартир там было отведено сотрудникам Министерства внешней торговли, они расстарались, закупили в Америке партию самого дорогого, тончайшего цемента, который идет на зубные пломбы, а перекинули его на завод, где делались панели для их дома. "Ничего повесить на стенку нельзя, даже алмазное сверло не берет!" — гордился Боб. В стихотворении цементная ситуация вывернулась наизнанку. В жизни тоже. Как мучился практикант в зубоврачебной школе Мичиганского университета, пытаясь выковырять мои российские цементные пломбы, чтобы залечить недолеченные под ними зубы и запломбировать потом пластиком! В конце концов он позвал профессора. "Помню, помню, — умилился старик, глядя мне в рот, — я такие видел, когда работал в Аргентине в 30-е годы".

С годами элитарный цемент, видимо, утратил твердость, потому что на стенах гостиной у Бориса и Люси висят ковры и картины, в комнате Боба — коллекция фотографий. Боб и Ельцин. Боб и Жириновский. Боб и Зюганов. Боб — элегантный, подтянутый. Они — известно какие.

Он с юности был элегантен. Носил красивую, хорошо пригнанную одежду. Всегда был аккуратно подстрижен. Любил все английское и среди нас слыл образцом энглизированности. (Все англичане, с которыми я познакомился во втором акте своей жизни, ходили встрепанные, часто с продранными локтями и в разных носках.) Боб двигался, точно боксер на ринге, точно пританцовывая. Он и в самом деле боксировал и легко танцевал. И был музыкален, мог приятно напеть песенку Синатры или Дорис Дей. Брежнева или Дэн Сяопина он изображает очень смешно, похоже и тактично, без эстрадного пережима. Когда в молодости имитировал Луи Армстронга, надувал щеки, выкачивал глаза, то становился похож на великого негра, хотя черты у него отчасти монгольские: был один предок — бурят. Я помню его остроумные сюрреалистические литературные опыты студенческих лет, и мне всегда хотелось, чтоб он писал. Но всю жизнь у него не было на это времени. Та область советской

журналистики, которая обеспечила ему относительно чистые руки и редкостный наблюдательный пост, по существу исключала писание — надо было составлять условные тексты из готовых клише. Впервые его настоящий репортаж я прочитал в 91-м году, перепечатанный в парижской "Русской мысли". Он писал о том, как в последний раз спускался красный флаг над Кремлевским Дворцом. Это был элегантный текст, без сентиментальных или сатирических пережимов, написанный в четком, как бы пританцовывающем ритме.

Теперь он вице-президент крупнейшего информационного агентства, летает по всему миру, изо дня в день общается с людьми с портретов. Меня тронуло, что квартира их скромна, без нуворишских претензий, а комната Боба выглядит почти так же, как когда мы были студентами. Даже радиола "Эстония" в деревянном ящике осталась.

Так же, как у Лени с Лизой, сын у них успел появиться, вырасти, стать финансистом, пока мы не видались. Показывая фотографию сына с хорошенькой женой, Боб несколько раз повторил: "Он добрый парень". Я рассказывал им о злоключениях И.Н. Люся, видимо, чуя смятенное мое состояние, приносила мне книги с изображением звезд и магов на обложках. Она верит в спиритуальное и хотела мне помочь. Они оба добрые люди. Это и сейчас сразу было видно по тому, как расстроил их мой рассказ. И.Н. они знают; когда-то по моей просьбе заходили к ней, а потом, по собственному уже почину, опекали ее, устраивали к врачам и проч., пока И.Н. в приступе дурного настроения их не прогнала. Сейчас они сразу стали думать, как бы можно было мне помочь. "Вообще-то, — сказал Боб, — то, что устроила Наташа, очень похоже на русскую сказку. Помнишь,"была у зайчика избушка лубяная, а у лисички говняная". Но нет, это ей с рук не сойдет. Тут у нас много безобразий происходит, но это уж слишком".

В самолете я от скуки занялся арифметикой. Стало быть, я не был в России двадцать два года, один месяц и три недели. Сколько же это будет дней? Получилось, с учетом шести високосных лет, восемь тысяч восемьдесят четыре дня. Вот ежели бы я следовал принципу "ни дня без строчки"! Если средняя длина стихотворения — двадцать строк, то написал бы я за это время четыреста стихотворений. И, так подумав, я тут же вспомнил, что ведь я и написал-таки триста с лишним. Отбирая стихи для "Избранного" в издательстве "Аграф", я составил, насколько мог полный, список опубликованных текстов и, к своему удивлению, насчитал больше трехсот. Еще больше удивился тому, что средняя длина — около двадцати четырех строк. Мне казалось, что у меня

стишки в основном куцые. Все равно "дней без строчки" остается навалом (если не считать литературно-критической писанины). Да и вообще здесь применимо известное высказывание Марка Твена: "Есть ложь, есть наглая ложь, и, наконец, есть статистика". Не только дни, а недели, месяцы проходят sine linea — ив эти периоды думаешь, что уже больше ничего не напишешь, и наплевать.

О том, что мне придется поехать в Москву, я успел сказать только сослуживцам и двум-трем знакомым. Но даже в таком узком (и бедном) кругу, как любители поэзии, новости нынче распространяются с электронной быстротой, и за пару дней до отъезда прислал мне "емельку" (e-mail) Дмитрий Кузьмин с предложением устроить в Москве выступление. Ничего определенного ответить молодому энтузиасту я не мог: во-первых, не знал, как пойдут мои дела в Москве, во-вторых, из-за того, что опасаюсь публичных чтений. Наверное, отшибло охоту еще в молодости, когда читались стихи по кругу и я каждый раз убеждался в том, что у многих стихи ярче, оригинальнее, чем мои. И я перешел из читателей в слушатели, а там и вовсе заглохли попытки лирики. Вернулось это дело ко мне, сильно меня удивив, лет через пятнадцать, в трудный период, и несколько лет оставалось тайным утешительным занятием: инстинктивно я боялся, что обнародование отнимет у моих опусов их терапевтическую силу. В 78-м году Марамзин в Париже начал издавать свой домашний журнальчик "Эхо". Я к "Эху" испытывал почти родственные чувства, и там мне захотелось, впервые, напечатать свои стихи. Опубликовал их Марамзин с сюрпризом для меня — сопроводительной заметкой Иосифа. Иосиф удивлялся, что вот, мол, столько лет рядом, а он и не подозревал, сравнивал меня с Вяземским и проч. По мнительности, мне мерещилось в его удивлении что-то от лицейской эпиграммы: "Ха-ха-ха, хи-хи-хи, Дельвиг пишет стихи!" — но было в заметке одно место, которое придало мне уверенности: "На кого он похож?" — обычный вопрос читателя по поводу неизвестного поэта. "Ни на кого, хотелось бы мне ответить", — писал Иосиф. С тех пор я все печатал — в "Эхе", в "Континенте", в "Новом американце", стал "широко известен в узких кругах", а в июне 82-го года на сахаровской конференции в Милане впервые участвовал в публичном чтении. Я волновался, произносил неумные самоуничижительные ремарки перед очередным стихотворением, чувствовал себя идиотом, но стихи, тем не менее, имели успех. Собственно говоря, это был единственный раз в моей жизни, когда я испытал, что называется,

"бурный успех", о каком мечтают актеры: овация, кто-то, размахивая руками, вскочил на стул, прямо перед собой я видел прослезившегося Володю Максимова. Аплодировал даже мой тогдашний враг по газетным перепалкам Наврозов. Входя во вкус успеха, я стоял в поздравляющей, обнимающей толпе в холле. Генерал Григоренко крутил головой: "Ловко у вас получается!" Войнович говорил что-то одобрительное. От души радовалась Наташа Горбаневская. И, с удовольствием, я увидел, что вот и Коржавин, набычившись, пробивает путь сквозь толпу ко мне. Эма пробился и сказал своим громким сиплым голосом: "Ну, ты-то сам понимаешь, что все, что ты читал, с поэзией и рядом не лежало". И добавил, искренне желая помочь мне советом: "Я думаю, ты бы мог со временем научиться писать прозу".

С тех пор я выступал еще, если я правильно припоминаю, девять или десять раз. Это за шестнадцать лет. Каждый раз все было мило, но с ощущением необязательности мероприятия. Один раз даже поймал себя на том, что вот стою перед заполненным амфитеатром, читаю по книжке, слышу свой голос, а думаю уже о чем-то совсем другом. Только в прошлом году, выступая в русском клубе в Иерусалиме, я почувствовал что-то, напомнившее миланский контакт с аудиторией. Я увлекся, забыл посмотреть на часы и перебрал минут на пятнадцать. Очень было неловко перед читавшими вслед за мной Кривулиным и Леной Шварц. Кривулин, правда, читал с такой скоростью, что и в урезанное время прочел вдвое больше, чем я. А вот Лене с ее редкостными, изысканными стихами времени осталось маловато, и я до сих пор казнюсь.

Выступать в Москве мне не хотелось, но не хотелось и кокетничать, так что, когда выяснилось, что воскресенье будет свободно, я согласился. И оказалось, что правильно сделал. Может быть, оттого, что пришли люди извещенные по знакомству, по телефону, собралась на диво гомогенная компания. Старые друзья — Рейн, Виноградов, которых я ожидал, но и, неожиданно, братья Штейнберги, Нина Королева, Алик Батчан, и еще больше милых людей, с которыми я познакомился за последние годы, — Алешу Алешковского, Гандлевских, Ирину Прохорову, Мишу Айзенберга, Чхартишвили видел я в зале. Батчан потом сказал мне, что всего в этом неуютном помещении, бывшей трапезной Петровского монастыря, собралось человек двести, хотя мне казалось, что не так много. На стулья никто не вскакивал, и никто не плакал, но и советы переключаться на прозу не раздавались. Напротив, странным и новым для меня переживанием было то, что незнакомые молодые люди знают и даже помнят наизусть мои стихи. Потом большой компанией поехали к Айзенбергу. Там

я еще со многими перезнакомился, в том числе и с помянувшим Дубровского Рубинштейном. Немножко все-таки я чувствовал себя Хлестаковым во третьем акте: "Завтрак у вас, господа, был хорош. Лабардан!"

Батчан подвез меня к Серому Дому. За полночь в пустом подъезде жутковато. (Через две недели Деннис напишет мне в Нью-Гемпшир: "Прошлой ночью в нашем подъезде убили человека".) Деннис, конечно же, еще работал, раньше часу ночи он не заканчивает. Мы пошли на кухню и до трех часов пили "Bushmills" и разговаривали. Слово за слово, меня понесло, я стал рассказывать ему про отца, и то, что было бы трудно выговорить по-русски, мне легко было сказать по-английски. Я рассказывал, как приезжал в Москву в предпоследний раз, осенью 75-го года. Кроме прочих измывательств, требовалось, чтобы отец дал для ОВИРа заверенную в домоуправлении справку о том, что он "материальных претензий ко мне не имеет". Текст я приготовил по самиздатской инструкции для уезжающих: "Я осуждаю решение моего сына (имя, отчество, фамилию проставить полностью) уехать на постоянное жительство в Государство Израиль, но материальных претензий к нему не имею". Папа хмуро прочитал бумажку и пошел в домоуправление. Я всей шкурой чувствовал, чего это ему стоило. И в обычном-то доме с такой бумажкой идти как на аутодафе, а уж в этом гудящем от сплетен муравейнике… Он вернулся как-то слишком скоро. Бумажку мою разорвал. Сел за свой стол, тот самый, на месте которого я теперь застал пустоту, и напечатал: "Материальных претензий к моему уезжающему на постоянное жительство в Государство Израиль сыну не имею". И пошел ставить печать.

И как мы приезжали в последний раз, зимой 76-го года, прощаться. Как лифт пошел вниз, и я в последний раз увидел уходящее вверх отчаянное лицо отца.

Тут я заметил, что у Денниса заблестели глаза, как тогда у Максимов это уж не от моих поэтических дарований, мы ведь и выпили много.

6 апреля понедельник

Однажды, еще в Энн-Арборе, Иосиф сказал мне, что ему жаль первых лет эмиграции, полного одиночества. "Нет, нет, я не тебя имею в виду", — вежливо он оговорился, и я думаю, что он и вправду имел в виду не то, что я и другие вслед за мной оказавшиеся в Америке друзья ему досаждали, а просто жаль неразбавленной, чистой экзистенции одиночества. Когда в середине марта выяснилось, что надо мне ехать в Москву, я сказал себе: "Надо так надо". Старался быть деловитым и т. п. Но ощущение было такое, что однажды меня заставили произвести обмен, отдать прошлое, уют привычного бытия и взять взамен

одиночество и свободу, а теперь и это отбирают. Над душой совершалось насилие, тоску и отвращение днем удавалось подавить делами, но к вечеру, но ночью худо было дело. Мне как раз попался на глаза журнал с тестом на депрессию. Стараясь честно, без преувеличений и преуменьшений, отвечать на вопросы, я насчитал себе пятьдесят три очка. Заглянул в результаты: "Больше 51 очка: у вас тяжелый психоз, вам следует срочно обратиться к врачу". К врачу не к врачу, а в прошлом в такие моменты помогало выбрать правильную книгу для перечитывания. Я стал внимательно перебирать в уме и подумал: Пруст. Никогда не был я в состоянии одолеть самокопательную эпопею до ее отсутствующего конца, но тут мне припомнился первый том и поманил своим успокоительным теплым маревом. Отталкивало то, что у меня был дома только грубоватый перевод Любимова, а не Франковского, который я читал когда- то и о котором Иосиф и все остальные вспоминали с такой нежностью. Ах, нет, был у меня и перевод Франковского, как раз только "В сторону Свана". Я купил пару лет назад первый том нового издания и забыл. Я стал читать на ночь, сначала восхищаясь, потом заставляя себя восхищаться, потом — все больше отдавая себе отчет в нарастающем раздражении. Раздражал доходящий до полной невнятицы буквализм перевода: "…бабушка находила в колокольне Сент-Илер то отсутствие вульгарности, претенциозности и мелкости, которое побуждало ее любить и верить в огромную благодетельность их влияния — и природу, когда рука человеческая не умаляла ее, как делал это садовник моей двоюродной бабушки, — и произведения великих художников". Извольте разбираться!

Не без труда соображаешь, что "огромная благодетельность их влияния" относится не к "вульгарности, претенциозности и мелкости", а к природе и великим художникам. Кое-что там забавно (дочь садовника вбегает во двор "как угорелая, опрокидывая на пути кадку с апельсинным деревом, обрезывая палец, выбивая зуб, с криком: "Идут! Идут!""). Точно запечатлены иные свободные ассоциации ("мне показалось скорее, что я нахожусь в присутствии "идеального куска" прозы Бергота" — не отсюда ли пастернаковское: "Книга должна быть кубическим куском дымящейся совести"? Впрочем, о "кубическом куске реальности" пишет где-то и Уильям Джеймс, которого они все тогда читали). Или, на самой первой странице, о том, что во сне предметами могут стать и квартет, и соперничество

Франциска I и Карла V. Но все больше раздражало меня то, что я должен десятками страниц сопереживать дурацким неврастеническим переживаниям забалованного инфантильного

подростка. Ровным счетом никакого интереса не вызывал мелкий сноб Сван, подаваемый как сложная личность. А уж изображение салона Вердюренов вообще ни в какие ворота не лезет, даже странно, что такая грубая карикатура возможна после Флобера у современника Мопассана, Ренара, Чехова. Пруст мне пользы не принес. Но тут по почте пришла "Телефонная книга" Шварца, и там я нашел то, чего искал у Пруста, ясное слово, вносящее смысл и строй в хаос бытия. Почему я так люблю благородную прозу Шварца? Может быть, потому, что она меня учит. Читая любимых гениальных прозаиков — Зощенко, Платонова, Петрушевскую, — я диву даюсь, пытаюсь понять и в конце концов не понимаю, как это сделано. Шварц не гениален, не загадочен, но он удивительно талантлив в своих опытах непредвзятого и непритязательного письма. Когда я готовил к публикации его "Ме" (мемуарные рассказы) для парижского издательства La Presse Libre и вчитывался в его прозу, я испытывал при этом чувство освобождения: вот как надо — проще, проще, проще, но как можно точнее! Оттого, что все это, а уж в особенности "Телефонная книга", не предназначалось для печати, оттого, что у него самого там не сразу получается и он пробует заново, по-другому, поучительнее его уроки.

Вот я и заглядываю в записную книжку и переписываю две московские недели в надежде, что они превратятся в трехмерную вещь, пачку листов с текстом.

С радостью прочел подаренную вчера вечером книгу Рубинштейна. Она, как старые фильмы Годара, где экран все время напоминает тебе, что кино — серия фотографий. Дольше, чем принято, камера задерживается на затылке актера, на припаркованной у тротуара машине, на кофеварке, на нежном профиле девушки, и предметы жизни начинают выявлять свою значительность, соединяются в драматически напряженные конфигурации. "Карточки" Рубинштейна — такие же фотографии предметов речи, ее клише, стандартных фраз. Он раскладывает из них непростой пасьянс, и речения начинают разыгрывать драму под стать чеховской. У Иосифа тоже было чутье на "предметы речи". Они у него могли вызывать отвращение как ширпотреб ("Там говорят "свои" в дверях с улыбкой скверной"), но он и знал об их громадном лирическом потенциале и однажды создал из них концептуалистскую панораму — "Представление": "Говорят, что скоро водка снова будет по рублю" — "Мам, я папу не люблю", и проч.

Как-то мы болтали с ним и с Алешковским, и Юз сказал, что думает снабдить какого-нибудь знакомого американского

аспиранта, отправляющегося в Москву, магнитофоном и попросить походить по пивным, по- записывать народные разговоры. Я сначала подумал, Юз пошутил, но нет, эти два энтузиаста принялись горячо обсуждать подходящие марки магнитофонов и подходящие кандидатуры аспирантов и в какие питейные заведения направить своих лингвоагентов. При том, что уж кто-кто, а они оба обладали колоссальной и активной речевой памятью. Какой у меня нет. Более того, я сильно подозреваю, что если бы их фантастический проект и осуществился, то заказчики удивились бы улову — ведь мы уехали из России, когда даже слова "тусовка" еще не существовало. Впрочем, Иосиф был способен перемолоть и новую, чужую ему речь. Есть, по крайней мере, один пример, стихотворение "Из Альберта Эйнштейна", которое кончается: "И, чтоб никуда не ломиться за полночь на позоре, звезды, не зажигаясь, полдень стучатся к вам". "Ломиться на позоре" (пользоваться общественным транспортом) — в жаргонах нашего времени такого выражения не было. Его привез из поездки в Россию Вайль, за что Иосиф и посвятил ему это стихотворение.

Нашел ли я русскую речь в самом деле сильно изменившейся за двадцать два года? В значительно меньшей степени, чем я ожидал. Ведь существенные изменения происходят в интонационном строе речи и связанном с ним синтаксисе, а не в лексических и фразеологических поветриях. То, что теперь говорят "блин" вместо честного "блядь", говорят "ваще" и бессмысленно напичкивают речь "как бы" и "на самом деле", — это языковые мимолетности. Да и мне никто не сказал, что моя русская речь изменилась, что я говорю с английскими интонациями. (А может быть, я бессознательно ожидал, что мне, как белогвардейским старухам, которых я еще застал в небольшом количестве, будут говорить: "Ах, какой у вас сохранился прекрасный русский язык! У нас, к сожалению, такой русской речи уже не услышишь"? Восторги по поводу прекрасного русского языка, сбереженного старыми эмигрантами, мне напоминали шутку Ликока: "Я очень ценю свежий воздух, десять лет назад напустил к себе в комнату свежего воздуха, закрыл плотно окно и стараюсь не выпускать".) Я опасался, что в ситуациях автоматического отклика буду оговариваться по-английски, но этого не было. Один-единственный раз, толкнув кого-то в метро ляпнул: "Excuse me", — что прошло незамеченным.

Из моих дружб самая старинная — с Рейном. Мы познакомились еще школьниками. Женя года на полтора старше

меня, и было время, когда он был мне вроде старшего брата. Я таскался за ним — по гостям, по комиссионкам, барахолкам, книжным развалам. Восхищался его смелыми повадками, яркими стихами и громогласием. Жалел за слабости характера, из которых главной мне всегда казалась неразборчивость в знакомствах. Впрочем, это позднее он стал слишком много водиться с пошлыми фанфаронами и безнравственными халтурщиками, голодный — со всей этой сытой вроде бы писательской, вроде бы киношной сволочью. Как сказано, "наши достоинства суть оборотная сторона наших пороков" — Женино якшание с московской шпаной было таинственным образом одноприродно его редкому таланту. Он был великим знатоком и почитателем русских малых поэтов, не только дореволюционных, но и советских, от которых многие воротили нос: Нарбут, Тихонов, Багрицкий, Луговской и др. Как золотоискатель, телепался Рейн в мутных струях их стихотворчества и немало намывал золотого песка. Речь шла о недоосуществленной возможности в русской поэзии, том акмеизме, о котором мечтал Гумилев и который сам Гумилев, слишком скованный условностями эстетизма, да и просто по ограниченности дарования, не мог реализовать. Мандельштама и Ахматову Жирмунский в молодости назвал "преодолевшими символизм", а в старости говорил, что "Поэма без героя" — это то, о чем мечтали символисты. И был и тогда, и тогда прав: эти гении и были символистами в более глубоком смысле, чем те, кого так называют в учебниках, что они преодолели — это мишурную идиоматику символизма с ее лубочным Средневековьем, апокалиптической метеорологией, намеками на метемпсихоз и проч. А вот в корявых стихах раннего Тихонова, в подражательной поэзии Багрицкого, позднее в длинных, белым пятистопным ямбом сочиненных рассказах о том о сем Луговского проблескивало золото совсем иных возможностей — показывать, а не указывать. Изображать, а не преображать жизнь в поэтическом тексте. Верить, что честное изображение само по себе раскроет свое лирическое, трагическое и — кто знает! — мистическое, может быть, содержание. В 1919 году умный Т.С. Элиот назвал метод такой поэтики "объективным — или лучше перевести "объектным"? — коррелятивом".

Поэт направляет усилия на изображение объектного мира, а созданный им текст сам по себе будет коррелировать (соотноситься) с метафизическими реальностями. К тому времени в поэзии английского языка уже был великий поэт, работавший именно так, — Роберт Фрост. Рейн еще не знал ни Элиота, ни Фроста, когда преподал юному Бродскому то, что Иосиф потом

вспоминал как главный урок: "Представь себе, что у тебя есть волшебная промокашка: ты прижимаешь ее к написанному стихотворению, и она впитывает все части речи, кроме существительных…" Я не хочу здесь пересказывать анекдоты о Рейне. Он сам их немало рассказал в своих сочинениях последних лет. Увы, в книге они становятся двухмерными, как страница, на которой напечатаны. Все-таки главное удовольствие слушателю доставлял сам рассказчик: черные брови ползли вверх, поражаясь неожиданному повороту сюжета, рот кривился вправо вниз. Все остальные мастера устного рассказа, Довлатов например, практиковали сдержанную манеру. Такие рассказчики, как Рейн, встречались только в романах, прочитанных в детстве, — в таверне, при свечах, у Дюма или Стивенсона. Ударяя себя кулаком в грудь, Рейн гулко божился: "Клянусь, я не вру!" У него и в одном стихотворении есть: ""Да он все врет!" Я вру, но вру не все…" Я много раз убеждался в том, что Рейн в основном правдив, только дурак примет очевидные гиперболы в его историях за вранье. Он по своей природе даже простодушен, не хитр, что так отличает его от пронырливого антипода. Это тонко почувствовал Искандер, описавший Рейна в новой повести "Поэт". С годами я понял, что не могу претендовать на близкое родство с Рейном. Кто действительно был ему младшим братом — это Иосиф. Недавно в Америке вышла книга, где доказывается на разнообразном историческом материале, что чемпионы в искусстве, науке, политике — как правило, младшие братья и сестры. Потому, де, что они с младенчества проникались духом соревнования с первенцами. То ли оттого, что братство Рейна с Иосифом метафорическое, то ли оттого, что обобщения американского историка неверны, но между этими двумя я никогда не замечал никакой соревновательности. Жадное ощущение лиризма жизни, каждой ее ускользающей минуты, ненасытное вбирание в стихи всех, без исключения, впечатлений бытия, гениальная графомания, если угодно, — вот что роднит их. Я употребил слово "гениальная" ответственно. Природа словно бы вырастила их из одного генофонда, но Рейн был экспериментальной моделью, а Иосиф — окончательной. Рейн — гениальность, Иосиф — гений. Рейн — та самая вошедшая в поговорку глыба, в которой скульптор усматривает будущий шедевр ("только отбросить все лишнее"). Что может хотеться этакой глыбе?

А глыбе многого хочется. И всегда хотелось — хорошей еды, красивых женщин, вина, костюмов из английской шерсти, шелковых итальянских галстуков, шляп "Борсалино". Жилье у Рейна в такой трущобе, что неуверенно ступаешь за порог,

боишься, что нога провалится сквозь прогнившие половицы. Богемной захламленностью, грудами обваливающейся с вешалок одежды, завалами книг повсюду, темноватостью жилища на уровне мостовой оно напоминает логово Иосифа в Greenwich Village. Но окна выходят не в уютный садик, а в загаженный двор. Надя сказала, что уже получена новая квартира, скоро переезд. Женя робко сказал, что ему и здесь хорошо, но переезд — дело решенное. Разговор непривычно приходилось тащить мне, потому что застал я старого приятеля на этот раз в низкой, депрессивной точке его циклотимического недуга. Отсидев часа два, я решил не мучить его больше. Он пошел проводить меня до метро, подарив на прощание книгу — стихи Георгия Шенгели.

7 апреля, вторник

Пошло и неумно сравнивать то, что видишь в России, с американскими реалиями, но перед входом в межмуниципальный суд я все же подумал: "Где же в Америке можно увидеть дверь так перепачканную, так обшарпанную?" Где-нибудь в трущобных многоквартирных домах, да и то не в жилой подъезд она бы открывалась, а в облюбованную наркоманами бойлерную. Грязная прокуренная лестница, шумные коридоры, толпы людей с большими кошелками из сверхкрепкой, хоть металлолом вози, синтетической дерюги. Таких бело-сине-красных, как франко-российский триколор, торб всегда много вблизи дешевых европейских универмагов, вроде "Тати" в Париже. Едкий воздух — многие нервно курят на площадках под табличками "Не курить". Ответчица Наташа приехала одна и сидела, стараясь не глядеть в нашу сторону, красная от жары или от волнения в сложного покроя шубе. А нас получилась большая компания, восемь человек: Эмиль как "представитель истца" (И.Н.), молодая адвокатша, нанятая Эмилем, моя Л.Г., Ксения, Деннис с Хайде как потенциальные свидетели (что я материально поддерживал И.Н.). Еще приехала Ольга Богуславская из "Московского комсомольца", участливая интеллигентная женщина, совсем не совпадающая с репутацией нахрапистого издания. Она расспрашивала меня, выслушивала мои ответы и охала, и ахала, изумляясь, что не совпадало уже с ее собственной репутацией опытного судебного журналиста. Потом, поскольку начало заседания откладывалось, Ольга пошла расспрашивать Эмиля, а мы с Деннисом и Хайде нашли, где присесть, у кабинета другого судьи. Озабоченный господин с портфелем постучался туда, заглянул, увидел, что никого там нет, спросил у меня: "Не знаете, когда она вернется?" Я сказал, что не знаю, он воскликнул: "Вот черт!" — а я

продолжил разговор со своими спутниками. Хотя господин с портфелем повернулся уже, чтобы уйти, но, услышав, что мы говорим по-английски, он перевел для нас свое последнее восклицание: "Shit!" — и уж потом ушел.

Наконец сказали, чтобы мы прошли в зальчик суда. "Встать, суд идет!" Вопреки моим поэтическим прозрениям, на судейском возвышении появилась не "длиннорукая самка", а довольно обыденного вида средних лет тетка в зеленом платье. Вид у нее был недовольный, как у человека, которого разбудили, и помятый, как будто спала она не раздеваясь. Судья открыла рот и зашевелила губами. Мы все напряглись — расслышать, что она бормочет, было решительно невозможно. И вдруг она рявкнула — мы все вздрогнули: "А если вам плохо слышно, подойдите поближе, я глотку драть не собираюсь!" Почти сразу же нам с Деннисом и Хайде пришлось уйти обратно в коридор — свидетелям сидеть в зале заседания нельзя. Произошло же там вот что. Наташа встала и пролепетала, что суда вообще не должно быть. Она протянула судье бумажку с нотариально заверенным заявлением И.Н. об отказе от иска. Дата была совсем свежая, за день до моего приезда, 30 марта, то есть И.Н. делала это заявление уже в тот период, когда вокруг нее резвились ее бывшие кошки и собаки, когда она пыталась вызвать по телефону покойного мужа. И тут судья всех удивила — объявила, что суд сейчас поедет к И.Н. поговорить с ней самой, а не с тяжущимися представителями. Почему она это сделала? Слишком уж наглой была последняя фальшивка, а на суде присутствовала представительница прокуратуры (вообще прокуратура не участвует в гражданских разбирательствах, но может прислать наблюдателя, что по нашей просьбе было сделано). Богуславская в своей гневной статье потом писала: "Берут ли наши судьи взятки?" — и предоставляла читателю самому ответить на этот вопрос. С. говорил, что несколько заслуживающих доверия адвокатов рассказывали ему, как они давали взятки нашей судье. Бывшие подруги Наташи с наслаждением делились историями о ее умении давать, в обоих гнусных смыслах этого глагола, для устройства своих делишек. И все же что-то мне не верится, что откровенная неприязнь судьи к Эмилю и ко мне была оплачена. У меня интуитивное, нет, инстинктивное недоверие к теориям заговора. Не то чтобы я вообще не верил в возможность сложных интриг и преступных сговоров, но всякий раз, когда есть выбор между тривиальным и более драматическим объяснением события, я верю в тривиальное. Это — мой вариант "бритвы Оккама". По мне, в сто раз вероятнее, что недотепа и неудачник без особого труда застрелил Кеннеди из винтовки с хорошим

оптическим прицелом, чем сложные гипотезы о заговоре с участием КГБ, Кубы и коза ностра. Так же более вероятным, чем подкуп судьи, представляется ее усталое недоверие, раздражение: с одной стороны понятная русская баба, мать-одиночка с полудурком-сыном, которая, конечно, не за красивые глаза из-под старухи горшки выносила, но выносила же, а с другой — лицо черножопой национальности, с его фантастическими уверениями, что у него нет никакой материальной заинтересованности, да еще этот "поэт" еврейской национальности, бросил старуху и двадцать лет не вспоминал, а как наследством запахло, прискакал из Америки. С. и другие москвичи не нашли мои соображения убедительными. Их реакция сводилась приблизительно к следующему: "А что же может быть тривиальнее мздоимства?"

Сойдя со своего возвышения и выйдя в коридор, судья этак задорно произнесла: "Ну что, суд-то кто-нибудь подвезет? Небось, все с машинами". Ксения повезла на мышастом "саабе" "состав суда", судью с секретаршей и молчаливую девушку из прокуратуры. Наташа поехала на своей машине. Мы с адвокатшами и Богуславской поймали левака. То же и Деннис с Хайде и Эмилем. К "Аэропорту" съехались одновременно и толпой пришли к подъезду, вызвав напряженное внимание шевелившихся на солнышке старух. Одна, отечного вида, в синем пальто, пока Эмиль говорил с сиделкой Наталией Ивановной по домофону, прохаживалась между нами и, почти не раздвигая синеватых губ, бормотала: "Зря, зря вы это затеяли. Мы все за Наташу. Зря, зря…"

Очень взволнованная происходящим Наталия Ивановна открыла нам. Набились в комнату к И.Н. Я сказал ей, каких гостей привел. Судья произнесла необходимую формулу: "Выездная сессия… в составе…" "Так, так, — сказала И.Н., — значит, три женщины… Прошу, садитесь…" Тут нам с Деннисом и Хайде как свидетелям, а Ксении с Ольгой Богуславской и Наталии Ивановне как посторонним велели выйти. Мы с Хайде и Деннисом прошли в заднюю комнату. Ксения с Ольгой тоже было ушли с нами, но тут же на пуантах пробежали в папину комнату и очень красиво и симметрично изогнулись по обе стороны закрытой двери в комнату И.Н. Наталия Ивановна нервно то выходила на кухню, то заходила к нам и, волнуясь, шепотом рассказывала: "И.Н. так кушала! С таким аппетитом! Селедочку, борщ я ей сварила, котлеты с картошечкой. Потом чай пила с булочками. Стул был нормальный. Ее ведь, считай, не кормили. Она мне говорит: "Наталия Ивановна! Я ведь голодная была. Разве ж это еда для больного человека!" — и она вела нас на кухню и показывала пластмассовые коробочки с американским растворимым супом и мешок с растворимым картофельным пюре.

Она держала эти улики на кухонном столе, и ей очень хотелось показать их судье. По реляциям Ксении и Ольги, у постели И.Н. происходило следующее. На вопросы судьи И.Н. отвечала сначала спокойно, а потом не без раздражения: "Никому я своей квартиры не передавала.

Квартира эта Лешина, а чья же еще? Леша сделал глупость — уехал в Америку, теперь вернулся. Где же ему жить, как не в своей квартире?" Из лепета Наташи можно было только разобрать нежные восклицания: "Ириночка Николавна… Ириночка Николавна…" Минут через двадцать выездная сессия закончилась. Судья вышла и опять задорно поинтересовалась, кто отвезет суд обратно. С неожиданной для полной женщины ловкостью Наталия Ивановна метнулась в переполненную переднюю, преградила дорогу судье и выпалила монолог про селедочку, борщ, котлеты с картошечкой чай с булочкой, нормальный стул и не подходящее для больного человека американское питание. "А вы кто такая?" — весело спросила судья и, как мне показалось, охотно прошла за Наталией Ивановной на кухню. Мне показалось, что Наталия Ивановна, единственная из всей нашей компании не вызывает у судьи раздражения. Быстро войдя на кухню, судья бросила осуждающий взгляд на американские пластмассовые коробочки, сказала: "На помойку!" — и стремительно ушла.

Мы все вернулись в межмуниципальный суд и еще часа полтора томились в коридоре. Наша судья скопом напустила в свой зал людей с франко- российскими кошелками, "принимала административные решения", как мне туманно было объяснено. Потом люди с кошелками все разом ушли, закуривая и весело переговариваясь. В зал позвали моих подельников. Довольно скоро оттуда выскочила совсем уж распаренная в своей сложной шубе Наташа и побежала по лестнице вниз. Затем с растерянным видом наши. Решение судьи: провести медицинское обследование И.Н. на вменяемость. Следующее заседание суда — 5 июня.

Мне в Серый Дом позвонил о. Михаил Ардов и пригласил в гости. Сговорились на сегодня: "Сегодня можно рыбное…" Кстати, почти всюду, где меня угощали, угощение было не мясное, и мне не приходилось неуклюже объяснять, что я не ем мяса в Великий пост, хотя, наверное, не верующий, а печальный агностик и проч. Как ни странно, мы с Ардовым не были прежде знакомы. Возможно, это объяснялось склонностью Иосифа держать свои знакомства в несообщающихся отсеках, что подмечено А.Я.Сергеевым в его проникновенных воспоминаниях (с Сергеевым я тоже незнаком). Только раз давным-давно по какому-

то поручению Иосифа Ардов звонил мне из Москвы в редакцию "Костра". О чем шла речь, не помню, а помню только, что он поинтересовался: "У вас главным редактором не Джордано Бруно?" Знакомы мы не были, но Рейн, Иосиф, Г.Г. постоянно рассказывали о веселом ордынском доме и повторяли шутки его обитателей. Однажды в Кельне, в 84-м году, мне не спалось и из памяти выдрейфовал чей-то рассказ о том, как, видимо, пародируя вошедшего тогда в моду Гумберта Гумберта, Ардов-старший указал в окно на дворовых девчонок и сказал: "Я их дефлорирую пиццикато". Я представил себе, что он пошутил и испугался — в комнату могла войти Ахматова, которая несомненно сочла бы эту шутку "смрадной", и одновременно я расслышал в похабной фразе амфибрахий с запинкой. Получилось стихотворение, как мне кажется, сентиментальное: меня всегда глубоко трогало то, как униженные зверской эпохой интеллигенты ухитрялись утаить нечто святое — любовь к Блоку хотя бы, а в данном случае служение Ахматовой. Позднее я присоединил к этому еще два стихотворения о москвичах, которых знал лично. Как мне казалось, возникает некое единство, когда ставятся вместе три московские фигуры, с их разными московскими дарованиями и несхожими московскими грешками. Вообще, когда я думаю о Москве, почему-то всегда возникает мысль о грехе — "и в медальоне дьявола помет", как сказал поэт.

Договариваясь о встрече, я сразу спросил о. Михаила, как мне, человеку нецерковному, следует к нему обращаться. "Выпьем по рюмке и перейдем на Миша — Леша", — сказал он. (Что-то такое Иосиф знал о своих знакомых. Его оскорбляло то, что Найман стал ходить в церковь и проповедовать пользу крещения, а к тому, что Миша Ардов стал священником, а потом и протоиереем, он относился спокойно и благожелательно.) Пробултыхавшись день в смрадном суде, я в этом уютном и веселом доме словно душевную ванну принял. Хотя первые несколько минут были окрашены недоразумением: и хозяева, и друг дома, остроумный и красноречивый профессор с подходящей к обстоятельствам клерикальной фамилией Успенский, принялись горячо хвалить литературные достоинства моих, как мне показалось, произведений. Я уж было загордился, но тут до меня дошло, что речь идет о каком-то одном произведении. Еще через полминуты туман гордыни спал с очей (ушей?) моих, и я сообразил, о чем идет речь. Найман опубликовал пасквиль на нашего общего товарища, талантливого филолога М. Мейлаха, человека мужественного и благородного. Понимая, какую боль должно было причинить Мейлаху предательство бывшего друга, я написал Мише письмо — ничего особенного, просто жест

солидарности. Копию моего письма Мейлах послал Ардову (треугольник на глобусе: я на востоке Северной Америки, Мейлах на экваторе, во Французской Гвиане, Ардов в Москве). Вот это-то мое письмо и хвалили. Переход на "Миша — Леша" действительно произошел легко. Ночью, составляя e-mail домой, в наше нью-гемпширское, о еще одном дне в Москве, я писал Нине: "Ужинал у протоиерея, пили рябиновку под севрюжку".

8 апреля, среда

И.Н. дремала, а мы разговаривали на кухне с сиделкой Наталией Ивановной. До недавнего времени она работала старшим бухгалтером на приватизированном предприятии, но ушла от греха подальше. Бухгалтеры, рассказала мне Наталия Ивановна, в приватизированной сфере козлы отпущения. Воры, которые прибрали к рукам заводы и фабрики, разворовывают все, что можно, прокручивают в банках зарплату голодных рабочих, переводят прибыль на свои счета за границу, а в случае ревизии и суда отвечают бедолаги-бухгалтеры. Наталия Ивановна привела мне ряд примеров из жизни, когда ни в чем не повинные старшие бухгалтеры шли в тюрьму, а воры-начальники загорали на Канарских островах. Советскую власть Наталия Ивановна не идеализирует, но то хоть какой-то порядок был, что-то выпускалось, люди получали зарплату вовремя. Вообще-то она за частную собственность, и она очень толково рассказала мне, как надо было бы обеспечить приватизацию законодательно, чтобы не получалось такого безобразия. Завтра, как мы и договаривались, Наталия Ивановна сидеть с И.Н. не будет — с утра посидит Эмиль, а днем приду я. Наталия Ивановна не может совсем уж бросать сына и дочь, хотя они почти взрослые, студенты. У сына очень хороший компьютер. Он уже и зарабатывает неплохо, пишет программы для разных фирм. Но все равно дети — надо побыть с ними, покормить.

Мы встретились в метро с Иваном Ахметьевым. Он — поэт, издатель. Цитирует по памяти мои стихи, совсем старые, из "Эха", из "Голубой лагуны", и щедро одаривает меня поэтическими сборничками. Боже ты мой, сколько же стихов пишется и издается теперь! Невероятно, но людей, пишущих хорошо, больше, чем графоманов, и больше, чем я способен запомнить. Начинает складываться самодостаточный слой общества, где все пишут, издают и отчасти читают стихи друг друга. Встретились мы вот зачем. После моего выступления в литмузее Ахметьев подошел, представился и, к моему смятению, преподнес мне еще один

экземпляр тяжеловесного "Самиздата века". С двумя "Самиздатами века" никакой "боинг" не взлетит, да и зачем мне два? Я вспомнил, что Деннис и Хайде с интересом рассматривали томище, и подарил им второй экземпляр. И вот вчера позвонил мне смущенный Ахметьев. Оказывается, он не знал, что Гандлевский уже принес мне книгу. Полагается по одному экземпляру на автора. Надо вернуть или заплатить. Мы встретились, и я заплатил требуемые сто пятьдесят рублей. Получилось, что все-таки одну книгу в России я купил, хотя решил даже не заходить в книжные магазины.

Ахметьев проводил меня до Мясницкой. Мне надо было зайти в издательство "Независимой газеты". Там моя сумка забилась книгами уже до отказа. Я взял, сколько влезло, экземпляров нашей с Вайлем книжки "Труды и дни Бродского" и книжечки Вайля и Гениса "Русская кухня в изгнании" с моим предисловием. С. посоветовал всегда носить с собой несколько экземпляров своих книг и дарить при случае чиновникам — это не взятка, а нечто вроде визитной карточки. Каждый раз потом, когда я собирался сделать подношение, рука в сумке сама решала, какую книжку преподнести — кулинарную с анекдотами или про Бродского. "Русские кухни" у меня все разошлись, а "Бродские" остались. Еще я взял у них посмертный сборник Нины Искренко и "Эротические рисунки Пушкина". (Обе книжечки разочаровали. Стихи Искренко настолько безыскусны, что следующей ступенью было бы уже просто пускать пузыри, а у составителя "Рисунков" представление об эротике как у второгодника из старого анекдота "А я всегда про это думаю": к эротическим рисункам относится, например, мужская нога, обутая в сапог.)

Набивал сумку книжками, разговаривал с издательницей и знакомился с молодыми журналистами. Глеб Шульпяков попросил, чтобы я дал ему интервью. Мы минут сорок разговаривали в каком-то закутке, мне было интереснее слушать, чем отвечать. Еще недавно я и представить себе не мог, что соглашусь на интервью в "НГ". Мы было начали выписывать эту газету несколько лет тому назад, но ее культурный отдел оказался не всегда понятным для посторонних междусобойчиком, всегда понятным было только хамство и малограмотность основного сотрудника — Лямшина. Подписку на "НГ" мы прекратили, выписали "Сегодня", там отдел культуры был приличный, но его почему-то закрыли. Теперь, кроме вечной "Литературки", выписываем только "Общую газету". Но не уследишь! В "НГ" стало выходить доброкачественное литературное приложение "Ex libris". Судя по тем номерам, что я видел, там работают хорошо образованные молодые критики. У

Шульпякова мне понравилась статья об Одене, написанная с тем настоящим знанием предмета, когда автору нет нужды прикрывать свою неуверенность развязной иронией и т. п. Потом я прочел в "Знамени" его хорошие стихи и узнал из рекомендательной сноски, что автору двадцать семь лет. А теперь я разговаривал с умным молодым человеком и радовался — качество российской интеллигенции улучшается. Это поколение избавляется от свойственного нам, "людям 60-х" и более ранних советских годов, провинциализма. Их интеллектуальная энергия не тратится на борьбу с идеологией. Существенно не только то, что у них есть изначально доступ ко всему кругу источников образования, но и то, что для них источники не замутнены нездоровым возбуждением, радостью вкушать запретный плод. Да что говорить — они прилично знают иностранные языки. Никогда не понимал, как люди, не знающие ни одного иностранного языка, могут рассуждать о "национальных характерах", а в первую очередь о собственном русском языке и культуре. Можно любить родную жизнь и поэтически эту любовь выражать, но умом Россию понять можно, только зная, с чем сравниваешь (кстати сказать, соответствующее четверостишие Тютчева следует читать не с глупо горделивой интонацией, как его обычно читают, а с отчаянной). Иосиф рассказывал, как удивлялась Ахматова научной карьере хорошего, порядочного человека — Г.М.: "Но как же он может писать о Пушкине, когда не знает французского языка!" Действительно, можно попросить коллегу с германо-романской кафедры перевести с французского письмо или дневниковую запись, но нельзя объяснить строй мысли, стиль Пушкина, не зная, как говорят и думают по-французски. Почитатель Сэпира, я оптимистически думаю, что поколение, хорошо владеющее английским языком, сможет привить к нашим природным российским достоинствам закодированные в английском качества: рассудительность, терпимость, интеллектуальную трезвость и нравственную точность.

Журналистка Юля Горячева, которая когда-то занималась у меня в Вермонтской летней школе, проводила с Мясницкой через Лубянку на Никольскую. Приятно произносить и писать природные названия московских улиц, хотя порой символизм сочетаний жутковат: Лубянка и Мясницкая! Китайские затеи чайного магазина Высоцкого на Мясницкой скрыты строительными лесами. Тем не менее в витрине можно разглядеть чаи знакомых по западным супермаркетам марок. Чайный магазин напомнил мне о забавном издательском ляпе. "Ардис" выпустил полумемуарную, полу, анекдотическую книгу Григория Свирского. По-русски она называлась надрывно — "На

Лобном месте", да еще и с подзаголовком "Литература нравственного сопротивления", но в английском варианте они ее назвали "Историей советской литературы послевоенного периода". "Историю", в отличие от непонятного "Lobnoe Place", купят все университетские библиотеки. Для пущей академичности книга была снабжена указателем имен и названий. И вот, просматривая указатель, я заметил, что "Бродский Иосиф, поэт, р. 1940" и "Высоцкий Владимир, актер, поэт, р. 1938" см. на одной и той же странице. Я см. на указанную страницу и нашел там следующее: "Как говаривали в те времена: "Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого"".

К моим запискам тоже надо было бы составить во избежание путаницы именной указатель, хотя бы потому, что теперь речь пойдет о Наташе Ивановой, литературном критике, зам. гл. ред. ж-ла "Знамя", выше упоминалась сиделка, в прошлом ст. бух., Наталия Ивановна, злодейку в моей истории зовут Наташа, и советовался я о своих делах (см. ниже) с нашей старинной подругой Наташей Шарымовой, ныне менеджером ночного клуба.

Десять лет назад "Знамя" первым напечатало меня на родине. Звонила тогда ко мне в Америку с просьбой дать подборку Ольга Ермолаева, заведующая поэзией, но единственная, с кем я лично познакомился из редакции, была Наташа Иванова. Мы с ней встречались в Англии, в Польше и на разных американских конференциях и симпозиумах, где, как в церковном календаре или уставе караульной службы, чаще других звучало слово "пост": "постмодернизм" и "постсоветская литература". Теперь вот я навещал ее в Москве.

"Знамя" занимает целый этаж, длинная череда кабинетов — по крайней мере раза в три больше площади, чем у редакции New York Review of Boob на Бродвее. Редакторов в "Знамени" девять (включая гл., зам. и отв. секретаря), в New York Review — шесть. Общий годовой объем при разной периодичности примерно одинаковый. Тираж New York Review раз в десять больше тиража "Знамени". Раз уж я сделал здесь исключение из правила "Не сравнивай!", то надо, справедливости ради, сказать, что по содержанию между New York Review и традиционным российским толстым журналом мало общего. New York Review печатает, почти исключительно, развернутые эссе-рецензии и просто эссе, два-три стихотворения в номере, критические отклики читателей и обиженных рецензентами авторов — и всё, никакой прозы. Сравниваю я на том лишь несолидном основании, что читаю оба журнала регулярно, что когда-то несколько раз печатался в нью-йоркском, а потом в московском, что там и там у меня есть знакомые редакторы и что вот случайно побывал в обеих

редакциях. В Америке имеются, и немало, журналы, по виду и содержанию напоминающие наши толстые, у них тиражи, сравнимые со знаменским, штатных редакторов там один-два, а то и вовсе нет, редактирует какой-нибудь профессор или писатель на общественных началах. Я не клоню к тому, что, мол, перестройте "Знамя" на американский манер, и тиражи подскочат. Общественная миссия и экономическая основа у этих изданий принципиально разные. Два главных соредактора (они же основатели) New York Review нанимают ровно столько сотрудников, сколько нужно, чтобы обеспечить нормальное функционирование и экономическое здоровье своего издания. Если финансовая ситуация потребует или организационное улучшение придет на ум, они со спокойной совестью будут сокращать штаты. В современном российском толстом журнале штатное расписание формально осталось неизменным с советских времен, но, по сути дела, обеспечить группе литераторов прожиточный минимум и есть raison d'etre журнала. В экономическом отношении почти как семья, откуда не увольняют дедушку, передав его функции бабушке, чтобы повысить эффективность.

Мы попили чаю с шоколадными конфетами в Наташином кабинете, потом перешли в просторный кабинет, скорее небольшой зал, гл. редактора Сергея Чупринина. Радушная Наташа созвала всех наличных сотрудников поглядеть на меня, но мне и всем, кажется, было немного неясно, что делать, — темы для обсуждения у нас не было, а просто так болтать о том о сем за длинным редакционным столом для совещаний — странно. Напротив меня сидел критик Агеев, которого я давно уже читаю и ценю за ясный стиль и здравый смысл. Он был молчалив и усмехался загадочно. Поглядеть на меня, я полагаю, было любопытно только моей заочной знакомой Ермолаевой, и она не могла скрыть своего разочарования: она по стихам представляла себе колоритного пьяницу, а я… Почти точно то же я услышал на вечеринке у Айзенберга от одного славного человека, который все нажимал на то, что он тут единственный не писатель, не художник. Он тоже сказал: "По стихам я думал, что вы — толстый, нетрезвый, болезненный, а вы такой здоровяк". Последнее слово, я почувствовал, выскочило неточно, не то, что он хотел сказать. Вот, однако, какая проекция воспринимается моими читателями — Иван Бабичев, и не соответствует ей мой в действительности заурядный вид — пиджак, галстук, Нина меня перед поездкой коротко подстригла, брюхо стараюсь втягивать.

Наташа пригласила меня ужинать в ЦДЛ. В машине зашла речь о московском ареале моего детства — от трехэтажного дома

на Волхонке, куда я приезжал на зимние или весенние каникулы, прогулки вели мимо Министерства обороны в арбатские переулки, на Гоголевский бульвар. Если выйти из дома и пойти налево, в соседнем, тоже трехэтажном, светло-зеленом доме был клуб строительства Дворца Советов, а потом начинался вечный забор, за которым скрывалась стройплощадка. Я видел проект на картинках и читал захватывающее описание будущего невероятно высокого небоскреба с Лениным на верхушке — одна голова будет высотой с шести- этажный дом, нос — трехэтажный. За забором никогда ничего не шевелилось, но я все же приникал к щелке, стараясь подсмотреть, не начал ли небоскреб вырастать бесшумно. Жил я, как говорили у нас в семье, "у теток". Незамужние бабушкины сестры, большая тетя Рая, добрая, полуслепая и похожая на слона, и маленькая тетя Лиза, добрая, но очень насмешливая, полуслепая и похожая на обезьяну, были "съездовскими стенографистками", то есть стенографистками и машинистками высокой квалификации. Дома они с пулеметной скоростью стрекотали на двух "Ундервудах", время от времени почти вплотную прижимаясь толстыми стеклами очков к закорюкам в своих блокнотах. Но главной их заботой была жившая за ширмами в углу единственной, но большой комнаты прабабушка. На протяжении всего моего детства ей было сто лет. То есть, наверное, когда я начал туда приезжать после войны, ей было около девяноста, а умерла она лет через двенадцать. Но в моих воспоминаниях ей постоянно сто. Летом все трое надевали белые детские панамки и перебирались на дачу в Кучино. Там, в придачу к уходу за прабабушкой и "Ундервудам", тетки неутомимо огородничали и перерабатывали свои урожаи. "В нем шинкуют и квасят, и перчат". (Кстати, Пастернак ведь жил когда-то где-то совсем рядом, на Волхонке.) Ах, какое они варили клубничное варенье! Ягоды крупные, ровные, твердоватые в рубиновом сиропе идеальной консистенции — не слишком застыл, не слишком текуч. Запасы прелестной квашеной капусты по мере нужды зимой подвозились из Кучина и хранились у балконного окна в китайской фарфоровой кадке, украшенной изображениями лета- 404ющих с лианы на лиану синих, но похожих на тетю Лизу обезьян. Прямо напротив за окном я видел классический портал Выставки подарков товарищу Сталину.

Не то чтобы я не знал в ту пору, что это Музей изящных искусств, но как-то не задумывался. А ходить на Выставку мне нравилось — рассматривать радиолы и телевизоры в полированных, инкрустированных деревянных ящиках, черкески, узбекские халаты, папахи, тюбетейки, сервизы, представлять себе, как товарищ Сталин наряжается в эти костюмы, включает

радиолу, накладывает еду на тарелку с героическим орнаментом. Однажды я набрался духу и спросил у охранницы, сидевшей в углу пустого зала: "А товарищ Сталин видел все это?" Она как будто ждала вопроса, заулыбалась, понизила голос и рассказала: "Нам однажды велели остаться после закрытия, и поздно уже, после двенадцати ночи, приехал, всюду прошел, все-все осмотрел". В темноватом углу была витрина с табличкой "Книги, подаренные товарищу Сталину писателями Ленинграда", и под стеклом лежала аккуратная стопочка книжек. Я понимал, почему их поместили не очень заметно, — ведь книжки были обыкновенные, а не специально, старательно и с любовью сделанные для вождя. Сверху, так, что видна обложка, лежала книга — "Александр Прокофьев. Избранное". Остальных авторов и названия можно было прочесть на корешках, и с волн — нием я читал на тонком корешке почти что в самом низу стопки: "Владимир Лифшиц. Семь дней". Видимо, в той же большой комнате окном на музей умер мой прадед, бабушкин отец. Это одно из самых ранних папиных воспоминаний: ему четыре года (то есть это, скорее всего, 1918 год), семья завтракает за большим столом, и вдруг дедушка начинает кашлять и никак не может остановиться, маленькому папе становится очень смешно, но его мама (бабушка — доктор в семье!) бросается к своему отцу, а маленького папу быстро уводят. Прадед, наверное, был моего нынешнего возраста, когда умер от апоплексического удара, скорее всего, в результате огорчений. Он был делец (точный перевод на английский — businessman). Торговал лесом, и, кажется, еще мясохладобойня у него была, и недвижимость (real estate) в Москве. И вот все нажитое годами трудов у него в одночасье отняли. Даже квартиру в собственном доме на Волхонке. Семью загнали в одну комнату.

Я сказал Наташе, что не успел побывать в родных местах. Постеснялся сказать, что не хочется мне их навещать в этот приезд. Знаменский шофер неожиданно предложил: "Так давайте там проедем". Мы проехали, и вот что оказалось: прямо напротив музея стоит все такой же бледно-зеленый дом, где некогда был клуб строительства Дворца Советов, а наш дом не напротив, а наискосок. Память сдвинула противоположные стороны Волхонки, как можно сдвинуть сколоченные ромбом планочки, превращая острые углы в прямые.

В прежней жизни я, наезжая в Москву, нечасто бывал в ЦДЛ. Делать мне там было нечего, а заходил я туда либо в ресторан, либо на кинопросмотры. Легко сказать, "заходил". Членом Союза писателей я не был, так что мне туда надо было проходить или чтобы меня проводили.

Проводили если не отец, то друзья, а то отец давал мне свой членский билет, советуя идти через контроль в густом потоке, когда им некогда присматриваться. Проходя таким образом, я всегда вспоминал простецкую шутку композитора Богословского, первого мужа И.Н., — на дежурный вопрос контролера "Член дома?" он ответил: "Нет, с собой". Общее впечатление, сохранившееся в памяти от ЦДЛ, — густой праздничной толчеи: толпы подвыпивших людей у буфетной стойки и в ресторане, толпы в кинозале, счастливые тем, что вот смотрят недоступное простым смертным. (Как четко, в любых обстоятельствах, выявлялись тогда иерархии! Почему- то сохранилось в памяти мгновение, когда я стараюсь побыстрее пройти через контроль, помахивая папиным членским билетом, а боковым зрением вижу двух принаряженных женщин; контролеру одна из них просто говорит: "Мы — Кожевниковы", — и их тут же пропускают.) Больше всего мне запомнился обед в ЦДЛ в декабрьский денек 69-го года. Накануне в ленинградском Доме писателей выступал Иосиф с чтением своих переводов. Это было редкое, большое событие, собралось много народу. Я пришел туда с чемоданом — в тот же вечер мне надо было ехать в командировку — через Москву в Ульяновск. Готовился номер "Костра" к столетию Ленина, каждый из нас должен был что-то подготовить. Я придумал тему "Книжная полка Володи Ульянова" и радовался своей хитрости — вместо того, чтобы лицемерить по поводу Ильича, я расскажу о примерном круге детского чтения в провинциальной интеллигентной семье сто лет назад. Перед началом выступления мы большой компанией засели в ресторане. Там, кроме героя дня, были художники Ковенчук и Беломлинский, Наташа Шарымова, Найман, Довлатов, не помню остальных. Так хорошо выпивалось, такие задушевные пошли разговоры, что, кроме самого чтеца, никто на чтение так и не пошел. Я напился куда больше обыкновенного. Объясняю это тем, что все же мучила мысль об Ульяновске. Как развивался вечер, плохо помню.

Помню только, что Найман все говорил: "Увидишь в Москве Аксенова. Он скоро едет в Англию. Пусть привезет мне складной зонтик. И кепку". Я возражал, что не знаком с Аксеновым и поэтому вряд ли увижу его за день в Москве между поездами, но он твердил свое: "И плащ", — и довольно ловко рисовал в моей записной книжке изображения желанных предметов. Еще много лет, перелистывая книжку в поисках нужного адреса или телефона, я натыкался на наймановские пиктографы. Очнулся я утром на верхней полке в купе "Стрелы" в кошмарном состоянии. Трусливо поглядел вниз. В купе, к счастью, уже никого не было —

поезд подходил к Москве. Я, борясь с тошнотой и охая от боли в голове, слез вниз и робко приоткрыл дверь в коридор. И раздался нестройный хор ласковых голосов: "Лешенька проснулся!" И шла ко мне, улыбаясь, проводница со стаканом густой заварки чая. Ничего не понимая, я слегка раскланялся, выпил чай, поезд остановился, и я поехал к папе с И.Н. (Потом мне рассказали, что дело было так. Я напился в ресторане ленинградского Дома писателей до бесчувствия, и друзья отнесли меня на вокзал. Несли, как самые молодые и здоровые, Довлатов и Иосиф. Проводница сначала категорически не разрешала им загружать меня в "Стрелу", но находчивые Беломлинский и Ковенчук стали импровизировать: "Это Леша Лосев — замечательный молодой ученый. Всю жизнь над книгами, никогда в рот капли не берет. Сегодня защитил докторскую диссертацию, выпил на банкете бокал шампанского. Завтра ему надо быть на совещании в Академии наук". Тут-то остальные пассажиры и стали проявлять ко мне симпатию — у нас жалеют пьяных, особенно докторов наук, пьянеющих от бокала шампанского. Десятка, сунутая художниками, окончательно переубедила проводницу.) Папе и И.Н. достаточно было взглянуть на меня, чтобы все понять. "Ирина, его надо опохмелить", — полувопросительно сказал папа. Помыкавшись под душем и на диване до открытия ресторана, я был туда отвезен. Уже все было битком набито.

Мы пробирались с отцом между занятых столиков, и нам дорогу преградил старый ленинградский детский писатель Н.Ф. Григорьев, тощий старик с дурной репутацией, высокий и с ящеричной головкой. Писал он в это время исключительно рассказы о Ленине, и дернуло отца за язык сказать: "Николай Федорович, а Лешка сегодня едет в командировку в Ульяновск". "Лешенька, — заговорил Григорьев своим барским голосом (он был из дворян, революция застала его в юнкерском училище, почему он всю жизнь потом и боялся, и лез вон из своей ящеричной кожи), — Лешенька, какая удача! Вы мне можете помочь. Дело в том, что в воспоминаниях Марии Ильиничны Ульяновой рассказывается, как маленький Володя смастерил в подарок маме, Марии Александровне, тряпочку для вытирания пера. Я сейчас пишу об этом эпизоде. Но — неизвестна судьба тряпочки. Проверьте, голубчик, а вдруг она сохранилась в музее!" Я почувствовал, как меня опять начинает тошнить, но И.Н. уже переговорила со знакомой официанткой, нам вытащили и накрыли дополнительный столик. Далее был праздник, люди если подходили или подсаживались, то все славные, не озабоченные тряпочками Ильича. Подошел Битов и повел меня к столику на двоих у стенки, хотел познакомить со своим

московским другом, но друг Битова, буркнув[70] нечто в ответ на мое приветствие, посмотрел на меня свирепо. Звали друга Битова Юз Алешковский, и через десять лет, в Америке, нам предстояло стать близкими, не только в географическом смысле, друзьями.

Теперь в пустынный вестибюль ЦДЛ свободный вход. Во всех ресторанных залах не было ни души, ни одного посетителя. Теряешься в Арктике нетронутых белых скатертей и стеклянных бокалов, и трудно принять решение, за какой столик сесть, когда можно за любой. В конце концов мы пошли в маленький внутренний зал и сели у знаменитой стенки, покрытой граффити — рисунками, шаржами, эпиграммами. Тщательно подновленные граффити, все эти якобы экспромты тридцатилетней давности, в том числе, увы, и папин, показались мне неостроумными, рисунки — неталантливыми. Все жалостливо напоминает о слабом ветерке свободы начала 60-х, который не подул дальше треугольных столиков из прибалтийской полированной фанеры, из тех же краев керамики и такого же добра на обложке журнала "Юность". Еда была, по нью-гемпширским меркам, дороговатая — безвкусная лососина, невкусная уха. Но мы славно поболтали с Наташей; она, со свойственной ей живостью, наполнила, если выражаться выспренне, окружающий нас вакуум тенями прошлого.

9 апреля, четверг

План на этот промозглый денек был простой: с утра ехать с Ксенией в государственную нотариальную контору у "Сокола", а к часу подменить Эмиля у И.Н. В нотариальной конторе мне нужно было получить справку о том, что папа умер, не оставив формального завещания. Проинструктирован я был так: "Там будет очень большая очередь. Справки вам, почти наверняка, не дадут". Даже несмотря на Ксенино навигаторское умение, добирались мы до "Сокола" долго, спазматически продвигаясь от пробки к пробке. Но и увидев наконец слева по борту станцию метро "Сокол", мы не могли найти пути подъехать к огромному дому с нотариальной конторой. Дважды объехали мы большой квартал и каждый раз попадали на улицу с армянской фамилией, которая выбрасывала нас обратно на магистраль Ленинградского проспекта. Наконец Ксения заприметила узкую щелочку и вильнула в нее. И без того узкий, этот проезд между большими домами был по обе стороны заставлен машинами, и мне сразу не понравилось, что все они припаркованы навстречу нам. Тут же мое опасение и подтвердилось — на нас ехал грузовик, плотно занимая все пространство между запаркованными машинами. За

грузовиком, сколько можно было видеть длинную извилину проезда, тянулась непрерывная вереница машин. То же было и за нами, ибо вслед за решительной Ксенией сюда, против одностороннего движения, свернул другой водитель, а за ним третий. То, что мы, ничего не помяв и не поцарапав, произвивались до конца проезда, одной виртуозностью моей водительницы объяснить нельзя. Тут действовали тайна, чудо и авторитет. Мы наконец оказались внутри квартала. Поставили машину и подошли к нотариальной конторе. На двери прочитали: "Второй четверг каждого месяца — закрыто".

Время было уже ехать к И.Н. Эмиль почему-то не открывал на звонок: наверное, возился с И.Н. Но у меня были свои ключи. Мой ключ не открывал. За дверью была тишина. Мы стали опять звонить, стучать. И вот из-за двери послышался жалобный лепет: "Лев Владимирович, не стучите, я вас не пущу. Я вас один раз пустила, а вы меня обманули. Не возитесь с ключом — замок сменен". "Где Эмиль Погосович?" — потребовала Ксения. "Я не знаю. Спросите в милиции". Ксения круто развернулась: "Идем в милицию". Мы стремительно зашагали по грязной улице в сторону, где Ксения предполагала отделение милиции. Улица Черняховского теперь представляет собой базар — поближе к метро киоски, ларьки, а дальше — старухи вдоль мостовой сидят с цветами, апельсинами, помидорами, китайскими полотенцами. На вопрос "Где милиция?" старухи угрюмо врали, что не знают. Но в конце следующего квартала мы и сами углядели трехэтажное облупленное здание во дворе за забором, милицейские машины возле и пошли туда, стараясь обходить глубокие лужи с мазутной снежной кашей. Навстречу нам выбегал Эмиль. Тут же, на берегу лужи, он рассказал, что произошло. Он сидел, поджидая нас. И.Н. дремала. В дверь застучали: "Открывайте — милиция, проверка паспортного режима". В глазок он увидел двух парней в камуфляже. "Вы кто такие?" — "Милиционеры, Дыбенко и Попенко, открывайте, а то будем ломать дверь!" Не открывая, Эмиль позвонил в отделение. "Да, — подтвердил дежурный, — милиционеров Дыбенко и Попенко посылали, так как поступило заявление о незаконном проживании в квартире". Эмиль взял свои доверенности и открыл дверь. Но смотреть бумажки Попенко и Дыбенко не стали. Они выволокли его на площадку, обшарили карманы, вытащили ключи. Из-за спин Дыбенко и Попенко в квартиру проскользнула Наташа, а доцента свели вниз и свезли в отделение. А в отделении дежурный сразу отпустил. "А Попенко и Дыбенко — вон они стоят". Два парня в камуфляже с автоматами, дуло вниз, на плече стояли у машин. Один — полный, высокий, с румяным

дитячьим лицом (Попенко?), другой — постарше, покоренастее (Дыбенко?). Мы подошли к ним. "На каком основании", — начала чеканить Ксения, но Дыбенко и Попенко смотрели сквозь нас. Хотя вооружены были оба, но смутное чувство опасности исходило именно от румяного Попенко (?). Я не сразу понял, почему так, а потом догадался: ребенок с заряженным автоматом.

В милиции так же, как было всегда, полы выметены, пыль вытерта, и от этого острее ощущается нечистота помещения — многолетняя грязь, впитанная стенами, стульями, столами. Бедность. В уборной на третьем этаже, которой пользуются сотрудники, относительно чисто, но нет унитаза — дырка в полу. Отличается нынешняя милиция от той, которую я помнил, тем, что сравнительно мало людей в милицейской форме. Ходят милиционеры либо в штатском, либо, как Попенко и Дыбенко, в боевой, военной одежде. В этот день отделением командовал майор Казаков, и он был одет в военное, в расстегнутом вороте треугольник тельняшки. Когда он вызвал Дыбенко и Попенко для разбирательства и в комнате стало тесно от их торчащего оружия, от глыбы младенческиликого Попенко (?), показалось, что мы не в центре Москвы, а на командном пункте, на какой-то из бесконечных российских войн. Ксения перечисляла преступления Попенко и Дыбенко: вторжение в квартиру без ордера прокурора, незаконное задержание, незаконный обыск, незаконное изъятие личной собственности (ключей). И нашу главную тревогу мы излагали: И.Н. захвачена человеком, против которого она ведет дело в суде, который заинтересован в ее конце: нет И.Н. — нет иска. Казаков хмуро слушал, а другой офицер за соседним столом на нас не смотрел, но время от времени вскрикивал: "Тихо! Развели базар, понимаешь! Не дают работать!" И хотя ни громко, ни одновременно мы не говорили, и в общем-то Казаков слушал, но и он как-то неожиданно раза два крикнул: "Развели базар!.. Вы куда пришли?.." Из дальнейших общений с милиционерами я понял, что это укорененная манера общения с посетителями: они слушают или говорят нормальным тоном, но вдруг выкрикивают что-то сурово, громко и грубо, а потом продолжают говорить ровно или слушать. Казаков велел Дыбенко и Попенко доложить. Попенко (?) хлопал ресницами, говорить из двоих умел старший, Дыбенко (?): "По заявлению владельца… проверка паспортного режима… обыска не производили, а произвели досмотр на предмет режущих и колющих предметов". Не являющийся обыском досмотр пожилого доцента на предмет режущих и колющих предметов, видимо, смутил Казакова, и он прервал Дыбенко (?): "Свободны". Попенко и Дыбенко с автоматами ушли, а вызвал майор участкового инспектора Мелехова: "Разберись".

Здоровенный молодой участковый принял с нами тон усталого от мирской тщеты, но почти снисходительного к суетному людскому копошению человека. "Пишите, пишите, — сказал он, выдавая нам формы для заявлений, — только все равно толку не будет". И даже добавил горестно: "В нашей-то стране". Потом мы долго, часа два, сидели в тускло освещенной проходной комнате и описывали казенным языком преступления Попенко, Дыбенко и подрядившей их Наташи.

И.о. начальника отдела милиции "Аэропорт" г… —

выводил я в правом верхнем углу каждого заявления, —

Москвы от Лосеффа Л.В.

в таком вот диком склонении приходилось писать свое имя, транслитерируя с американского паспорта. Потом еще с час ждали в коридоре, когда освободится участковый. Дверь его кабинета была полуоткрыта. Участковый грозил собеседнику карами: "У вас там всю ночь вокруг киоска пьянка, драки, буза. Мне уже надоело принимать от людей заявления". Отговаривался кто-то с несильным кавказским акцентом, но говоривший почти непонятно из-за причудливого употребления иностранных слов: "Ми это конкрэтно панимаем, но ты нам скажи вполне абстрактно, панимаешь". Видимо, участковый эти туманные речи понимал, потому что в конце концов сказал: "Ладно, поставлю у киоска… — что поставит, я не расслышал, —.. с восьми до восьми утра, пять… — чего — тысяч рублей? долларов? — в час". Согласие последовало в такой форме: "Но ми тоже панимаем в индивидуальном вопросе", — и вышел из кабинета господин в кожаной куртке с черными усами на бледном лице. Три типа обличья были у мужчин в отделении милиции: меньшинство в милицейском, как наш участковый, бойцы в камуфляже, словно бы прямо спустились с чечено-афганских гор, и вот такие — бледнолицые, черноусые, в кожаных куртках (полицейские и киоскеры, неотличимые друг от друга). "Вот вы пишете, — вернулся к своему усталому философствованию участковый, принимая наши заявления, — а они напишут другое. Будет решение суда, я приду выломаю дверь топором, а так ничего мы для вас сделать не можем, и никто не может". Не принял он только заявление о пропаже из квартиры имущества — такие заявления принимает начальник отдела угрозыска Жук, а Жука нет на месте. Мы настаивали, чтобы участковый пошел с нами к И.Н., как распорядился майор. "Да жива ваша бабка, чего ей

сделается!" — отговаривался он, время от времени вскрикивая: "Вы что тут, в самом деле, понимаете!" Потом со вздохом встал, и мы пошли. Уже темнело. Большой мужик, участковый шагал крупно, я решил не отставать, Ксения и Эмиль поспевали сзади. "Да вы поймите, — говорил я ему, — мне сейчас плевать на эту квартиру, кому она достанется, мне важно, чтобы И.Н. была в безопасности". Он взглянул на меня с живым недоверием: "А если плевать, чего ж вы приехали?" Аргумент относительно безопасности И.Н. не заслуживал даже того, чтобы его обсуждать. Тут участковый отвлекся: "Извините. Развели тут у меня торговлю!" (Мы в это время шагали между старухами и их товаром в корзинах.) Не замедляя и не убыстряя шага, он перешел улицу и с размаху ударил сапогом по корзине. Высоко и ярко, в сумерках, взметнулся фейерверк красных помидоров. Так же, не замедляя и не убыстряя движения, он вернулся на наш тротуар и сказал другой старухе: "Видела? Живо, чтоб тебя тут не было, а то твои полотенца так же полетят". Мы поднялись к нашей квартире. "Наталья Викторовна, это я, Сергей Сергеич, пожалуйста, на минутку откройте", — попросил участковый. "Боюсь я, Сергей Сергеич, не открою", — жалостливо отвечала Наташа из-за двери. "Да вы не бойтесь, я вам лично гарантирую, никто не зайдет, вы только меня впустите". Но Наташа боялась, что если она приоткроет дверь, то мы с Ксенией и Эмилем отшвырнем участкового и ворвемся в квартиру: "Боюсь я, Сергей Сергеич". "Ну, что ж я тут могу поделать", — развел руками участковый, и пошли мы назад в отделение, и я долго писал другое заявление — о фактическом захвате И.Н. заложником, — а когда закончил, участковый заметил, что я написал все ручкой с черной пастой, а шапку он заполнил синей, и мне пришлось все переписать снова. "Вот вы пишете, пишете, — сетовал при этом Сергей Сергеич на мою и вообще всего корыстного и сутяжного человечества суетность, — а я вам сразу скажу: никакого толку не будет".

В темноте мы с Ксенией вернулись в Серый Дом (по дороге нас оштрафовали за поворот с Тверского бульвара, который обычно сходил с рук). Отчитывались Деннису о событиях скверного дня. Звонили московские и петербургские знакомые, сочувствовали, давали советы. Наташа Шарымова сказала: "Дверь взломать. Даму выставить. Вставить стальную дверь. Нанять охрану". Я сказал, что вряд ли способен к такой трудоемкой и, наверное, уголовно наказуемой акции. Наташа сказала, что среди завсегдатаев ее клуба есть люди, как раз на такие акции способные. Алеша Алешковский предлагал связать с телевизионной программой "Времечко". Отец Михаил — с

программой "Сегоднячко". Я пытался поймать Бориса, который в это вечернее время еще болтался между Кремлем и Думой. Я дозванивался по номеру его, как здесь говорят, "мобильного" телефона. ("Ты и убогая, ты и мобильная, матушка Русь!") Наконец дозвонился. Минут через десять он мне отзвонил: "Я им сказал, что, если они не обеспечат доступ в квартиру, я завтра же пойду к их министру, и он с них шкуру спустит вместе с мундирами". Еще минут через пятнадцать позвонил участковый Сергей Сергеич. Философской скорби уже не слышно было в его голосе, а звонил он словно бы доложить мне о последних успехах в нашем деле: "Лев Владимирович, удалось договориться с Натальей Викторовной. Она вас завтра пустит. Только приходите, пожалуйста, один и созвонитесь с ней о времени — когда придете". Я его поблагодарил. "Приходите завтра в пять часов, я буду со своим представителем", — застенчиво сказала Наташа.

10 апреля, пятница

Наташину историю мне рассказала жена С., пока мы сидели в их "форде" на стоянке возле американского посольства. Это одно из немногих мест, где на улицах нынешней Москвы можно увидеть очередь. С. собираются

в Америку не в первый раз. Они приняли горячее участие в нашем деле — из старой дружбы с Эмилем да и, в не меньшей степени, из отвращения к Наташе. Когда С. давеча упомянул очередь за визами, я вызвался помочь. Стараясь не глядеть на зябнущих вдоль стенки людей, я с С. подошел прямо к сторожащему очередь милиционеру и вытащил свой синий американский паспорт ("Мы — Кожевниковы!"). Я оставил С. в приемной и вернулся к машине.

Наташа родом из Гагр, рассказывала мне С., в Москву с курортной родины она приехала со своим еще маленьким тогда ребенком отчасти "кавказской национальности". Где-то кем-то она пристроилась, но занялась слегка фарцовкой, а больше скупкой и перепродажей антиквариата. Продавала в основном ерунду и фальшак, но время югославских сервантов миновало и желающих украсить свое жилье старинными вещами было значительно больше, чем знатоков. Жизнь Наташи была нелегка. На кооперативную квартиру, машину, обеспечение нужных связей требовалось много денег, приходилось крутиться. Она — преданная мать. Изо всех сил тянула сына — мальчик неспособный, нужно было нанимать репетиторов, чтобы протащить его через школу, потом через институт. К началу перестройки и эры свободной инициативы Наташа уже прочно

прижилась в Москве. Она почувствовала веяние новых возможностей, решила сорвать крупный, по ее представлениям, куш — полмиллиона долларов. В это время начался в среде московских скоробогачей строительный бум — в престижных окрестностях строились роскошные виллы. (Оценочные определения "престижный" и "элитный" характерны для языка новых русских, вернее, их прислуги, они вроде не снятого с новой одежды ценника — чтоб все знали, что вещь дорогая, немногим доступная; наивное хвастовство вчерашних нищих, как у Душана Макавеева в "Монтенегро", когда хозяин кафе объявляет новую певицу: "Она только что прилетела на самолете из Нью-Йорка… — и добавляет: — Первым классом, конечно!") Наташин план был быстро выстроить и продать дом на престижной Николиной Горе. Приобретение участка и строительство обошлись бы тысяч в триста, а продать Наташа предполагала за миллион. Надо сказать, что, в отличие от ее прежней, периода застоя, деятельности, ничего незаконного и предосудительного в этом проекте не было. Не было у Наташи и трехсот тысяч, но была энергия и опыт добывания денег.

Прежде всего она поступила так, как поступил бы любой real estate developer[71] в Америке, попросила кредит в банке. В Америке, не имея солидного обеспечения, получить кредит ей было бы нелегко, но в Москве удалось. Правда, далеко не всю сумму, но все же почти треть — девяносто тысяч. А остальные деньги она придумала достать вот как: собрать с миру по нитке. У многих москвичей, как она правильно рассудила, есть какие-никакие валютные сбережения. Лежа в банке или тем более под матрацем, они больших дивидендов не приносят. Пусть люди вложат деньги в ее предприятие после Реализации проекта они вернут свои вклады почти удвоенными. Арифметика получалась нехитрая и очень приятная: занять у банка и у частных лиц триста тысяч, выстроить на эти деньги дом, продать за миллион, вернуть банку и частным лицам полмиллиона, полмиллиона в остатке! И все довольны! "И никого она не собиралась обманывать!" — добавила из чувства объективности С. Инвесторов Наташа отыскивала в своем же аэропортовском квартале. Начала с доктора, соседа по лестничной площадке. И почти всю сумму внутри квартала и собрала. У кого нашлась пара тысяч, у кого — больше. Одна семья внесла аж тридцать тысяч долларов — копили на кооперативную квартиру дочери к свадьбе, и Наташино предложение позволяло надеяться на изрядное увеличение жилплощади молодоженов. Первый и второй этапы прошли успешно — деньги были собраны, дом выстроен. А вот с третьим вышла заминка. Хотя цену Наташа назначила не

миллион, а, по примеру хитрых западных коммерсантов, в конце предыдущего порядка — 950 тысяч, дом не продавался. Причин тут было, по словам С., сразу несколько. Во-первых, участок был хоть и на Николиной Горе в административном смысле, но в смысле рельефа не совсем на горе, а скорее под горкой, прямо сказать, в низинке, что сильно убавляло престижу в глазах потенциального покупателя. Во-вторых, потенциальный покупатель к этому времени уже более или менее нахавался подмосковных вилл и шале и теперь более был заинтересован в роскошных квартирах в центре Москвы, а виллы и шале предпочитал присматривать там, где им и положено быть, — на Ривьере, в Швейцарии, на Багамских островах. И все же, как считает сведущая в этих делах С., за 600–650 тысяч в тот момент еще продать было можно.

И банк, и частные вкладчики получили бы свои деньги с процентами назад, и у Наташи осталась бы приличная прибыль. Но никак не решалась она расстаться с мечтой и все искала миллионного покупателя. А цены тем временем все падали. Дом она в конце концов продала. Видимо, даже что- то выручила, поскольку сразу же купила вторую машину-иномарку для сына и отправила мальчика отдохнуть от трудно дававшейся учебы в дорогостоящий морской круиз. Но ни банку, ни аэропортовским инвесторам возвращать было нечего. Банк, естественно, попытался взыскать свои деньги через суд, но, видно, не одной Наташе так лихо выдавал кредиты этот банк, потому что, на ее счастье, он лопнул. И суд Наташу оставил в покое. Другое дело — соседи. Они никак не хотели примириться с потерей небогатых своих сбережений. Но что могли они поделать! Судиться — дело долгое и ненадежное. Наташа продолжала всех убеждать, что долги отдаст. "И она, я думаю, верит, что как-нибудь когда-нибудь отдаст", — добавила из чувства объективности С. И некоторые рассудили, что если не портить с ней отношений, то, может, хоть что-нибудь когда-нибудь вернет. А иные отнеслись к делу с русским фатализмом: было да сплыло. А некоторые решили тоже играть по новым правилам: как-то ночью выходил Наташин сын, как обычно, из дискотеки, и на него "наехали" — намяли бока, отняли ключи от машины, машину куда-то завезли и бросили. После этого стала Наташа маленькими порциями кое-кому долги возвращать. Но сполна получил свой вклад назад только сосед-доктор. Стратегически используя преимущества соседства через стенку, он знал, когда Наташа дома, и ежедневно по сорок минут стучал ей в дверь. И, так сказать, достучался. Когда начались у Наташи финансовые трудности, тогда и заговорили соседи: "Что это Наташа стала по двору выгуливать

бабулю?" (И.Н.). Характер И.Н. все в доме знали и знали, куда она посылает Наташу с Наташиными подъезжаниями. Но потом И.Н. стала послабее…

С. считал, что я должен представиться прокурору, с которым он был немного знаком по прежней журналистской работе. К прокурору поднимались по узкой лестнице, не было и намека на нормальную приемную, сворачивали в полутемный коридор с грудами пыльных папок, проходили — "Валерий Иванович, к вам можно на минуточку?" — в приоткрытую дверь, долго шли вдоль обычного в советских начальственных кабинетах Т-образного сооружения, составленного из длинного стола для заседаний, который дальним концом упирался в поперечный письменный стол, а там темнела гора тела, увенчанная не глядящей на нас головой. "Почтительным дородством" прокурор был точь-в-точь Петр Петрович Петух, но вблизи стало понятно, что от сходства с симпатичным гоголевским персонажем он хочет избавиться: перед ним на блюдечке лежал его обед — пять или шесть крекеров, в диаметре сантиметра по полтора. Глубоко сознавая неуместность подношения, но понукаемый выразительным взглядом С., я преподнес прокурору "Русскую кухню в изгнании". Если бы не предубеждение Юза против этого глагола, я бы сказал, что прокурор буркнул нечто, может быть, "спасибо", но смотрел он, не отрываясь, на свой обед.

И мы заехали к С. пообедать. В их уютной, хорошо обставленной квартире я увидел на стене популярные портреты Бахтина и других русских философов. Оказалось, оригиналы. Покойный художник Сильвестров был отчимом С. Мы с ним однажды, лет тридцать тому назад, провели несколько дней в приятных разговорах, укрываясь за дюнами Ниды от детско-издательской конференции, на которую нас свезли за счет ЦК комсомола. А квартира эта когда-то принадлежала папиному приятелю, юмористу Раскину, жена которого, Фрида Вигдорова, сыграла такую важную роль в судьбе Иосифа. А с племянником Раскина мы вместе работали одну зиму в Энн-Арборе. О, паутина земли!

До свидания с пленной И.Н. в пять часов мне нужно было сходить в загс, попросить копию свидетельства о смерти отца. Меня предупредили: "У вас примут заявление. А свидетельство выдадут месяца через два". По контрасту с судом и милицией в загсе мне понравилось. Оттого, что люди ходят туда, в основном, по приличным и отчасти даже праздничным делам, и оттого, что там работают одни женщины, там чисто. И там очень тихо. Бесшумно открываются двери кабинетов, и неслышными шагами

проходят сотрудницы загса с чайничками. Посетителей немного, и, войдя в загс, они сразу начинают говорить негромко. А отвечают им загсовские женщины еще тише, и оттого, что разговоры тихие, кажется, что и вежливые. Да и в самом деле здесь не грубят. Когда я нашел дверь с нужной табличкой и, постучавшись, вошел, из-за конторки мне сказали негромко: "Выйдите и подождите в приемной". "Пожалуйста" не сказали, но голос был ровный, а главное, тихий. Я дождался в темноватой приемной, когда уйдет предыдущий посетитель, снова постучался и вошел, изложил свою просьбу. "Ваш паспорт", — прошелестела служащая загса. Это была женщина возраста, который называют "неопределенным" или "определенным", то есть моложавая женщина лет пятидесяти, желтоволосая и голубоглазая, с кукольными или витринного манекена чертами, красавица, если угодно, — она могла бы рекламировать стиральный порошок на американской рекламе 50-х годов или полеты в Сочи самолетами "Аэрофлота" на советской 60-х. "О, у вас синий!" — воскликнула она тихо, взяв мой паспорт. В устах специалиста по паспортам это прозвучало как одобрение: паспорт особого, лучшего качества. И вдруг она заговорила, и говорила она час. И говорила она тихим загсовским голосом, а я слушал и видел, что, говоря, она идет к стеллажам архива, выносит поблеклую книгу записи смертей 78-го года, достает лиловую форму свидетельства о смерти, начинает, не прекращая разговора, ее заполнять.

Рассказывала она мне потихоньку про свою жизнь и иногда задавала вопросы про мою в Америке, и я отвечал, но иногда она спрашивала уж так тихо, что я и через письменный стол не мог расслышать, и тогда я не переспрашивал, а почему-то тихо смеялся, и это почему-то оказывалось впопад, и она продолжала монолог. Начала она с рассказа об окончательной гибели и разорении Москвы, захваченной "черными". Противные, наглые уроды, они возят своих детей в элитные институты… — какие институты элитные, я не расслышал и вежливо посмеялся, —.. на лимузинах. Славянских голубых и светло-серых глаз там не увидишь, только маслянистые черные глазки. Девочкой она ходила в школу пешком, как все, ничем не хотела выделяться, хотя могли возить на "Чайке", папа ведь командовал… — не расслышал, какой, —.. группой войск в Румынии. Раньше была интеллигенция кавказской национальности, как профессор Торчинов, высококультурный и эрудированный преподаватель, когда она училась в Высшей школе ВЛКСМ… — или мне послышалось, и название учебного заведения было другое? —.. и высококультурные люди еврейской национальности все уехали в Америку и стали там профессорами, и приезжают теперь в

Москву, только если нужно, например, получить справку по семейному вопросу, а остались одни черные бандиты и торгаши. Они кичатся своим богатством и презирают русских, потому что русские все теперь нищие. Когда она преподавала эстетику… — или этику (плохо слышно) —.. в Высшей школе КГБ — это место работы я расслышал хорошо, но потом не расслышал всю часть, видимо, объяснявшую переход на нынешнюю службу, —.. а уж новую одежду покупать невозможно. Вот, вы не поверите, я до сих пор хожу, извините, в штанишках, которые носила еще студенткой. Хорошо, что теперь старое все опять вошло в моду. Сын… не слышно, в каком —.. институте. Он уже и зарабатывает неплохо, пишет программы для разных фирм… — я вспомнил сына Наталии Ивановны, —.. мне на день рождения японский телевизор. Я шутливо говорю: "Сынок, может, ты мне еще денег дашь зубы привести в порядок?" А он мне так вдруг холодно: "Мама, к деньгам надо относиться серьезно". У него девушка из Электростали. Вот вы знаете, мне пятьдесят лет, а у меня глаза чистые, как у молодой девушки, а ей двадцать, а глаза хищницы.

Я спросил, как ее зовут, и с чувством искренней благодарности надписал Анне Павловне "Русскую кухню" Вайля и Гениса. Она подробно объяснила мне, как пройти в Сбербанк, чтобы уплатить пошлину, но объяснения она давала так профессионально тихо, что я ничего не расслышал. На улице, выбравшись из глубины квартала, где находится загс, я увидел двух крепышей в черных кожаных куртках. Они стояли возле темно- вишневой "Вольво-850", точь-в-точь как моя. Я по-родственному спросил у них, где Сбербанк. Они переглянулись и помотали коротко стриженными головами, что не знают. Я оторвал взгляд от родной "вольвы" и увидел вывеску Сбербанка через дорогу. Вернулся с квитанцией об уплате пошлины, получил лиловый дубликат свидетельства о смерти отца 9 октября 1978 года, заполненный неожиданно корявым почерком Анны Павловны. (Вспомнил, как гоняла меня кругами тоска допоздна по огромному глухому парку в Ист-Лансинге, когда пришла десятого октября весть о смерти.)

Как было уговорено, я, прежде чем подняться к оккупированной квартире И.Н., позвонил с улицы из автомата: "Наталья Викторовна, я иду". "Нет, Лев Владимирович, — огорченно сказала Наташа, — мы договорились на пять, а вы в пять не пришли, мой представитель уже ушел". Было семь минут шестого. "Завтра?" — спросил я. "Нет, завтра мой представитель не может, приходите в двенадцать в воскресенье". Я повесил трубку. Я позвонил Борису сказать, что договор не выполняется и

пора снимать шкуры с мундирами. "Старик, — сказал Борис, — я на некоторое время выхожу из игры". И, похохатывая, как всегда, когда его смешил собственный рассказ, он сказал, что лежит в бинтах, с наложенными швами и проч. — страшно избитый. Вчера он возвращался с какого-то правительственного мероприятия в обычное время, около полуночи. Поскольку все их "Царское Село" перерыто и подъезжать к дому надо сложным извилистым путем, он отпустил шофера в начале квартала. Решил, что быстрее пешком напрямую, а заодно и воздухом подышать перед сном. Огрели его, видимо, железным прутом по затылку. Он потерял сознание. Сотрясение мозга. Ограбили. Денег было пустяки, но забрали бесценные для журналиста две записные книжки с адресами и телефонами. И еще зачем-то, сволочи, побили. "А мне на следующей неделе лететь с президентом в Японию, пугать своей разукрашенной физиономией японцев", — он хохотал и постанывал, потому что смеяться было больно.

11 апреля, суббота

Колокольного звона нынче в Москве вдоволь, особенно в субботу утром. А ближайшая колокольня у меня прямо за окном. И телефон трезвонил с утра. Л.Г. сказала, что надо опять идти в отделение и оставить заявление о том, что вчера, вопреки договоренности, не пустили. Ольга Богуславская вызвалась сходить со мной — она хочет поговорить с милиционерами для статьи. Эмиль сообщил, что вчера поздно вечером ему позвонили. Сказали отчетливо, с паузами между словами: "Слушайте — меня — внимательно: — если вы — еще раз — появитесь — в районе "Аэропорта" — или — отделения — милиции…" Эмилю не захотелось узнавать, что в этом случае произойдет, он бросил трубку.

В милиции в субботу днем пустынно, не то что позавчера. Походив по пустым коридорам, постучав в запертые двери, наткнулись на молодого человека в черной кожаной куртке. Богуславская показала журналистское удостоверение. Молодой человек спросил со сдержанным волнением: "Это вы по поводу китайцев?" Узнав, что мы не по поводу китайцев, сказал, что Жук на месте. Брезгливо принял мое заявление черноусый, в кожаной куртке Жук. От разговора о захваченной в заложники И.Н. отмахнулся: "Пусть участковый разбирается". И опять поджидали участкового Сергея Сергеича. И опять разговаривал он не веселым и почти товарищеским тоном, как после звонка Бориса, а прежним, усталым, и даже чуть более, чем в первый раз,

презрительным (мундир-то и шкуру и не сняли): "Да чего вы ходите? Жива ваша бабушка". "А вы позвоните, скажите, чтобы нас сейчас впустили, чтобы хоть увидеть И.Н.", — попросили мы. Он, вздыхая и покачивая головой в смысле осуждения нашей мелкой и суетной недоверчивости, набрал номер И.Н. и сказал: "Алё, это участковый инспектор Мелехов. Ну, как у вас? — и, оборачиваясь к нам: — Вот я с ней лично поговорил". Прежде чем он успел повесить трубку, я перехватил: "Дайте мне, пожалуйста! Я хочу услышать И.Н.". Но в трубке услышал я голосок Наташи: "Я не могу ее сейчас вам дать, мы ее недавно покормили, и она теперь спит". Я подумал: "Поздравляю вас соврамши, Сергей Сергеич", — а Ольга сказала: "Ну, тут все ясно, пойдемте".

Деннис и Хайде пригласили Гандлевских ужинать, но мне все время приходилось уходить в другую комнату на звонки доброжелателей и советчиков. Звонил Алеша Алешковский, и мы договорились, что попробуем завтра прорваться к И.Н. со съемочной группой программы "Времечко".

12 апреля, Вербное воскресенье

Со съемочной группой договорились встретиться у памятника Тельману. Если выполненный в стиле колоссального тотемного столба Петр Первый Церетели лезет в глаза, даже когда кажется, что идешь в противоположную сторону, Тельману неизвестный мне ваятель придал свойство почти полной невидимости. Вот уже вторую неделю ходил я туда и обратно в нескольких метрах от монумента и до сих пор не подозревал о его существовании. Может быть, он тут стоял и двадцать два года назад, и тогда я его точно так же не замечал. Да что я! И кто-то из сопровождавших меня москвичей переспросил: "Тельману? А где он там?" Зато отовсюду на этой маленькой площади, где базарная улица Черняховского упирается в Ленинградский проспект, виден живой таджик в драном стеганом халате — он сидит на земле у дыры подземного перехода, одной рукой обнимая младенца, а другую вытянув за подаянием. За таджиком, место лазурного верещагинского фона, асфальт, мокрые автомобили мчатся по проспекту, с неба сыплется мразь, не то дождь, не то снег.

Встретиться договорились в полдень, но куда-то запропал оператор, потом звукооператор, Алеша нервничал, бегал звонить, топтались между Тельманом и таджиком до полвторого. Наконец все собрались и пошли к воротам И.Н. — Алеша, оператор, звукооператор и осветитель со своими орудиями, Л.Г. (юридическое обеспечение), Деннис и Ксения (моральная

поддержка) и я, приказав себе: "Терпи". В подъезд нас впустил по домофону доктор, Наташин сосед, и спустился с седьмого этажа, присоединился к нам на четвертом. Мы хотели, чтобы с нами в квартиру к И.Н. вошел и врач. Оператор вскинул камеру на плечо, звукооператор и осветитель навесили над площадкой свои удилища. Алеша мне кивнул, я позвонил. Звонок не работает, отключен. Я постучал. Тишина. Я застучал сильнее, молотил в дверь кулаком. Тишина, а потом знакомый голосок, но с нотками воинственности: "Не пущу, мы не договаривались, вы И.Н. не сын, на похороны отца даже не приехали". Алеша стал вести переговоры с дверью: "Почему бы вам не выйти, не объяснить перед камерой свою позицию?.." Л.Г. с юридических позиций объяснила двери, почему она не имеет права не открываться. Странность, нереальность ситуации усиливалась тем, что никто, ни один человек не высунулся из других квартир на сильный шум, не пришел полюбопытствовать. Только лифтерша поднялась и, не выходя из кабинки лифта, поглядела. Росту она была невысокого, и по тому, как из-за стекол лифта торчал старухин нос, понятно было, что она поднимается на цыпочки. Потом лифт уехал вниз. Потом она поднялась еще раз. И опять спустилась, только поглядев из-за стекла на цыпочках. Людмила Георгиевна и Алеша вели переговоры с дверью довольно долго, но я почти не слушал, я был сильно испуган. Точнее сказать, я ужаснулся. Вот чему— тишине за дверью. Я молотил кулаком сильно и долго, И.Н. лежит в бывшей столовой у стенки, выходящей на лестницу. Как я заметил за эти дни, она живо реагирует на приходы, уходы, нервничает, начинает сердиться, если мешкают открыть дверь. А тут — тишина. Когда мы наконец ушли от неприступной двери и зашагали всей компанией в опостылевшую ментовку, ужас не покидал меня.

Осветитель светил, оператор жужжал камерой, звукооператор удил звук: я говорил в окошечко дежурному, что пришел сделать заявление об удержании заложника. Несколько черных кожанок с усами и милицейских мундиров пришли в приемную полюбопытствовать. Один из усачей, с приросшим к уху сотовым телефоном, которого я поначалу краешком сознания отметил как киоскера (чем-то он недотягивал до мента), сказал мундирам: "Они же все отделение подставляют". Тогда один из мундиров велел прекратить съемку. Прекратили. Мне сказали, что я должен дать объяснения участковому инспектору, но Сергей Сергеича по случаю воскресенья нет, пройдите к дежурному участковому. Телевизионщики ушли делать вторую попытку проникнуть в квартиру, а мы с Ксенией — к дежурному. Дежурный мне понравился. Это был совсем молодой милиционер. Он пригласил

присесть. Он сказал, картавя: "Ну, давайте 'азби'аться". Взяв у меня паспорт, он стал разглядывать его с любопытством и даже пояснил слегка извиняющимся тоном: "Никогда еще их не видел". А потом произнес, видимо из патриотизма, не вполне понятную фразу: "У нас такие тоже начинают появляться". Пока дежурный участковый любовался американским паспортом, я разглядывал большой, на четыре письменных стола, кабинет, стараясь понять несуразное первое впечатление: что-то здесь есть от церкви. Ах вот что! На тусклом фоне два цветовых пятна: у окна, напротив входа, золотистый, как икона, портрет, а в противоположном по диагонали углу, слева от двери, большой плакат зловеще-красного цвета, как картина Страшного Суда: "Дывысь, яка кака намалевана!" Портрет был портретом Ленина, выполненным в нежно-лимонных с розовыми отбликами тонах, а на багровом плакате просматривалось существо с гитарой. Я стал рассказывать, опять с самого начала, нашу историю, вежливый милиционер записывал мои показания, задавал вопросы почти участливо, но и он один раз вдруг неумело вскрикнул: "Вы что тут, понимаете!" — и покраснел. В середине моего рассказа произошло непонятное — в кабинет вошел тот киоскер со стандартными усами на стандартном бледном личике.

Вошел без стука, и я подумал: "Нет, все-таки мент". Он встал картинно посреди комнаты и прервал мой монолог своим. То, что он говорил, поражало стилистической несовместимостью с происходящим. Он словно бы пришел прямо со сцены провинциального театра сорок девятого года с монологом комсорга, разоблачающего безродных космополитов. "Вот, — говорил он отчетливо, с паузами между словами, делая захолустные жесты в мою сторону, — человек, — именующий — себя — американским — профессором — русской литературы…" (Когда-то мой друг художник Г.В. Ковенчук говорил, что советская риторика сумела окрасить зловещим смыслом некоторые по существу безобидные, отражающие объективную реальность обороты речи: инженер именует себя, с полным на то основанием, "инженером", писатель имеет членский билет Союза писателей и носит его в кармане пиджака, но если в газете один обозначен как "именующий себя инженером", а другой как "носящий в кармане членский билет Союза писателей", то у читателя сразу возникает недоверие к этим проходимцам.) "Не профессор — и не русский! У нас с ним нет общей родины!" — вопиял господин с усами и сотовым телефоном. Но, помимо шаблонных фраз из допотопных пьес, проскальзывало в его монологе и другое. Например, разоблачая меня как "именующего себя профессором", он произнес фразу, показавшуюся мне

безумной: "Я каждый месяц летаю в Америку и знаю, какие там профессора!" — а подводя монолог к финалу, воскликнул патетически: ".. даже на похороны родного отца не изволил прилететь!.." — что я уже слышал сегодня из-за двери. К этому он прибавил: "А теперь, когда в воздухе запахло, — он вскинул вверх свободную от сотового телефона ручку и потер указательным пальцем о большой, — тут как тут". К собственному удивлению, я заметил, что, по мере того как он декламировал, мною овладевало все большее спокойствие — и ужас, сжимавший грудь последние два часа, и даже вообще нервное напряжение всех этих дней — вдруг все ушло. Какие там неожиданные токи пробежали под бедной коркой моего мозга, ума не приложу, но я вдруг испытал столь нужную релаксацию. Ксения же и, как мне показалось, дежурный участковый глядели на нелепое вторжение ошеломленно. "А вы, собственно, кто такой?" — спросила Ксения. "Андрей", — со скромным достоинством ответил усач. "Но на каком основании вы вмешиваетесь?" — "Я представитель Натальи Викторовны". — "А документы у вас, подтверждающие представительство, есть?" — "Есть", — сказал Андрей и ушел, словно бы за документами. "Это еще кто такой?" — спросила Ксения у дежурного. Тут я понял, что милиционер смотрел на Андрея вовсе не так, как Ксения или я, не обалдело, а радостно. "Вы что же, не узнали?" — спросил, все еще радуясь, милиционер. "Нет", — пожала плечами Ксения. "Это — Г'адский", — сказал милиционер и показал через комнату на багровый плакат.

Потом я спросил у Ксении и спрашивал у знакомых, чем знаменит усатый господин с багрового плаката. Многие не знали вообще, некоторые "что-то такое смутно припоминали", а самые знающие говорили, что это — актер, который играл какие-то роли в сериалах, но более известный по телевизионной рекламе какой-то фордовской машины, то ли "эскорт", то ли еще какой. На почве интереса к иномаркам произошла его дружба с Наташей, и в отделении милиции, судя по всему, слава его была велика.

Когда радостное волнение улеглось, вежливый милиционер закончил записывать мои показания, дал мне расписаться. Писал он не без ошибок ("прожевает"). Я расписался, посмотрел за окно. Невнятная мразь превратилась в редкий, но настойчивый снег. Ксения сказала: "А неофициально скажите, если бы с вашей мамой или бабушкой такое случилось, вы бы что сделали?" The good cop сказал: "Неофициально? Взял бы слеса'я, взломал бы две'и, и никакая милиция мне ничего бы не сделала. Как и мы для вас ничего не сможем сделать".

Когда мы в сумерках возвращались в Серый Дом, снег валил уже густой. Начался необычный, катастрофический апрельский

снегопад в Москве, о котором завтра сообщат во всем мире, из-за которого Лужков пригрозит уволить гидрометцентр, как Ашшурбанипал астрологов. По Тверской мы ехали сквозь сугробы медленно-медленно, и я думал, что главная улица Москвы больше других московских мест не совпала с моей памятью о ней — оказалась значительно уже, некрасивее, чем помнилась. Вывески интернациональных компаний на сталинских домах — как на корове седло. Гостиница "Минск" — когда-то, новопостроенная, она казалась мне шикарным вкраплением Запада — выставилась обшарпанная, нищая, с ее большими окнами, грязными, как окна деревенского газика после долгой поездки по осенним дорогам.

Еще не совсем темнело, когда мы вернулись в Серый Дом, и я долго стоял в своей комнате у окна. За окном — церковь Николана-Берсеневке и при ней подворье. Церковь и церковный дом — розовые, купола церкви черные и золотые. Обнесенное стеной четырехугольное пространство завалено густым снегом. Снег продолжал сыпаться. Иногда с засыпанного снегом черного вяза слетала ворона со снегом на крыльях и перелетала на другой вяз. А потом вдруг из церкви вышел монашек и, явно уверенный, что его никто не видит, большими прыжками, взмахивая черными крыльями рясы, заскакал по сугробам. Но не улетел, опять скрылся в церкви.

13 апреля, понедельник

По первоначальному плану сегодня я был бы в Петербурге у друзей, обсуждал бы с издателями "Библиотеки поэта" свои комментарии к Иосифу, на завтра назначено выступление в Ахматовском музее, но первоначальный план пошел прахом. Дома брошена работа, надо срочно возвращаться. Собственно, делать мне в Москве больше нечего, так, разные формальности — заплатить адвокату, составить для нее и для Ксении доверенности на ведение моих дел и т. д. Отправить бандероли с надаренными книгами. Холодный, мокрый, в снежном месиве день. Такая погода стоит в "Московском дневнике" Вальтера Беньямина: "На Тверской, у стены Музея революции, сидели в снегу двое детей, накрытых лохмотьями, и скулили". Перед этим он пишет: "Встречается много нищих. Они обращаются к прохожим с длинными мольбами. Один из них, как только появляется прохожий, на которого он может рассчитывать, начинает тихо выть". Все это сейчас переместилось с улиц в подземные переходы. "Прошли мимо пьяного, лежавшего на тротуаре и курившего". Еще Беньямин пишет о москвичах: "Из-за

полной несобранности люди ходят какими-то зигзагами". И еще: видя, до какой степени необязательны москвичи — назначают встречу и не приходят, — он думает: а может быть, они сумасшедшие? Но и сам он хорош, несносный наблюдатель: неловко читать все его страдания из-за жадной сучки, любительницы сладенького, которая иногда дает ему полежать рядом. А эти по-товарищески, по-партийному дружеские записи о кретине и доносчике Билль-Белоцерковском! Зато "пьеса Булгакова — совершеннейшая подрывная провокация". Затмение ума накатило на Беньямина в Москве от болезненной страсти, от желания "примкнуть" и от декабрьской непогоды. А сверх того висит над книгой тень близкой катастрофы — то-то еще будет в Москве и в Берлине через каких-нибудь четыре-пять лет! И Беньямин умрет скорее, чем он думает, ведя свой дневник (а болезненные Ася и Райх, которые так терзают его своими капризами, намного его переживут и даже в относительном благополучии).

Заботливый и обязательный Гандлевский сходил со мной на почту отправить надаренные книги и к нотариусу. Потом обедали у него с Геком Комаровым. Обедали! Гек не ест даже постного, только выпил рюмку водки. Он несколько раз повторил: "Простите эту несчастную страну!" Меня бы кто простил. (Куприна, когда он вернулся в СССР в 1938 году, повели на первомайский парад, он маразматически плакал и приговаривал: "Меня, великого грешника, сама армия простила!") Лена показывала свои работы. По воскресеньям она снимает молодоженов в загсе. Старый алкаш, удавленный галстуком, с крепенькой хищницей делового вида. Необъятно жирная молодка с мелким фиксатым азербайджанцем. И т. п. От своих татарских переулков Гандлевский проводил меня назад к Серому Дому. Заодно и выгулял неизменно оптимистичного белого боксера. На мокром плацу перед москворецкой стеной Кремля под духовую музыку маршировали солдаты, готовились к первомайскому параду. Именно тут веселый боксер вздумал облегчаться, присел над сугробом, справлял свои дела, смотрел на парад и переминался передними лапами в такт "Прощанию славянки".

14 апреля, вторник

Вот как я провел этот день: поскольку Л.Г. вчера со мной встретиться не смогла, сказала, что сама заедет в Серый Дом сегодня, "около часу". Когда "около часу" прошло, я позвонил ей, и она сказала: "Часа в четыре". Я сходил на Кузнецкий мост в

Finnair, обменял билет, чтобы лететь обратно из Москвы, а не из Петербурга. Дозвонился до нее в четверть седьмого. Тут она впервые, нет, не извинилась за то, что заставила меня весь день прождать, а объяснила: "У меня мастера спутниковую антенну устанавливают". Все говорят, что она знающий юрист и очень добросовестна. Но такова деловая этика Москвы: домашнее благоустройство неизмеримо важнее, чем график деловых свиданий, — кто же этого не понимает! Поскольку я томился ожиданием в квартире адвоката-американца, я позабавился мыслью — вот бы он не пришел, без предупреждения, на свидание с клиентом, а потом объяснил бы: телевизионную антенну устанавливали. При том, что клиент платит ему гонорар, равный приличной средней полугодовой зарплате. Недолго бы продолжалась его практика. Но тут же и простое соображение: в Москве хорошего юриста найти трудно, а в Америке адвокатов пруд пруди. Деннисом же рассказанный анекдот: "Вы слышали, начинают заменять лабораторных крыс адвокатами: во- первых, их значительно больше, чем крыс, а во-вторых, к крысам у лаборантов иногда возникает чувство привязанности". Появилась Л.Г. в одиннадцатом часу вечера.

До нее пришел Виктор Куллэ. Как странно мне иметь с ним дело! Не было у меня в юности друга ближе, чем Сергей Кулле. И ни с кем судьба не разводила меня жестче, чем с Сережей, В 84-м году Сережа умер от рака мозга. Был он ни на кого вокруг не похожий, удивительно одаренный поэт. А уж умнее его я вряд ли кого знал. (Но о нем отдельно, не в этих записках.) И вдруг появляется еще один человек с той же необычной фамилией, Сережин племянник. И знакомимся мы потому, что оба занимаемся составлением комментариев к стихам Бродского: он для собрания сочинений, я для "Библиотеки поэта". Паутина земли. Из четырех темпераментов дядя и племянник обладали противоположными. Сережа был молчаливый меланхолик, а Виктор — человек, несомненно, темперамента холерического, бурно деятельный, говорливый. Он захлебывается собственным монологом и хватает воздух с птичьим звуком: и-ить! Но при этом контрасте темпераментов есть и сходство характеров. Виктор, как и его покойный дядюшка, обладает редким для русского интеллигента умением доводить дело до конца. Он пишет, издает, редактирует. Вот с прошлого года начал вытягивать захиревший журнал "Литературное обозрение", и неплохой журнал стал получаться. Почему у одного в конце "е", а у другого "э"? После ареста в начале 30-х Сережиного дяди и двоюродного деда Виктора, известного в те времена критика и литературоведа Роберта Куллэ, часть родни отказалась от опасного французского

окончания в пользу скорее по-эстонски выглядящей фамилии, что, как вскоре выяснилось, было один хрен. Виктор не похож на Сережу, разве что так же откидывал в юности Сережа прямые темно-русые волосы с такого же лотарингского лба.

Вышла пространная статья Ольги Богуславской в "Московском комсомольце". Вся наша история там подробно изложена, и каждый период заканчивается так: "Берут ли в милиции взятки? Вы знаете ответ на этот вопрос… Берут ли нотариусы взятки… Берут ли судьи…" "Так, — думал я, читая, — попомнят нам эту риторику в милиции и в суде". А вечером по телевизору во "Времечке" показывали мое стучание во дверь. Смотреть на себя было неловко. И какой невыразительной показалась эта история среди других сюжетов — найденных в подвалах трупов, расстрела милицией дружелюбных ласковых дворняжек и т. п.

Как каждый вечер, много звонков. С. рассказал: вчера по снегу тормозил у своего подъезда и толкнул стоявшую рядом машину, чуть помял ей бампер. Сразу же выскочил и предложил владельцу заплатить сколько тот скажет. Но владельцу помятого бампера, молодому здоровому мужику, денег было не надо — он одним ударом послал С. на землю, а потом еще и побил ногами.

Звонил Еремин. Спросил: "Значит, ты даже на один день не заедешь к нам?" Я объяснил, почему не могу. Еремин сказал: "Тогда мы с Уфляндом завтра приедем".

15 апреля, среда

Они и приехали в Серый Дом прямо с вокзала рано утром. Это очень близкие мне люди. Нам было по семнадцать лет, когда мы встретились, а сейчас за шестьдесят. Еремин и Уфлянд из другой жизни, из другого города, не в этих заметках я о них напишу.

С. повез нас с Эмилем и Л.Г. в прокуратуру. На этот раз похожий на П.П. Петуха прокурор был куда активнее. Еще пока мы шли гуськом вдоль длинного стола, он начал нас ругать: "Ни к чему этот еврейский накат — статейки эти, телевидение!" Но особенно доставалось С.: "Читал я ваши детективчики… Знаю я ваших героев…" Я думал, что он сейчас обругает и "Русскую кухню в изгнании", но он увлекся воспоминаниями о благородных, неподкупных милиционерах былых времен, которые могли и стакан выпить и не всегда знали, какое слово через мягкий знак пишется, но чтобы милиционер брал взятки, такого

просто и представить себе было нельзя. Потом он перешел на нынешний судейский беспредел. "Да они на всех плюют! На запросы прокуратуры они могут не отвечать го-да-ми! Создали себе институт безответственных судей". — "Наши законодатели и создали, за которых мы голосовали", — сказал С. "Какие законодатели?" — ехидно поинтересовался прокурор. "В Думе". — "А где это вы в Думе видели законодателей? Там одна шпана…" Он красочно обрисовал безнадежное положение в нынешних судах, несколько раз невыгодно сравнив их с американскими, и, как мне показалось, взглянув искоса на меня при этом, незаметно перешел к нашему делу. Он продолжал с той же сердитой интонацией, с какой начал, но мало-помалу из его речи становилось ясно, что он прекрасно знаком со всеми обстоятельствами нашего дела. Более того, и все предыдущие Наташины проделки были ему хорошо известны. И, говоря, он нажимал кнопки, входили сотрудницы, он негромко давал им распоряжения по нашему делу и продолжал ругать нас за развал милиции и судов. Уходя, я искренне поблагодарил его за интересную беседу.

Потом мне надо было зайти еще к одному нотариусу, а потом я вернулся в Серый Дом на леваке, который оказался изобретателем изумительной системы очистки воздуха от вредных газов и мечтал продать свое изобретение в Америке. "Хотя бы в Южной", — прибавил он со вздохом.

С Ксенией поехали в Черемушки навещать изувеченного Бориса. По дороге забрали Уфлянда с Ереминым. Они стали на постой в комнатке при реставрационных мастерских. Там нам показали уже почти полностью отреставрированный сундук Софьи Андреевны Толстой, тот самый, в который складывались черновики "Войны и мира".

Под впечатлением от сундука поехали дальше. И Ксения, и Еремин знали район хорошо и пришли к выводу, что самый короткий путь будет по Зюзинской улице. Заехав в Зюзинскую улицу, подать назад невозможно. Зюзинская улица представляет собой цепь глинистых бугров, выступающих из обширных луж неизвестной глубины. Машину, ползущую на малой скорости, стало встряхивать. Ксения занервничала. Поскольку Миша ходит на костылях, а Володя с палочкой, выскочил из машины я. Я шел впереди, промеряя Володиной тростью глубину луж, а за мной полз, переваливаясь, мышастый "сааб".

16 апреля Страстной четверг

Мы выехали в Шереметьево рано, с большим запасом

времени, и хорошо сделали, потому что ехать приходилось обычным в Москве спазматическим образом — от пробки до пробки: что-то перекапывали, какие-то проверки на дорогах устраивала ГАИ. После испытания Зюзинской улицей стала спускать правая передняя шина, Деннис волновался по поводу возвращения в город и цитировал гоголевского мужика: "Доедет ли это колесо до Москвы?" В голове крутилось из моего старого стихотворения: "В грязноватом поезде татарском подъезжаю к городу Москвы". Возвращаясь из Ульяновска, я по совету Ковенчука прислушался к хрипу вагонного репродуктора, и правда, оттуда трещало: "Граждане пассажиры, поезд прибывает в столицу нашей родины, город Москвы". Ы как падежное окончание норовит заменить собой другие с ордынских времен. "Из гласных, идущих горлом, выбери "ыа, придуманное монголом" и т. д. Автодидакт, Иосиф всегда жадно выслушивал, даже предпочитал, мне кажется, чтению "дайджесты" всевозможной научной информации. В Энн-Арборе я частенько пересказывал ему, что сам только что прочитал по истории русского языка, в том числе Трубецкого. Трубецкой писал, что звук "ы" попал в восточнославянские языки из тюркских. Москва как татарский город — общее место в русской поэзии, хотя в словосочетании "татарский город" таится культурно-исторический оксюморон: у номадов не было своих городов, были стойбища или города покоренные, разоренные, загаженные. Есенину даже нравилось: "Золотая, дремотная Азия…" Мандельштаму хотелось, чтобы понравилось: "Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…" У Бродского резиньяция — что случилось, то случилось: "Полумесяц плывет в запыленном оконном стекле над крестами Москвы, как лихая победа Ислама". Что бы ни врал Филофей, никаким "третьим Римом" от Москвы и не пахло. Она — второй Константинополь, не дождавшийся Ататюрка, который прищучил бы вороватых, продажных и чванных чиновников. Белогвардейские памфлетисты проявляли завидное историческое чутье, когда называли тирана, ответственного за нынешний облик Москвы, "грузинский Абдул-Хамид в красных штанах". (О последнем султане Абдул-Хамиде энциклопедия сообщает, что он установил в Турции режим "зулюм", и в скобках дает перевод этого слова: насилие.) Сталин зулюм свой собирался увенчать вавилонской башней с лысым големом на вершине и для этого в одночасье взорвал христианскую церковь, которая строилась семьдесят лет, потому что деньги, собранные нищими на ее постройку, разворовывались поколениями чиновничьей сволочи. То, что споро возвела нынешняя власть, побуждает сделать три выписки из "Стамбула" Бродского: (1) "комплекс шатра", (2)

"придавленность к земле", (3) "нет большего противоречия, чем торжествующая Церковь, — и нет большей безвкусицы". Большей нет, но большой в Москве хватает. Церетелиевские поделки сравнивают с Диснейлендом, но Диснейленд — это китч развлекательный а московские петры и поклонные горы — китч аллегорический, символизм для неграмотных, наподобие гигантской арки из скрещенных сабель радующей глаз Саддама Хусейна, или подкрашенных марганцовкой "фонтанов мученической крови", утехи аятолл.

Развлекая меня, Борис между прочим рассказал, как ходил он по Новодевичьему кладбищу в ожидании важных похорон и вышел на аллею внушительных новых монументов из черного лабрадорита — могилы павших бандитов. На одном надгробии золотыми буквами было выбито:

Говорил я тебе, Петя, туда не ходи!
Сидор

Наследство у меня украли. Ну да бог с ним, "все равно все пропало", как приговаривала Ахматова. И.Н. осталась умирать в лапах вороватой дряни. У меня получилось как в дурном сне или в кино: в последнюю секунду руке не хватает сил, пальцы разжимаются.

В аэропорту с татарским именем я купил две газеты. Страшные фотографии были на первых полосах обеих и рассказ о том, как запытали для потехи солдатика на гауптвахте провинциального гарнизона.

Внизу, не видный под облаками, оставался мой город, куда я не вернулся. Я вспомнил анекдот о погрязшем в сутяжничестве летчике и подумал, что так можно было бы назвать мои записки — "Потерпевшая сторона". Нет, слишком многозначительно — "Край родной долготерпенья…" и т. п.

Тем временем "боинг" уже перелетел Финский залив и снижался на другой стороне, в Хельсинки.

От составителей

Замысел издания мемуарной прозы принадлежит самому Льву Лосеву, незадолго до смерти описавшему часть своего архива следующим образом: "Это разные законченные и незаконченные мемуары. Я бы хотел их издать в России…" Эта часть архива и легла в основу настоящего издания.

Его первый раздел составила законченная и неопубликованная книга воспоминаний о Бродском "Про Иосифа".

Составившая второй раздел книга "Меандр" не была закончена, и ее публикация до определенной степени представляет собой реконструкцию авторского замысла. Лосев работал над книгой в течение многих лет и в последние годы — в нескольких файлах одновременно; для настоящей публикации взят самый пространный и поздний из них. В него, в соответствии с общим хронологическим принципом композиции "Меандра", вставлены написанные в отдельных файлах очерки "В Москву, 1945" и "Отъезд", а также (несмотря на незначительные текстуальные совпадения с очерками "Второе рождение" и "Сельвинский") неоднократно опубликованный очерк "29 января 1956 года" (в настоящем издании печатается по книге: Лосев Л. Собранное. Екатеринбург, 2000) — на его расположение в тексте "Меандра" однозначно указывает начало следующего очерка, "Сельвинский" (пассаж о Сельвинском, позднее перемещенный Лосевым в отдельный очерк о поэте, убран из текста "29 января…" без обозначения купюры). Также в рамках этой хронологической логики очерки "Второе рождение" и "Walter de la Маге", находившиеся в исходном файле после очерка "Сын дилетантки", в обратном порядке перемещены на место после очерка "Целительная Абхазия". Кроме того, из текста "Меандра" изъят очерк "Звание для Уфлянда", приуроченный к 60-летию поэта. Подчиненный конкретной прагматической задаче, он, вероятно, мыслился Лосевым как исходный материал для соответствующей главы "большой" мемуарной книги, но так и остался непеределанным. (Под заголовком "Народный поэт" этот текст был опубликован Лосевым к 70-летию Уфлянда; в настоящей книге он помещен в третий раздел.) Несколько содержащихся в файле незаконченных набросков и элементов плана работы из публикации устранены; трем неозаглавленным очеркам присвоены редакционные заглавия (они даны в угловых скобках); очерк "За столом Томаса Манна" заменен на более поздний вариант, сохранившийся в отдельном файле.

Целый ряд фрагментов "Меандра" публиковался Лосевым в литературных журналах (Звезда. 1997. № 6; Стороны света. 2006. № 2; Звезда. 2007. № 6 и др.). Очевидно, частью "Меандра" должны были стать и другие мемуарные очерки, напечатанные при жизни Лосева, — на это указывает публикация пяти таких текстов ("Тулупы мы", "29 января 1956 года", "Крестный отец самиздата", "Homo ludens умер", "Русский писатель Сергей Довлатов", "Юз!") под общим заглавием "Меандр. Из книги" в книге Лосева "Собранное", а также первая публикация "Homo ludens" с подзаголовком "Из книги "Меандр"" (Звезда. 1994. № 8). Не рискуя искать для них место в "большом" корпусе "Меандра" (исключая, как уже говорилось, очерк "29 января 1956 года"), мы объединили их в третьем разделе, дополнив несколькими мемуарными текстами, которые Лосев публиковал в 2000-е годы и, вполне вероятно, также считал материалом для будущей книги. Очерки третьего раздела печатаются по последним прижизненным изданиям (в ряде случаев их текст уточнен про предыдущим публикациям; подробную библиографию Лосева см. в книге: "Филологическая школа": Тексты. Воспоминания. Библиография. М., 2006):

Тулупы мы // "Филологическая школа":
Тексты. Воспоминания. Библиография. М., 2006
(далее: Филологическая школа);
Крестный отец самиздата // Лосев Л. Солженицын
и Бродский как соседи. СПб., 2010
(книга была подготовлена при жизни Лосева; далее: Соседи);
Homo ludens умер // Соседи;
Русский писатель Сергей Довлатов // Соседи;
Юз! // Соседи;
Упорная жизнь Джемса Клиффорда // Соседи;
Гениальные обмолвки // Филологическая школа;
Отсутствие писателя // Звезда. 2004. № 8;
Герасимов в первую очередь // Звезда. 2005. № 5;
Яблоко Рейна // Соседи;
Народный поэт // Звезда. 2007. № 1;
Живое тепло // Новое литературное обозрение. 2007. № 86.

Четвертый раздел составил стоящий особняком в ряду мемуарных текстов Лосева очерк "Москвы от Лосеффа" (печатается по: Знамя. 1999. № 2).

За помощь в работе искренне благодарим Нину Павловну Лосеву и Дмитрия Львовича Лосева, а также Михаила Гронаса и

Яшу Клоца.

notes

Примечания

1

Подробнее о принципах, которыми руководствовались составители настоящего издания, говорится в завершающей книгу заметке.

2

Известный в свое время писатель, да еще и отец Вирджинии Вулф; это он сказал о Дефо.

3

Даугава. 2001. № 6. С. 101.

4

Ардов М. и др. Легендарная Ордынка. СПб.: ИНАПРЕСС, 1997. С. 159.

5

Интересно, что то же укрупненное впечатление у Сергеева было и от сочинений Бродского. Он пишет: "Его "Исаак и Авраам" — действительно тысячи строк, а 500 строк моего перевода (поэмы Э.А. Робинсона "Айзек и Арчибальд". — Я.Я.), как в оригинале, ему показались до обидного куцыми" (Сергеев А. Omnibus. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 433). На самом деле в "Исааке и Аврааме" всего 607 строк, то есть только на треть больше, чем в поэме Робинсона (416).

См.: Patera T. A Concordance to the Poetry of Joseph Brodsky. Lewiston, N.Y.: The Edwin Mellen Press, 2003. Vol. I–VI.

Другое исключение — Маяковский, который "наступил на горло собственной песне"; это следует понимать если не буквально, то всерьез.

Ранее им был написан столь же подробный разбор стихотворения Одена "1 сентября 1939 года", а позднее — стихотворений "Орфей. Эвридика. Гермес" Рильке и "Семейное кладбище" Фроста

9

Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 2000. С. 182.

Теперь это переводят как "систему сдержек и противовесов".

11

"На небе ни клочка лазури, / В степи все плоско, все бело, / И только ворон против бури / Крылами машет тяжело".

12

"Вот уж снег последний в поле тает, I Теплый пар восходит от земли, / И кувшинчик синий расцветает, / И зовут друг друга журавли".

13

См.: Волков С. Указ. соч. С. 66.

По воспоминаниям Г. Гинзбурга-Воскова, это был политико-философский трактат, написанный в форме письма президенту Кеннеди.

15

В книге Белли и его спутника Дэнни Джонса о путешествии по СССР (Belli MM, Indianapolis, N.Y.: The Bobbs-Merrill Co., 1963) этот эпизод не упоминается.

Волков С. Указ. соч.

17

См.: Шахматов О. "Грехи молодости" сквозь призму лет и мнений // Понедельник (Вильнюс). 1997.7-13 ноября. № 45. С. 11.

18

Публикация О. Эдельман, www.svoboda.org/ programs/ td/2001 /td.060301.asp. Из справки видно, что офицер госбезопасности не имел представления о том, кто такой Белли, и даже не знал, что Мелвин ("Мельвин") — имя, а не фамилия.

Шахматов О. Указ. соч.

Шахматов О. Указ. соч.

21

Там же.

"Корешем" оказался И.П. Смирнов, который рассказал об этом эпизоде в очерке "Урна для табачного пепла" (Звезда. 1997. № 1.С.146).

23

Бродский И. Пересеченная местность / Сост. и автор послесловия П. Вайль. М.: Независимая газета, 1995. С. 178.

24

Дух дышит, где хочет: Владимир Васильевич Стерлигов, 1904–1973. СПб.: Музеум, 1995. С. 39.

25

Бобышев и Найман — выпускники ленинградского Технологического института.

26

Саморазоблачительная катастрофа — сочинение с лакейским названием" Сэр". Послал Бог старому разговорчивому Исайе Берлину собеседничка! Как будто старый профессор философии разговорился с официантом.

27

Ардов М. и др. Указ. соч. С. 158.

28

Записные книжки Анны Ахматовой М.; Torino: Giulio Einaudi editore, 1996. С. 421. В квадратных скобках (1958–1966). зачеркнутое, в угловых — конъектура.

29

Готхарт Я. Двенадцать встреч с Анной. Ахматовой // Вопросы литературы. 1997. Ц 2. С. 290.

Волков С. Указ. соч. С. 318.

31

Интервью, данное Д.М. Томасу (Quatro. 1981. December. № 24).

32

"Марш Радецкого" я читал по-английски, с английского и перевожу, не полагаясь на свой минимальный немецкий.

33

Цитируется в журнале: The New Yorker. 2002. September 2. P.147

А вот недавние генетические исследования показали, что евреи-ашкенази действительно потомки древних иудеев, а не тюрков

35

Иосиф Бродский: Большая книга интервью / Сост. В. Полухиной. М.: Захаров, 2000. С. 655–656.

36

Потом родители Амалии переехали с ней в Одессу, потом в Вену. Богатый двоюродный брат Зигмунда, Симон Германович Натансону молодости австрийский офицер, жил в Одессе. Другие дяди, тети, кузины и кузены — в Румынии, в Бухаресте и в Яссах. Со стороны отца семья в начале восемнадцатого века переместилась из Литвы в Галицию. О российских корнях Фрейда можно прочитать в интересной книге: Sice J.L Freud's Russia: National Identity in the Evolution of Psychoanalysis. New Brunswick; London: Translation Publishers, 1993. К автору книги, Джиму Райсу, Бродский очень тепло относился, любил его за светлый ум и веселый характер.

Бобышев Д. Я — здесь // Октябрь. 2002. № 11

38

Цитируется по: Гордин Я. Перекличка во мраке: Иосиф Бродский и его собеседники. СПб.: Пушкинский фонд, 2000. С. 167–168.

39

Вообще-то вермонтская деревня, где находится Вермонтский университет, называется Нортфилд (Northfield), но русские называли его Норвичем по имени университета.

Краснов-Левитин А. Лихие годы, 1925–1941. Paris: YMCA-Press, 1977. С. 331.

41

Семенов Б. Время моих друзей: Воспоминания. Л.: Лениздат, 1982. С. 231–233.

42

"Я вроде как параноик наоборот. Мне кажется, что люди сговорились доставлять мне радость" (Дж. Д. Сэлинджер).

43

Миша и Юра, оба 1933 года рождения, поступили в ЛГУ в 1951-м. Их выгнали из университета со второго курса, в декабре 1952 года, после многократно описанного будетлянского хеппенинга. Восстановили на следующий год.

44

Беседа с сотрудником общества "Мемориал" Софьей Чуйкиной // Даугава. 2001. № 6. С.114.

Даугава. 2001. № 6. С. 102.

Вообще Пастернак удивлял нас употреблением "неправильных", просторечных форм. Еще он говорил "зво'нит".

Л. А. Виноградов.

48

Студент театрального института.

49

В юности Еремин не только писал стихи, но и занимался графикой, рисовал, главным образом, тушью в очень условной оригинальной манере.

50

Стихотворение Еремина (1958).

51

В свое время Еремин говорил, что читали они с Пастернаком у калитки на два голоса пролог из трагедии "Владимир Маяковский" ("Вам ли понять, почему я спокойный…").

Преследуемые? Такими мы себе тогда казались. Уфлянда незадолго перед тем исключили из университета и забрали в армию. Меня чуть было не исключили — за чтение Ницше. Но, главное, советские издательства не печатали наших сочинений, а в молодежных литобъединениях нас честили за "формализм".

53

Видимо, имелся в виду молодой американский славист Мартин Малиа (Martin Malia), но почему список поэтов начат его именем, не помню.

Интересно сравнить изменение отношения Пастернака к "праву государства защищать себя" с его замечанием по поводу аналогичных рассуждений Гордона и Дудорова в "Докторе Живаго".

55

Пастернак, вероятно, имел в виду выставки новой живописи, устроенные журналом-"Золотое руно" в 1908 и 1909 годах.

Это было не знакомое мне тогда имя, у меня даже записано "Олден".

У меня почему-то записано "белиберда", но я помню хорошо, что Пастернак употребил слово "тягомотина". В моем лексиконе оно тогда отсутствовало и, наверное, поэтому я в торопливой записи заменил его более для меня привычным.

Не рассказывала она тогда мне, конечно, о главном, о том, что была полковником гос-безопасности, что уже в 1932 году возглавляла иностранный отдел ленинградского ГПУ, а закончила свою долитературную карьеру политруком одного из воркутинских лагерей.

Интересно, что такой стиль игрового поведения возродился через двадцать с лишним лет в группе "Митьков".

60

Цитирую по кн.: Хренков Д. Александр Гитович. Л., 1969. С. 101.

61

О его послевоенной жизни см. мемуары его вдовы: Кичанова-Лифшиц И.Н. Прости меня за то, что я живу. N. Y.: Chalidze Publications, 1982.

Новиков Вл. Книга о пародии. М., 1989. С. 471.

63

Колкер Ю. Порядок вещей: О стихах Владимира Лифшица // Континент. 1986. № 48. С. 342.

France A.K. Boris Pasternak's Translations of Shakespeare. Berkeley: UCLA Press, 1978. P. 113.

См.: Гитович А. Избранное. Л., 1978.

Харон Я. Злые песни Гийома дю Вентре. М., 1989.

Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. М, 1997. Т. 4: Письма. С. 173–174, 176–177,181.

Солженицын А.И. Двести лет вместе: В 2 т. М.: Русский путь, 2002. Т. 2. С. 464.

Цит. по: Заболоцкий Н. Столбцы. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1929 [репринтное издание: Ann Arbor: Ardis, 1980].

70

Юз Алешковский очень гордится тем, что ни разу в своей прозе не употребил выражения "Он буркнул".

71

Предприниматель, застраивающий земельный участок с целью перепродажи.